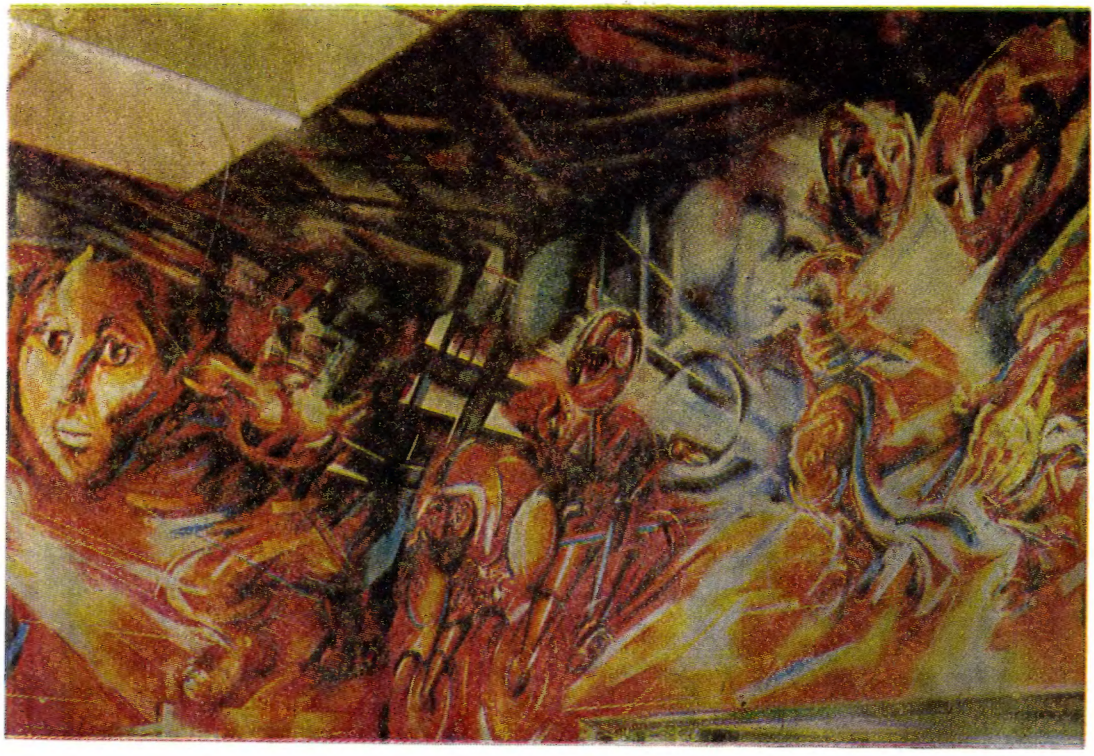
ISSN 0130 – 6545

6. 1981

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Газовый завод

Цветные иллюстрации номера — работы бельгийского художника Роже Сомвиля

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

6 июнь 1981

Содержание

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР — Стихи *(К 90-летию со дня рождения. Вступление и перевод с немецкого Г. Ратгауза)* 3

ВЕЛЬКО КОВАЧЕВИЧ — Бела *(Роман. Перевод с сербскохорватского В. Сахарова. Послесловие Ивана Стаднюка)* 9

ШИЛА ГУДЖРАЛ — Стихи *(Перевод с хинди Сергея Северцева, с хинди и английского — Н. Гусевой)* 87

РОБЕР АНДРЕ — Дитя-зеркало *(Повесть. Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 92

Критика

И. МЛЕЧИНА — Художник, творчество, жизнь *(Читая книги писателей ГДР)* 190

Сопоставляя точки зрения

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ, ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА — Ключ к пониманию поэта *(Перевод стихов У. Дж. Смита с английского Ларисы Васильевой)* 198

Отклики, встречи, впечатления

Ю. ЖУКОВ, Р. ИЗМАЙЛОВА — Беседуя с Эмманюэлем Роблесом 208

Культура и современность

Заметки на полях

Т. Ротенберг — «Как поживает роман?» 213

Публицистика

К. ДОЛГОВ — Память и забвение отчужденного сознания *(Размышления о творчестве Алена Рене)* 217

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — Рождение сенсации. Человек, который в «Бильд» был Гансом Эссером *(Фрагменты книги. Перевод с немецкого Н. Федоровой)* 230

Советская литература за рубежом

Художественная летопись Сибири *(Творчество Георгия Маркова в критике разных стран)* 251

К нашим иллюстрациям

Т. Кудрявцева — Роже Сомвиль — художник, борец, гражданин 253

Среди книг

Издано в СССР

Анатолий Ким — Человеческий огонь ✦ М. Сергеев — В мире «несчастного сознания» 255

Издано за рубежом

О. Малевич — Роман о миролюбивом воителе. ✦ **Вопрос о несчастье поставлен.** Андре Вюрмсер — Всего лишь ошибка? Ален Боске: «Я констатирую неблагополучие...» (Интервью с писателем) ✦ Валерий Минушин — Туда, где действие 259

Из месяца в месяц

266

На 1-й странице обложки: РОЖЕ СОМВИЛЬ (Бельгия). Фрагмент росписи брюссельского метро.

На 4-й странице обложки: РОЖЕ СОМВИЛЬ. Фрагмент гобелена «Женщины в саду».

© «Иностранная литература», 1981.

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

К 90-летию со дня рождения

■

Вступление и перевод с немецкого ***Г. РАТГАУЗА***

Всегда есть что-то волнующее в открытии нового литературного имени. Кто не знает улыбки, с которой редактор достает из своего стола стихи молодого, еще никому не известного талантливого поэта и доверительно показывает их собеседнику? Вероятно, с такой улыбкой искушенный редактор и литературный консультант знаменитого издательства «Фишер» писатель Мориц Гейман протянул своему собеседнику стихи юного Бехера и, чуть погодя, с уверенностью добавил, что это имя громко прозвучит в будущем. Этот разговор происходил в канун первой мировой войны, собеседником Геймана был Бертольд Фиртель, известный поэт, впоследствии вспомнивший об этой примечательной встрече в своей статье о Бехере на страницах антифашистского журнала «Вельтбюне».

Действительно, это предвидение оправдалось в полной мере. Вскоре имя молодого Бехера уже звучало громко и смело. Его книги стихов «Распад и торжество» (1914), «К Европе» (1916), «Всем, всем!» (1919), необычные по своей импульсивной ритмике, наполненные взрывчатой и мятежной силой, сразу определили его общественную и литературную позицию среди противников войны, врагов социального гнета, а затем и друзей молодой Советской России. В кругу поэтов-экспрессионистов, к которым примкнул Бехер, он выделялся своими ярко выраженными революционными настроениями.

В те годы дерзновенной ломки и крушения прежних общественных и литературных авторитетов много новых звезд загоралось на германском поэтическом небосводе, но многие из них столь же быстро гасли, иногда в самом начале своего пути. Будущее показало, что путь Бехера был совсем иным. С годами его могучий поэтический дар возмужал, освободился от юношеских крайностей. Такие выдающиеся поэты, как урбанист Георг Гейм, как тонкий лирик Георг Тракль или проникновенная поэтесса Эльза

ИОГАННЕС РОБЕРТ БЕХЕР — JOHANNES ROBERT BECHER (1891—1958).

Немецкий поэт, лауреат Национальной премии ГДР и международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В 1911 г. дебютировал книгой стихов «Борец. Гимн Клейсту» («Der Ringende. Hymne an Kleist»). С тех пор напечатал много поэтических сборников; последняя книга стихов «Шаг середины века» («Schritt der Jahrhundertmitte») вышла в год смерти поэта. Известен его автобиографический роман «Прощание» («Abschied», 1940) и теоретические труды по вопросам эстетики «Защита поэзии» («Verteidigung der Poesie», 1952), «Поэтический принцип» («Das poetische Prinzip») и др.

Начиная с двадцатых годов, стихи И. Бехера постоянно печатались в советской периодике и затем выходили отдельными книгами («Избранное», 1961; «Стихотворения. Прощание. Трижды содрогнувшаяся земля», 1970; «Избранное», 1976).

Предлагаемые стихи печатаются по «Собранию сочинений» Бехера («Gesammelte Werke», 1966—1979), стихотворение «Двадцатилетним» — по тексту антологии «Сумерки человечества» («Menschheitsdämmerung. Ein Dokument des Expressionismus», 1966).

Ласкер-Шюлер, начинавшие почти одновременно с Бехером (иногда на страницах тех же изданий), все же — по тем или иным причинам — остались поэтами первой трети XX века. Бехеру предстоял трудный путь к вершинам, через горные кручи истории. Он должен был стать — и стал — великим поэтом германской нации. В мощных, дышащих ненавистью строфах своей книги «Искатель счастья и семь грехов» (1938) он бросил в лицо фашистской диктатуре свой непримиримый поэтический вызов:

Я — немец. Пусть дозволено глупцам
Меня лишать гражданства в озлобленье!
Не встану перед ними на колени
И прав своих гражданских не отдам!

(Перевод Л. Гинзбурга)

Поэзия Бехера обрела в эти годы и особую философскую глубину, и четкую предметность, и богатую выразительность слова, сблизившую его с национальной художественной традицией (от великого поэта немецкого барокко Грифиуса, оплакивавшего беды Германии в годы Тридцатилетней войны, до гимнов Гёте и Гёльдерлина). Известно, что Томас Манн писал Бехеру о его стихах, что именно такой и должна быть гражданская поэзия, «если она не хочет устыдиться перед нашим нелегким временем». Но путь Бехера не был завершен и на этом. Ему предстояло пройти, как он писал, через одиссею второй мировой войны, с гневом и стыдом пережить бомбардировки Москвы (города, ставшего для него родным в трудные годы изгнания); увидеть гигантские сражения — и поведать обо всем этом в своих стихах,— чтобы затем воспеть новую Германию. Германию, «восставшую из развалин и устремленную в будущее».

Об этом наши предки к нам взывали.
Грядущее звало из дальней дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»
И, не подвластны ненавистной силе,
Германию в себе мы сохранили.
И ею были, ею стали — мы!

(Перевод Л. Гинзбурга)

Стихи Бехера неоднократно печатались на русском языке. И все же для тех, кто имеет возможность читать поэта в оригинале, очевидно, что облик поэта многограннее, чем то представление о нем, которое сложилось у читателей, знакомившихся с поэтом по русским переводам. Еще не разрешена задача нового, углубленного прочтения Бехера, без всякого «хрестоматийного глянца».

В небольшой подборке, естественно, такую задачу решить нельзя. И все же почти сорок лет творчества Бехера проходят перед нами в этих немногих образцах.

Ненавистью к войне, юношеской неукротимостью, страстным ожиданием грядущих социальных переворотов дышат строки стихотворения «Двадцатилетним». Этот экстатический накал страсти обжигает нас и в юношеском стихотворении «Достоевскому», где поэт славит «Бунт» как «Звезду легенд». Оба эти стихотворения характерны для революционной лирики молодого Бехера. В свое время стихотворение «Достоевскому» в моем переводе уже печаталось в еженедельнике «Литературная Россия», но оно, как одно из ранних свидетельств восторженного отношения поэта к России, настолько важно для Бехера, что мы (в год столетия со дня смерти Ф. М. Достоевского) вновь предлагаем его читателю.

Гораздо более сдержанны по форме стихи тридцатых годов, где Бехер выступает как непримиримый и мужественный противник фашизма. Память о безымянном борце против гитлеровской диктатуры запечатлена в предельно лаконичном и суровом стихотворении «Знамя». Трагические переживания военных лет отразились в стихотворении «Россия» (1944) и в отрывке из еще неизвестной нашему читателю драмы «Дорога в Фюссен». Один из ее героев — художник Эрнст Рохоль, случайно оказавшийся на фронте,— мучительно переживает свое невольное соучастие в преступлениях.

Без такого бескомпромиссного расчета с фашизмом в творчестве Бехера была бы невозможна и та деятельная любовь к обновленной родине, которой дышит его послевоенная поэзия и которая отчетливо проявилась не только в его гражданской лирике, но и в стихах, где предстают волнующие образы немецкой природы.

Эпиграфом к одному из своих стихотворений Бехер взял прекрасные слова французского поэта Франсиса Жамма «Я так любил тебя, поэзия». Эта беспредельная самоотдача всегда окрыляла творчество Бехера. И, не в последнюю очередь, именно поэтому нас и сегодня так заражают гнев и страстность его гражданской лирики, и его

трогательные песни об отчем крае и родной природе, которые охотно поет под гитару немецкая молодежь. Поэт прочно вошел в сознание народа — и своими стихами, и песней, которую поют, подчас даже не зная имени автора... Такую награду надо заслужить; Иоганнес Бехер заслужил ее всей своей жизнью.

Двадцатилетним

Двадцатилетние!.. О, в складке вашего плаща
Таится улица в сиянии вечернем,
Казармы и дома. Ломайте же хребет
Войне. Дворцы владык мы в пламя ввергнем,

Во тьме лачуг разбудим бурю и железо!
Двадцатилетние... Поэт подымет в вашу честь гранаты кулаков,
Его стальная грудь — вулкан, в ней пламя новой Марсельезы!!

1916

Достоевскому

Гремит буран. Расколот свод над нами.
И бурный трепет в глубь Земли проник.
Ты славишь в путь идущих чистыми стопами
И первозданный человечий лик.

Рыданьем снов. И смятыми в испуге
Листами рукописи. Пробил грозный час.
Ночь бороздит луна. Но в звездной вьюге
Я вдруг восстал, внезапно пробудясь.

В такую ночь, как прах, распался якорь.
Кому взойти на обреченный бриг?!
Но Бунт, Звезда легенд, кровавым знаком
Блистает в молниях Твоих нетленных книг.

1920

Знамя

Вот он лежит... Товарищи его
Куском холста лицо его прикрыли.
И скоро холст отяжелел от крови,
Так было окровавлено лицо.

Он умер. Мы не видели лица:
Здесь нет лица, здесь пламенеет знамя.
Прощай, товарищ! Словно знамя
Мы пронесем в боях твое лицо.

1933

Слезы отечества anno 1937 [1]

I

Скажи, Германия, что сделали с тобой?
Германия — вольна? Германия — в почете?

[1] В 1937 году (лат.; стихотворение было написано через четыре года после фашистского переворота). Заглавие стихотворения явно перекликается со знаменитым сонетом Андреаса Грифиуса «Слезы отечества anno 1636» («Слезы отечества в 1636 году»), где описаны бедствия Германии в годы Тридцатилетней войны.

Ты обрела себя в довольстве и в работе?
И каждый для других здесь жертвует собой?

«Проснись, Германия!» — таков был клич лихой.
Сулили всем дары, каких вы не найдете.
И, обольщенная, ты по своей охоте
Сдалась мучителям. Они творят разбой.

Чуть слышен сердца стук; твой дух растлил предатель,
И лжива речь твоя. Ты топчешь клятвы в прах.
А что укрыла ложь — всем явлено в делах:
Над жертвой плеть занес безумный истязатель.

Кровь с топора отер палач. Конец — неведом.
О, сколько новых бед в придачу к древним бедам!

II

Германский мощный хор: кантаты, фуги Баха!
О нежный Дюрер, о лазурь и синева!
О властный Гёльдерлин в сиянье торжества!
О слово, краска, звук — добыча зла и страха!

Жива ли родина? Простор полей свободен?
Течет ли Неккар? Рейн не изменил свой путь?
А там, где я играл, играет кто-нибудь?
Что с вами сделали, Шварцвальд и светлый Боден?

Настал четвертый год. У нас не хватит слез
Оплакать родину. Как ручеек в пустыне,
Река германских слез затеряна в крови.

Но ненависть велит уже не тратить слез,
Зло будет сломлено, и скажем мы: «Отныне,
О слово, краска, звук — воспрянь, ликуй, живи!»

1937

Россия

Горю стыдом, когда во мраке черном
Вы пламените русский небосклон,
И, опьяняясь торжеством позорным,
Солдат ваш сам на гибель обречен.

Не вы ль Россию на кресте распяли?
Но не умрет Россия, палачи.
Народ России закаленной стали.
Она кует победу здесь, в ночи.

Германия! В годину пораженья
Была Россия спутником твоим [1].
Ты предалась поводырям слепым,

[1] Потерпев тяжелое поражение в первой мировой войне, Германия в годы Веймарской республики пошла на известное сближение с Советской Россией. Первой из западных держав она установила с ней дипломатические отношения (в 1922 г.).

Встав на кровавый путь уничтоженья,
И небосвод пожаром заалел...
Но верю я в твой праведный удел.

1944

Монолог художника

(Из драмы «Дорога в Фюссен»)

В те баснословно давние года,
Когда я был германским живописцем,
Цвели мои картины, как виденья
В ночи, я пестрым красочным ковром
Бесцветность времени прикрыл, нанес
На облик ужаса красивый грим.
Я маскарад мечты творил, уютно
Укрывший гибель, что грозила нам.
Теперь я больше не художник. Нет,
Другой напишет то, что я замыслил.

Как тот, кто сам себя обрек на казнь,
Но приговор исполнить был не в силах
И безрассудно ринулся в сраженье,
Надеясь там кончину обрести,—
Так добровольно я ушел на фронт.
Но глубже я запутался в сетях
Моей вины — и темных преступлений.
При мне расстреливали сотни пленных,
Прикрыл хоть одного я грудью? — *Нет.*
Я видел как в избе крестьянка-мать
Сгорела с малышом. Я спас их? — *Нет*!
Повешенных на виселице видел,
Палач смеялся. Я смолчал ведь? — *Да.*
Я видел все: убийство, грабежи,
И я молчал и, значит, молвил: — *Да.*
Так, ожидая смерти, стал я сам
Чудовищным орудием убийства,
Покуда к смерти я стремился бурно
И, как невесту, влек ее к себе,
Я раздавил вот этим грозным танком
Живое все, что встало на пути.
Так смерти я желал, что получил
Награду «за испытанную доблесть
В боях». Нет, хватит, кончена игра.
Чтоб сохранить хоть искру прежней чести
И подлецом не стать меж подлецов,
Как ремеслу, обученных убийству,—
Уж лучше разом кончить. Я боялся
Небытия: так страшно стать ничем.
Теперь глядит родимым черным взором
Небытие и шепчет мне: «Иди!»
Пускай же в неба яростную мглу,
Где, говорят, живут слепые судьбы,
Направлю башню танка моего
И смерти я отдам салют прощальный.
О, если б мне избрать иную цель...
Могу ли я прозреть?.. Нет, я не верю.

1943—1944

Аренсхоп[1]

Тебя укрыл на взморье небосвод,
И яркий сад вокруг тебя цветет,

Жемчужина селенья. Каждый дом —
Как клад в волшебном тайнике своем.

Могучий шорох крон. Священный лес.
Влечет к себе темнеющий навес.

Да, этот лес так мощен и манящ.
Сокрыл он тайну первобытных чащ.

О, шепот первозданный и лесной...
Кругом — хвощи. Тебе не страшен зной.

Таит в себе загадку птичий зов,
Звук нежной флейты в сумраке лесов,

И ржавый, старый лист шуршит в ответ.
Спеши к поляне. И да будет свет!

Лес рушится. Морской явился вал.
И древний ствол здесь на колени пал.

Задумчив ты. Зеленая вода
Таит вопрос: откуда ты? Куда?

Ты стал волной, и ты, как лес, угрюм.
И тишь шумит. Печальный, долгий шум.

1946

Безымянной песней

Великое свершенье предстояло,
Покуда жизнь к концу не подошла:
Вновь песнь его взлетела, как бывало,
И, как в мечте, он слышал плеск крыла.

Он побледнел: во тьме роились звуки.
Но ясный голос, наконец, возник.
Он сам с собой прощался в смертной муке,
И песней стал он в свой предсмертный миг.

Он возвестил грядущее призывно,
Простившись с плотью, жил еще чудесней,
Он, не подвластный сну и забытью.

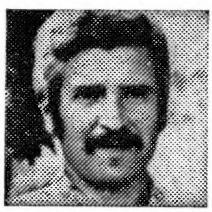
И жизнь его и завершилась дивно:

Он на закате, безымянной песней,
В народе продолжает жизнь свою.

1950

■

[1] Рыбацкая деревушка на Балтийском побережье.



РАТГАУЗ ГРЕЙНЕМ ИЗРАИЛЕВИЧ (род. в 1934 г.).

Советский литературовед и переводчик, кандидат филологических наук. Автор работ о немецкой и австрийской поэзии — Гёльдерлине, Рильке, поэтах ГДР и ФРГ. Переводил стихи Ф. Гёльдерлина, Э. Мёрике, Р. М. Рильке, Г. Гейма, И. Бобровского, Ст. Хермлина, Э. Арендта и др. Составитель и автор вступительной статьи к книге «Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах» (1974).

ВЕЛЬКО КОВАЧЕВИЧ

Бела

РОМАН

Перевод с сербскохорватского В. САХАРОВА

I

Ядран — единственный, кто продолжал жить после событий двадцатилетней давности, которым суждено было оставаться никому не известными. В то время, когда эти события происходили, о них знали еще семь-восемь бойцов, товарищей Ядрана. Позднее, еще в дни войны, они погибли. И унесли с собой в могилу клятвенно хранимую тайну. Ну, а Ядрану, их комиссару, как видно, предопределено было жить намного дольше и одному нести бремя, под тяжестью которого он оступался и падал, но не в силах был ни сбросить его с плеч, ни жить жизнью человека со спокойной совестью. И лишь когда война стала уже далеким прошлым, порой за разговорами в кругу друзей он немного забывался и к нему возвращались минуты утраченного спокойствия. Если Ядран оставался один — мысли угнетали, изнуряли, убивали его. События возникали в памяти, оживали, и каждое из них он снова и снова взвешивал на весах человеческой совести. Прислушивался к себе, осуждал, обвинял. Все напрасно. Облегчение наступало лишь на время. А потом все начиналось сначала.

О, это долгое послевоенное время, его течение уносило многие события, ужасы войны, добро и зло; время, когда в памяти стирались образы бойцов, меркла их храбрость; время, несшее и страдания, и радости, и победы, для Ядрана будто остановилось. Застыло на одном только дне войны. И как бы воплотилось в одинокий могильный холмик в лесу близ города, где поселился Ядран сразу после войны, покинув родные места.

За этим могильным холмиком Ядран трогательно ухаживал, украшал его букетами, венками, еловыми ветками. Цветы здесь никогда не увядали.

ВЕЛЬКО КОВАЧЕВИЧ — VELJKO KOVAČEVIĆ (род. в 1912 г.).

Югославский писатель. Учился на философском факультете Загребского университета. С 1937 г. сражался в рядах интернациональных бригад в Испании. Позднее стал одним из организаторов народно-освободительной борьбы в Югославии; генерал-полковник Югославской народной армии. Автор книги «В окопах Испании» («U rovovima Španije», 1958), романов «Капельские костры» («Kapelski kresovi», 1961), «Молодой лес» («Mlada šuma», 1967), «Гавриада» («Gavrijada», 1971), сборника рассказов «Водоворот» («Vrtlog», 1970). На русский язык переведены его романы «Капельские костры» и «Молодой лес». Роман «Могильный холмик» («Humka», Zagreb, Mladost, 1979) печатается с разрешения автора с небольшими сокращениями под названием «Бела».

Искушение поделиться с кем-нибудь тайной мучило его годами. Воля и желание боролись, но чаще всего побеждал зарок, данный погибшим друзьям. Между тем с годами Ядран все чаще и чаще спрашивал себя, неужели тайна должна оставаться тайной и после его смерти. Вспоминал о клятве. Она обязывала хранить тайну лишь до конца жизни. И он решился доверить тайну бумаге. Не называя, однако, при этом ни времени, ни места, ни подлинных имен участников событий.

Тогда, пишет Ядран, подчеркивая слово «тогда», он был комиссаром отряда. А боевых отрядов, как малых, так и больших, в стране было много.

И сколько бы человек ни вчитывался в заметки Ядрана и в документы, случайно найденные в одном из провинциальных архивов, ему не удалось бы узнать более того, что было написано самим Ядраном; напрасная была бы трата времени.

В приложенных документах военных лет Ядран старательно стер все даты, имена и фамилии, заменив их вымышленными. Как документы, так и свои собственные заметки он расположил в хронологическом порядке, дабы любой исследователь, натолкнувшись на этот материал, мог восстановить весь ход событий.

Ядран утверждает, что решился на все это, поскольку смерть стучится в его дверь.

II

В тот давний день, как и накануне, утреннее небо было чистым, погода обещала быть солнечной. Из лесов доносилось разноголосое пение птиц. Я встал немного раньше обычного, сел за стол в своей комнатушке и начал искать на оказавшихся под руками картах Югославии название населенного пункта, который неделю назад после тяжелых боев стал «столицей» нашей маленькой партизанской «республики». К моему великому сожалению, его не оказалось ни на одной из карт. Географы не удостоили его такой чести. А в моих сообщениях на нескольких десятках страниц об этом поселке говорилось чуть ли не как о важном стратегическом пункте, как о большом городе, хотя в нем не было и сотни домов. Для меня это действительно город, центр обширного и свободного горного района. Останусь в живых после войны — позабочусь, чтобы на всех картах название поселка было начертано крупными буквами, если, конечно, с моим мнением посчитаются.

Чувствовал я себя по-настоящему счастливым. Моя мечта, с которой я, будучи студентом, в двадцать четыре года взял винтовку в руки, начала осуществляться. О своей судьбе, о том, что меня ожидает, я не тревожился. Правда, раньше я порой задумывался о преходящем, о смысле жизни, но это никогда меня не угнетало. Жизнь — вечно текущая своенравная река. А жизнь одного человека — только капля в этой реке. Зачем думать о смерти — она сама думает о тебе. С тех пор как я добровольно вступил в ряды бойцов, встречался с ней повседневно. Одних она уносит, других обходит, но всегда ищет в наших рядах новые жертвы. Знаю, я могу быть одной из них, но меня это, право, не беспокоит, не омрачает моего счастья. Боец не должен об этом думать, иначе перестанет быть бойцом.

Отложив карты, я взялся за роман, который ношу с собой уже несколько месяцев, а не прочел и половины. Все мешали бои. Теперь же спокойно могу его дочитать. Хотя эта книга и скромна по своим литературным достоинствам, меня она заинтересовала. Особенно главный ее герой — Ядран.

Автор говорит, что Ядран высок ростом, ему двадцать четыре года, лицо удлиненное, лоб высокий, глаза карие, волосы темные. Он полон энтузиазма. Целая страница посвящена его описанию.

Никогда, ни в жизни, ни в литературе, не встречал я человека, более похожего на меня. Мне даже показалось, что я его двойник. Я так полюбил Ядрана, что его имя стало моим партизанским именем.

Мне оставалось прочитать еще двести страниц, и я надеялся закончить книгу к завтрашнему дню. Она настолько меня увлекла, что я не заметил, как открылась дверь в мою комнату. Только при словах «приветствую товарища комиссара» я оторвался от чтения. Передо мной стоял Никола Ликич. Связной из госпиталя.

— Ты с книгой? Вот уж нашел время.

— Как видишь,— сказал я и собрался было вновь приняться за чтение.

— На что это тебе, комиссар, разве ничего более толкового придумать не можешь?

— А разве это не толково?

— Есть дела поважнее. А кому книга нынче нужна?

— Полезна была бы и тебе.

— Мне от нее нет пользы, и ей от меня.

— Ей от тебя и впрямь никакой.

Связной Никола, сорокалетний крестьянин, служивший, благодаря своим годам, при госпитале, держался так, будто взял верх над собеседником.

— Ты пришел обсудить эту книгу или за чем-нибудь другим?

— Чуть из головы не вылетело. Сбила меня с толку твоя книжка. Ты должен срочно явиться в госпиталь!

— Так уж и должен? Произошло что-нибудь серьезное?

— Похоже, ничего особого, но ты иди сразу же. Дорога известна. Я за тобой не поспею.

— Кто приказал?

— Доктор послал за тобой.

— Зачем он зовет?

— Иди скорей, не трать времени, если хочешь застать его в живых.

— Доктора?

— Типун тебе на язык! Как же без него обойтись? Какой-то раненый тебя требует. При смерти он. Поговорить с тобой — видно, последнее его желание.

— Кто же это? Вчера я там был, всех вроде знаю...

— Этого наверняка не знаешь. Его никто не знает. Утром его нашли в лесу и едва живого принесли в госпиталь. Неизвестно, чей он. Наш или ихний. Говорит, зовут Игор. Настоящее ли это его имя — одному богу известно. Фамилию не называет. И доктор, и комиссар госпиталя пытались выведать у него еще что-нибудь, но не вышло. Назвал бы уж свою фамилию, хоть бы для надписи на могиле, или сказал бы, наш он или ихний. Порядок есть порядок. Твердит одно: «Позовите Ядрана, позовите Ядрана». Доктор от него не отходит.

На этом мое чтение и закончилось. Роман я отложил в сторону и больше к нему не возвращался. Начался мой собственный рассказ.

С этих слов Ядран и начал свое повествование.

Получив такой срочный вызов, он поспешил в госпиталь, чувствуя, что за всем этим кроется какая-то тайна, нечто важное, что может быть открыто только ему одному.

Неизвестный лежал в отдельной комнатушке, куда доктор обычно помещал умирающих, чтобы другие раненые их не видели. Комиссар вошел осторожно и присел на кровать возле раненого. Тому было не более двадцати двух лет. Мертвенно-бледный, он казался еще моложе. Порою смерть позволяет себе такие шутки, как бы недодает и реально прожитого времени. Ядран замечал это раньше, когда погибали молодые бойцы. Вот и сейчас, взглянув на Игора, как

назвал себя раненый, Ядран понял, что это конец, что наступает его последний час.

Раненый, почувствовав присутствие Ядрана, широко раскрыл глаза. Удивительно, но это были не глаза умирающего. Искры жизни светились в них, обещая победу. Он перевел взгляд на левый рукав куртки Ядрана, на знаки различия. И убедился в том, что перед ним комиссар. Глаза его еще более просветлели. Казалось, душа этого человека, его внутренняя сила способны побороть смерть. Так казалось, пока он не заговорил, пока с его губ не начали срываться слова, едва слышно, бессвязно.

Ядран почти вплотную приблизил ухо к его губам.

Игор так ничего и не сказал ни о себе, ни о своих ранах, ни о том, как он их получил. Шепот затихал, слова постепенно замирали, глаза закрывались, лицо становилось желтым.

Комиссар едва смог составить из его слов следующую запись:

«Около Гулно, восточнее, в километре или полутора, неподалеку от блиндажа, возле выгоревшего леса растет высокий, старый, развесистый дуб, зеленый и летом, и зимой. «Святой дуб» — издавна его так называют. От него в землю уходят мощные корни. Самый толстый из них помечен двумя засечками топора. На этом месте, под корнем, консервная банка. В ней... В ней...»

Ядран продолжал сидеть еще несколько минут подле умирающего в надежде, что молодая жизнь придаст ему сил и можно будет услышать еще хоть одно слово. Но смерть спешила. Ничто, пусть ненадолго, не могло ее задержать: ни инъекции, ни пилюли, ни заклинания и мольбы комиссара. Произнеси раненый еще несколько слов, и, может быть, то, что он успел сказать, приобрело бы какой-то смысл.

Комиссар долго размышлял над услышанным, пытался разгадать значение своей записи. Выделил дуб и консервную банку — две тонкие нити в нелогичности целого. В них он искал путь к разгадке. Эти два слова не выходили у него из головы, не давали покоя, требовали объяснения. Подойти к самому порогу гарнизона в Гулно, приблизиться на простреливаемое расстояние, подвергнуться опасности — единственный способ узнать, что таит в себе эта консервная банка. Любопытство и подозрительность боролись в нем, не уступая друг другу. Он долго добавлял гири то на одну, то на другую чашу весов, пока в конце концов не пересилило любопытство и не направило его по выбранному, полному загадок пути.

Чтобы не выдавать никому подлинной цели похода, он направился к Гулно с патрулем из пяти вооруженных партизан, словно в разведку. После двухдневного перехода Ядран в предвечерний час увидел, наконец, зеленый дуб, о котором говорил Игор. Среди окружающих деревьев могучий суверен леса выделялся своей высотой и пышной кроной.

И тут Ядрана охватили сомнения. Кто этот Игор? Наш? Ихний? — спрашивал он себя. Хотел было рассказать обо всем связному Сречко Бикичу и его одного послать к дубу, но остановила мысль: а может быть, консервная банка — некое адское устройство, которое если уж уготовано ему, Ядрану, то его и должно поразить. Нет, он должен пойти сам; и до наступления ночи Ядран не сводил глаз с удивительного дуба. После того как было принято решение, дуб для Ядрана, как в сказке, стал превращаться в некое разумное могучее существо, и влекущее к себе, и отталкивающее, обойтись без которого уже было нельзя, слишком важную роль оно играло. Но на чьей стороне?

На всякий случай он отвел Сречко в сторону и рассказал ему о подлинной цели этого длительного перехода. Сречко тотчас готов был броситься к консервной банке. Почувствовав это, Ядран крепко

схватил его за руку. Это не богатство, которое дается в наследство, да и не время обмениваться жизнями. До банки он должен дотронуться сам, тем более что все еще продолжал думать о возможно кроющейся в ней смерти. Чтобы чувствовать себя увереннее, взял с собой одного только Сречко, который должен был идти за ним на расстоянии десяти шагов. Под покровом ночи они приближались к дубу медленно, шаг за шагом, опасаясь нарушить тишину. Дуб казался все выше, он вздымался в небо, словно грозя своей исполинской силой, привлекая тайной, скрывающейся в корнях. Неподалеку от дуба Ядран сказал Сречко, чтобы тот остановился. А сам зашагал решительно, но не потому, что в этот момент почувствовал большую уверенность, а потому, что поскорее хотел покончить с неизвестностью и освободиться от гнетущего чувства страха. Очутившись уже под самым дубом, прислонился спиной к его стволу, включил карманный фонарик и сразу же увидел толстый корень с двумя засечками. Поспешно сел на него и начал разгребать сухую листву. Сразу почувствовал, как палец задел что-то твердое, железное. На мгновение замер, но тут же быстро схватил жестяную банку и потянул к себе. Она не рванула. Ядран глубоко вздохнул и, разглядывая ее, улыбнулся, будто подсмеиваясь над своими страхами. Освободившись от них окончательно, он сунул в банку два пальца и извлек оттуда свернутый клочок бумаги, положил его в карман, а жестянку вновь закопал в сухую листву.

Лишь отойдя от дуба и оказавшись в глухом лесу, он зажег фонарик и прочитал текст, содержавший сведения о численности войск в Гулно, укреплениях и вооружении. Но самым важным было оповещение о дате выступления одной из колонн оккупационных войск на свободную территорию и указано направление. Под текстом стояла подпись: Бела. Была приписка о том, что Бела и впредь будет оставлять здесь такие же послания.

III

Ядрана мучило это послание. Он не воспринимал полученные сведения, как воспринял бы их человек, не склонный к домыслам и всевозможным предположениям. Записка скрывала и загадку, и откровение. Загадка означала возможную западню, а откровение — голос, идущий от самого народа. Кто-то, не желающий себя выдавать, оказался на их стороне и хочет помочь в борьбе.

Но предупреждение о карательной колонне оккупантов могло быть и заведомым обманом, оно бы держало партизан в постоянном напряжении, связало бы им руки, парализовало бы их действия.

Ядран долго раздумывал, стоит ли показывать письмо Белы командиру отряда Огневому или лучше только намекнуть: слышал, мол, кое-что о предполагаемом нападении противника. Но он хорошо знал, что Огневой ни во что не ставит слова «слышал», «сказали». Поэтому решил все-таки познакомить его с содержанием письма. Опасность, связанная с наступлением колонны, о котором узнал Ядран, вынуждала к этому. Каким именно образом было получено такое сообщение, Ядран умолчал. Это оставалось тайной, хранимой им и Сречко. Узнай о ней командир отряда, он сам бы отыскал этот дуб, перекопал бы все вокруг и взял на себя заботу о жестяной банке. А так действовать не следовало.

Огневой был полной противоположностью Ядрана. Искусство ведения боя он понимал по-своему, не считаясь с рекомендациями военных учебников и предписаниями устава. Презирал «книжное» знание о ведении боевых операций. Не считался даже со священным партизанским законом, гласившим, что ночь — лучший союзник партизан. И твердо придерживался своих заповедей: «Не воюй, как воюют другие, даже как свои же партизаны воюют. Нападай там, где

обученный солдат никогда не ждет нападения. Выбирай ту позицию, которую никто другой не выберет».

Принимая и на этот раз всю ответственность на себя, Огневой задумал устроить засаду силами почти всего отряда там, где, по его представлению, неприятель его никак не ожидает. На участке горной дороги протяженностью в пятьдесят километров он облюбовал небольшое поле, заросшее высокой травой. Здесь неприятель, выйдя из леса, непременно построится в колонну и двинется по ровной дороге, не ожидая опасности. Место впереди засады было открытое, позволяющее вести прицельный огонь, а за ним пространство, также оголенное, и отступать под огнем будет очень трудно. Командир выбрал место для каждого бойца, пулеметчика, гранатометчика.

Ядрану нелегко было согласиться с таким странным решением, но делать было нечего. На ворчание бойцов Огневой не обращал ни малейшего внимания. За день до операции, когда позиции уже были заняты, он скомандовал: «Приготовьсь!», а сам пошел туда, откуда должна была появиться колонна. Как бы взяв на себя роль противника, он приближался к засаде, внимательно присматриваясь, не видно ли чего, точно ли выполняются его приказания, хорошо ли замаскировались бойцы.

На следующий день, когда совсем рассвело, он вместе с Ядраном залег в канаве у самой дороги. Вскоре Огневой заметил солдат в зеленой форме, выбирающихся из леса. Как он и предполагал, на дороге они выстроились в колонну, чтобы свободно пройти по ней хоть несколько километров до предгорья.

И только когда колонна приблизилась к засаде на расстояние броска гранаты, раздалась команда: «Огонь!» Со стороны противника ответных выстрелов не последовало. Лишь немногим солдатам удалось бежать, они-то и принесли с собой весть о том, чем завершился их поход на территорию, контролируемую партизанами.

Возвратившись после боя с уверенностью, что Игор был человеком, боровшимся на стороне партизан, Ядран сразу же отправился к его могиле неподалеку от госпиталя. Могила Игора, ничем не отмеченная, была обречена на забвение, как и многие другие, разбросанные по всем горным районам. Но теперь Ядран не мог оставить ее в безвестности. Он нашел большую каменную плиту, позвал мастера, чтобы тот обработал ее и высек имя умершего раненого. Веря, что когда-нибудь станут известными его подлинные имя и фамилия, оставил место и для будущей полной надписи.

Но и на этом не успокоился. Еще в детстве, особенно в гимназии, он любил рисовать.

С надеждой, что врожденный дар не подведет, а рука не все забыла, он взял бумагу, карандаш и по памяти принялся рисовать голову Игора. Старался запечатлеть тот момент, когда раненый открыл глаза и начал говорить. Сделал с десяток рисунков, отобрал из них два наиболее удачных, остальные сжег. Внимательно рассматривая рисунки, понял, что получился образ умирающего человека. Хотя черты лица были схвачены правильно, само оно оставалось мертвым. Порвал оставленные рисунки и начал все сначала. Нужно было оживить лицо, отразить его красоту, силу, рисовать живого, а не мертвого Игора. Должно быть, целый день не расставался Ядран с карандашом и бумагой, пока не добился своего. Один из двух портретов спрятал в карман, а второй положил в архив. На обратной стороне написал: Игор. Не мог он мириться с тем, что людей, заслуживших память в сердце живущих, забывают и с их смертью хоронят и их дела. Еще тяжелее он переносил то, что чаще всего их забывают люди, обязанные питать к ним самую большую благодарность. С этим он не мог смириться и считал, что оставшиеся в живых, лишь

продолжающие дело погибших, должны чтить их память; он именно так и поступил, воздавая должное памяти Игора.

Поддержание связи со «святым дубом» Ядран возложил на Сречко. Для того чтобы добраться до дуба и возвратиться назад, надо было пройти сотню километров, но быстроногому Сречко не составляло большого труда преодолеть такое расстояние. Сильное желание побыстрее дойти до тайника и вернуться с новыми вестями придавало силы, окрыляло его. Жестянка влекла Сречко. Каждый раз он подходил к дубу с величайшей осторожностью.

Сначала тот, кто назвал себя «Бела», писал послания на маленьких листках. Сречко жадно читал их и на всякий случай заучивал наизусть. Однажды нарвался на засаду, едва выбрался, письмо проглотил, а содержание слово в слово передал Ядрану.

Через некоторое время Ядран начал отвечать Беле, оставляя записки в той же жестяной банке. Затем стал вкладывать в конверт и заклеивать, как бы придавая им большую секретность. Со временем и Бела стала запечатывать свои письма.

Содержание писем в таких случаях было для Сречко недоступным. Он думал, что ему отказывают в доверии. Сречко сердился, возмущался, но наконец нашел выход: по пути он вскрывал письма Ядрана, чтобы быть в курсе событий.

По первым же сообщениям нетрудно было догадаться, что неизвестный разведчик черпает данные из самых надежных источников. Но кто же он, этот разведчик, спрашивал себя Ядран и мучительно искал ответа. Сколько раз брал он полученные письма, укладывал их рядом, сравнивал, разглядывал, вникал в них, пытаясь хоть что-то заметить. Формат листа один и тот же. Рукописные печатные буквы совершенно одинаковы. Чернила и перо одни и те же. Все одинаковое, кроме содержания.

И все же Ядран, исходя даже из самого имени, склонялся к мнению, что скорее всего это женщина. Укрепляли его в этом мнении и тщательно выписанные слова, и четкие буквы, и аккуратно сложенная бумага. Он должен был найти подтверждение своим догадкам.

Письма Белы содержали разносторонние сведения о гарнизоне в Гулно, о его численности, вооружении, размещении, обо всем, что сегодня или завтра могло так или иначе быть полезным для освободительного движения. Но наиболее важной была информация о намерениях оккупантов в тот или иной момент. Ни одно выступление войсковых подразделений из Гулно в каком бы то ни было направлении не ускользало от глаз Белы. О каждом таком выступлении она узнавала за несколько дней и оставляла записку в консервной банке. Это заставляло отряд и его командира Огневого совершать изнурительные переходы большими или меньшими силами, чтобы прибыть к определенному месту в нужный момент.

Отряд в боях захватывал оружие, быстро рос и становился все сильнее. Но ни Гулно, ни его гарнизон, несмотря на потери, не ослабевали. Вместо погибших прибывали новые солдаты, подкрепление, а с ними и новое оружие. Гулно благодаря усилиям Белы, с одной стороны, и Огневого — с другой, превращалось в надежную базу, снабжавшую отряд вооружением и продовольствием. Ядран даже считал, что, если бы отряд и располагал необходимыми силами и организовал нападение на Гулно, была бы допущена непоправимая ошибка, поскольку Гулно, фактически без потерь со стороны партизан, снабжает их всем.

Неожиданно сообщения Белы не стали оправдывать надежд. О передвижениях частей в них почти не упоминалось. Будто между отрядом и Гулно было заключено перемирие. Ядран сердился на Белу и был недоволен ее сообщениями, уже не сулившими желанных трофеев.

Сречко между тем продолжал свои походы, хотя часто и возвращался с пустыми руками. Как только разведчик перестает давать сколько-нибудь серьезные данные, в нем начинают сомневаться. Неожиданный рейд оккупантов из Гулно, о котором Бела ничего не сообщила, еще больше насторожил Ядрана и усилил его тревогу. Он подумал: может быть, Бела раскрыта и сейчас искупает свои прежние грехи, служа неприятелю?

Еще в предвоенное время Ядран приобрел достаточный опыт и знал, как именно следует поступать, какой метод выбрать, чтобы лишить доверия тех людей, на которых пало подозрение и контакты с которыми, несмотря на прошлое, становятся нежелательными, даже опасными. Но вот с Белой неразумно было порывать сразу. Слишком велики были ее заслуги перед движением, а само по себе подозрение не могло служить доказательством преступления. Ядран продолжал отвечать на ее письма, но только на те, в которых она сетовала на то, что, мол, не может больше, как прежде, помогать движению. Но в отличие от его посланий, полных похвал, признаний, запросов, письма теперь стали короткими.

Он собирался постепенно, спустя какое-то время прервать с Белой всякую связь. Но медлил. Что-то мешало ему решиться на этот последний шаг. В мыслях он то и дело невольно возвращался к ее прежним письмам, помня о том, как высоко ценил ее. Было это совсем недавно, в обычном понимании этого слова. Но ведь события происходили в войну, когда время имеет иную цену, когда жизнь сокращается на десятилетия, когда гибнет все созданное поколениями, когда семена прорастают не для того, чтобы взрасти, и когда люди рождаются не для того, чтобы жить.

IV

День был пасмурный, вечерело, когда в комнату Ядрана этак по-свойски вошел Сречко. Так он появлялся всякий раз, когда приносил добрую весть или предчувствовал ее. В руках он держал большой и толстый, туго набитый конверт, запечатанный в пяти местах сургучом. На этот раз только сургуч помешал Сречко еще по дороге открыть конверт и посмотреть, что в нем. Вручая Ядрану пакет, он, улыбаясь, уважительно заметил:

— Необычное это письмо, говорю тебе. Запечатали, будто министерское. Видно, и Бела, как и ты, боится, что я могу его вскрыть. Давай читать вместе.

— Сречко, тебе лучше хорошенько отдохнуть и выспаться.

— Когда я ношу такие пакеты, не теряю сил. Сегодня, уверен, установил рекорд. Летел как на крыльях.

Избавившись от Сречко, Ядран долго не вскрывал пакета, настороженно разглядывая сургуч. Сургуч на конвертах напоминал ему об арестах, полиции, неприятностях с властями. Всякий раз, когда его отправляли по этапу от одного жандармского участка к другому до очередного места поселения, красный сургуч на письмах, передаваемых жандармами, всегда сопровождал его.

Ядран начал медленно вскрывать ножом конверт. Вместе с письмом внутри находился сложенный вчетверо большой лист плотной бумаги Быстро развернул его, мельком взглянул и принялся за письмо.

Формат письма, как обычно, был небольшим. Текст написан мелкими почти филигранными буквами, строки ровные, частые. Охваченный нетерпением. Ядран читал быстро, стараясь схватить самую суть. Бела предлагала чуть ли не передать Гулно партизанам. Такого-то числа в точно установленное время — от одиннадцати вечера до двух часов ночи — они должны прибыть, строго придержи-

ваясь маршрута, указанного на прилагаемом плане, и захватить Гулно. Именно в этот день и именно в этот час.

Ядран был ошеломлен. Он несколько раз обращался к письму, вновь и вновь его перечитывал, не веря своим глазам. Все это казалось каким-то наваждением, чем-то нереальным, несбыточной мечтой.

Немного придя в себя и желая быть объективным, он положил рядом письмо и план населенного пункта. Читал медленно и внимательно.

На плане было написано «Гулно». Но и без этого обозначения Ядран с первого взгляда понял, о каком населенном пункте идет речь. Еще тогда, когда они шли к дубу, он имел достаточно времени, чтобы рассмотреть Гулно.

Он сразу отметил, что план нарисован в другой перспективе, с того места, в котором он, Ядран, не был. Тот, кто рисовал, вероятно, поднялся на вершину горы Црни вырх, высоко вздымавшейся над Гулно с восточной, партизанской, стороны. Панорама Гулно была нарисована обычным черным карандашом. Рисунок несколько поблек, и это позволило Ядрану предположить, что нарисован он был, может быть, с год назад. Весьма удачный план города был испещрен синими квадратиками, кружочками, красными линиями, стрелками и числами, нанесенными, по всей видимости, совсем недавно какой-то другой, неумелой рукой.

На самом плане с левой и правой стороны была дана легенда — описание того, что обозначала каждая из тридцати цифр, разбросанных по рисунку. Единицей была помечена новая казарма со множеством окон, возвышавшаяся в самом центре города в окружении низеньких домиков. Казарма была обозначена синим карандашом и портила рисунок, как синяк портит нежное девичье лицо. Ядран хорошо представлял себе эту казарму, она запомнилась ему еще в тот день, когда они шли к дубу. Тогда ее еще строили, но она выделялась и своими размерами, и неуклюжестью и точно так же выглядела на плане.

Последующие цифры были обведены сплошными или пунктирными кружочками синего цвета. В легенде пояснялось, что сплошными кружочками показаны блиндажи, вновь выстроенные и уже занятые, а пунктиром — строящиеся, которые дней через десять будут закончены и также заняты солдатами. Одной из цифр была обозначена почта с телефонной станцией, другой — здание городской общины. Особое внимание привлекали какие-то длинные ломаные красные линии со стрелочками вдоль них; эти линии с разных сторон входили в Гулно, извивались по городу и замыкались у казармы или около синих кружочков. Они выглядели паутиной. Но, прослеживая ход каждой линии, нетрудно было убедиться, что они указывают пути следования по улицам и не представляют собой загадки.

Ядрану потребовалось несколько часов после анализа плана и письма Белы, чтобы осознать суть плана и всю степень риска, поддайся отряд соблазну и прими предложение Белы. Для Ядрана все это было невероятным, невозможным, алогичным. Почему именно в тот, а не иной день и час? Каким именно образом можно обеспечить все необходимые условия для совершения операции в указанные три часа? Будто не существует ни «раньше», ни «позже». Что за всем этим кроется?

Нападение на укрепленные населенные пункты он и Огневой пока что считали невозможным. Партизаны еще не были готовы к таким боям. Желания, воли и храбрости было мало для захвата укрепленного военного объекта. Блокирование, засады, набеги, диверсии на дорогах вынуждали чужеземцев уходить из населенных пунктов и без прямой атаки. Однако о Гулно, об его освобождении партизаны не могли еще и думать. Не будь Белы, едва ли удалось бы

удержать его в поле зрения. Связанное с крупными гарнизонами двумя широкими дорогами и расположенное на равнинном участке, Гулно могло противостоять партизанам, не боясь неожиданностей.

На первый взгляд план Белы казался весьма заманчивым. Но чем больше Ядран в него вникал, разбирался в тонких линиях маршрутов прохода партизан через колючую проволоку и по улочкам к самому центру Гулно, где спящий гарнизон должен быть застигнут врасплох, тем больше приходил к убеждению, что такая операция была бы для отряда подлинным самоубийством.

Ядран никогда бы не решился на такой риск, даже твердо зная, что полученный план не западня, что неприятель ничего о нем не знает, а Бела вне всяких подозрений и никогда не давала повода для сомнений. Уже сам по себе план, такой, какой он есть,— ловушка. Большой населенный пункт, столько солдат, блиндажи, колючая проволока, пулеметы, пушки.

Какая там битва! Вечная память всем этим славным красным путеводным линиям! Уж не думает ли Бела, что мы можем уподобиться муравьям? Ползти муравьиными тропами, а затем проникнуть через двери и окна в казармы, в блиндажи, после чего по команде «стройся» снова стать армией. Не надеется же она усыпить весь гарнизон с одиннадцати до двух ночи? Фасолевый суп с опиумом. Это уж слишком даже для американского вестерна.

Хорошо было бы иметь нескольких человек, говорящих по-итальянски, пишет она, на случай возможной (слышите, возможной!) встречи с их патрулями. У нас-де имеется достаточно итальянской форменной одежды, и ее следует надеть. Поизносилась, Бела, порвалась одежда. Мы не лежим на кроватях.

Имей Ядран сотни отрядов, тысячи бойцов, не дорожи он людьми, считай он всех погибших лишь цифрами, как в огромных армиях, все равно бы никогда не смог так вот играть человеческими жизнями. Хотя знал, что ему, как военному, жалостливость не к лицу.

Ядран принял, наконец, решение послать Беле ответ следующего содержания: «Нас не устраивает час, день, месяц и даже год. Благодарный Ядран». Ему казалось, что в этих словах он высказал многое и дал правильную оценку плана и предложения Белы. Был уверен, что такой ответ понравится и командиру. Поэтому и оставил письмо в кармане до возвращения Огневого.

На этот раз Ядрану и в голову не пришло скрывать от Огневого присланный Белой план и письмо, как он это делал частенько. Бывало, что перед той или иной операцией между ними возникали разногласия, но на сей раз Ядран был убежден: они займут общую позицию в вопросе, решение которого во многом зависит от командира.

V

Ядран и Огневой встретились впервые не в партизанах. Виделись они в Загребе, когда были студентами, но Ядран не обращал на него внимания. Не испытывал желания с ним знакомиться. Сторонился его как одного из городских шалопаев, не брезгающего, по представлениям Ядрана, сомнительным обществом, особенно женским. Этот стройный, белокурый, симпатичный на вид юноша отличался от других молодых людей своей легкомысленностью и странным поведением.

Когда Ядран окончательно распростился с Загребом и поездом отправился в глубь страны, к партизанам, то оказался с Огневым в одном купе. Нежелательный спутник читал усташскую газету, где на первой странице был помещен портрет Павелича[1]. Он всматри-

[1] А. Павелич — лидер хорватской фашистской организации усташей. В 1941—1945 гг. глава так называемого «Независимого государства Хорватия», созданного фашистскими оккупантами. *(Прим. перев.)*

вался в портрет с нарочитым вниманием. На левом лацкане пиджака Огневой носил какой-то фашистский значок. Темные очки в толстой оправе скрывали его глаза. Ядран не мог определить, смотрит ли тот на него. Сидя друг против друга, они держались так, будто никогда не встречались. Оказавшись в таком неприятном положении, Ядран непроизвольно засунул руку во внутренний карман пиджака, где лежал револьвер. Белокурый парень проследил за этим движением поверх очков, оставаясь внешне спокойным. Спустя немного, когда поезд подъезжал к какой-то маленькой станции, Ядран взял свой чемоданчик, застегнулся, надел шляпу. Не попрощавшись, вышел из купе и быстрыми шагами направился в тамбур. В дверях он на мгновение остановился, делая вид, будто хочет спрыгнуть, затем быстро обернулся, оглядел проход, по которому шел, и протиснулся в купе третьего класса, где находилась группа рабочих, многие из которых дремали. Но и тут он не смог долго оставаться. Ядран с большим трудом прошел через забитые людьми проходы вплоть до последнего вагона. Отсюда, в случае необходимости, будет легче бежать.

Только на станции, откуда ближе всего было попасть к партизанам, он выскочил из поезда и, смешавшись с толпой, почувствовал себя спокойнее. Весь путь до первой партизанской «станции», скрывавшейся в горах, он должен был пройти пешком. Лишь на четвертый день блуждания по горам он встретил в лесу одного из партизан. Тот схватил Ядрана и связал ему руки. Арестованный был приведен в партизанскую группу, где, к своему изумлению, увидел недавнего спутника по поезду, только теперь он был одет в партизанскую форму с пятиконечной звездой на пилотке. Партизан, задержавший Ядрана, направился прямо к командиру и рапортовал о захвате опасного врага, вооруженного револьвером. Руди, так тогда звали Ядрана, настороженно слушал и осматривался. Хотя его и окружали люди с пятиконечными звездочками, Ядран, глядя на этого молодца, был уверен, что попал в руки какой-то банды, переодетой в партизанскую форму.

Белокурый парень, узнав арестованного, подбежал к нему и быстро развязал руки. Потом стал перед ним по стойке «смирно», как перед старшим по званию, отрапортовал и, назвав товарищем Руди, доложил о наличии в отряде под его командованием двадцати пяти бойцов. Затем извинился за арест и объяснил, что в вагоне не мог раскрыть себя согласно правилам конспирации. В конце рапорта представился как Иван Галец-Огневой.

Ядран по-прежнему смотрел на него с недоверием. Ведь он хорошо знал, кто такой Огневой. Лично с ним знаком не был, хотя и давал ему через тайные связи некоторые задания. Когда в усташско-немецких группах взрывались бомбы, подкладываемые подпольщиками, вспоминали Огневого. Полиция безрезультатно гонялась за человеком с этим именем.

Не иначе этот проходимец, думал Руди, прикрываясь именем того загребского подпольщика, и проник в партизаны как агент неприятеля. Даже рапорт Огневого не мог его поколебать. Заметил это и командир. Знал, каким Руди помнил его по Загребу. Стараясь доказать, что он действительно Огневой, напомнил об одном письменном распоряжении, которое направил ему он, Руди, перед одной крупной диверсией. Текст приказа гласил:

«Считаю, Огневой, что ты без чьей-либо помощи можешь выполнить задание. Действительно ты должен сделать это один. Руди».

Ядран хорошо помнил и приказ, и удавшуюся операцию, подозрения и мрачные мысли начали развеиваться и уступили место удивлению и радости.

Обо всем этом он вспомнил сейчас, пока ожидал возвращения Огневого. Ядран, услышав в соседней комнате голос командира и

быстрый стук пишущей машинки, отложил письмо Белы и план в сторону.

Вошел Огневой. Ядран сразу понял, что предстоят какие-то боевые действия, и это его радовало больше чем когда бы то ни было. Лист бумаги в руке командира свидетельствовал о том, что и приказ уже готов. Старый, испытанный метод — взять комиссара приступом, чтобы тот сразу его подписал.

Бумагу, на которой крупными буквами было выделено слово «ПРИКАЗЫВАЕМ», Огневой протянул Ядрану:

— Познакомься, согласись и подпиши. Не задерживай. Засиделись мы. Давно не действовали. Пора покончить с этим застоем. Вражеских колонн все меньше. На дорогах тишина. А если что и перевозят, так под сильной охраной. Щипнешь тут, щипнешь там, но все это пустяки. И твоя Бела заснула. Прочитай приказ, не будем затягивать. Эта дорога почти не затронута. Она, правда, далековато, но ничего. Вряд ли на ней мы хоть раз стреляли. Застанем их врасплох. Подготовка операции потребует нескольких дней. Можем назначить ее на пятнадцатое. Надеюсь, что добьемся успеха.

Как только Ядран услышал о дате, названной и Белой для взятия Гулно, он взял приказ и поставил на нем свою подпись левее подписи командира, не прочитав и строчки. Огневой посмотрел на него с недоумением. Подписать приказ, не прочитав его! Озадаченный этим, командир сел и испытующе посмотрел на Ядрана. Не мог вспомнить ни одного приказа, над которым Ядран не просиживал бы часами. Затягивал, расспрашивал, пускался в пространные рассуждения, вмешиваясь в план действий, вечно лез со своими придирками «а в том случае», «а в этом». Ядран был крайне осторожен как из-за своей щепетильной честности, так и по причине необузданной смелости Огневого. Постоянно придирался к тону приказа, старался смягчить смысл выражения «любой ценой», которым Огневой, как правило, пользовался. Даже когда Ядран не имел принципиальных возражений, он старался отыскать хоть что-нибудь, лишь бы это «что-нибудь» позволяло выиграть время, необходимое для обоснования целесообразности предпринимаемой операции.

Никакой озлобленности или неприязни в этих спорах не было. Наоборот, это было доброе и надежное сотрудничество, основанное на противоположном подходе к достижению одной и той же цели. Все как будто в порядке, думал Огневой, но почему сейчас он вдруг сразу поставил свою подпись? Без всяких оговорок и без проверки. Подписал, можно сказать, незаполненный вексель.

— Послушай, Ядран, слепого доверия я не требую — ведь и сам слепо не доверяю ни тебе, ни кому-нибудь другому. Ответственность у нас общая. Но знаешь, доверие, выраженное таким вот образом, вызывает сомнение.

Ядран взял приказ и внимательно его прочитал. Затем сказал, что риск велик, но операция может иметь исключительно важное значение для отряда да и для всего движения.

Приказ отвечал расчетам Ядрана. Поэтому он и поспешил подписать его до того, как Огневой прочтет письмо Белы. Был почти уверен: командир не будет так безрассуден и не примет предложения Белы всерьез, хотя в душе побаивался этого. Но теперь уже поздно. Подписанный приказ командир никогда не отменял. Тем более что приказ подписан ими обоими. Дело сделано.

Теперь Ядран мог показать Огневому письмо Белы.

— Есть вести и от Белы,— сказал он.— И план приложен. Смелый, даже авантюрный. Прочти, и тебе все станет ясно. Предлагает, а вернее сказать, преподносит нам Гулно. Думает, видно, мы так легкомысленны, что примем все это всерьез. Написано рукой Белы, это уж точно. Но кто сейчас использует эту руку, что за всем этим кроется — большой вопрос.

Положив письмо и план перед собой, Огневой откинулся на спинку стула, будто собирался читать только что полученные стихи своего друга, с книгой которого он никогда не расставался.

На план взглянул мельком, а письмо Белы стал читать очень внимательно. Таинственная Бела, к которой он продолжал испытывать чувство глубокой благодарности, несмотря на поколебавшееся к ней доверие комиссара, никак не шла у него из головы. Письмо содержало как бы и загадку и ответ. Речь в нем шла о Гулно, уже это само по себе радовало Огневого, а мысль о возможности освобождения, о том, что пришло время наступления на крупные населенные пункты, делала его просто счастливым.

Затем он обратился к плану. Подперев голову обеими руками, погрузился в его изучение. Лицо его словно засветилось, что не на шутку встревожило Ядрана, не спускавшего с него глаз.

— Что-то ты увлекся,— заметил Ядран, желая вызвать его на разговор.

— Ты прав, когда говорил, что многие вещи прояснятся после того, как я все это прочту и во всем разберусь.

— Разумеется.

— Многое действительно стало ясным. И твоя поспешная подпись. Приказ, конечно, остается в силе. Подписи мы не снимаем.

— Операцию, которую ты решил провести, отменить нельзя,— добавил Ядран.

— Ни за что, только отложим ее. В приказе не нужно менять ничего, кроме даты проведения операции. Сначала займемся Гулно. Оно не может ждать. Назначен определенный день и час. Откладывать нельзя.

— Ты отказываешься от прежней операции?

— Нет. Будем придерживаться принятого решения. Но операцию ради этой можно отложить. Такой случай нельзя упускать. Этого нам никто не простит.

— Ты что, считаешь все это возможным?

— Возможным и еще как!

— Имеем ли мы право доверяться этим бумагам и быть такими слепыми?

— Сомнение хуже слепоты, Ядран. Страх парализует любую попытку. Он заранее обрекает операцию на неудачу, а людей на гибель.

— Огневой, но ведь речь идет о судьбе всего отряда. Смеем ли мы так рисковать? И мне хотелось бы верить этому письму, но не имею права, понимаешь, права не имею. Дорого может все это стоить.

— Значит, если бы и верил, то был бы против взятия Гулно?

— Предпочитаю не верить, нежели ставить под удар сотни жизней. Уперся ты, будто Гулно решает исход войны.

— Ни одно отдельно взятое сражение его не решает...

— Но может решить судьбу отряда.

— ...но, вместе взятые, они... Исход войны решают малые и большие сражения.

— Само существование отряда под угрозой, Огневой.

— Если отряд бездействует, это пагубнее для него, чем одна проигранная битва. Прошла пора и легких стычек, и легких трофеев. Мы должны действовать во все более сложных условиях.

— Несомненно, но никогда и нигде «любой ценой». Разве могут нас провоцировать сомнительные бумаги?

— Уж так ты сжился с этими своими сомнениями, так они в тебя въелись, что ты, похоже, ради них и живешь. Милый мой, ведь ты то же самое говорил и прежде, когда Бела сообщала нам о вражеских колоннах.

— Прочитай еще раз ее письмо, Огневой, и приглядись к плану.

Благоприятная возможность? Мышеловка! И ты бы ввел отряд в Гулно?

— Даже в том случае, если бы разделял хоть часть твоих сомнений.

— Без моего согласия.

— Разумеется, только с ним, Ядран.

— Не поведешь ли меня связанным?

— Ну что ты болтаешь! Впрочем, не обязательно идти всем отрядом.

— Так-то вот. Значит, и ты сомневаешься.

— Да нет. Возьму людей столько, сколько нужно для операции.

— Ты вроде бы хочешь поделить отряд: половина тебе, половина мне.

— Если не получится иначе, готов пойти и на это. Ну, хватит пререкаться. Знаем мы друг друга. Уверен, что ты и в меня веришь, и приказ подпишешь. Твои подозрения не оправданны, во всяком случае не в полной мере.

— «Не в полной мере» — все-таки оговариваешься.

— Бела, я в этом уверен, не дала еще серьезного повода для твоих подозрений и обвинений.

— А тот рейд колонны в глубь свободной территории?

— Не думаешь ли ты, что она должна все предвидеть? Слишком быстро мы забыли, как восхищались ею, как были ей благодарны. Ты говоришь, что боишься за отряд. Я боюсь не меньше. А кто боролся без потерь? Если бы мы всегда думали об опасностях, подстерегающих нас, то лучше было бы передать оружие тем, кто сможет его использовать разумнее. Я не могу забивать себе голову всевозможными предположениями. Могу лишь думать о приблизительных потерях. Видишь ли, Гулно я буду брать ценой возможной гибели десятерых. Пойду без оглядки, хотя и с чувством боли за партизан. Но назови мне их поименно заранее, я не смогу вести бой. Не смогу командовать. Могу только сам войти в эту десятку.

— Ядран, а как ты думаешь, почему она так уверенно назначает день и час — пятнадцатого с одиннадцати до двух ночи?

— Мне кажется, что вся эта определенность хорошо рассчитана. Заманить легкомысленных. Как можно обеспечить успех операции в течение именно этих трех часов?

— И я задаюсь таким вопросом. Но сколько бы мы ни гадали, все равно ничего не узнаем. Все выяснится лишь после того, как дело будет сделано.

— Да и не сомневайся я вечно, как ты говоришь, план все-таки похож на лабиринт.

— И меня это смущает, Ядран. Согласен, можем попасть в западню, в сущности это и есть западня, пока мы сами не раскроем ее секрет. Для этого нужно выяснить все тонкости, провести основательную разведку. Первый узел распутаем с помощью полутора десятка наших бойцов, уроженцев Гулно, есть у нас и пятнадцать надежных проводников. На каждую группу по два. Есть и люди, говорящие по-итальянски.

— А ночь, Огневой? Она против твоих правил.

— Ночь в данном случае — наш верный союзник и друг.

— До сих пор таким другом был, по-твоему, день.

— Для засад на дорогах. А тут нечто другое. Предложи Бела день, я бы усомнился так же, как и ты.

— Удивляюсь я тебе. Кто-то из нас не умеет воевать. Или, может, мы оба, когда вместе.

— Вместе и только вместе, Ядран. Но чтобы добиться успеха, мы должны перестать воевать между собой.

— Но ты всегда выходишь победителем.

— Чаще ты, чем я.

— Это уж и вовсе бессовестно.

— Нисколько. Своей осторожностью ты и вынуждаешь меня принимать все необходимые меры. Скажем, на этот раз используем лишь половину всего отряда и будем действовать со всей осторожностью. Писать приказ, Ядран?

— По-твоему, от моей подписи зависит, будет ли Гулно нашим?

— Ну конечно!

Огневой обнял Ядрана и стремительно вышел в соседнюю комнату.

Ядран долго еще слушал стук машинки, и ему казалось, что стучит у него в голове, будто отстукивает сама смерть. Гулно стояло перед глазами. Большая казарма, блиндажи, колючая проволока, пулеметы, красные линии маршрутов, крадущиеся бойцы — все это пеленой застилало глаза. Потом картина сменилась видением другого Гулно, уже взятого. По нему разгуливают партизаны, население ликует.

В назначенный день и час строго по плану приступили к проведению операции. Ядран шел во главе одной из групп. Был спокоен, ничто его в эти минуты не тревожило. Он выполнял задание и не думал ни о чем другом. Неслышно продвигаясь в темноте, наступившей после того, как скрылась луна, группа Ядрана пробиралась к блиндажу.

Будто направляемые чьей-то невидимой рукой, партизаны колоннами по одному, разувшись, пролезали через заграждения из колючей проволоки, пробирались дальше, ползли по улицам, в строгом соответствии с красными линиями, указанными на плане Белы. Гулно спало крепким сном. Без единого огонька, без всяких признаков жизни, оно выглядело пустынным, безмолвным островом в океане, где нет ни ветра, ни волн и царит тишина. Лишь по тихому дыханию можно было угадать присутствие колонн, но не обнаружить их.

Казарма под покровом ночи спала мертвым сном. И когда боец прыгнул на часового и снял его, и когда Огневой с несколькими группами вошел через главный вход и, освещая себе путь карманным фонариком, приказал собрать все оружие, составленное в коридорах, и когда были захвачены пулеметы в бойницах, казарма не издала ни звука. Лишь свет, вспыхнувший в двух десятках больших спальных комнат по приказу партизан, нарушил спокойствие и поднял на ноги сонных, испуганных солдат.

Молчали и блиндажи, к которым небольшими группами подступали партизаны из глубины населенного пункта, с тыла. Лишь один потревоженный и перепуганный часовой наугад выстрелил в Ядрана, легко ранил его, но тотчас был снят.

Затем Гулно быстро ожило. Впервые с самого начала войны засияли все уличные фонари. Тогда, в ту ночь, Гулно посчастливилось зажечь огни и рассеять тот мрак, который вот-вот должен был рассеяться и под звездами многих других таких же Гулно.

Жители осторожно выглядывали из окон. Затем, смелея все больше, выходили из домов и собирались на площади. Выходили, чтобы, несмотря на ночное время, отпраздновать победу.

Ядран почувствовал себя вовлеченным в какую-то неуловимую волшебную игру. Все выглядело фантастичным, нереальным, ибо реальность вдруг словно бы перенесла его в далекое будущее. И Ядран сдерживал свою радость, будто не имел на нее права. Этот ночной праздник, казалось, обвинял его и запрещал ему участвовать в торжествах. Недавние дни и часы, когда им владели самые мрачные мысли и предположения, вновь оживали в памяти, словно укоряя его. И ему захотелось как можно скорее найти Огневого, рассказать ему обо всем, поблагодарить за пережитое в эту ночь. Ядран пошел

к командиру, а тот, еще издали увидев его, подбежал, крепко обнял, не дал вымолвить ни слова.

VI

Теперь Ядран все чаще думал о Беле. Гораздо чаще, чем прежде, когда нежданно-негаданно узнал о ней, когда он верил и не верил ей, когда позже усомнился в самом ее существовании, а затем вновь убедился в нем. Пришел момент, говорил он себе, когда тайна должна раскрыться. Должен же кто-то прийти и все объяснить. Ради этого Ядран и остался в штабе, разместившемся в том же доме, где раньше находилась комендатура итальянцев. Каждое мгновение он ждал появления Белы.

Порой Ядрану казалось, что под именем Бела скрывается не одно лицо, а хорошо организованная законспирированная группа. Размах операции заставлял об этом думать. Усыпить целый батальон, всех солдат до единого, передать их, так сказать, гуртом партизанам — это ли не подлинное чудо, вряд ли случавшееся когда-либо во время войны. Может быть, Бела находится среди тех, кто захвачен в плен. Ведь там есть и офицеры.

До полудня никто не явился, и Ядран решил заняться поисками сам. Начал с офицеров, с самого главного из них, майора, командующего гарнизоном. Ядран представился, назвал себя, но уже с первых слов ему стало ясно, что его имя майору ни о чем не говорит. Продолжая поиск, он обходил пленных офицеров и солдат, называл себя, надеясь, что кто-нибудь воспримет имя Ядран как пароль. Он долго говорил с ними, объяснял цели освободительной борьбы, убеждал, что социализм победит во всем мире. Он все ждал, что кто-нибудь поднимет руку и попросит о беседе с глазу на глаз. Некоторые пленные запевали «Бандера росса», но никто из них так и не открылся.

Загадка казалась неразрешимой. Не смогла помочь и местная организация, только что вышедшая из подполья. Ни в поселке, ни в его окрестностях не проживал человек под таким именем. Ядран в конце концов склонился к выводу, что Бела не какое-то определенное лицо, а группа людей, не желающая по каким-то непонятным причинам раскрывать себя даже перед теми, ради кого она существует, живет и борется.

Но отступать не хотелось, хотя все пути к Беле, казалось, были перекрыты. Не было никакого просвета. Все, что он пытался предпринять, выглядело глупым, смешным и наивным. Ночи проходили в тревожных снах, Бела являлась то красавицей, то привидением, неосязаемой мерцающей тенью. Ему не оставалось ничего другого, как предоставить разгадку времени и случаю.

В отличие от Ядрана связной Сречко воспринял происшедшее иначе. Для него Бела была и осталась женщиной, о чем свидетельствовало само имя, такое необычное, красивое и уже дорогое. Он допускал, правда, что это не подлинное ее имя, а существующее лишь в потоке писем из Гулно к Ядрану.

Ни с кем не посоветовавшись, Сречко решил самостоятельно заняться розыском. Именно ради этого он и вызвался занять «должность» первого партизанского почтальона в Гулно. Надел форменную фуражку своего предшественника, на которую пришил пятиконечную звезду. Взял на почте недоставленные письма, все до единого распечатал и прочитал, а затем искусно заклеил их клейстером. Надписал десяток чистых конвертов и проштемпелевал их, указав вымышленные имена и фамилии адресатов; его почтовая сумка была теперь полна. Самым важным из всех конвертов был для него белый конверт, на котором крупными буквами было выведено: «Бела — Гулно».

Сречко отправился разносить почту, намереваясь не пропустить ни одного дома, пока не достигнет цели, и в каждый дом входил он радостно, как будто собирался вручить людям нечто чрезвычайно важное и дорогое. Затем озабоченно перебирал конверты, что-то бормотал себе под нос, расспрашивал о тех или иных известных лицах, а дойдя до белого конверта, называл имя Белы. Иногда для ускорения процедуры еще с порога выкрикивал: «Есть письмо для Белы!». И каждый раз его возглас вызывал у окружающих недоумение.

Повсюду Сречко как первого партизанского почтальона встречали приветливо. За эти несколько дней он выпил кофе и ракии больше, нежели за всю свою партизанскую жизнь, а кое-где не мог отказаться и от сытного обеда. Везде и всюду он заводил разговор о Беле, просил помочь ему, он, мол, обязан сделать все, чтобы вручить ей письмо. Но его старания не имели успеха. О Беле никто ничего не слышал, да и имени такого раньше не знали, теперь же, благодаря Сречко, оно было у всех на устах.

Никакие неудачи не могли заставить Сречко отказаться от своего намерения. Он был уверен, что ни в одном доме он еще не встретился с Белой.

Всякий раз, когда Сречко произносил имя Белы, он внимательно наблюдал за тем, как каждая из женщин ведет себя, как смотрит на него. И при всей своей проницательности ровно ничего не мог заметить такого, что дало бы ему хоть малую надежду.

Между тем Сречко не ограничивался поиском только в домах. Занялся улицей и проходами. Особое внимание он обращал на девушек, идущих по улице, следовал за ними, прислушивался к их разговору и, выбрав подходящий момент, произносил имя «Бела», ожидая, что кто-то из них вздрогнет, остановится.

Как-то утром шел он по тротуару и поглядывал на прохожих; на противоположной стороне улицы его внимание привлекла стройная девушка, не встречавшаяся ему до сих пор. Не имей Сречко определенной цели, такая красивая девушка все равно бы обратила на себя внимание, и он наверняка последовал бы за ней, попытался бы заговорить. Теперь к этому его побуждала необходимость. Он сразу перешел через улицу и последовал за девушкой, дивясь ее красоте. Боясь, что она может зайти в какой-нибудь дом и ускользнуть, приблизился на расстояние одного-двух шагов и тихо прошептал: «О, Бела». Девушка оглянулась, лицо ее засветилось, она радостно, словно для объятий раскинула руки. Но в тот же миг все угасло. Исчезло как пыль на ветру. Взгляд стал холодным, отчужденным, лицо побледнело. Не произнеся ни слова, она отвернулась от Сречко и как-то неуверенно пошла дальше; стройный стан ее мягко изгибался, на плечи, подобно широкому вееру, ниспадали золотистые волосы.

— Девушка, постой! — крикнул Сречко.— У меня для тебя письмо.

Она бросила взгляд на конверт и с насмешливой улыбкой сказала:

— Никогда и не слышала такого имени.

— Стало быть, искать уже не надо,— продолжал Сречко, не отступая от нее ни на шаг.— Тебя разыскивают. Ты не приходишь сама, и я напрасно обиваю все пороги. Какого черта ты прячешься от своих?

Девушка повернулась, сурово глянула через плечо и ответила, что она ни от кого не скрывается и меньше всего от тех, которых даже не считает своими. С такой отчаянной решимостью она противилась встрече, что взять верх могли только дерзкая настойчивость и упрямство Сречко.

— Ну и артистка ты, Бела. Все играешь. У тебя и без того важная роль. Может, все-таки поговорим серьезно?

— Не о чем мне с вами разговаривать. Я Ольга Тебич, если уж хотите знать мое имя. С вами и с вашими не имею ничего общего. Знать вас не хочу. Вот уж, право, напасть.

— Меня не проведешь. Если ты не Бела, то почему обернулась, когда я назвал это имя? Сперва обрадовалась, а потом сникла. Да и сейчас — то краснеешь, то бледнеешь. Намучился я с тобой за эти дни, пора уже перестать тебе притворяться. Я как тебя увидел, сразу сказал: это — Бела.

— Нечего мне стыдиться, незачем ни перед кем притворяться.

— Не надо было бы притворяться — не притворялась бы,— упорствовал Сречко.— Верно, тебе нечего стыдиться. Скорее, можешь гордиться. И не только своей красотой,— добавил он полушутя, полусерьезно.

— Прошу вас, уходите.

— Уйти? Ни за что. Я вот эти свои партизанские ботинки все изодрал, пока тебя разыскивал, а сейчас, когда нашел,— отпустить? И перестань, пожалуйста, «выкать», когда говоришь со мной. «Вы» да «вы». Говори «ты», как принято у нас, партизан.

— Я не из леса пришла.

— Меня не разозлишь. Будь уверена. Мой-то комиссар Ядран, представляешь, искал тебя среди пленных. Я ему говорю: не дури. Бела — существо женского рода. А сейчас он вбил себе в голову, что Бела чуть ли не какое-то небесное создание. Наблюдательница с неба. Не знаешь ты еще комиссаров. Мудрецы. Думаешь, мне так сразу и поверят, что я тебя нашел.

— Бог с вами и с вашим комиссаром. Я не имею к вам никакого отношения.

— Имеешь, и еще какое! Поверишь ли, здесь нет ни одной женщины, к которой бы я в эти дни не приглядывался, не следил бы и не прикидывал — не ты ли это. Правда, не каждую я окликал твоим именем. Решал: здесь попробую, а здесь нет. Слышу, женщины разговаривают о кукурузной муке, о вениках. Виноваты, видите ли, партизаны, что нельзя пойти в лес за вениками. Разве среди них надо искать Белу? Круг поисков все сужался, но надо было попасть точно в цель.

— Убирайтесь от меня! Избавьте от своей глупой болтовни!

— Вполне сознательное поведение. Будто в полиции держишь экзамен на благонадежность. Впрочем, разве я могу требовать, чтобы ты сразу передо мной открылась? Кто я такой? Обычный связной, вечно на побегушках, все слышу, все знаю. Но как бы там ни было, согласись, нюх у меня — что надо. Не подведет, знаю, что ты для нас значишь. Снимаю перед тобой фуражку и кланяюсь до земли.— Сречко действительно слегка приподнял фуражку и учтиво поклонился.

— Вы в самом деле сумасшедший. Найдите кого-нибудь, остановите и дурачьтесь. Проваливайте-ка отсюда!

— Тебе грубить не пристало, Бела. Ты сама словно вышла из леса. Да и я никакой не сумасшедший. Сказала бы: придурок — я бы согласился. Нечто среднее между умным и дураком, так я сам считаю. У меня много знакомых. Глупости мне все прощают. А вот скажу умное слово — все смеются, спрашивают: «Откуда это у него?». Не будь я таким, разве мог бы тебя разыскать? Разве кто-либо из умных стал бы делать то, что я делаю? Целую неделю выискиваю некую небесную. Сумасшедшему это не подходит. А умному еще меньше. Поверь, умному труднее дурачиться, чем придурку мудрствовать. И еще должен тебя же убеждать, что ты не та, за кого себя выдаешь, а та, каковой являешься. И все-таки рад я этой нашей первой встрече. Вторая может оказаться не такой уж приятной. Теперь тебя могут доставить в штаб и под стражей. Конечно, все зависит от Ядрана.

— Окажете большую честь вашему оружию.

Девушка свернула в проулок, где между двумя небольшими домишками находился и ее домик, еще меньший.

Сречко направился в штаб. Сделав шагов двадцать, резко обернулся и заметил, что девушка наблюдает за ним через закрытое окно. На углу улицы к нему подошел человек преклонных лет и сказал:

— Почтальон, в плохом обществе ты оказался. Избегай этой личности. Хватает у нее совести появляться среди достойных людей. Да ты о ней порасспроси тут немного.

Сречко растерялся. Уж не переусердствовал ли он и не раскрылся ли перед той, которую ошибочно принял за Белу? Не слишком ли на себя понадеялся? Что, если так? Но существует и другое «если». Может быть, она сама умышленно вызвала к себе презрение. Он-то знает, на что порой приходится идти ради выполнения задания. За эту мысль он и ухватился, вновь уверовав, что не ошибся.

Сречко поспешил в штаб. Приготовился обстоятельно доложить обо всем. Однако осуществить это намерение не позволил Ядран, встретивший его градом упреков, вопросов.

— Где ты пропадаешь целыми днями? Думаешь, война закончилась и ты можешь бродяжничать. В штаб и носа не показываешь. Говорят, ты не почтальон вовсе, а какой-то партизанский шут. Люди жалуются.

— Лишь бы женщины не жаловались.

— Этого еще не хватало!

— Я только любуюсь ими. Ну что сидеть в штабе. Вышел бы и ты к народу. Настоящий комиссар так бы и сделал. А то я и почтальон, и комиссар, и все должен объяснять народу, всю политику.

— Я сижу не потому, что мне так хочется. Тебе известно, я вынужден тут быть. Должна же, наконец, появиться эта Бела.

— Ты, Ядран, полысеешь, сидя здесь, если будешь ждать, пока она сама придет. Присоединился бы ко мне, вместе бы ее искали. Может, быстрее бы и нашли. Я один измотался. Но ты мне все равно помог.

— Я тебе помог?!

— Ты, ты. Однажды ты сказал в шутку: мол, скрылась она в облаках. Может, комиссар и прав, подумал я. Помня твои слова, все время поглядывал на небо. Но в эти дни, как на грех, нигде ни облачка. Лишь сегодня утром появилось одно, белое, как снег, похожее на необычную птицу с огромными крыльями. Постояло над Гулно и вдруг исчезло, растаяло. Оглядел я улицу, а это облачко обернулось девушкой. Опустилось, видно, землю украсить. Какой же умный у нас комиссар, говорю. Так вот и нашел ее благодаря тебе. Назвала она себя Ольгой Тебич.

И Сречко не спеша продолжил свой рассказ. Целых полчаса говорил так, будто читал вслух какой-то приключенческий роман. Ядран слушал его с изумлением, с интересом, но все произошедшее казалось столь невероятным, что Ядран слушал Сречко, скорее желая доставить связному удовольствие. Но не верил ему.

— Почему она все-таки не хочет признаваться?— продолжал Сречко.— Не так уж я догадлив, чтобы разобраться в ее мыслях. Ты сам подумай обо всем этом. Но мы должны что-то предпринять. Разговор с ней — это одно, а вот сама она, какой ее бог создал, такая, что ни один писатель не смог бы ее описать, ни один художник нарисовать. Любая картина по сравнению с ней — ничто. Если она действительно наша, то она наша добрая фея. Только не создана она для леса. Я уж это знаю. Кто хоть раз увидит ее, никогда не забудет. Ты должен с ней встретиться, но берегись, комиссар, потеряешь голову.

— Вырвался ты из леса, правильно она сказала. Каждая женщина для тебя как из сказки.

— Ну, не каждая, положим, но многие. Только никто с ней не сравнится. Такая рождается один раз. Вот когда увидишь, тогда и поговорим. Глаза у меня голодные, это правда, но не слепые.

— Хорошо, предположим, что она Бела. Тогда почему она в этом не признается?

— Слишком много от меня требуешь. Для чего я тебе обо всем толкую, как не для того, чтобы ты, как старый подпольщик и конспиратор, поразмыслил и принял какое-то решение.

— Не знаю, понять не могу. Видно, есть у нее какая-то причина. Не хочет она себя раскрывать. Как ты считаешь, не привести ли тебе ее сюда вроде бы как под стражей?

— Как бы под стражей или действительно под стражей?

— Судя по тому, что сказал тебе тот человек, Сречко, есть основание для привода ее под стражей. Совершенно очевидно, что ей здесь не доверяют, относятся к ней с подозрением.

— Это так. Когда мы шли, никто ей не кланялся. И она ни с кем не здоровалась. Спешила, будто боялась чужих глаз. Ее презирают. Если бы я не знал твердо, что она Бела, никакая сила не заставила бы меня провести ее как арестованную через поселок, будь она стопроцентной шпионкой. Но сейчас другого выхода нет, придется стать жандармом.

Перед тем как пойти за Ольгой, Сречко снял фуражку почтальона, которая, решил он, уже сделала свое дело, и надел свою старую партизанскую пилотку. Облачился и в новую униформу, только что снятую с какого-то итальянского унтер-офицера. Затянулся широким солдатским ремнем и взял короткую итальянскую винтовку с примкнутым к стволу штыком.

При мысли о том, что ему придется вести под ружьем через все Гулно самую красивую девушку из всех, что ему довелось видеть, Сречко испытывал чувство неловкости. Оказавшись перед такой вот неизбежностью, он понимал, что играет лишь второстепенную роль в драме, которую пишет война. Он не думал об этом во время поисков Белы. Хотя знал, и еще как знал, что война не признает ни слез, ни милостей, не защищает в ней и принадлежность к женскому роду, не смягчает вины.

Утром, ровно в десять, Сречко постучал в дверь к Ольге. Без лишних слов и всяких объяснений резко и отчужденно приказал девушке одеться и следовать за ним. Девушка между тем не проявляла особых признаков волнения. Держалась надменно. А ее родители даже не удивились, словно этого ожидали. Проводили дочь молча, не попрощавшись, без единой слезы и вздоха, и это больше всего поразило Сречко.

Намеренно выйдя на главную улицу, Сречко приказал девушке идти вперед, а сам пошел за ней. Такой порядок следования и винтовка со штыком, поблескивающим над головой Сречко, со всей очевидностью говорили — Ольга под подозрением, партизанские законы возымели действие. Сречко вел ее по самой середине улицы и тем самым еще больше привлекал внимание и любопытных прохожих, и тех, кто выглядывал из окон и дверей. Подобное зрелище лишний раз подтверждало слухи о сомнительных связях красавицы с итальянскими офицерами. Молчаливая ненависть окружала ее. На улицах воцарилась тишина, нарушаемая только шагами Ольги и Сречко, медленно проходивших между рядами застывших людей. Такое осуждение тяжелее любых слов, выкриков, ругательств, но казалось, на Сречко оно действовало сильнее, нежели на Ольгу. Девушка не склонила головы. Шла выпрямившись, не выказывая и тени боязни или смущения под нацеленными на нее взглядами, разившими как пулеметная очередь.

Завернув, наконец, за угол и введя девушку в кривой переулок со сплошными заборами, который вел к штабу, Сречко приостановился, вытер рукавом лоб и вздохнул глубоко, как после пережитого кошмара. Да, подумал он, это были минуты их общего унижения. Медленно шли они по глухому переулку, где никого уже не было. Сречко каза-

лось, что оба они испытывают чувство, подобное тому, какое возникает у людей, вместе и благополучно переплывших бурную реку и оказавшихся на противоположном берегу. Ему казалось, что наступил момент, когда Ольга, наконец, должна сбросить маску и заговорить с ним иначе, прекратить бессмысленную игру в жмурки. Девушка украдкой поглядывала на Сречко, и это не ускользнуло от его внимания. Пора уже было довериться друг другу.

— Слушай, Бела,— сердечно заговорил Сречко,— покончим с комедией. Сама же виновата, что дошло до этого. Разве я меньше унижен? Может, было бы лучше не искать тебя и не находить. Но ведь когда люди иной раз попадают в двусмысленное положение, унижение — не что иное, как плата за их дурную славу. Ты не из тех, кто легко падает духом. Сегодня ты это доказала. Когда-нибудь те же самые люди будут восхищаться и гордиться тобой.

— Ну и лицемер,— сказала девушка.

— Упрямая же ты. И сейчас не хочешь говорить, как с товарищем. Не тот уровень. Просто связной. Окончил пять классов гимназии. Прочитал три романа да немного стихов. Разве перед ним исповедоваться? И все же я восхищаюсь тобой. Другая бы хныкала, дрожала от страха, умоляла, клялась. А у тебя, видно, нет к тому оснований. Боялся, не выдержишь, остановишься и выкрикнешь правду. Да, нечто огромное связывает тебе язык, заставляет молчать... Не радуешься ты моим словам. Может, я слишком серьезен. Если это не нравится, начну как прежде. Могу и поухаживать.

— Ухаживать за арестованной? Ну и мораль!

— Вот ты и попалась. Только наш человек может так сказать. Ты словно была на курсах у комиссара. Нашу мораль ты знаешь хорошо.

— Поищите лучше какую-нибудь другую девицу, с ней и болтайте.

— Знаю, я виноват. Но как упустить такой случай, видно последний, и не поговорить с тобой. Ты ведь не признаешь себя Белой, а если это так, не упрекай и меня. Ну, а теперь — два шага вперед, штаб близко.

Девушка ускорила шаг и едва заметным движением головы забросила за спину волосы. Луч солнца, блеснув в водопаде чистой воды, разлился по ее плечам.

VII

Ядран с волнением ожидал появления девушки. Ее наружность после описания Сречко вызывала любопытство. Надо было ему выглядеть так, чтобы достойно, как и полагается комиссару, представлять новую власть. Заслышав шаги в коридоре, он снял пилотку, пригладил волосы, сдул пылинки с плеча и сел за стол. Перебирая бумаги, он словно разыскивал важный документ, единственно необходимый для принятия важного решения. Он был готов к встрече. В голове созрел ясный и четкий план разговора с девушкой, которая может оказаться Белой.

Дверь отворилась. Вошел Сречко, неплотно прикрыл дверь и доложил громко, так, чтобы могла слышать и девушка, остававшаяся за дверью, что привел Ольгу Тебич.

Девушка вошла легко, непринужденно и встала около двери, которую закрыл за ней вышедший из комнаты Сречко. При ее появлении Ядран пришел в полное замешательство и чуть ли не остался с полуоткрытым ртом, невольно залюбовавшись ею. Перед ним предстала девушка из сновидений.

Огромные голубые глаза смотрели на Ядрана загадочно и вместе с тем вызывающе, смело и женственно. Какое-то странное оцепенение охватило его. Он жестом предложил ей сесть. Сам сел с противоположной стороны стола, словно потеряв дар речи. Будто почувствовав состояние Ядрана, девушка заговорила первой:

— Вы и есть тот самый комиссар Ядран, по распоряжению которого меня арестовали?

— Да. Но ваше прибытие сюда не означает ареста,— ответил он, все еще взволнованный.

— Привод под конвоем на глазах у всех разве не означает ареста?

— Допускаю, что произошла ошибка.

— Этого я, право, не понимаю.

— Буду откровенен, о вас здесь ходят недобрые слухи.

— Нужно ли верить всяким слухам?

— Кое о чем говорят и факты. Вы были дружны с итальянскими офицерами. Не так ли?

— Означает ли это, что я совершила преступление?

— А что вы сами думаете об этом?

— Я не считаю, что запятнала свою честь.

— В глазах народа до некоторой степени запятнали.

— Моя совесть чиста.

— Наше право это проверить. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-нибудь кличка, псевдоним?

— Знаю, кого вы ищете. Ваш связной называл меня Белой. Смешно.

— Оставим связного. Может быть, вы знали молодого человека, ушедшего отсюда в партизаны?

— Знаю нескольких, хотя с ними не дружила.

— Знали ли Игора?

— Он не здешний. Жил здесь некоторое время.

— Видите ли, я и сам не знаю его фамилии. Умирая, он сказал мне лишь свое имя.

Лицо девушки словно окаменело. Ядран замолк. В какое-то мгновение она превратилась в белое мраморное изваяние. Сидела неподвижно, с угасшим взглядом, почти не дыша. Затем стиснула зубы, будто сдерживая крик, глаза ее увлажнились, и слезы полились неудержимо.

— А я его жду каждую минуту,— заговорила она, немного успокоившись.—Когда услышала вдруг на улице: «Бела», вздрогнула, подумала: «Это он». Голоса похожи. Ждала его с той самой ночи, когда вы ворвались в поселок. Ждала всегда. Так хотелось увидеть его, каков он, когда ни от кого не скрывается. Как он, активный деятель подполья, назначает встречи, проводит собрания. Как ведет себя на людях, когда то или иное дело не надо готовить и хранить в глубокой тайне. А могла ли быть для него такая свобода? Свободой для него была борьба. Поэтому он и не вышел из нее. Думаю даже, долго он прожил, урвал у смерти месяцы, годы. Прожил дольше, чем суждено таким людям. Повластвовал это время над смертью. Как он погиб?

— Мы нашли его неподалеку от Гулно. Он был тяжело ранен тремя пулями.

— Стреляли отсюда. Я помню нашу последнюю встречу в ту ночь. Тогда я думала больше о том, что ожидает меня, а не о нем. Он привык к опасностям, и я не подозревала, что с ним в ту ночь может что-нибудь случиться. Сказал, что выйдет из Гулно с восточной стороны, но через час, не более, я услышала стрельбу на южной окраине. Мне и в голову не пришло, что он попал под обстрел. Так я ничему и не научилась у Игора. Должна была знать, он пойдет не туда, куда сказал. Таков Игор.

Почему я сама не объявилась? Зачем заставила разыскивать меня и наконец арестовывать? Днями и ночами могли бы водить меня с допроса на допрос, но я никогда не призналась бы вам, что я Бела, если бы не смерть Игора. Он связал меня словом. Только он один знал обо мне все. Никогда, ни при каких обстоятельствах не выдала бы себя, он бы мне этого не простил, это было бы равносильно преда-

тельству. А теперь, когда он мертв, я ведь не изменяю ни ему, ни своему слову. Ты ведь знаешь, как я вела себя со Сречко. Так же было бы и с тобой. Доживи Игор до этого дня, я и сегодня была бы вам неизвестна. Не получила бы права разделить с вами этот праздник.

— Это его настоящее имя — Игор?— спросил Ядран.

— Уже при расставании, уходя в лес, он сказал, что Игор его настоящее имя и он уже не будет его менять. Словно предчувствовал смерть.

— Давно вы сотрудничаете, Бела?

— Спроси лучше, с каких пор мы знакомы. Три года назад, в Загребе, еще первокурсницей, начала и я, следуя скорее моде, чем внутренней потребности, искать смысл жизни в студенческой борьбе. Тогда и столкнулась с ним. Рядом с ним я чувствовала себя порой куклой, пустышкой. Только познакомившись с ним, поняла, что почти ничего не знаю о жизни, обществе и о многом другом. Он говорил, что глаза мои красивы, но слепы и он с трудом раскрывает их. С ним я прошла целую школу и много экзаменов в ней сдала. Игора я боялась, ненавидела и любила. Во мне росло чувство, оно будто притаилось между нами. А он не хотел этого даже замечать. До конца я так и не разгадала его. Сколько раз хотелось увязаться за ним, пройти по Загребу, узнать его извилистые маршруты. Он успевал всюду, где проводились операции. Однажды его ранили в ногу. Пришел ко мне, в мою маленькую комнатку, чтобы я перевязала рану. Как его ранили, кто его ранил — не посмела и спрашивать. Моя квартира служила ему убежищем. Не знаю, сколько еще было у него таких, как я. Никогда не знала, придет ли, возвратится ли живым. А когда, наконец, «припекло» в Загребе, вынужден был, видимо по чьему-то приказу, скрыться. Остановился здесь.

До прибытия Игора здешняя организация была обезглавлена, отрезана от всех. Он вдохнул в нее жизнь, укрепил ее, очистил от тех, кто бездействовал, ожидал лучших времен. Вначале не дал мне включиться в работу. Держал в запасе, на тот крайний случай, если, по его словам, организация будет раскрыта и придется создавать новую. А через несколько месяцев неожиданно включил в работу и меня. Если что случится и меня здесь не будет, говорил он, работай так, словно я рядом с тобой. Тогда я и представить себе не могла, что буду в состоянии действовать самостоятельно. Боялась ошибиться, даже сказать лишнее или пустое, и никак не могла, да уже и не хотела, от этого чувства избавиться. Его мировоззрение стало моим мировоззрением. Постепенно я становилась другой. И когда порой вспоминала себя прежнюю, то создавалось впечатление, что я сравниваю двух разных людей.

Когда то тут, то там, но еще вдалеке от нас уже завязывались бои, он начал посвящать меня в некоторые свои планы. Приказал чаще бывать на улицах, знакомиться с итальянскими офицерами, завоевывать их доверие. Итальянский язык, которым я владела прилично, должна была совершенствовать. Как мне забыть вот эти слова: «Ты должна быть той красивой овечкой, каковой ты и являешься, и той глупой овечкой, каковой ты не являешься. Память и уши теперь твое оружие. Слушай и запоминай. Ты знаешь, что именно нас интересует». Обещал мне вскоре помочь. О какой помощи шла речь, я не догадывалась. Вскоре я стала самой дорогой гостьей в чужом, ненавистном мне кругу. Обо мне пошли всякие слухи. Игор был очень доволен. Тогда он и начал оказывать свою «помощь». Приказал мне пореже появляться на собраниях организации, постепенно отходить от нее. Это меня обижало и беспокоило, но игра уже началась. Однажды ночью Игор пришел ко мне и сказал, что товарищи из подполья, по его предложению, решили не считать меня членом организации и подвергнуть бойкоту как подозреваемую в сотрудничестве с оккупантами. Я ужаснулась. Он пытался все объяснить, но не смог утешить. Словно весь белый свет отвер-

нулся от меня. Улица меня не признавала. На мои поклоны мало кто отвечал. Бойкотировал меня и Игор. Каторга, да и только, если не хуже. Только ночью в беспокойные комендантские часы он заглядывал ко мне, старался приободрить, давал новые поручения. Видя его перед собой, забывала все страдания. Минуты, проведенные с ним, помогали мне быть мужественной. И все же я больше боялась за Игора, чем за себя. Такие люди в любой момент могут не возвратиться. Его гибель означала бы и мой конец. Никогда и никто не смыл бы позора с меня, ни с живой, ни с мертвой. Я просила сообщить хоть кому-нибудь о порученной мне роли. Он отвечал с улыбкой: «Там, «наверху», знают». А что это — «наверху»? Кто будет спасать мою честь и жизнь, когда потребуется? Вероятно, обманывал меня, но даже слабая надежда вселяет веру.

В свою роль вживалась мучительно. Ни на одно мгновение не смеешь забывать, кто ты есть, и должна представляться такой, какой не являешься. Презрение моих единомышленников преследовало меня как призрак. «Предательница, «шпионка», «итальянская подстилка»,— то и дело слышала я. Однако терплю, должна.

Перед самым уходом Игора мы изучали азбуку нелегальной работы. Я писала обычные буквы. А он разворачивал лист бумаги с написанными им самим буквами, и начиналась работа. Писала я эти его буквы, не зная еще для чего, без конца, как проклятая, писала при нем и без него до тех пор, пока уже нельзя было отличить мою рукописную таблицу от образца. Диктанты совершенствовали технику. Краткий условный текст всегда содержал донесения о передвижении воинских частей, о численности и вооружении неприятеля, о расположении пулеметных гнезд в Гулно; он диктовал, а я записывала своим новым искусственным почерком. Образец алфавита спрятала и храню. Этим шрифтом я писала вам сообщения. Одна из предосторожностей Игора на тот случай, если вдруг письмо попадет в чужие руки.

Даже сознание исполненного долга не утешало, а когда, немного позже, прекратились упреки и оскорбления на улице, наступило самое тяжелое. Я поняла: люди боятся моего доноса и тюрьмы. Страх охватывал при мысли, что меня казнят не враги, а свои. Умоляла Игора как-то защитить меня.

Тяжело вспоминать. Остается горький осадок. Все это не идет из головы и сейчас, когда я свела счеты с гарнизоном Гулно. На такие муки я бы не обрекла и грешников в аду.

Ядран, внимательно слушая девушку, старался вникнуть в самую суть, добраться до истины.

— Мне и по сей день не ясно, Бела, каким образом мы захватили Гулно.

— Сама идея возникла давно, полгода назад, при посещении гарнизона генералом. За несколько дней до его приезда в армейских подразделениях началась невообразимая сумятица. Днем и ночью чистили оружие, одежду, казармы, подметали улицы. Вместо двух парикмахеров заработали десять. Начались муштра. И солдаты и офицеры упражнялись в шагистике и во все горло кричали: «Господин генерал». Не знали ведь, кому повстречается генерал. А после посещения генерала и его торжественных проводов солдатня свалилась без сил. Посты остались без сторожевых, а если где часовой и был, то и он спал или дремал. Тогда вы еще не думали о захвате крупного населенного пункта. Знай вы о том, какую помощь может вам оказать визит «господина генерала», наверное, рискнули бы сами, и все бы удалось. Еще тогда, после отъезда генерала, я спрашивала себя, может ли это повториться, ведь фронт как будто подходит ближе, а генералы от него удаляются.

Но вдруг генерал замаячил снова. Армейское подразделение должно занять казарму с его торжественного благословения. Вот когда

мне пришлось поработать в поте лица. Лишь за двадцать дней начали поговаривать и о времени посещения, называть число. Риск был велик. Ожиданием этого дня жили и офицеры, и солдаты, а вместе с ними и я. Больше всего меня интересовала точная дата приезда.

Самые мучительные дни наступили после того, как я послала письмо и план. Не прибудет генерал в назначенный срок, и я вовлеку вас в западню. Думала, спасу положение тем, что крадучись выйду из поселка вам навстречу, чтобы предупредить. К счастью, все окончилось благополучно. А случись иначе, кто бы мне поверил?

— План города, рисунок выглядят так, будто его делал художник и профессиональный военный,— заметил Ядран.

— Рисовал Игор. Когда завязались бои еще вдалеке от Гулно, мы однажды взобрались на Црни врх, откуда он и набросал план населенного пункта. Перед уходом отдал рисунок мне с просьбой сохранить его на тот случай, если потребуется. Услышав о прибытии генерала, вспомнила о словах Игора и о рисунке. Мне же оставалось «испортить» его, указав синим карандашом военные объекты, а красным проложить ваши маршруты. Признаюсь, «портила» я его с большим удовольствием. Я начертила на этом рисунке свой план и покончила с собственной раздвоенностью. Развязка наступила, и я наконец могу открыто смотреть людям в глаза. Игора больше нет, и мне не надо прятаться, можно действовать открыто. Я хочу увидеть дневной свет. Но обвинения против меня так серьезны, что лучше всего вместе пойти в комитет. А еще лучше пойти тебе одному и все им объяснить. Я вся в грязи, Ядран, и не так-то легко отмыться, нужны веские доказательства. Обязательно возьми с собой письмо и план.

— Надеюсь, Бела, ты не думаешь об этом всерьез,— сказал Ядран.

— Разве я сама должна пойти в комитет?

— Похоже, мы не понимаем друг друга. Не навсегда же мы освободили Гулно, и война еще не окончена. Мы, партизаны, только начали свое настоящее сражение. Гулно еще не раз будет переходить из рук в руки. Война продолжается. А наше пребывание здесь? Сколько оно еще продлится? Несколько дней, самое большее неделю, и «до свиданья, Гулно, до новой встречи». Оккупанты в округе накапливают силы, собираясь нас прогнать. Выходит, рано говорить о твоем расставании с Гулно. У нас бы ты стала рядовым бойцом.

— Это единственное, чего я желаю.

— Верю, ты стала бы храбрым бойцом и с винтовкой в руках, но вторую Белу мы не найдем. Догадываешься теперь, почему мы тебя арестовали?

— Моя репутация — достаточное к тому основание.

— Дело не в репутации, а в предположении, что ты и есть Бела, а твоя репутация — хорошее прикрытие.

— Сначала я верила, меня испытывает Игор. Хочет знать, откроюсь ли я вам здесь, без него. Еще один экзамен, думала я. Это на него похоже. А теперь, когда я знаю все, даже мысль о том, что вы меня здесь оставите, кажется чудовищной, невыносимой. Имею же я право на этот раз сказать: нет.

— Это самое легкое. Но я думаю, не можешь, не имеешь права.

— Что же, для меня всегда должен существовать некий Игор?

— Каждый из нас имеет своего Игора. Ведь мы, идя к свободе, не можем быть свободными.

— Это что же — приказ?

— Да. Но приказываю не я. И непослушание влечет за собой то, чего никто из нас не желает.

— Но, Ядран, прибудут новые воинские части. Как я опять пробьюсь в их берлогу? Нет больше сил. Как после всего, что случилось со мной, вы выпустите меня на свободу?

— Выпустим вместе кое с кем из арестованных. С теми, вина которых не доказана. Теперь тебе будет даже легче. И сегодняшний

арест послужит тебе лучшей рекомендацией и для оккупантов. Мы еще поговорим о том, как тебе начинать снова. А сегодня мы здесь только благодаря тебе. Отряд в этой операции всего-навсего принял добычу, которую ты преподнесла нам как на блюдечке. Наши силы после освобождения Гулно почти удвоились.

— Воздержись от похвал. Похоже на обычную лесть, а я и без нее должна на все согласиться. Но ты все расскажи секретарю комитета. Тогда я не буду так одинока...

— Сейчас это невозможно. Люди попадают в тюрьму, пытки стали изощренными, а, выбирая муку, смерть или признание, человек может дрогнуть. И если, зная нашу тайну, секретарь действительно будет арестован — а это легко может случиться,— ты из предосторожности должна будешь бежать. Так было и до войны. Да простит меня секретарь за мои сомнения. Впрочем, закон конспирации остается законом.

— Ты такой же, как и Игор. И опять я одна, всеми презираемая. Тяжелее всех мук, о которых ты говоришь.

— Засияет и твой день, Бела.

Собственно, на этом и закончился их «служебный» разговор. Ядрану он как будто удался. Но оставалось еще порядочно времени до того момента, когда Белу нужно было «освободить». По мере того как Бела приходила в себя и успокаивалась после потрясения, вызванного известием о смерти Игора и необходимостью продолжать работу, лицо Ядрана выражало все большую озабоченность. Теперь присутствие Белы смущало его. Когда она бросала на него взгляд, то видела, что глаза Ядрана блуждают по стенам, будто прослеживают полет назойливой мухи. Мешали ему и руки. Он решительно не знал, что с ними делать. То складывал их перед собой на столе, сжимая пальцы, то убирал за спину, но когда забывал о них, то жестами сопровождал короткие фразы, произносимые с легкой дрожью в голосе. Паузы становились все длиннее, и он никак не мог начать самый обычный разговор. Ядран чувствовал, что любовь к этой девушке овладела им с того момента, как он ее увидел, и теперь вот лишила дара речи.

Присутствие Сречко, конечно же, помогло бы ему и сейчас. Но Ядран не мог позвать его — тайна должна оставаться тайной. Понимая в то же время, что Сречко не так-то просто будет объяснить, Ядран обдумывал, как ввести его в заблуждение. Надо было об этом предупредить и Белу, чтобы она знала, как вести себя в том случае, если Сречко продолжит свое расследование.

— Никому ни слова, Бела. Для всех, кроме меня, ты остаешься прежней. И Сречко не должен ничего знать. Постараюсь убедить его в том, что он ошибся и привел сюда всего-навсего изменницу. Избегай Сречко! Он упрям и ужасно любопытен. Может, он еще попытается выудить у тебя признание. Ни шага за порог своего дома, пока мы здесь. Впрочем, и без Сречко могут у тебя быть неприятности и от горожан, и от партизан. О Сречко и говорить нечего.

— Нет, я не понимаю, Ядран. Ведь Сречко не секретарь комитета. Он не остается в Гулно. Не станет же он выступать на площади и объявлять о том, кто такая Бела, хотя по его милости это имя сегодня повторяют всюду и везде. Строят всякие догадки.

— И все же пусть лучше не знает. Ради тебя. Где только не носят его ноги! Каким опасностям он не подвергается! Особенно когда является сюда. Представляешь, если его схватят в засаде. Или ранят и найдут у него твои послания...

— Добавь еще: если он перейдет на их сторону. Не могу я этого понять. Значит, лучше, если бы Сречко меня не нашел и мы с тобой не встретились. Поздно говорить об этом. Итак, дуб и жестяная банка остаются на старом месте. Они не подведут. Не подведет и Сречко. Ведь не только быстрые ноги ценишь ты в нем. Не могу я расстаться

с ним так, будто он меня сюда и не приводил. Как я посмотрю ему в глаза? Разве ты ему не благодарен?

— Благодарен.

— А так мало доверяешь. Ведь это оскорбляет. Не ожидала я этого от тебя.

— Успокойся, Бела. Уступить? Ради тебя?

— Не ради меня, а ради себя и Сречко!

— Я думаю о тебе, хотя верю ему. Просто надо надежнее тебя обезопасить. Самым надежным образом.

— Во всем есть своя мера и есть граница человеческой справедливости, Ядран.

Войдя по вызову Ядрана, Сречко тут же заговорил в свойственной ему манере:

— Ах ты бестия, и как только Ядрану удалось заставить тебя признаться. Со мной вела себя, как с врагом. Все не я да не я. Лучше уж не вспоминать, что при этом добавляла.

— Сейчас не надо об этом, Сречко. Извини. Так должно было быть.

Надвигались сумерки. Втроем они сидели в комнате Ядрана и сами не могли бы объяснить свое состояние. Но все было уже иным. Роль хозяина взял на себя Сречко. Он прибирал в комнате, входил и уходил куда-то, пока, наконец, на столе перед ними не оказался хорошо приготовленный ужин и бутылка вина. Так и сидели до самой зари, будто эта ночь могла возместить Беле все прежние, навсегда потерянные. Да и те, что были еще впереди.

Все трое знали — это последнее их свидание в Гулно, во всяком случае на этот раз. На рассвете Бела покинула дом и присоединилась к группе заключенных, которых Сречко открыто вывел на городскую площадь и отпустил по домам.

VIII

Прошел месяц со дня освобождения Гулно. Эту дату, своего рода юбилей, следовало отпраздновать. В такой войне, когда власть часто менялась, это равно годовщине. Но фронт неожиданно пробудился и сорвал праздник. Загрохотало с вражеской стороны, взрывы следовали один за другим, словно перед противником находилась некая несокрушимая линия обороны. Огненная подкова, поначалу широкая, сужалась, загибала свои выдвигающиеся вперед фланги, стремясь охватить Гулно даже и с тыльной стороны и сомкнуться перед лесом, куда вели пути отступления партизан. Когда окружение закончилось, в нем уже не было ни одного партизана. Разыгрался «бой» с несуществующим противником. Гулно было взято. Но не пролилось ни единой капли крови. Партизаны словно испарились.

Итальянские армейские части, израсходовав предварительно массу боеприпасов, от винтовочных патронов до крупных орудийных снарядов, чуть ли не церемониальным маршем вступали в поселок. Но пустынны были улицы, окна и двери домов наглухо закрыты. Жизнь в Гулно замерла, казалось, поселок погрузился в глубокий сон. От минувшего праздника не осталось ничего, кроме лозунгов и пятиконечных звезд на стенах и заборах, нарисованных чаще всего неумелой рукой. Лишь на здании бывшей общины и теперь уже бывшего народно-освободительного комитета все еще развевались красный флаг и трехцветное национальное знамя Югославии. Флаги висели и на недогоревшей казарме, и на разрушенных блиндажах.

Никто из жителей не показывался. Исключением была Бела. Казалось, час ее пробил. Она стояла на тротуаре с высоко поднятой головой, вызывающе поглядывала на закрытые окна, навлекая на себя гнев тех, кто подсматривал через щели в ставнях. В руках у нее был большой букет цветов, она нетерпеливо вглядывалась в тот конец ули-

цы, откуда появлялись все новые и новые воинские части. Когда очередная колонна появлялась из-за угла, Бела быстро и решительно шла ей навстречу по самой середине улицы. Колонна маршировала, а Бела с противоположной стороны вышагивала ей навстречу. Подходила к офицерам, возглавлявшим колонны, бросала им цветы, а затем несколько отступала назад и, выхватывая из букета по цветочку, кидала солдатам. Обрадованные солдаты подпрыгивали, ловили цветы и прикалывали их к мундирам.

Этот день окончательно опозорил девушку в глазах населения, убедил жителей в обоснованности ее ареста и заставил их с укором вспоминать партизан, которые не наказали ее за предательство. Теперь ее боялись еще больше. Обыватели знали, что Ольге, их прежней общей любимице, знающей всех жителей поселка, прекрасно известно, кто и как встречал партизан, угощал их, какую оказывал помощь и кто из какого дома ушел с ними. И было очень мало тех, кому нечего было опасаться.

И снова среди военных зазвучало имя «Ольга». Цветы, которыми она осыпала строй, как будто прилипли к каждому мундиру, не увядали, продолжали благоухать. Но особенно пышно они расцвели после того, как стало известно об аресте Ольги партизанами, об ее мучениях и противостоянии смерти. О лучшей рекомендации Ольга не могла и помышлять. Экзамен на преданность был сдан заочно. Пропуска на ее имя для беспрепятственного хождения во время полицейского часа, дававшие также право доступа в те места, где собираются офицеры, и для свободного передвижения по всей оккупированной территории, были лишь одним из проявлений полного к ней доверия.

Так выглядела первая половина письма Белы, направленного Ядрану через десять дней после вступления фашистов в Гулно. А вторая часть письма словно была написана совсем другой рукой:

«...Здесь я как прокаженная. Все бойкотируют меня, все, кроме них. Тебя это обрадует, знаю. Скажешь: хорошее начало. Проклятые цветы. Как любая женщина, люблю цветы. Но когда вспомню, ради чего их выращивала, как росли и расцветали они на моих глазах и чему послужили, ненавижу себя. Вот если бы вместо цветов были брошены бомбы, какое было бы счастье!

До этого дня в моем доме царило относительное спокойствие. Родители молча меня терпели. Теперь я — отступница, они отреклись от меня. И я их не осуждаю, а еще больше уважаю за это. Даже наша собака Принц, овчарка, которую я подобрала и воспитала, Сречко ее видел, тоже перестала меня признавать, она и ухом не поведет, если я ее позову.

Любовь родителей я должна была вернуть во что бы то ни стало, в их глазах я должна была оставаться человеком. Еле-еле упросила их выслушать меня. Но прежде сказала им, что они должны хранить молчание до конца войны, если не хотят потерять и свою, и мою голову. Отец вставил, что мою уже потерял. Мать подтвердила. Поклянитесь ради вашей жизни, сказала я. С грехом пополам согласились. Зная их набожность, принесла крест, на котором они и поклялись. Тогда я им сказала, что их дочь Ольга, «изменница», и есть Бела. А имя Белы здесь почитают, ее боготворят. Вы сами в этом виноваты. Раструбили о нем повсюду. Особенно постарался Сречко.

Сейчас родители готовы для меня на все. Какое это благо, что я могу разделять с ними тяжесть, позор, но и радость удачи. Отец теперь все чаще прогуливается со мной по улице. Вечерами поджидает меня, чтобы встретить и проводить домой. Наконец-то поднял голову. Но вызвал к себе презрение. Отец и мать вернули мне свою любовь, и теперь они — лучшие мои товарищи. И Принц стал прежним. А свою работу, ранее столь ненавистную, я стала даже любить, сживаюсь с нею потихоньку, исполняя добросовестно и с душой. Знаю, что и я воюю. Необычным способом, но веду борьбу. Это при-

дает силы, рождает мечты о будущем. Знаю, ты меня осудишь, что открыла тайну родителям, но иначе я не могла».

Ядрану не хватило духу упрекнуть Белу в том, что она доверилась родителям, хотя и считал это серьезным промахом, опасным как для самой Белы, так и для ее родителей. Отвечая Беле, он обошел молчанием эту часть письма и не догадывался, что, умалчивая, причиняет ей боль.

Бела была совершенно уверена, что родители ее не выдадут. Впрочем, она заботилась не столько о своей жизни, сколько о своей чести. За нее опасалась. Боялась того дня, когда придется держать ответ. И вот теперь, помимо Ядрана и Сречко, которые могут и погибнуть, она заручилась поддержкой своих родителей, способных всенародно защитить ее честь даже после смерти, и это было важнее самой жизни. Постепенно она освобождалась от сознания того, что может умереть как предатель. И уже верила в торжество справедливости. Клеймо позора уже не жгло ее так, не угнетало. В то же время всем своим поведением она лишь усиливала ненависть и презрение окружающих.

Решимость Белы защитить свою честь и человеческое достоинство ощущалась в ее письмах к Ядрану. Они уже не были столь сухими, однообразными, содержащими точные сведения и цифры, а излучали тепло и раскрывали богатство души. Ядрану письма казались предвестниками чего-то большего, чем исполнение профессионального и воинского долга. Сердце в груди начинало биться учащенно, совсем так, как в тот день, когда они встретились впервые. Все чаще вспоминала она о том, как в дни освобождения Гулно свободу видела через плотно закрытые окна, и ей она не могла принадлежать. Ядрану порой казалось, будто оба они ищут друг друга во тьме, наугад, могут разминуться и никогда не встретиться.

Между тем под неусыпным надзором Белы жил новый, усиленный вдвое гарнизон, а ей было доступно все, будто не существовало стен и преград, за которыми хранились военные тайны. Но круг ее наблюдений все расширялся, уже не ограничивался Гулно и охватывал пространства, выходящие за пределы действия партизанского отряда.

С одной стороны, благодаря Беле во время нескольких вылазок противника партизаны жестоко покарали его. С другой — ее сообщения о затишье в Гулно позволяли отряду быть более оперативным. Так помогала партизанам Бела вместе со Сречко, который денно и нощно нес свою вахту, совершая марафонский бег по двойной трассе — до «святого дуба» и обратно.

Война словно бы зло подшутила над Сречко, навязав ему это постоянное состязание, эту борьбу со временем и пространством, и он принял вызов с гораздо большей радостью, нежели бегуны, состязающиеся ради медалей. Сречко соревновался во имя самой жизни. Вынет письмо из жестянки и тотчас в обратный путь, чтобы срочно доставить его Ядрану. Письмо словно окрыляло, придавало ему силы. Оно было подобно встрече с Белой. Когда же порой на конверте он видел приписку: «Привет Сречко», то приходил в восторг и был счастлив.

Хоть бы раз повстречать ее тут, у «святого дуба», куда она приносит послания. Но так и не довелось ему повидать Белу, даже тогда, когда он находил банку пустой и оставался поджидать девушку. Часто он засыпал поблизости. Но однажды, укрывшись в густых кустах, уже в сумерках совершенно неожиданно увидел ее. По движениям девушки он угадывал, что она достает письмо из жестяной банки и оставляет свое. Собаку она удерживала на поводке, а та рвалась и тянула в лес, скулила, чуя присутствие человека. Сречко не смел и пошевельнуться, а возвращаясь обратно, испытывал чувство грусти и необъяснимого волнения.

Три заглавные буквы «Д» на конверте, которые Бела обычно ставила, когда сообщения касались особо срочных и важных дел, возбудили его любопытство. Немного отойдя от дуба, Сречко свернул с тропинки и вскрыл письмо, ничуть не заботясь о том, что ему на это скажет Ядран. Сначала не спеша прочитал все письмо, а затем перечитал только подчеркнутые фразы... «Зовут его Берко Маглич. Настоящее это имя или псевдоним — узнать не удалось. Его якобы сняли с поезда как известного революционера и доставили сюда. Видела, как его вели по улице связанного, под усиленным конвоем и били. Лет тридцати. Принадлежит к тому распространенному типу людей, который кажется знакомым. Высокий, широк в плечах, немного сутул, но, возможно, держится так преднамеренно. Волосы очень длинные. Усы короткие, черные. Густые брови. На левой щеке большая бородавка.

Герой, как говорят повсюду, разыгрывает из себя глухонемого, слабоумного, не называет ни имени, ни фамилии. Но когда доктора прижали его к стенке, заговорил. И заговорил как коммунист, обличающий оккупантов. За идею готов отдать жизнь. Несколько дней тому назад его снова вели через город, похож на Христа перед распятием. Тогда в Гулно появились листовки, по всей видимости наши, с призывом спасти ему жизнь. Народ принял его как мученика.

Между тем все выглядит иначе. Какой там наш человек, какие муки! Речь идет об опытном шпионе, которого намереваются забросить к вам с тем, чтобы он обнаружил местонахождение госпиталя. Но ему нужен «пропуск славы». И планируется «побег» со стрельбой и погоней. Предусмотрено и ранение. Как это будет сделано, не знаю. Есть тут два доктора. Они-то об этом и позаботятся. Ранение поможет ему попасть в госпиталь».

Ядран не долго ждал лазутчика, о котором был предупрежден. Сначала ему даже показалось, что это не тот человек, о котором писала Бела. Голова обрита, как у настоящего каторжника. Но приглядевшись и представив его с длинными волосами, Ядран подумал, что приметы соответствуют тем, о которых говорилось в письме. Страдальческое лицо, выпачканная одежда должны были служить надежным пропуском. Левая рука в рукаве, окровавленном у предплечья, была подвязана грязной тряпкой.

Пришелец держался непринужденно, как старый знакомый. Радостно улыбнувшись, протянул руку Ядрану:

— Слава господу. Два дня назад мог ли я подумать, что останусь в живых, окажусь здесь.

— Ты и есть тот самый Берко Маглич? — осведомился Ядран, как будто речь шла о хорошо знакомом имени.

— Да, во всяком случае так сказано в моих документах, с которыми меня арестовали в поезде. Ты как будто уже слышал обо мне?

— Слышал о твоем самообладании. Мучители не смогли этого скрыть. Хотели они этого или нет, твое имя всем известно. Мы уже не один день волнуемся за твою судьбу.

— Исполнял свой партийный долг, комиссар, как исполнил бы его каждый подлинный коммунист.

— Ты сделал больше, Берко. Каждый из нас готов отдать жизнь за свободу, но не все могут выдержать тяжелейшие испытания. Ты выдержал, о чем свидетельствуют и твое лицо, и твоя слава. Даже палачи говорили о тебе с восхищением. Не будь такой молвы, и ты остался бы неизвестным героем. Но и партия не могла быть безучастной. Вот листовка, прочитай ее. Она отпечатана и распространена организацией в Гулно.

Берко взял листовку, прочитал ее, взглянул на Ядрана с наигранным изумлением.

— За это стоило и умереть.

— Имя твое все равно не забудут, Берко. А я было двух пленных офицеров хотел обменять на тебя.

— Вряд ли бы меня обменяли. Вообразили: крупная фигура, партийный деятель, думали, знаю многое, а я рядовой член партии.

— Нет, не просто рядовой. Расскажи, если в силах, как тебе удалось бежать.

— Поверь, никакого чуда и подвига. Совершенно неожиданно. Воспользовался оплошностью охраны. О побеге я думал, но не надеялся на удачу. Притворился полуживым, даже ложки днем поднять не мог. Вот они и успокоились. А я темной ночью выпрыгнул из окна — будь что будет. Повезло. Приземлился благополучно, упал на четвереньки, как кошка. Да не так уж и высоко было! Бросился бежать наутек, удалось проскочить через колючую проволоку. Тут ноги и понесли, спасая голову. Это скорее страх, а не храбрость.

— Рука у тебя завязана. Где-то ударился?

— Пуля задела. Стрельба началась сумасшедшая. Кого-нибудь из своих подстрелили спросонья. Тебе ли этого не знать?

— Что же сразу не сказал, черт тебя возьми! Рана-то открытая.

— Разве это рана? Так, царапина. Завязал кое-как. Кровь больше не идет.

— Рана есть рана. Всяко может обернуться. Отправляйся-ка в госпиталь.

— Нет уж, лучше туда не ходить. Знаю я докторов, комиссар. Попадешь в госпиталь и не выберешься. Лучше дайте поскорее винтовку и ничего другого. Жить надо, чтобы бороться!

— Вот и отправляйся в госпиталь. И без раны ты хорош, слишком уж истощен. От ухода и отдыха я бы и сам не отказался. Будет у тебя время и для боев.

— Ну, если ты настаиваешь, так и быть, загляну, пусть почистят и перевяжут. Только скажи им, чтобы долго меня не держали.

Комиссар, конечно же, видел притворство и двуличие Маглича, но со своей стороны постарался не вызвать у него подозрения.

Про себя решил ничего против пришельца не предпринимать, пока тот сам себя не обнаружит. Ядран не скупился на похвалы и слова поощрения, беспокоился о его ране, а затем сытно накормил, переодел и наконец проводил до госпиталя. Позаботился, чтобы его приняли с должным вниманием. Докторам же поручил определить, каким именно образом их коллеги из стана противника выполнили это «ранение». Двое надежных связных выступали в роли легкораненых — у одного перевязана нога, а у другого левая рука,— ведя постоянное наблюдение для предотвращения побега. Всех троих поместили в отдельной комнатке. «Раненые» быстро «сдружились». Дважды по предложению Берко поднимались на ближайшую открытую вершину возле самого госпиталя, откуда была видна вся округа. Девственно чистая природа, густые леса, растущие на склонах гор, явно вдохновили Берко, и он сделал два красивых рисунка. Один из них — пейзаж — он подарил спутникам, а другой, очень точный, на котором был помечен путь в госпиталь и другие ориентиры, оставил себе.

Связные, сторожившие Берко, поняли подлинный смысл второго рисунка. Преисполненные нетерпения, они готовы были схватить врага, но он словно бы и не спешил. Заходил во все помещения госпиталя, приободривал раненых, рассказывал им о жизни на оккупированной территории, о том, что ему самому пришлось пережить. Ничего не подозревавшие раненые и весь персонал госпиталя, кроме двух докторов, вполне доверились ему, видя в нем незаурядного человека и героя. Только связным Берко изрядно надоел. Побег явно откладывался, а играть роль раненых было все труднее. Больше всего они боялись заснуть одновременно. Да и револьверы надо было прятать так, чтобы Берко их не заметил. Лишь на десятый день лечения

лазутчик, уверившись, что оба крепко уснули, попытался наконец бежать.

Следствие длилось недолго. «Герой» быстро заговорил. Решение суда состоялось, и приговор был приведен в исполнение. Вскоре Ядран написал Беле: «Спасибо. О «раненом» позаботились».

IX

Переписка между Белой и Ядраном постепенно становилась иной, в ней уже ощущалась дружеская близость, теплота. Даже официальный язык писем, сведения и цифры, казалось, были согреты иным дыханием. Это радовало Ядрана, усиливало его чувства к девушке, он скрывал их и старался выразить так, чтобы ни Бела, ни кто другой, немало знавший Ядрана, не смог бы ухватиться за эту тонкую нить. Пожалуй, только хитрющий Сречко, когда ему приходилось читать письма, мог понять, как смутно порой на душе у Ядрана, как он скован и осторожен. Но Сречко молчал, поскольку всегда знал, что ему дозволено, а что нет.

И когда через некоторое время Ядран стал получать письма Белы в плотно заклеенных конвертах с пометкой «только для Ядрана» (а не «для комиссара»), то вдруг показалось, что счастье наконец ему улыбнулось. Слова «мой дорогой Ядран» уже казались ему лишь заголовком большого и еще не написанного рассказа. Он все размышлял, какие невысказанные чувства кроются за этими словами «мой дорогой». Сколько раз повторял он про себя эти слова...

После каждого такого письма Ядран смелел настолько, что, забывая обо всем, писал ей письма-признания, чтобы Бела могла ему ответить тем же. Но письма эти Ядран не решался отправлять.

Тревога за Белу временами исчезала при мыслях о дне, когда восторжествует истина. В тот последний день войны и в первый день свободы, когда люди соберутся в Гулно, чтобы восславить победу, Бела выйдет вместе со всеми на празднество. По его знаку с трибуны она приблизится. И тогда, в первую минуту, толпа воспримет это как вызов, вынесет ей свой суровый приговор и потребует приведения его в исполнение. Сречко и несколько верных людей будут стоять возле него и Ольги Тебич, чтобы защитить ее от разгневанных людей, пока он не откроет ее истинное лицо и не наступит перелом. Тогда все узнают, что Ольга Тебич — это Бела, та самая Бела, которая жила в сознании народа как легенда, а во плоти была презираемой Ольгой Тебич. Это будет и его победой, ибо тогда она станет и частицей его самого. Если и стоит жить ради чего-нибудь, то, может быть, именно ради такого мгновения.

Ядран вообразил эту картину так явственно, что ему показалось, будто кто-то прислушивается к его мыслям, стремясь проникнуть в его тайну и разрушить ее. Даже Огневому он не открыл, кто такая Бела, не сказал о встрече с ней. Ревниво оберегал ее письма, ибо из них командир мог бы понять, что его личное знакомство с девушкой состоялось.

Но переживания Ядрана не имели никакой связи с трудной жизнью Белы по ту сторону фронта среди врагов. Она была вне подозрений и чувствовала себя уверенно. Единственный из офицеров, чье поведение смущало ее, был некто Анджело Дости. С самого первого дня он держался как бы в стороне, не обращая на нее никакого внимания. Своим поведением и серьезностью он выделялся среди офицеров гарнизона. Не будь у него верного друга, большой собаки, похожей на ее Принца, с которой он никогда не разлучался — ни на улице, ни в казарме,— можно было подумать, что он одинок. Не было у него ни товарищей, ни приятелей, во всяком случае среди сослуживцев, коллег. Пока другие развлекались, он имел обыкновение прогуливаться по улицам с собакой на поводке. Он

словно и не походил на военного. Это в нем и привлекало и отпугивало Белу.

Когда его взгляд скользил порой по лицу Белы, он, казалось, выражал частицу того презрения, с каким относились к ней жители Гулно. Хоть бы заглянуть в душу этого человека, понять его сущность. Именно это, а не его привлекательная внешность — высокий рост, гордая осанка, выразительные черные глаза, волнистые волосы — вызывало ее интерес и побуждало к знакомству. Хотя даже заговорить с ним было не так-то просто.

Но однажды, уже под вечер, когда Бела возвращалась от дуба, состоялось их первое знакомство. Они шли навстречу друг другу по улице, и вдруг овчарка, которую вел Анджело, внезапно сорвалась с поводка и подбежала к Беле, покрутилась возле нее, обнюхала ноги и возвратилась к своему хозяину. Бела остановилась как вкопанная. Анджело тотчас подошел к ней, отдал честь, вежливо извинился, похлопал собаку по голове и укоризненно сказал ей что-то по-итальянски.

Белу, почти не знавшую Анджело Дости, еще больше смущали и пугали слухи, ходившие как среди жителей Гулно, так и среди офицеров, о том, будто этот странный человек доброжелательно относится к населению, сочувствует страданиям народа и чуть ли не симпатизирует освободительному движению. С местными жителями Анджело вел себя непринужденно. Бела и сама видела, как люди приветливы с ним, подходят к нему, разговаривают, но, заметив когонибудь из итальянцев или ее, Белу, быстро расходятся. Наблюдая за Анджело, Бела стала подумывать о том, что этот офицер один из тех людей, которых фашизм вовлек в войну помимо их воли.

Но ничего нельзя принимать на веру, особенно если речь идет о человеке из вражеского лагеря. Иной раз ей даже приходило в голову: а может быть, Анджело Дости — в своем роде «итальянская Бела», которая пытается проникнуть в наши ряды. Но можно предположить и другое, думала она,— это и есть тот достойный представитель своего народа, которому не безразличны страдания другого народа. Ведь именно такой человек из рядов неприятеля способен сделать больше, чем все офицеры гарнизона, вместе взятые, жалкие хвастуны, распинающиеся перед ней, болтающие обо всем, дозволенном и недозволенном. Она задумывалась над этим все чаще. Сомнениям и предположениям не было конца. Как трудно бывает отделить вероятное от невероятного, ложь от истины.

Приблизиться к этому человеку, перекинуть мост через разделяющую их пропасть, хоть немного приоткрыть и эту дверь стало для Белы насущной потребностью. Удобного случая пока не представлялось.

Но однажды вопреки всем правилам оккупанты объявили о развлекательном вечере для офицеров, хотя, согласно заведенному обычаю, следовало постоянно отдавать дань памяти погибших. Приглашенных было много. Причем форма приглашения походила скорее на предписание, не допускающее возражений. О цели «мероприятия» офицер-оратор сказал со всей определенностью. Подобно священнику на проповеди, он произнес пышные слова о любви, примирении, согласии, совместной борьбе против отступников, против общего зла. Может быть, на неискушенных людей его слова и оказали бы действие целебного бальзама, которым глава патриархальной семьи врачует раздоры между ее членами, но таких людей здесь и не было. Окончательно уподобляясь миротворцу, он выпустил и своего голубя мира, торжественно провозгласив начало танцев.

Граммофон заиграл мелодичное танго. Несколько пар вышли на середину новой казармы, восстановленной после пожара,— ее подожгли перед своим отступлением партизаны. Бела повела себя так, чтобы избежать всякой попытки приглашения на танец. Сидя в ком-

пании со смазливой девушкой, она, опираясь о спинку стула, то и дело посматривала на часы и делала вид, что вот-вот встанет и уйдет. Словно бы никого не желала замечать.

Анджело Дости, глубоко задумавшись, сидел у противоположной стены. Бела украдкой посматривала на него, стараясь перехватить его взгляд. Но он, целиком погруженный в себя и свои думы, смотрел рассеянно. И все же, казалось ей, глаза его что-то таили и обещали. Наконец Бела решительно поднялась со стула, словно намереваясь покинуть зал. Это движение не ускользнуло от Анджело, и он, как бы удерживая ее взглядом, встал и легким шагом направился к Беле и к ее подруге. Остановился перед ними, поклонился обеим, но руку протянул той, другой. Девушка смутилась, что-то пробормотала, но не двинулась с места. Анджело вспыхнул и словно бы растерялся. Бела только этого и ждала, она быстро схватила Анджело за руку и потянула его на середину зала. Анджело следовал за ней нехотя, как бы противясь ее желанию танцевать.

Танцевали они скованно и принужденно. Анджело не пытался заговорить. Держался от Белы на расстоянии, будто боялся прикоснуться к ней.

— Мне кажется, господин капитан, сегодня вам не до танцев,— с вызовом сказала Бела.

— Обязан танцевать, барышня. Вы меня выбрали.

— Ошибаетесь, я всего-навсего вас выручила, помогла выйти из неловкого положения.

— Из какого же неловкого положения? — искренне удивился он.

— Ведь моя соседка вам отказала. Она не умеет танцевать. А офицеры могли над вами и посмеяться, посчитать, что она вас унизила.

— Но разве это унижение? Такова ее воля и ее право.

— А вас, видно, смущает, что именно я пригласила вас?

— Почему же меня должно это смущать?

— Разве вас не смущает, что мне нравится общество офицеров и я люблю танцевать?

— Почему это должно смущать меня, если не смущает вас? Каждый выбирает себе общество по вкусу. Здесь вы желанная гостья, являетесь, так сказать, хозяйкой. И по заслугам. Если ваши не принимают вас за свою, то, полагаю, вы уж никак не можете пожаловаться, что вас плохо приняли наши, отнеслись к вам с непониманием.

— Но ведь я тоже человек и имею право на чье-то внимание.

— Разумеется. Мы с пониманием относимся к нашим верным друзьям и выполняем свои обязательства перед ними.

— Весьма вам признательна.

— Мне лично? Вот уж не за что.

— Я чувствую только, что знакомство со мной ставит вас в неловкое положение.

— Барышня, мы, собственно, и не знакомы. Один танец — это еще не знакомство! Раньше нам не удавалось поговорить. Если быть вполне откровенным, то я прекрасно понимаю: я здесь всего-навсего солдат, оккупант. И было бы наивно думать о любви к нам со стороны вашего народа. Потому я так, если хотите, одинок. Вероятно — это ощущение реальности. Способна ли жертва полюбить насильника? История наверняка такого не знает. Лишь одиночки благосклонно относятся к нам, и мы их ценим...

— И вы не считаете ошибкой мою принадлежность к таким одиночкам?

— Разве вашу дружбу можно считать ошибкой? Но и упрощать не следует. Никогда не надо забывать о времени, в котором мы живем, о дне сегодняшнем и дне завтрашнем. Не забывайте — я сол-

дат. Может быть, сделанный не по общей колодке, но все же солдат в военной форме. Я не впервые в чужой стране. Привык к подобному климату и чувствую, какая ненависть окружает нас. И ненависть эта никогда не перевоплотится в любовь. Предположим, завтра мы должны будем уйти отсюда навсегда. Что ожидает в этом случае наших друзей? Не хочу, чтобы меня потом проклинали. Поэтому и не хотел бы их иметь, дабы не вовлечь в беду.

— Вы, разумеется, не говорите это всерьез.

— Вы понимаете меня слишком буквально. Но раз уж об этом зашла речь, не следует забывать: тот, кто начал войну, может выиграть ее или проиграть. Середины нет. Сегодня, правда, мы ее выигрываем. Наше оружие пересиливает. Счастье, однако, не дается на вечные времена. Фортуна может повернуться к нам и лицом, и спиной. И есть ли непобедимые победители? Может ли человек не задумываться о возможных последствиях, о завтрашнем дне?

— Вы как будто хотите меня запугать.

— Признаюсь, солдат не имеет права так думать. Но перед вами я, сам не знаю почему, открываю крамольные мысли. Знаю, злоупотреблять не станете. Если бы армия и все офицеры думали как я, к чему бы это нас привело? От себя не уйдешь, да и профессия военного меня связывает. Но если так размышляю я, то как же тогда, барышня, целый народ может не посчитаться со своим национальным самосознанием? Насильно мил не будешь.

— Вас, капитан, здесь не ненавидят.

— Очень вам признателен, если в этом есть хоть доля правды.

— Есть, и вполне достаточная. Заметить нетрудно.

— Надеюсь, вам это не в обиду.

— Отчего же? Жаль, что меня так не любят.

— Вот это преувеличение. Может быть, я действительно немного больше вашего опасаюсь этого чертова «завтра», всего того, перед чем мы рано или поздно окажемся.

— Вы словно хотите лишить покоя и меня.

— Душевного равновесия никто не может нарушить, если вы сами не нарушите его. Мой покой давно потерян. Меня терзает многое. И больше всего необходимость жить в нынешнее время. Время — мой самый страшный мучитель. Почему бы мне не появиться на свет гораздо позже, чтобы лишь прочитать о сегодняшних сумасшедших днях, когда люди убивают друг друга, получают признание и вознаграждение за убийство ближнего своего. Счастье и покой, я в это верю,— удел далекого будущего. Теперь же только изредка удается, вот как сейчас, бежать от этого нынешнего дня. А день сегодняшний — это засада, бой, убийство, поджог; кто не был в открытом бою, тот не знает, что значит воевать. Представляете, каждую минуту меня могут направить с какой-нибудь ротой через эти проклятые горы и леса, через все это пространство, уже усеянное могилами подобно огромному кладбищу. Сколько солдат не вернулось оттуда! Сколько там и наших и ваших могил! Неизвестные герои! Да, воздадим им должное.

— Примирились бы люди, жили бы в любви и согласии,— мечтательно сказала Бела.

— Христианская утопия. Хотя это и самое высшее устремление человечества, но утопия остается утопией, прибежищем даже тех наивных людей, что с винтовкой в руках повседневно встречаются со смертью, ибо они больше других имеют право ненавидеть смерть. Но ведь их ни о чем не спрашивают. Они должны убивать или быть убитыми. Эта неизбежность — смысл и бессмыслица войны.

— Трудно мне понять вашу философию.

— Никакой философии. Сегодня это грубая реальность. А если это так, то не смешно ли думать еще и о своей личной жизни? К таким вот людям я и принадлежу. Влачу жалкое существование и

думаю только о том, как пережить все это, как бы выйти живым из леса, когда в него попадаю.

— На той стороне боятся еще больше. Видели бы вы, как бунтовщики удирали, когда вы начали наступать.

— Не поняли вы, барышня, это они нас оставили в дураках. Мы впустую проводили крупную операцию. Наша «победа» — это настоящий блеф. Мы заняли кусочек земли, а сколько противник потерял убитыми и ранеными? Никого из партизан даже не царапнуло. Это был их успех, а не наш. Мы расходовали боеприпасы, а они смеялись над нами. Вместо этого поселка они возьмут другой. Может, и более крупный. Сейчас им необходимо оружие, оно для них важнее, чем территория. Ведь все, что находится за нашими проволочными заграждениями,— их владения.

Анджело посмотрел на часы.

— Вы торопитесь? — спросила Бела.

— Да, но не настолько, чтобы прерывать танец.

— Не собираетесь ли вы нагрянуть в их «столицу», как вы именуете эту захолустную деревеньку?

— Длинна до нее дорога. А сколько у них таких вот своих «столиц». Попробуй пробейся к какой-нибудь из них. Научились они воевать. Будто одну винтовку держат сто человек и на один курок нажимают сто пальцев. Такая винтовка помощней нашей пушки, сильнее самого крупного орудия. Потому так метко и разит их пуля.

— Все сказанное вами свидетельствует о растерянности, панике.

— Это не паника, а трезвый взгляд на происходящее. Не люблю приукрашивать или преувеличивать. Противника лучше переоценить, нежели недооценить. Вот вы говорите о них пренебрежительно, а к их пресловутой «столице» нашим войскам пробиться не удалось.

— Я в этом деле невежда, мне объяснить трудно. Если бы я не видела, как они удирали, может, вы бы меня и убедили.

— Ошибаетесь, барышня, если думаете, что они бежали в страхе. Такова их тактика. Единственно правильная в современной войне.

— Так ведь и у вас есть своя чертова тактика.

— Какая там чертова! Нашу изучают по книгам. Придерживайся они нашей тактики, давно бы уже не было никаких партизан. Их принцип: быть повсюду и нигде. Они всегда там, где мы их не ожидаем. Но никогда их нет там, где по нашим представлениям они должны находиться. Меньше всего их ожидаешь там, где чаще всего встречаешь. О нас же им все известно. Мы сидим в клетке, огороженной проволокой и блиндажами. Из нее протягиваем свои щупальца, но никогда не попадаем в нужное место и снова втягиваем их, как черепаха голову под панцирь.

— Прямо какие-то заупокойные причитания. Когда-нибудь возвратитесь со своими «щупальцами», полными добычи. Будет чем похвастаться.

— Если вообще возвращусь, барышня.

— Не думаете же вы остаться на их стороне? — шутливо спросила Бела.

— Это легко может случиться. Хороший стрелок, только один патрон — и готово дело. А в хороших стрелках у них недостатка нет. Правда, у них не так много боеприпасов, как у нас, но зато они не стреляют попусту.

— Вы решили меня запугать!

— Ерунда. Вы прекрасно знаете, никакая опасность вам не угрожает. Вы надежно защищены. Кроме того, я уверен, здесь они операцию не повторят. Это не в их правилах. И вас никто не погонит в лес. Я — другое дело, я не застрахован от их пули.

— Но вы ведь армия, а они — нет.

— Формально так. К сожалению, они не армия, и в этом их огромное преимущество. От регулярной югославской армии, кото-

рая была похожа на нашу, ничего не осталось. Но родилась, вернее, рождается на этой территории новая армия. И мало она похожа на ту, старую, даже по своему внешнему облику, как вы сами заметили. Но разве это важно? Важно другое. Они по праву называют себя народной армией. В ней и пастух может стать начальником. Да еще каким! Такие вот командиры и захватили поселок, взяли в плен наш батальон. Чем иным это объяснишь? Барышня, я понимаю вашу ненависть к ним, особенно после вашего ареста, об этом я кое-что слышал. Хотя это и оставляет глубокий след, не стоит все же их недооценивать.

— Поселок они захватили не боем. Обманом.

— Военная хитрость, синьорина,— так это называется. Вот это и есть их оружие — самая сильная сторона их тактики.

— Применяйте тогда и вы это оружие.

— Тут преимущество на их стороне. Каждое дерево, каждый дом — их глаза и уши. Они все видят, все слышат. Моих предшественников захватили спящими, в трусах. Выбор момента сам по себе вызывает удивление и восхищение. Обо всем они знали заблаговременно, обо всем были оповещены. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Здесь у нас, да и не только здесь, нет такой тайны, до которой бы они не могли докопаться. Уверяю вас, они уже сегодня знают обо всем, что готовится против них. Узнают они, скажем, еще об одном сроке, о пятнадцатом числе этого месяца.

— Вы сами сейчас выдали тайну.

— Но ведь я разговариваю с вами. Другому бы не сказал и слова. Но помните, за нами следят тысячи глаз. Каждый видит малое, а вместе они видят все. Следят за каждым словом, за каждым шагом. Едва не проникают в наши мысли. Приглядитесь внимательно к нашим солдатам, да и к офицерам, накануне той или иной операции, и вы поймете — что-то готовится. Мы сами себя выдаем.

Музыка в этот момент вновь прекратилась. Они остановились и продолжали разговаривать. Невидимой преграды, ранее их разделявшей, словно бы и не существовало. О новой встрече ничего не было сказано, но она подразумевалась.

X

Оставалось десять дней до даты, упомянутой офицером. Хотя Бела и не придавала этому особого значения, думая, что Анджело назвал дату произвольно, наугад, она все же не посмела оставить этот факт без внимания.

Первые несколько дней она не замечала ничего особенного. Все шло своим чередом и соответствовало обычному режиму. Но затем, еле заметно даже для внимательно следящего глаза, жизнь в гарнизоне стала изменяться. Солдаты перестали слоняться по улицам. Напряженная суета все больше охватывала военных. Собираясь по двое, по трое, перешептывались офицеры. Даже при встрече с Белой офицеры не проявляли прежнего внимания, к которому она уже успела привыкнуть. По всему было видно — готовится нечто такое, что заставит гарнизон всколыхнуться и прервет тягостный сон, в который он давно погрузился. С Анджело она встречалась уже как с добрым знакомым.

За день до упомянутой даты на улицах почти уже не было видно солдат и офицеров. Таинство совершалось в большой казарме. Вечером, раньше обычного, погас свет, который и без того едва пробивался сквозь темные шторы. Светились только два окна на первом этаже, где размещался штаб, но и они погасли вскоре после полуночи.

Бела уже с середины дня через окно своей комнаты внимательно наблюдала за казармой. Хотя по прежнему опыту Бела и знала,

что армейское подразделение весьма неохотно выступает в темноте, она всю ночь не смыкала глаз, сидя у окна. В предрассветном полумраке боролась с одолевавшей дремотой. Было воскресенье, пятнадцатое число. Церковные колокола призывали к заутрене. Невзирая на полицейский час, звонарь и священник, жившие в доме рядом с церковью, поддерживали таким образом связь с верующими.

Под звон колоколов на большой площади казармы выстраивались солдаты в полном боевом снаряжении. Когда над вершинами гор блеснули первые лучи солнца, со двора казармы вышли две колонны и направились к лесу. Среди офицеров, шагавших вместе с колоннами, находился и Анджело. Когда первые ряды солдат уже вошли в лес, он остановился, обернулся к поселку, приподнял руку и помахал, словно посылал свой прощальный привет кому-то в Гулно. Бела вздрогнула. Она хорошо знала, что подстерегает всех их в густом лесу, начинавшемся за вечнозеленым дубом, контуры которого особенно четко вырисовывались на фоне утреннего серо-голубого неба. Мысль о возможной смерти Анджело удручала Белу. Если бы в эту минуту она могла сказать ему, чтобы он остановился, не шел дальше, а переместился в последние ряды, то сделала бы это не задумываясь.

Обе колонны исчезли в лесу. Снова зазвонили колокола. Бела распахнула настежь окно, прислушалась и почувствовала вдруг, как ей хочется, чтобы Анджело остался жив. И прежде порой Бела не оставалась равнодушной, когда узнавала о том, что знакомые ей люди не вернулись назад. Но никогда при этом не испытывала ни особой боли, ни особой радости.

На этот раз, боясь за Анджело, она утешала себя обманчивой надеждой на то, что, быть может, Ядран не принял всерьез ее сообщение об упомянутой дате. Не будет устраивать мощной засады, а вышлет на всякий случай малочисленный патруль. Если бы так случилось, она была бы ему благодарна, освободилась бы от чувства тяжести и вины. Она упрекала себя в том, что в своем послании не описала приметы Анджело, не сделала карандашный набросок, не дала со всей определенностью понять, что он может стать другом партизан, тогда бы они опознали его и не взяли бы на мушку.

Между тем искусно замаскированная засада, малочисленная, но достаточно сильная, устроенная в нескольких километрах от Гулно, настороженно выжидала. Гораздо надежнее и выгоднее была бы позиция в более отдаленных ущельях, где время от времени и происходили стычки, но Огневой решил иначе, делая ставку на неожиданность. И он, и Ядран были уверены, что даже самый осмотрительный враг не станет разворачиваться в боевой порядок здесь, возле самого поселка.

Однако и неприятель тоже кое-чему научился и не стал играть в жмурки. Как только головная часть колонны вошла в лес, вперед были выдвинуты многочисленные патрули. Такие щупальца обычно обнаруживают засаду и оберегают основные части от нападения.

Вскоре послышались выстрелы патрулей. Стрельба из винтовок, пулеметные очереди нарушили утреннюю тишину. Пули свистели над хорошо замаскированной засадой или не долетали до нее. Но партизаны не поддались на провокацию. Ни один боец не нажал на спусковой крючок. Огневой предвидел и такое прощупывание со стороны неприятеля. Он все еще надеялся, что благодаря самообладанию бойцов все же удастся выманить колонну и поставить ее под огонь невидимых врагу винтовок и пулеметов. Но на этот раз события развивались иначе. Колонны, предупрежденные огнем своих патрулей, сразу же начали расчленяться на множество мелких групп, а затем разворачиваться в боевой порядок, направляя свои основные силы в сторону засады. Продвинувшись метров на сто, солдаты залегли и открыли беглый огонь по позициям партизан.

Засада находилась в напряженном ожидании до тех пор, пока не громыхнула артиллерия из Гулно. Только теперь Огневому стало ясно, что его позиции открыты и надеяться больше не на что. Засада, не сделав ни единого выстрела, отступила далеко назад на старые позиции.

Выстрелы слышала и взволнованная Бела. Такой дерзости от партизан даже она не ожидала. Ее это и радовало, и пугало. Она напряженно смотрела в сторону леса. Лишь бы увидеть Анджело живым, если хоть кому-нибудь удастся выбраться из леса, лишь бы он не был на ее совести.

Уже под вечер она увидела солдат, несущих несколько носилок с ранеными в сопровождении Анджело, и вздохнула с облегчением. Колонны не казались поредевшими. Если бы не носилки, которые солдаты несли попеременно, никто бы никогда не сказал, что эти части только что вышли из боя. Солдаты и офицеры шагали бодро. Даже рядом с носилками, на которых лежали мертвые или раненые, слышалась бодрая песня.

Обрадованная появлением Анджело, Бела мечтала о встрече с ним, хотела поговорить о минувшем дне и о том, как она опасалась за его жизнь. Не заглядывая в будущее и ни о чем другом не помышляя, она уже верила, что в лице Анджело открыла человека, способного быть весьма полезным движению. Разве все, что произошло в тот памятный день, думала она, не подтверждает этого?

Бела тотчас взялась за перо и написала о своих наблюдениях и соображениях Ядрану. Письмо это крайне его обеспокоило. Он недоумевал, не находил никакого объяснения доброму десятку носилок с убитыми и ранеными итальянцами, о которых писала Бела. Ведь из партизанской засады не было произведено ни единого выстрела. Вместе с Огневым они пришли к выводу, что итальянцев поразил их собственный снаряд, посланный со стороны Гулно. Нельзя было исключить и возможной взаимной перестрелки между неприятельскими солдатами в густом лесу при плохой видимости.

Письма от Белы приходили все чаще и чаще. Продолжались ее встречи с Анджело. Его имя, которое теперь было обозначено буквой А, упоминалось постоянно и, как казалось Ядрану, даже назойливо.

Разговоры Анджело с Белой, неторопливые и осторожные, помогали проникнуть в его душу, где тьма боролась со светом. Бела не могла до конца понять его, высказать о нем свое окончательное суждение. Порой он производил впечатление человека одинокого, попавшего в чужой ему мир, где он чувствует себя изгнанником. Здравость суждений, логика и обоснованность мысли свидетельствовали о том, что он человек образованный и скорее всего лишь вынужден принимать участие в войне, к которой не хотел бы иметь никакого отношения. И его симпатии к тем, кто сегодня борется за свободу, были очевидны. Хотя открыто он никогда об этом не говорил, но не так уж было трудно проследить ход его мыслей. Иногда Беле казалось, что он не имеет права открываться, объяснять, кто он такой. И хотя беседовали они на отвлеченные темы, в каждом из разговоров проскальзывало нечто, весьма важное для ее работы.

Своими высказываниями Анджело то приводил ее в полное замешательство, то укреплял ее надежду на успех. Она же продолжала играть роль глупенькой девушки, которая вовсе не разбирается в политике и даже не пытается вникнуть в его мудрствования. Бела постоянно следила за тем, чтобы ничем не выдать своего настоящего «я». Лишь иногда позволяла себе вести непринужденные разговоры, которые походили на беседы между умным педагогом и любознательным учеником, умеющим понять и признать правоту учителя. Повседневные события в самом поселке и в районе боевых действий всегда давали повод поговорить о них. Но и тогда она остава-

лась в тени красноречия Анджело. Ей надо было получше обдумать происходящее и подробнее написать обо всем в отряд. Анджело, когда ему это требовалось, умело маскировал свои мысли и вел с ней тонкую игру. Бела это понимала и тем не менее склонна была видеть в нем политически зрелого человека, взгляды которого не слишком отличаются от ее взглядов.

Все-таки ей не удавалось избавиться от мучительных вопросов, которые невольно возникали и постоянно терзали ее. Сомнения и тревоги мешали ей прийти к какому-то определенному выводу. Даже если она не ошиблась в Анджело и совесть ее чиста, то и тогда она не могла объяснить себе, а почему, собственно, он говорит обо всем этом ей, «сотруднице» оккупантов, на которой лежит клеймо, и не боится, что она его выдаст. Доверие это или легкомыслие? Ведь он так долго избегал знакомства с ней. Может быть, он о чем-то догадывается и хочет предостеречь — мол, путь, на который уже она, Бела, вступила, не сулит ничего хорошего. В одном она была совершенно уверена — он не считает ее наивной и глупой. Сама Бела не в состоянии была во всем разобраться и обратилась за помощью к Ядрану.

Ответ ее не обнадежил. Ядран предостерегал, велел соблюдать осторожность, а главное, не слишком увлекаться, не обольщаться, не делать поспешных выводов. Хотя и сам признавал, что недавние события говорят в пользу офицера, по всей видимости хорошо осведомленного. Но всего этого еще мало, чтобы быть с ним откровенной. Ядрану не нравилось, что Бела стала предпочитать Анджело другим офицерам, из болтовни которых раньше она умела, и еще как, извлекать пользу. Анджело понемногу словно начал мешать Ядрану.

Намереваясь прощупать этого офицера поглубже, Ядран придумал, как его проверить. Он поручил Беле взять на себя роль информатора и сообщить Анджело о том, что партизаны, как она слышала, двадцать пятого вечером попытаются напасть на Гулно и первой их целью будет Дебели вырх.

Выполняя указание Ядрана, Бела при первой же встрече с Анджело рассказала ему о слухах, распространяемых в поселке, будто двадцать пятого числа вечером партизаны попытаются занять сначала Дебели вырх, а затем и само Гулно. Сообщила она об этом как человек заинтересованный, ведь в случае успеха такой операции партизан ее, вероятно, ожидает расправа. При этом она утверждала, что накануне первого нападения партизан распространялись такие же слухи. И хотя это было не так, она знала — проверить ее Анджело не мог.

Анджело выслушал ее с озабоченным видом. Пока она говорила, несколько раз поглядывал в окно на Дебели вырх, гордо возвышавшийся над поселком.

— Видите ли, барышня, этой горе они, судя по всему, придают особое значение, а мы ее до сей поры и не замечали. Обходят ее только патрули. На ней ничего нет: ни укреплений, ни солдат. Ах, что мы за армия такая! Как вы понимаете, я здесь не командую.

— Мне страшно, поверьте...

— Пока для этого нет оснований.

— Конечно, Гулно сегодня для них твердый орешек. Но ведь все может перемениться. Во время войны постоянен лишь страх. Он разве немного отпустит и вновь возвращается.

До операции партизан, упоминавшейся в письме Ядрана, оставалось еще несколько дней. Бела жила все время в постоянном напряжении и внимательно следила за действиями неприятеля, стараясь заблаговременно раскрыть его намерения и сообщить о них Ядрану. На сей раз, к своему удивлению, она не замечала среди военных никакой особенной суеты. Все выглядело как и обычно. Дебели вырх с его зубчатой вершиной и крутыми склонами, словно об-

ритый наголо, без единого оставленного на нем дерева, пребывал в полном спокойствии. Порой с него взлетала стая птиц, кружилась в воздухе и мягко опускалась на каменистый гребень, где, согласно логике военных, как раз и должны были бы находиться те или иные укрепления, если бы они существовали. Но ни разу ничто не спугнуло птиц, они взлетали и садились совершенно спокойно, никем не потревоженные.

Наступил наконец и назначенный день. Низкие облака скрывали обе вершины — Дебели вырх и Голи вырх. К полудню облака поднялись и образовали множество летающих островков, между которыми прорывалось солнце, расцвечивая природу игрой света и тени. Дебели вырх то жарко вспыхивал и сиял красками ранней осени, то весь покрывался мягкими скользящими тенями.

Только под вечер казарма ожила. На плацу возле ворот построилась рота солдат. По команде солдаты стали «смирно», затем повернулись направо и зашагали к открытым воротам. Анджело и на этот раз был во главе небольшой колонны, направлявшейся по шоссе, ведущему к Дебели вырху. Возле самой горы от шоссе отходила пыльная проселочная дорога и, охватывая ее подножие, заворачивала влево, к Голи вырху. Анджело со своей ротой, к великому изумлению Белы, свернул именно на эту дорогу и повел солдат по ней, оставляя позади Дебели вырх. Бела следила одновременно и за удаляющейся ротой, и за казармой, будучи уверена в том, что, если рота Анджело не возвратится, то под покровом ночи на Дебели вырх направится другая колонна. Но Анджело продолжал вести свою часть к Голи вырху. Бела отчетливо видела, как колонна перестроилась и солдаты начали подниматься на гору.

Ночь застала Белу за наблюдением. И пока хоть что-то было видно, никто не ступил на Дебели вырх. Ни один солдат не вышел даже из казармы.

Голи вырх, гладкий, голый как яйцо, возвышался рядом с Дебели вырхом, чуть западнее. Они стояли на расстоянии винтовочного выстрела. Даже мало-мальски соображающий солдат догадался бы, что эта гора не может иметь никакого значения ни для партизан, ни для обороны поселка. Займи ее партизаны, гарнизону ничего бы не угрожало. Это было ясно как офицеру, окончившему академию, так и самой Беле. Единственным человеком, который не желал этого знать, был Анджело, занявший Голи вырх и оставивший Дебели вырх на милость божию. Все это не шло у Белы из головы. Оставалось предположить, что Дебели вырх был занят прошлой ночью, а солдаты замаскировались так, что даже птицы их не видят.

Ядран придерживался своего прежнего плана, с той лишь разницей, что вместо подразделения послал десять отборных бойцов с задачей по возможности ближе подойти к Дебели вырху и открыть беглый огонь из винтовок и двух пулеметов, сопровождая стрельбу шумом и ударами по большому барабану, что создавало бы впечатление действия крупных сил. Между тем, против всех ожиданий, десяти партизанам удалось шаг за шагом и без единого выстрела взойти на самую вершину и открыть огонь по казарме и поселку.

Неожиданная стрельба вызвала панику среди застигнутых врасплох фашистов, которым потребовалось время, чтобы хоть как-то прийти в себя и ответить на огонь огнем из окон казармы и из блиндажей. Эти выстрелы вскоре были поддержаны гораздо более ощутимым огнем с Голи вырха. На Голи вырхе мерцали тысячи вспышек, он весь был расцвечен ракетами, взлетавшими ввысь то вместе, то врозь. Бела решила, что огонь обоюдный и партизаны затеяли нечто более крупное, о чем она и не подозревает.

Всю ночь стрельба не прекращалась, казалось, там завязался рукопашный бой. Между тем партизаны, не пробыв на вершине и по-

лучаса, отступили. А рота Анджело с громкой песней возвратилась в казарму только к вечеру.

Бела не спешила увидеться с Анджело. Не хотела проявлять интерес к событиям той ночи. Со дня их последнего разговора прошла неделя, а может, и больше, когда, наконец, они встретились в корчме неподалеку от казармы.

Ночь вступила в свои права. Посетителей не было. Запущенная корчма давно не видела ни веника, ни воды. Столы заставлены бутылками, стаканами, забросаны окурками, которых было больше возле пепельниц, чем в них самих; воздух тяжелый, смрадный, серый от дыма, окна были уже закрыты темными ставнями. Буфетчик собирался подмести и запереть корчму, когда они вошли и сели за столик в самом углу, не такой грязный, как остальные. Анджело Дости в этот вечер не был мрачен и задумчив, как прежде, и все говорило о том, что эта встреча будет радостной и не коснется военных событий. Болтали о том о сем, смеялись, держа бокалы, наполненные каким-то ужасно противным безалкогольным напитком. Подносили бокалы к губам, дурачились, нюхали, пробовали.

О происшедшем молчали. Никто из них не упомянул о ночи, взбудоражившей все Гулно. Но похоже было, что они сознательно обходят то, что вертится на кончике языка. Бела вдруг рассмеялась без всякого повода, зная, что это удивит Анджело.

— Что с вами? Уж не напиток ли виноват? Или я брякнул что-нибудь, пытаясь говорить на вашем языке?

— Нет. Над вашим произношением я не смеюсь. У вас гораздо больше оснований смеяться над моим итальянским... Не знаю, как это объяснить. Просто человек не может жить в вечном напряжении. Иногда хочется забыться.

— А может, есть и другая причина?

— Не удивляйтесь. Я так хочу по-настоящему радоваться, быть счастливой, смеяться. Вечно гоню страх, который охватил меня в последние дни, особенно в ту ночь. Я боюсь уже не только за себя. Когда я слушала, что творится на Голи вырхе, думала о вас, опасалась за вашу жизнь. Я слишком откровенна, не осуждайте меня. Не верила, что кто-то там может уцелеть. Ах, солдаты, солдаты, не завидую я вам.

— По правде говоря, вам нечего было бояться, во всяком случае за меня. Там ведь ничего особенного и не происходило. Партизаны даже и голоса не подали,— сказал Анджело, покачивая головой и смеясь.

— Как не подали голоса?

— Не сделали ни единого выстрела.

— Это не укладывается у меня в голове. Ведь все громыхало. С кем же вы тогда сражались?

— С темнотой, дорогая барышня, с темнотой. С одним только предположением. Знаете сколько призраков бродит во тьме. А мы не дали ей опуститься. Рассеивали тьму светом своих ракет.

— Но я была уверена, что после нашего разговора вы пойдете на Дебели вырх. Оттуда пули свистели и над всем поселком. В ту ночь я перетрусила, как зайчишка. А каково было бедным солдатам. Каждый думал, что уже не выживет. Как хорошо вот так не дрожать, не прятаться и спокойно разговаривать.

— Хотите сказать, барышня, я вам не поверил или ошибся, забрался на Голи вырх и там спрятался. Я очень хорошо понял ваше предупреждение. Но как бы странно ни выглядел мой поступок, я и сейчас не считаю, что ошибся, ведь я воспользовался тактикой самого противника, применил против него его же оружие. Партизаны никогда и никому, даже своим друзьям, не раскрывают своих подлинных планов. Если кое-что об их действительных намерениях случай-

но и просочится к нам — ведь и они не боги сверхсекретности,— то и тогда не принимайте все всерьез. Они нас этому научили.

— Но в данном случае это правило не подтвердилось.

— Не могу полностью согласиться. Если бы вы сообщили, что они двинутся на Голи вырх, я бы занял Дебели вырх. Я следую их тактике. Видите, и в этом случае они доказали, что не признают никаких шаблонов. Не имеет значения то, что мы не пошли туда, где, по слухам, они должны были быть, а пошли туда, где мы сами их ожидали. Они одурачили нас и на этот раз, но я не ошибся, отдав предпочтение Голи вырху. Он имеет исключительное значение и для них, и для нас. И не столько для обороны Гулно, сколько для защиты коммуникаций.

— Значит, по чистой случайности они оказались там, где вас не было.

— Не бывает у них случайностей ни при нападении, ни при обороне. Этот случай еще раз свидетельствует о правильности моих догадок. Ведь я уже говорил, что любой поселок и каждое наше передвижение всегда находятся под их зорким и неусыпным оком. А разве не из-за ошибки моих коллег и несогласованности действий Дебели вырх не был защищен?

Благодаря этому противник имел полную возможность ворваться даже и в Гулно. Но у них не было такого намерения, они хотели одного — спровоцировать нас, выявить расположение наших позиций, все огневые точки, вплоть до последнего пулеметного гнезда. Кто разубедит меня в том, что это не являлось основной задачей операции партизан? Разве такие сведения не могут пригодиться при осуществлении более широких планов?

Излагая свою точку зрения, Анджело походил на некоего странного наставника по военному искусству своих же врагов, которое старательно изучил. И это тоже говорило о его особом отношении к освободительному движению.

После такого разговора и Бела, и Ядран могли прийти к убеждению, что Анджело намеренно вывел роту на другую вершину, протянув тем самым партизанам руку не только для овладения Дебели вырхом, но и для чего-то более значительного. Конечно же, не могло быть и речи о какой-то тактической хитрости со стороны Анджело, об ошибке, недоразумении, несогласованности. Но даже и этот весьма смелый и открытый шаг Анджело Ядран не мог не подвергнуть анализу и сомнению.

Какая-то непоследовательность, двойственность проскальзывала теперь в его письмах. Доверие сменялось в них недоверием, вполне логичные доводы и построения — путаницей. Правда, с присылаемыми Белой данными, к тому же неопровержимо точными, Ядран не мог не считаться, не мог пренебречь ими. Но не уставал искать в них нечто не совсем ясное и даже сомнительное. Ведь и самые точные факты, думал он, не всегда служат доказательством.

Игра продолжалась, все меры предосторожности, как того требовал Ядран, соблюдались. Бела узнавала многое, тайное. Если прежде Анджело маскировался и сообщал сведения в завуалированной форме, то теперь это было похоже на открытое и прямое оповещение, как будто он разговаривал с кем-то себе равным. Видимо, хотел, чтобы она видела в нем человека весьма осведомленного, владеющего всеми секретами, способного держать все нити в своих руках. Мужчины часто поступают именно так, общаясь с привлекательными женщинами. Однако Бела была искренне убеждена, что его поведение объясняется не только этим. Анджело, в отличие от других офицеров, и не пытался ухаживать за ней. Их дружба представлялась Беле чище и прочнее чувств, называемых обычно любовью. Отправляясь в поход, он никогда не забывал попрощаться с ней тепло и пе-

чально. Белу это волновало. Вместе с тем она боялась его, но еще больше — себя самой и уже пробудившихся чувств.

XI

Хотя время стремительно отсчитывало дни войны, предопределяя победителя, сообщения от Белы не утрачивали своей важности. Ядран ожидал их с нетерпением. И всегда надеялся найти в них, помимо данных о передвижении неприятельских частей и похвал в адрес Анджело, хоть что-то, предназначенное лично ему.

А дружба Белы и Анджело крепла. Однажды весной они встретились все в той же корчме, в тот же самый час. Анджело подошел, сел за столик, не дожидаясь, пока сядет Бела, положил руки перед собой, низко склонил голову и застыл в такой позе. Молчание длилось несколько минут. Бела сразу почувствовала — сейчас произойдет нечто значительное. Наконец Анджело поднял голову и в упор взглянул на Белу. Она с трудом выдержала этот прямой, испытующий взгляд.

— Барышня,— начал Анджело, прерывисто дыша. Лицо мрачное, брови насуплены, в глазах странная решимость и даже одержимость. Белу охватил страх, но она старалась ничем себя не выдать.— Барышня,— повторил он,— наступило наконец время поговорить откровенно. Я ожидал, и не без оснований, что вы первая положите конец этой глупой затянувшейся игре, в которой я выгляжу тем самым жалким простаком, каким, по правде сказать, хотел казаться в первые месяцы нашего знакомства. Но это время прошло. Спросили ли вы себя хоть раз, ради чего я то обиняком, то совершенно открыто сообщаю вам сведения, за разглашение которых по законам военного времени платят головой? Обязательно должны были спросить. Почему я так поступаю, почему раскрываюсь перед девушкой, в разговорах с которой, если верить распространяемой о ней молве, должен бы о таких вещах умалчивать.

— Ничего не могу понять. Ровным счетом ничего.

— Добавить, как говорится, нечего: я и не ожидал иного ответа. Меня не удивляет и то, что вы последовательно играете свою роль. За это уважаю вас еще больше.

— О какой роли вы говорите?

— О вашей. Поверьте. Я ждал долго, прежде чем решиться на этот шаг. Но больше откладывать не могу. Война продолжается, время идет быстро. Конец близок. Он-то и скажет последнее слово о каждом из участников этой великой человеческой бойни. Будет установлена личность каждого. И вы, и я, оба мы должны будем отчитаться перед праведными судьями в том, где были и что делали.

— Однажды я уже отчитывалась. Надеюсь, больше не придется предстать перед такими судьями.

— Первый экзамен перед теми судьями вы выдержали отлично. Второй выдержите еще лучше. Я не был так наивен и так глуп, чтобы не разглядеть истинный смысл вашего ареста. Об этом вы и сами кое-что рассказывали. Положение мое безвыходно. Я долго искал путь и все-таки нашел, хотя и не сразу. Я должен обеспечить себе свидетеля. Только вы сможете подтвердить, как именно я воевал и кому это было на пользу. Поэтому и признаюсь вам во всем, Ольга, иначе не хватило бы сил. Восхищаюсь вами. Сознательно навлечь на себя презрение всего поселка ради высшей цели могут лишь люди исключительно сильного характера.

— По-вашему, я чуть не закидала вас партизанскими бомбами.

— Воюют не только с оружием в руках. Оружие — всего лишь часть оборонной моши. Сколько раз, когда отсутствовала твердая опора, оно оказывалось бесполезным. Вывести противника под удар собственного оружия — это ведь не только тактика. И вы это хоро

шо знаете. Ни одна из армий, о которых я когда-либо слышал, не может похвастать этим так, как партизанская. Слабовато у них огнестрельное оружие. Но зато перед ним чаще всего умолкают наши орудия. Примеров приводить не буду, они вам известны. Вам за это должны быть признательны партизанские отряды, окружающие Гулно. Надеюсь, однако, вы не так честолюбивы, чтобы не видеть и моего участия.

— Готова поверить вам. Такова сила вашего воображения, что сама я чуть ли не истинный герой.

— Да, именно так, настоящий герой. Поймите только одно, я от вас не требую и не жду никаких признаний. Никаких! Многое потеряли бы вы в моих глазах. Больше того, это молчаливое сотрудничество устраивает пока и вас и меня и позволяет в будущем делать для вас все, что в моих силах. Разумеется, я имею в виду не вас лично, а ту сторону, которая доверила вам столь ответственное дело. Теперь она в известной мере и моя сторона. Не так ли? Я хочу только одного, чтобы эта запятнанная кровью военная форма не марала мою честь и мою идею. И хотя моя идея и не идентична вашей, но имеет с ней много общего. Враг у нас общий. Это и обусловило наши с вами отношения, да и сегодняшний разговор. Как видите, я не боюсь говорить об этом открыто. Если бы вы были той, какой хотите казаться, уже давно отправили бы меня на виселицу. А если вы, вопреки моим ожиданиям, спросите: на каком основании я это утверждаю, не раздумывая отвечу — на основании вашего поведения. Задам вам всего два вопроса — я только спрашиваю,— ответа не требую. Почему я открывал вам многие военные тайны? Почему в тот раз я занял Голи вырх, а не Дебели вырх? Только не говорите, что по наивности.

— Я не спрашивала себя и не спрашиваю вас. Впрочем, вы мне это объяснили. Я не военный человек, и меня это не интересует.

— Ладно. Но если ваша информация о новом большом наступлении на Гулно, которая заставила нас принять ответные меры, предназначалась для того, чтобы проверить меня, то оправдал ли я надежды? Не будем вспоминать о том, что было до или после. Теперь, после всего сказанного, я прошу вас нигде не упоминать и не записывать мое имя. Вы знаете, что меня ожидает в случае раскрытия. Не ошибусь, сказав: меня ждет та же участь, что и вас, если предадите свое дело. Поэтому замените мое имя каким-нибудь шифром или числом. Это я заслужил. Если же завтра, не дай бог, ничего ведь нельзя исключить, мы оказались бы на очной ставке, предупреждаю, я все буду отрицать, обвиняя вас в том, что все это вы выдумали. Но вас не выдам. Впрочем, даже если бы и захотел, не сумел бы. Не за что ухватиться. Вы мне никогда ничего не сказали, ни единого слова. Вы очень опытны. Наш разговор лишь подтверждает это. Не сомневаюсь, наступит час, когда все уйдет в прошлое, и при других обстоятельствах мы будем вспоминать об этих днях. Особенно о сегодняшнем.

— Сожалею,— ответила Бела,— что я всего-навсего вымышленная героиня. Судя по тому, как вы сейчас говорили, вы одарены, даже талантливы, но глубоко ошиблись в выборе профессии. Уверяю вас, в сказанном мною нет ничего плохого. Какая у вас богатая фантазия. Вы наверняка напишете книгу, она уже сложилась в вашей голове. Поверьте во все и напишите! Пусть ваша героиня носит мое имя. Буду весьма польщена. И разубеждать вас ни в чем не буду — так лучше для книги. Верьте, все обстоит именно так, как вы сказали! А если человек верит в то, что он вообразил, ему легко превратить эту веру в нечто полезное. Для той Ольги Тебич, какую вы сейчас изобразили, это будет лучшим памятником. И поставим на этом точку, ибо если вы узнаете о том, какова я в действительности,— это может перечеркнуть ваше будущее произведение.

— Выбрав профессию военного, я, разумеется, совершил ошибку. И тут вы совершенно правы. Но, может быть, пока я не ошибся в том, что касается самой жизни, сколько бы она ни продлилась: умереть честным человеком — это не промах. Это еще не означает, что я оставлю в памяти людей и свое имя. Знаю и это. Но его не оставят после себя и многие из тех, кто ныне украшен пышными титулами, званиями, чьи заслуги признаны, чьими фамилиями пестрят газетные статьи. Доброе имя и доброе дело, самое скромное, куда значительнее и ценнее всех галунов и нашивок, привлекающих репортеров и всяческих прислужников. Там, где судит народ, вряд ли бывают ошибки. Условия, в которых я жил и живу по сей день, не так благоприятны, как у вас.

Слова Анджело застали Белу врасплох. Она попыталась собраться с мыслями, сосредоточиться и восстановить в памяти события, связанные с Анджело, во всей их последовательности с момента первого знакомства и до этой встречи. Старалась понять причину такого внезапного перелома. Подробности каждой встречи, все разговоры, собственные донесения — все помнила Бела, и чем больше она углублялась в прошлое, перебирая в памяти все события, стремясь принять нужное решение, тем больше убеждалась в том, что Анджело действительно менялся день ото дня вплоть до наступления этого кульминационного момента. Бела думала и раньше о том, что он ей ни разу не солгал, всегда говорил обдуманно, словно преследовал какую-то одну-единственную цель. По своей серьезности, содержательности разговоров он напоминал тех людей, с которыми она оказалась рядом и встала плечом к плечу в самую тяжелую пору своей жизни.

Но Бела никак не могла забыть, что перед ней офицер итальянской армии, враг, оккупант.

Особенно поразила Белу его убежденность в том, что она оповещает партизан. Анджело, правда, не сказал прямо, что она разведчица, да этого и не требовалось, слишком неопровержимы были его доводы и аргументы. Все это взволновало Белу, заставило думать о собственной неопытности и недостаточной осмотрительности. Она мучительно искала, в чем бы могла себя обвинить, но безуспешно, совесть ее была чиста. Если он и пришел к таким выводам — утешала она себя,— то не по ее вине. Если и можно предположить что-нибудь другое, рассуждала она, так это лишь то, что и он, с первого же дня, следовал своей собственной системе проверки в поисках человека, который поможет установить связь с освободительным движением. Сравнив все сведения, полученные от него, с тем, что происходило впоследствии, она совершенно ясно поняла, что ему вовсе не так трудно было установить, кто именно оповещает партизанский отряд о намерениях оккупантов в Гулно.

Однако, придя даже к такому выводу, Бела решила продолжать игру до тех пор, пока Ядран чего-либо не изменит. Впрочем, и Анджело не требовал от нее никаких признаний, хотя, наверное, был бы счастлив, если бы она доверилась ему как товарищу по борьбе.

Бела ожидала, что порадует Ядрана своим новым сообщением, а он укорит ее за излишнюю сдержанность. Но, к ее великому удивлению, ответ был таков: «Осторожность и осторожность, Бела, ни слова о своей работе. Секретность и непоколебимость».

Слова Ядрана прозвучали как упрек и предостережение. Бела была встревожена и обижена. Разве после всего сделанного, с обидой думала она, следует предупреждать ее о секретности? Но преданность делу взяла верх.

Прежде Бела с нетерпением ждала каждой встречи с Анджело, хотя помнила, что не должна быть навязчивой. Да и увидеться с ним было легко и просто. Теперь же она едва решалась выйти на улицу, боясь повстречаться с ним, хотя желание подгоняло ее сильнее прež-

него. Бела боялась продолжения разговора, который скорее только начался, чем закончился. Ей казалось, что, затеяв этот разговор, Анджело, в сущности, лишил ее права играть прежнюю роль, и если она ее продолжит, то будет выглядеть глупо. Если раньше ее поведение казалось естественным, то теперь оно станет наигранным. Дней на десять она уединилась, надеясь обрести покой и восстановить душевное равновесие. Надо было забыть слова Анджело, как забывается грохот, возникающий мгновенно и так же быстро затихающий. Бела знала, что теперь уже все гладко не пойдет, но отступать поздно. Приняв такое решение, она вышла из дома.

Тревожно было следовать по улице, где чаще всего встречался Анджело. Пройдя немного, она сразу увидела его, идущего навстречу. Девушка приостановилась в нерешительности, но приветливая улыбка Анджело и дружеский взмах руки ободрили ее. Слегка нахмурившись, Бела продолжила свой путь.

— Давно не видел вас, Ольга. Что-нибудь случилось? Сколько раз я проходил здесь в надежде вас встретить. Может быть, слышали, что готовят наши?

— Не слышала, да меня это и не касается. Уж не оставляете ли Гулно? — спросила Бела с иронией.

— Ну, об этом говорить рано. Много еще будет жертв и до нашего отступления. Оставим это. Вернемся к нынешнему положению. Бывают на войне моменты, которые, может быть, и не решают ее исход, но могут стоить многих человеческих жизней. Время не знает границ, но у него есть свои причуды. Сколько раз я благодарил бога за то, что в тот или иной критический момент находился в том, а не в другом месте, что немного опаздывал или немного спешил и таким образом терял или выигрывал те минуты, когда мог отправиться в мир иной. Два шага вперед или назад могли означать мою смерть. Ольга, штаб здешнего партизанского отряда приговорен к смерти.

Бела вздрогнула, не в силах скрыть свое волнение.

— Их схватили?

— Не волнуйтесь. Легче поймать ветер сетью, чем этот штаб. Но, видите ли, война знает и другие приемы. Задачу решить на сей раз поручено нашей авиации. Все наготове. По совершенно точным данным этот штаб размещается в доме, стоящем на самой окраине села Г. Если в ущелье не будет тумана, то завтра между пятью и шестью утра будет осуществлен налет десятка самолетов. На этот раз дело обстоит так, что, если штаб не изменит места своего пребывания, вряд ли он уцелеет. Ведь налетит не один самолет. Вы знаете, я воздаю должное тактике партизан, но и у нее есть изъяны. Подумайте только, ведь штаб месяцами расположен в одном и том же доме. К тому же назначили какое-то совещание руководителей и думают, что за ними никто не шпионит. Самолетам они что могут противопоставить — только быстрые ноги. Но крыльев им не опередить.

— Жаль, господин капитан, что у меня нет крыльев, а то бы полетела в тот штаб и всех предупредила,— насмешливо заметила Бела.

— Достойно сожаления, барышня Ольга, что вы отсиживались дома все эти дни. Не знаю, что вам и сказать...

— Вы опять за старое.

— И вы тоже.

— Но я не могу выдавать себя за того, кем не являюсь.

— И я, барышня. Такие уж мы с вами. Остается ждать результатов бомбардировки.

— Ждите сколько вам будет угодно. Я об этом и знать не знаю.

— До свидания, барышня. Не забывайте, что в войне любой момент может оказаться решающим. Опоздание не может служить оправданием, если предстоит трагический исход. Поверьте, самолеты

полетят не отсюда, а если бы здесь был аэродром, партизаны уже знали бы о наших намерениях.

XII

Оставшиеся до налета пятнадцать часов почти лишали всякой надежды на возможность что-либо предпринять. Штаб мог спастись только чудом. Бела уже решила выскользнуть из Гулно, углубиться в лес, надеясь встретить там того, кто знает путь и у кого ноги побыстрей, но вскоре поняла, что это ни к чему не приведет. Но, вернувшись домой, сразу же написала Ядрану несколько фраз, впервые отказавшись от печатных букв, отнимающих время. Письмо на этот раз преднамеренно не вложила в конверт, не запечатала.

Не теряя времени и ни на что уже не обращая внимания, средь бела дня направилась к лесу. Сопровождала ее, как и всегда, овчарка Принц. Кличка ему подходила. Принц и впрямь выделялся среди собак поселка, рычавших на него из подворотен, когда Бела вела его по улицам. Нечто общее было в их положении и состоянии. Все сторонились их, и все на них рычали. Собаки громко и открыто, а люди — каждый про себя.

Налитая силой овчарка рвалась на волю, натягивала поводок, и они продвигались к лесу по знакомой тропинке так быстро, будто и пес понимал всю остроту момента. Принц успокоился только возле дуба. Привязав его за подкопанный корень, Бела быстро вложила письмецо в жестяную банку, даже не посмотрев, есть ли в ней что-нибудь. Так письмо Ядрана, ожидавшее ее здесь, осталось неполученным.

Возвращалась Бела назад несколько успокоенная. Она сделала все что могла, очистила, пусть формально, свою совесть, однако при мысли об угрозе штабу не могла не волноваться. Беле и в голову не пришло, что Сречко все это время наблюдал за ней с одного из ветвистых деревьев. Хотелось повидаться, поговорить с ней, но и на этот раз, как и всегда, овчарка стояла между ними. Сречко еще посидел на дереве, любуясь тем, как Бела играет с собакой. Всякий раз, когда Принц натягивал поводок, словно желая вернуть девушку к дубу, Сречко казалось, что она видит его на развесистом дереве, ощущает его присутствие, что-то говорит ему. В такие счастливые минуты он забывал о голодных и бессонных ночах, проведенных здесь, вблизи дуба, в ожидании весточки. Он сидел на дереве, пока Бела не скрылась из виду. Затем быстро спустился на землю и, мягко ступая по траве, подошел к жестянке, вынул бумагу и спрятал ее в карман. Все еще думая о Беле, обрадованный тем, что ее увидел, Сречко вначале и не взглянул на письмо.

Задумавшись, он присел на сухой пень и с удивлением обнаружил в кармане не только письмо Белы, но и то, которое сам положил в жестянку. Хотел было возвратиться и вернуть его на место, но, прочитав записку Белы, почувствовал, как выступил холодный пот. Путь до штаба был далек. Времени оставалось совсем мало.

Часы показывали четыре. Сречко ощутил непреодолимое желание перевести их хотя бы на час назад, замедлить их ход, остановить время. Тогда и его добрые крылья могли бы спасти штаб. Он перевел стрелки, но не назад, а вперед и поставил их на пять часов пополудни. И это время принял за действительное.

Высокие горы, взмывавшие ввысь, глубокие ущелья, стремительно падающие вниз, представились ему сейчас разбушевавшимся морем, волны которого надо было преодолевать, несмотря на усталость и нехватку времени.

Сречко двинулся в путь. Сердце рвалось из груди, требовало бежать и бежать изо всех сил, но ему удалось сдержать себя. Он знал, как расчетливо, ровно надо начинать такой путь, с самого начала бе-

речь силы, не перенапрягаться. Через несколько минут ускорил шаг, но только через час почувствовал, что можно начать бег.

Гора за горой возвышались на его пути. Как никогда высокие, они поднимались к небесам, но Сречко не поддавался усталости, взбирался по склону, а затем лавиной низвергался вниз и начинал очередной подъем. Цепляясь руками за ветви и уступы скал, переставлял отяжелевшие ноги. Чувство голода нарастало, одолевала усталость, но он не сдавался.

А когда, наконец, примерно в три часа после полуночи увидел деревню, то ощутил такой прилив сил, что уже без всякой передышки одолел остаток пути. Был счастлив, как никогда в жизни. Вместо пятнадцати часов достаточно быстрого хода ему на этот раз потребовалось всего десять.

Не убавляя шагу, на полной скорости он ворвался в комнату Ядрана. Чуть не сломал дверь. Ядран вздрогнул и приподнялся на кровати.

— Вставай, Ядран, и не вздумай ложиться, иначе больше никогда не поднимешься,— крикнул Сречко с порога.

— Кому это ты угрожаешь? — возмутился Ядран.

— Мои угрозы — пустяки. Поднимайся! Бери письмо от Белы и читай.

— Опять открытое?

— Это счастье, что открытое. Разумная женщина. Если бы запечатала, ты никогда бы его не вскрыл. Заночевал бы я, как собирался, в сторожке. Слава богу, что у Белы не твоя сообразительность.

Ядран быстро прочитал письмо и вскочил с кровати.

— Тревога! Все село на ноги! Позови комитетчиков! — распорядился Ядран.

Через два часа и штаб, и жители села уже оказались далеко в лесу. Женщины и дети углубились в лес и там разбрелись. Весь партизанский штаб и крестьяне расположились у опушки в ожидании налета авиации.

Около шести часов утра послышался гул самолетов. Летели они на средней высоте, держа курс на село. Один за другим самолеты пикировали, сбрасывали бомбы и вновь взмывали в небо. После падения первых же бомб в густом дыму исчезло штабное здание Самолеты заходили вновь и вновь, обрушивая на село тяжелые бомбы, небо потемнело. Столбы дыма и пламени вскоре слились воедино, быстро поглощая село, существовавшее столетия.

Сречко спал возле большого дерева, притулившись к стволу позади Ядрана. Спал до полудня, ни разу не вздрогнув и не повернувшись.

Ядран никогда прежде, вплоть до этого дня, не ставил заслуги Белы так высоко. Ярость и беснование самолетов, превративших населенный пункт в груду развалин, заставили его над этим задуматься. Ведь в таком аду вряд ли бы кто уцелел, как не уцелел скот, который в суматохе не смогли выгнать. Глядя на разрушенное село, Ядран не мог не вспомнить и об Анджело, хотя он ему, несмотря на все услуги, достаточно опротивел. И прежде всего потому, что слишком уж глубоко запал в сознание Белы. В каждом ее письме Анджело отводилось значительное место. Вспомнил подробное описание его внешности, осанки, голоса и вдруг ощутил ревность. Но как сейчас обвинять его? За что упрекать Белу, как теперь намекать, сомневаться, опасаться, предупреждать, чтобы была поосторожней? Это было оружие Ядрана, и он так долго и умело использовал его, но теперь оно выбито из рук. Было бы бесчеловечно и нечестно, размышлял он, и дальше настаивать на недоверии. Надо, наконец, избавить Белу от опасений.

Поэтому в своем ответном письме Ядран не поскупился на похвалы, выражал благодарность человеку, имя которого по соображениям конспирации не упомянул, как, впрочем, не упоминал его и раньше.

Да и в самом имени была такая сладость и красивость, что и оно отталкивало Ядрана. Впервые за все это время он писал Беле: «Благодаря А. и тебе спасено население и штаб. Этому человеку мы многим обязаны. Уверен, недалек тот день, когда мы воздадим ему должное. И все же о твоей роли никто, кроме нас, знать не должен, несмотря на доверие, которое мы питаем к каждому, кто нам сочувствует и помогает...»

Разум говорил Ядрану одно, а сердце совсем другое. Он боялся этих своих похвал, но не мог их избежать. Наверное, он был бы просто счастлив, если бы Бела получила информацию не от этого красавца, а от кого-нибудь другого. Теперь благодари его еще и от лица освободительного движения.

Бела, в свою очередь, ожидала иной развязки. Анджело, сознавая важность своего участия, потребует, чтобы и она сбросила маску и заговорила с ним не таясь, как и подобает людям, доверяющим друг другу.

Анджело между тем вел себя так, будто не имел никакого отношения к произошедшему, и уверял Белу, что штаб был заблаговременно оповещен кем-то из авиации.

Беле представлялось, что сейчас Анджело скрывает свою истинную роль, никак не желая связывать свое имя с этой операцией.

Теперь Анджело предстал перед Белой подлинным борцом, не требующим никаких вознаграждений за свои заслуги. Не нужны были громкие слова и похвалы, зато стали исчезать всякие подозрения и сомнения, которые прежде постоянно охватывали Белу. Она уже не видела в Анджело лишь офицера в иностранном мундире. Униформа теперь представлялась ей всего лишь удачной маскировкой, за которой скрывается подлинный друг освободительного движения. Казалось, рухнули все преграды, разделявшие их.

Молодые люди, связанные общей работой, пусть тайной, жаждали радости, и, казалось, нужен лишь какой-то толчок, шаг навстречу друг другу, чтобы затаенные и долго скрываемые чувства пробудились и вспыхнули. Но теперь уже не было прежней свободы и непринужденности. Легко было заметить, как они чуждаются, избегают друг друга, встречаются все реже. Анджело и на людях старался показать, что Ольга его уже не интересует, а это лишь укрепило его авторитет. Жители Гулно стали относиться к нему с еще большим уважением.

Однако Бела была в растерянности. Как посмотрит на это Ядран, если ему обо всем рассказать? И неужели она, брошенная в водоворот событий, находясь, однако, в стороне, не может иметь своей тайны? Неужели и сокровенные чувства нельзя скрыть от постороннего взгляда? Бела побаивалась, что Ядрану всякая любовь, кроме его собственной любви к свободе, кажется невозможной, и он не поймет ее, Белу, а может быть и осудит. Мне нечего стыдиться, думала она, но все же мучилась, пока не написала Ядрану своего самого трудного письма. Когда Бела его перечитала, ей показалось, будто она открылась самой близкой подруге, от которой ничего не утаила. Не стала изменять, исправлять, смягчать. Но была готова, и об этом также написала, немедленно порвать с Анджело, если Ядран хоть в чем-то ее осудит.

Такое откровение потрясло самого Ядрана и убило питаемые им надежды. А ведь они крепли от письма к письму и хранились в глубине души как боль и радость. Ядран верил, что время на его стороне, и серьезно не опасался, имея в виду ее положение и одиночество.

Несколько дней Ядран испытывал душевные муки. Решился было прямо написать ей, что любит ее, что все время молча страдал. Приходило даже в голову приказать ей тотчас перейти к партизанам под тем предлогом, что ей грозит арест. Но не имея для этого никаких оснований, стал искать то, что могло бросить тень на Анджело и вновь

пробудить в Беле сомнения. Взял ее письма, перечитал все до единого, но не было в них ничего, что могло бы обесценить последнее из предупреждений Анджело — о бомбардировке штаба.

Ядран словно оцепенел. Понял только, что должен пересилить себя и нести в себе и дальше свою тоску. Другого лекарства не было.

Значит, надо скрыть боль сердца и написать ей обычное письмо. Ничем не выдал он своих страданий. Не проронил и слова упрека.

XIII

Жизнь в гарнизоне шла своим чередом. Однако Анджело не выглядел счастливым. Видимо, что-то беспокоило и угнетало его. Словно им владела какая-то назойливая, мрачная мысль.

Настроение Анджело, которого Бела не могла не заметить, непроизвольно передавалось и ей самой. Она и сама ощущала какую-то скрытую боль и знала, как тяжело ее переносить. Поэтому и настаивала, чтобы Анджело открылся ей, тогда ему будет легче. Анджело сначала упрямился, а затем уступил настояниям Белы. Заговорил прерывисто и застенчиво, как вконец измученный ребенок. Знал, дескать, друга, беднягу одного, влюбленного и униженного мечтателя, который в глазах любимой девушки был не чем иным, как простым орудием. Унизительное положение, в котором тот оказался, заставляло его сомневаться в ее любви. Это и не любовь даже, а так, крохи внимания, оказываемого за его весьма скромные услуги. Нет настоящей любви, потому что нет доверия. Притча наивна и намек прозрачен.

— Почему ты говоришь о себе в третьем лице?— спросила Бела.

— Привел лишь пример, похожий на мой. Таких примеров множество, не только в романах, но и в жизни.

— Меня не интересуют какие-то там примеры.

— А меня интересуют, потому что в них я вижу и себя.

— А меня в той девушке?

— Хотел бы, Ольга, ошибиться, но ведь и ты считаешь, что я ни на что другое не годен, кроме как подслушивать. Сам я мечтаю о большем. Но какими бы ни были возможности человека, что может сделать он в одиночку, вне всякой организации, без чьей-либо помощи? Тем более если он способен на большее, нежели сделал до настоящего времени.

Так он поделился с ней своими замыслами. Наконец-то открылся. И не только Ольга сама по себе вдохновляла его. Любовь к ней стала и любовью к освободительному движению, и она сама может лишь бесконечно радоваться этому.

С той поры в Анджело воплотилось для нее то самое дорогое, чем она жила, что ее вдохновляло. Глубокое понимание значения и масштабов восстания, энтузиазм масс, казалось, вливали в него новую энергию. Он жаждал показать свою преданность. Один план замечательней другого возникал у него в голове, и он доверял их Беле.

Все то, что делали они вдвоем, теперь ей самой представлялось мелким, незначительным по сравнению с тем, что замышлял Анджело. Нужно было только связать его с людьми из организации, но только вне Гулно. Впервые за все время работы, не поставив в известность и не запросив Ядрана, Бела дала Анджело адрес одного из видных организаторов движения. Анджело радовался, как ребенок. Благодарил Ольгу за такой щедрый подарок, за оказанное, наконец, доверие, за возможность осуществить свои замыслы.

Теперь они виделись все реже. Анджело иногда уезжал, на другой день появлялся и снова исчезал, и это убеждало Белу в том, что ожидаемые события действительно надвигаются. Потому и не сожалела, что так мало времени остается у них для встреч. Увидятся на какой-то миг, сверкнет любовь искоркой, но еще сильнее разгорается в вихре войны.

Встречи эти продолжались вплоть до памятного осеннего утра. День в ее комнату вошел тогда вместе с рассветом и легким постукиванием руки Анджело по стеклу. Все еще сонная, кутаясь в одеяло, подбежала к окну, немного его приоткрыла. Анджело стоял, прислонившись к стене. Он был в гражданском костюме, таким она видела его впервые. Доброе предзнаменование, подумала Бела.

— Нежданно-негаданно к тебе, прости. Боюсь, не увидимся целых десять дней. Не беспокойся. Ничего не делается быстро. Иначе и быть не может. Жди меня. Из дома никуда. Ни на миг тебя не забываю. Пожелай мне удачи, Ольга.

И хотя Бела считала расставание на десять дней долгим, все же не почувствовала себя одинокой. Мысль о его возвращении вселяла радость. Снова будут свидания, мечтала она, будет их общий праздник, праздник грядущих побед.

Десять дней ожидания растянулись до пятнадцати. Белой овладело беспокойство. Больше она уже не в состоянии была хладнокровно глядеть в окно, поджидая Анджело. Пыталась занять себя чем-нибудь, не позволяла себе волноваться. Все чаще подходила к собаке. Принц же, будто чуя ее настроение, не выражал бурной радости, а жался к ногам, грустно скулил. И уже не вскакивал, не вставал на задние лапы, как делал, когда чувствовал, что скоро они вместе пойдут к дубу, где он набегается и наиграется вволю.

Терпение с каждым днем иссякало. Бела стала выходить из дома, она расспрашивала офицеров об Анджело. Его друзья, а значит и ее друзья, только пожимали плечами. Что могло произойти? Вероятно, попал в ловушку или его предали. Кто знает, думала Бела, может, пострадал от своих же товарищей, с которыми должен был связаться. Случалось и раньше платить головой за попытку установить с ними связь без явки или с просроченной, уже недействительной явкой. На такие размышления наводили слухи, правда не проверенные, об арестах подпольщиков во всей округе, об их сопротивлении жандармам и солдатам. Поговаривали и о гибели некоторых офицеров.

Белой овладели мрачные предчувствия. Отгоняя тревожные мысли, она все еще надеялась на новую встречу с Анджело. Его твердость, предусмотрительность и абсолютная выдержка ободряли ее и успокаивали. Но эти проблески надежды угасали быстро, как далекие вспышки молний, после которых наступает непроглядная тьма.

Казалось, будто кольцо сжимается. Решила было бежать, но тут же устыдилась своих мыслей. Подумала даже, что она обижает и предает Анджело, покидает, быть может, в самые трудные минуты жизни. Возникло и другое сомнение: а что, если в случае ее побега он предаст? Но мысли эти гнала прочь, ибо твердо верила: никакие муки на свете не заставят его говорить.

Именно в такую минуту, когда отчаяние сменялось надеждой, сомнение — верой, а падение — взлетом, к ней подошел какой-то офицер и украдкой передал письмо от Анджело. Бела бросилась домой, достала письмо, приготовилась читать. Но в конверте обнаружила лист бумаги с одной-единственной фразой: «Живу мыслью о нашей скорой встрече. Любящий тебя Анджело».

Не было ни даты, ни указания места, откуда письмо послано. Белу это не смутило, да и не хотелось сейчас об этом думать. Такое письмо как нельзя лучше отвечало и всем правилам конспирации.

Эта короткая фраза вернула Беле утраченный покой, прибавила сил. Нужно было наверстать все, упущенное за это короткое время после ухода Анджело. Пришлось вспомнить о прежних, почти забытых приемах и методах, позволявших добывать сведения, полагаясь только на свои глаза и уши. Однако они теперь казались бесплодными, отжившими. Слух словно бы притупился, замерли разговоры между офицерами, они, похоже, опасались друг друга. То, что удалось услы-

шать, было слишком скудным. Едва наскребла сведений на одну информацию, которую и послала Ядрану.

Ядран догадался об отъезде Анджело из Гулно и без упоминания со стороны Белы. Пустота ее сообщений была очевидной, было ясно, что она собирает бесполезные слухи.

Ядран глубоко переживал за подпольщиков, среди которых теперь были и Бела и Анджело. Боялся за обоих. Но при этом втайне желал, чтобы Анджело больше не вернулся в Гулно, чтобы ураган войны унес его прочь и он бы навсегда исчез из сердца Белы. Хотя Ядран не желал ему зла, не хотел ненавидеть, но не забывал и о его заслугах.

Может быть, именно сейчас, думал он, и надо отозвать Белу. События на местах настораживали и вроде бы заставляли написать ей о том, чтобы она бежала к ним, не ожидая, пока разделит судьбу тех подпольщиков, которые уже попали в руки полиции и солдат при весьма странных обстоятельствах. Но в глубине души он надеялся также разлучить Белу с Анджело Дости.

Долго Ядран боролся с самим собой. Часами он предавался своим мыслям. Закрывал глаза и старался представить себе Белу, и действительно ему удавалось представить ее настолько реально, как будто она стояла перед ним.

Ядран изменил бы самому себе, поддавшись велению чувства. Он не был бы таким, каков есть, если бы поступился своими принципами. Бела должна оставаться там, где находится, и он не может разбить чужую любовь из-за себялюбия.

XIV

Отряд Огневого в это время не проводил сколько-нибудь крупных операций. На полях сражения дремота, затишье, вроде бы и не достойное воюющих сторон. Неприятельские части укрылись в крупных населенных пунктах, надежно опоясанных рвами и проволочными заграждениями. Шоссейные дороги замерли. То тут, то там совершит вылазку воинская часть, сожжет село, арестует группу местных жителей и быстро возвращается назад.

Рапорты, посылаемые из отряда командованию, стали так бессодержательны, что Ядран и Огневой, подписывая их, краснели от стыда.

Одна из старых, довольно удаленных шоссейных дорог, до недавнего времени щедро обеспечивавшая отряд и оружием и боеприпасами, снова, как и в сорок первом году, оказалась в руках оккупантов. Заброшенное шоссе превратилось в настоящую военную магистраль. Партизаны ночами подходили к ней, пытаясь малым количеством взрывчатки вывести ее из строя. Но на шоссейной дороге это никак не отзывалось. С рассветом они отступали, чтобы не нарваться на танки. И шоссе сразу преображалось. И следа не осталось от некогда высокого и густого леса, подступавшего с двух сторон к шоссе. Оккупанты из соображений безопасности как бритвой срезали росшие вдоль дороги деревья. Потому и назвали ее партизаны в насмешку «Голой красавицей».

Однажды в период затянувшегося затишья Ядран самовольно, без ведома Огневого, занятого разработкой плана действий, вызвал командира роты Мирко Тобича и приказал ему срочно следовать к шоссейной дороге. Он и сам толком не знал, зачем посылает туда роту, разве что надеялся на сообразительность и находчивость Мирко. Тот всегда отличался в бою тем, что в критическую минуту действовал сам, без чьей-либо подсказки.

— Что именно требуется от меня? — спросил Мирко, поскольку никто и никогда не давал ему таких странных поручений.

— Надо пойти туда, Мирко,— ответил Ядран,— и посмотреть, что нам готовит «Голая красавица». Она ведь и подшутить может.

— Была бы голой да еще красавицей, не стыдно было бы бежать от нее, как бегаем.

— Присмотрись к ней хорошенько. Ведь нужно сперва поближе с ней познакомиться.

— И красавица, и голая. Никогда не видал голую красавицу. Занятно, должно быть,— озорно улыбаясь, сказал Мирко.

— Та красавица, о которой я говорю, не особенно привлекательна, во всяком случае в настоящее время.

— Не умеем ухаживать, Ядран.

— Лучше будет, если и ты не слишком увлечешься.

— Издалека, думаю, можно.

— Вот и посмотри издалека, как она там себя ведет.

За два дня Мирко со своей ротой подобрался к этой проклятой дороге. Пока сам не увидел, как по ней в обоих направлениях движутся длинные армейские колонны, не верил, что она такая грозная и неприступная. Тут только и понял, как был неправ, когда ругал тех, кто возвращался отсюда ни с чем.

Ни для того ли и послал его сюда Ядран, размышлял Мирко, чтобы раз и навсегда заставить замолчать, не болтать и не осуждать всех и каждого, в том числе и Ядрана, и даже Огневого, которого вообще-то он глубоко уважал как решительного командира. Мирко понял, что оказался в незавидном положении перед лицом тяжелого испытания. Нечего будет сказать, когда и сам он возвратится с пустыми руками. Похоже, придется покаяться и открыто признать, что он действительно молол вздор. «Да, да, это подвох комиссара. Решил покрепче ударить меня по голове, унизить и заставить пасть на колени».

Мечты, которым он предавался ранее, надеясь совершить здесь некое чудо и развеять миф о непокорном шоссе, оказались всего-навсего заблуждением.

Все же решил вести наблюдение. Может, и у шоссе есть свои слабости. За три дня пребывания возле шоссе установил, что колонны движутся точно, почти как по расписанию. Первые утренние колонны двигались навстречу друг другу с широким веерообразным охранением, как и более поздние, проходившие одна за другой, без подвижного или обычного охранения. В то же время Мирко выяснил, и это было особенно важно, что ежедневно после полудня наступает некое затишье, как будто и дороге нужна передышка, и в эту пору проносятся лишь отдельные машины или небольшие группы грузовиков.

С учетом этого обстоятельства Мирко и начал готовить план посещения «Голой красавицы». Только бы четвертый день наблюдений, дополнительный, контрольный, не опроверг сделанных выводов. К счастью, и в этот день все повторилось с той лишь разницей, что колонны, шедшие на восток, были несколько мощнее, плотнее, длиннее и танки шли впереди колонн, в середине их и в конце.

Весь вечер готовил бойцов к операции. Когда все уточнил, словно операция должна была проходить абсолютно так, как он ее задумал, остановил роту в километре от шоссе, чтобы она не попала в зону наблюдения утренних патрулей противника.

Здесь бойцы надежно укрылись. Всем, кроме нескольких постовых, приказал улечься и крепко спать до побудки. Сам и не прилег, хотя дремота его одолевала. После полуночи тихо, как лунатик, обходил партизан и смотрел, кому как спится накануне опасной операции. Почти половина бойцов спала крепко. А один пулеметчик спал на спине и храпел так сильно, что его можно было бы услышать и на шоссе. «Так, так,— сказал про себя Мирко.— Вот бы завтра так же рокотал и твой пулемет». Другая половина роты не смыкала глаз, кто притворялся спящим, кто ворочался, впрочем, накануне боя такое бывает и с храбрецами.

Мирко хотел вывести на шоссе только один взвод, а второй оставить на прежних позициях в качестве прикрытия на случай отступле-

ния. Однако после ночной проверки решил, что путь к шоссе преодолеют только те, кто хорошо спал. Он заново сформировал взводы для осуществления операции. В первый взвод включил только хорошо выспавшихся бойцов, а остальных — во второй.

В час дня после непрерывного движения армейских частей по шоссе из поля зрения Мирко исчез, наконец, хвост длинной колонны, направлявшейся на запад. Дорога на протяжении нескольких километров стала пустынной, как и в предыдущие дни. Сердце у Мирко забилось от волнения. Скомандовал: «За мной!» Первым побежал по открытому месту к дороге, махая распростертыми руками, как крыльями. За несколько минут добежали до шоссе. Он уже собирался перескочить его. Позиции на той стороне были немного лучше и не давали возможности отступать, поскольку вблизи протекала река. Но вдруг справа показались три грузовика. Мирко не успел понять, следуют они самостоятельно или впереди очередной колонны. Но все еще можно было успеть укрыть взвод за парапетом дороги, как это сделал бы любой вышколенный военный. А ему такое и в голову не пришло. Он скомандовал: «Огонь!» И тотчас все тридцать бойцов, стоя во весь рост, открыли стрельбу. Пулеметчик залег на середине дороги. Два грузовика уже были подбиты и остались на шоссе. Третий вылетел на обочину. Противник не успел даже выстрелить. Солдаты выскочили из машин и в панике разбежались, оставляя на шоссе и в грузовиках убитых и раненых.

Прежде чем поджечь грузовики, командир осмотрел их и в одном обнаружил двух человек в поношенной гражданской одежде, лежащих лицом вниз. В первый момент подумал — мертвые, но на всякий случай толкнул лежащих в бок. Увидев, что они подают признаки жизни, приказал встать. Испуганные люди перевернулись на спину и некоторое время еще оставались в таком положении, с трудом приходя в себя. Но когда увидели пятиконечные звезды на пилотках, несмотря на наручники, быстро поднялись и, казалось, готовы были обнять своих освободителей. Один из них, тут же выскочив из грузовика, закричал: «Его схватите, товарищи, его!» — И указал на раненого офицера, ползшего по шоссе к обочине. «Его, этого самого! Не стреляйте, он нужен нам живой!» — выкрикнул другой, подбежал к офицеру и сильно пнул ногой.

Офицер умоляюще поднял руки, показывая на раненую ногу.

— Что, господин, очень тебе больно?

Офицер ничего не ответил.

— Сейчас пока нас беспокоит лишь твое здоровье, а на другое времени хватит, если только выберемся отсюда. Вот тогда и поговорим подробнее. Ключи давай, сукин сын!

Офицер вынул из кармана ключи и протянул их.

— Снимай наручники сам. Кто умеет запирать, тот и отпирает.

Офицер умело и ловко снял наручники с арестованных подпольщиков. Опасаясь появления колонн либо с той, либо с другой стороны, Мирко решил оставить раненых солдат на шоссе. Ему и прежде никогда не хотелось брать в плен раненых и обременять ими партизанские госпитали. Но освобожденные подпольщики требовали или казнить офицера, привести смертный приговор в исполнение здесь, на шоссе, или разрешить унести раненого, чего бы это им ни стоило. Скрепя сердце, пренебрегая опасностью, Мирко дал свое согласие унести офицера.

Роте с раненым на носилках удалось быстро добраться до леса, где ее все же настиг огонь с шоссе, но не нанес потерь. Шоссе уже заработало во всю силу.

Возле носилок все время находились оба освобожденных подпольщика, которые старались узнать у офицера, кто именно провалил организацию и какую роль сыграл в этом деле он сам. Но все было напрасно. Офицер не желал их слушать. Даже шутил и подсмеивался

над ними, оспаривая их право на его допрос. Еще и пригрозил, что им попадет в случае плохого с ним обращения, и заявил, что будет говорить только с комиссаром Ядраном.

После нескольких часов тяжелого перехода раненый потребовал разговора наедине с командиром Мирко. Командир согласился.

— Командир, хочу поговорить с вами как солдат с солдатом.

— Никакой я не солдат, обучения не проходил, но поговорить можно,— ответил Мирко.

— Зато прошли школу практики,— возразил офицер,— и сегодня это доказали.

— Благодарю,— хитровато заметил Мирко — но, думаю, ваше восхваление — не главная цель нашего разговора.

— Вы правы. Скажите, пожалуйста, как вы объясняете тот факт, что сегодня средь бела дня по шоссе проследовало всего три грузовика без какого бы то ни было охранения?

— Это повторялось изо дня в день.

— Совершенно верно, но согласитесь, дорога никогда не оставлялась без всякого надзора так долго, как в последние дни, а особенно сегодня. Не трудно заметить. Ведь вы это поняли и использовали. Вы уверены, что это была всего лишь случайность?

— Уж не хотите ли вы сказать, что сами подстроили все это?

— Знаете, командир, нам двоим в этом не разобраться. Я только попрошу вас предоставить мне возможность встретиться с комиссаром Ядраном. Ни с кем другим я разговаривать не стану.

— Попробую,— мрачно ответил командир, которому после такой удачи на шоссе все еще не хотелось возвращаться назад. Но ничего другого не оставалось, надо было идти всем вместе.

XV

Сообщение о взятом в плен офицере, которого рота два дня несла на носилках в госпиталь, и о его желании встретиться с комиссаром было передано Ядрану, когда он находился далеко от штаба. И Ядрана охватило какое-то странное предчувствие чего-то необычного.

Возле госпиталя его встретили освобожденные во время операции на шоссе подпольщики и сказали, что для него будет «большой честью» выполнить последнее желание опасного преступника, офицера итальянской фашистской охранки ОВРА. Они считали его военным преступником. Обвиняли в разгроме организации освободительного движения, в которую он внедрился. Расстреляно несколько видных деятелей, последовали многочисленные аресты, пытки, интернирования. Повторяли имя Анджело.

Мелькнула мысль, а не тот ли это самый Анджело, но он отбросил ее, ему хотелось верить, что речь идет о каком-то другом Анджело. Но тогда почему этот предполагаемый тезка ищет встречи именно с ним? А если бы речь действительно шла об Анджело из Гулно, Ядран должен был бы найти разумное объяснение его присутствию на шоссе при таких странных обстоятельствах. Обвинениям со стороны подпольщиков он пока не придавал особого значения. Анджело был достаточно серьезно проверен. Впрочем, по представлениям Ядрана, то, что произошло на шоссе, походило на некоторые уже проведенные операции.

Офицер находился в небольшой палате госпиталя, размещенного в деревянном доме. Рядом с ним сидел караульный с револьвером в руке. Анджело держал руками раненую ногу, которая, по-видимому, сильно болела, но лицо не было искажено страданием. Ядран задержался в дверях и головой сделал знак постовому, чтобы тот вышел. Уже с первого взгляда ему показалось, что перед ним человек, с которым он знаком. Внешность его соответствовала представлению Ядрана о капитане Анджело из Гулно. Подробное описание Анджело,

запомнившееся по письмам Белы и по недавно присланному ею рисунку на случай опознания, соответствовало внешности того человека, которого видел сейчас перед собой Ядран. Лет тридцати, не более, очень красив. Так что можно было понять Белу. Письмо командира Мирко, написанное в дополнение к устному докладу об операции и врученное подпольщиками, Ядран бегло прочитал еще за дверью. Разговор Мирко с Анджело еще больше убеждал Ядрана в том, что все случившееся на шоссе лишь результат умело подготовленного плана — грузовик не случайно оказался захваченным партизанами и, таким образом, были освобождены арестованные подпольщики.

Приблизившись к койке и дружески протянув руку раненому, Ядран спросил:

— Мне сказали, что вы хотели поговорить со мной.

— Да, если вы комиссар Ядран. Ни с кем другим, ни при каких обстоятельствах.

— Почему на меня пал ваш выбор?

— Вы лицо политическое. Мне известно, какова роль комиссара.

— А кто вы, собственно, такой? — спросил Ядран.

— Капитан Анджело Дости из Гулно, если вам это что-нибудь говорит.

— О вас наслышан,— заметил Ядран.— По-доброму говорят о вас в народе.

— Комиссар Ядран, и я слышал о вас, и мне кажется, мы старые знакомые. Но, комиссар, кто бы мог подумать, что мы встретимся при таких обстоятельствах? Странная она, эта чертова война, как только не оборачиваются дела. Только благодаря вам я жив и нахожусь здесь. Достаточно было сослаться на вас, и моя жизнь в тот момент была спасена. Это многое говорит о вашей личности. Счастье поистине было благосклонно ко мне. И вот, формально я ваш пленник. Может быть, это имеет и хорошую сторону. Только не могли бы вы как-нибудь оповестить Ольгу Тебич. И мне и вам известна ее истинная роль, хотя мне она никогда в этом не признавалась. Такое сотрудничество меня устраивало. Имею основания верить, вам об этом известно. Как бы не пострадала «ла белла».

Слово «белла» подействовало на Ядрана как удар молота по голове. Откуда он знает, что Бела псевдоним Ольги? Возможно ли, чтобы она поступилась своими принципами и выдала свое нелегальное имя, известное только ему, Огневому и Сречко? Как они вместе со Сречко намучились, пока не узнали, кто скрывается за этим именем. Если бы Игор не умер, оно бы никому не было известно, во всяком случае до окончания войны.

— Вы упомянули Белу? — взволнованно спросил Ядран, широко открытые глаза его выражали сомнение и изумление.

— О нет, вам послышалось.

— Я хорошо вас слышал и понял, капитан.

— Какое-то недоразумение. Как видите, я не особенно разбираюсь в тонкостях вашего языка. Не найдя нужного слова, я сказал по-итальянски «белла». Впрочем, о ком, если не об Ольге, можно сказать «белла», «беллеца», красавица. Только сейчас вспомнил это ваше слово. Не обижайтесь, но для меня приятнее звучит слово «белла», «беллеца», нежели красотка, красавица.

— Оставим игру в слова, ею ничего не объясните.

— Ольга, комиссар, заслуживает самых добрых слов.

— Только слово, которое вы обронили, не имело того смысла, который вы сейчас в него вкладываете. Бела — имя, действительно хорошо известное и в народе, и среди партизан. Но никто не знает, кто скрывается под этим именем.

— О нем говорят и в нашем гарнизоне. Настоящее привидение, некая организация, некая группа, нечто загадочное. Причина всех наших неудач.

— Вам Ольга сказала, что ее так зовут? — спросил Ядран, повышая голос.

— Сказала ли мне Ольга, что она «белла»? В этом не было необходимости. И слепой бы это увидел.

— Бросьте свои увертки. Откуда знаете, что Бела псевдоним Ольги? Отвечайте! Это чрезвычайно важно. С этого мы должны начать разговор. Не забывайте, я хорошо осведомлен Ольгой о вашей работе и ценю сделанное вами для нас. А сейчас, после происшествия на шоссе и показаний подпольщиков, вы под подозрением.

— Хорошо, тогда будем говорить откровенно. Предположим, я действительно знал, кто такая Бела, до того как попал сюда. Чуть раньше я употребил это слово именно в том значении, какое вы ему придаете. Можете ли вы в таком случае требовать от меня, учитывая ваши правила нелегальной работы, чтобы я обо всем рассказал вам?

— В данном случае да. Значит, Ольга вам сообщила, что ее псевдоним Бела?

— Нет.

— Тогда как вы это узнали?

— Скорее, я его открыл, чем узнал о нем. По прибытии в Гулно, уже после всего того, что там произошло, нетрудно было понять, что в Гулно находится кто-то, прекрасно осведомленный обо всем, что происходит у нас. Должен вам признаться, я восхищался сделанным вами в ту ночь. Захватить гарнизон спящим! Такую сложную операцию должна была направлять искусная рука изнутри. Кто бы это мог быть? Этот вопрос не давал мне покоя. Такой человек и теперь будет осведомлен обо всех наших секретах.

Моя антифашистская ориентация, комиссар, возникла еще в ранней молодости. К слову сказать, я много слышал и читал о разведчиках всех времен, об их работе, и это мне очень помогло во всем разобраться. Встреча, устроенная Ольгой нашему новому гарнизону, ее дружба с офицерами, ее скомпрометированная репутация заставили меня усомниться в ней. Как раз с такой особой и следовало установить контакт, а через нее связаться с освободительным движением, чтобы помогать, а затем и примкнуть к нему. Думаю, что я не ошибся. Впрочем, вам судить о моей работе, а мне остается лишь предполагать, что Ольга — ваша разведчица, хотя она никогда не признавалась мне в этом. Но действия партизан со всей очевидностью говорили о том, что все услышанное от меня Ольга быстро передавала вам.

В этот момент в комнату ворвались освобожденные подпольщики, готовые растерзать раненого.

— Узнаешь ли это? — спросил один из них и, распахнув рубашку, показал следы ожога на животе.

— Разговаривать не желаю с этими неблагодарными людьми,— сказал Анджело.

— А раньше хотел, да еще как! Теперь хотим мы. «Кто секретарь организации? Кто секретарь комитета?» Об этом ты спрашивал, гад, когда пытал меня?

Анджело молчал, не скрывая своего презрения.

— Иначе надо с ним разговаривать, Ядран,— вмешался второй подпольщик и бросился было к Анджело.

Но Ядран отстранил их, попросил, чтобы они обо всем написали, но сейчас ни во что не вмешивались.

— Так-то вот, капитан. Как видите, дело несколько прояснилось. Что же произошло с вами? Раскрыли вас и арестовали ваши же? Не выдержали на первом же допросе? Расскажите обо всем, чтобы не мучить ни себя, ни меня,— потребовал Ядран.

Анджело весь взмок. На лбу выступили капли пота. Лицо исказили судороги. Оно уже не было похоже на прежнее благородное, добродушное, каким было несколько минут назад. Стало хмурым,

как свинцовая грозовая туча перед ливнем. Он молчал, и это молчание ничего хорошего не предвещало.

Вскоре вошел постовой и передал Ядрану записку от тех двоих подпольщиков. «Спроси его,— писали они,— как он под видом «дезертира» в гражданской одежде сумел укрыться у товарища Г.? Как снискал его доверие? Кто ему дал эту связь? Того предателя надо найти. Он скрывается в нашей организации».

Теперь холодным потом покрылся Ядран. В голове — полная сумятица. Как продолжить разговор, за что ухватиться, чтобы размотать запутанный клубок? Верил еще, что Анджело предал под пытками. Кто его выдал? Кто еще знал о его работе, кроме Белы? Того, кто дал ему явку подпольщиков, надо разыскать и предать суду.

— Теперь ясно, что вы — предатель,— продолжал Ядран.— Вашему преступлению не может быть никаких оправданий. Нет таких адвокатов, которые бы вас защитили. Все, сделанное вами до предательства, не смягчит приговора. Предательство карается самым суровым образом.

— О каком предательстве вы говорите? — спросил Анджело.

— О вашем! Не ссылайтесь на пытки, на то, что не могли их выдержать. Предательство остается предательством.

— Вы, комиссар, глубоко заблуждаетесь. Считаете меня своим информатором. Весьма наивно. Я играл с вами по-крупному и весьма успешно, уверяю вас. Даже вас я захватил в свою сеть. Вас лично, комиссар. Поэтому предателем я быть не могу. Даже с вашей точки зрения. Чтобы быть им, я должен был участвовать в вашем движении. Никогда я к нему не принадлежал и не мог принадлежать, даже если бы эта война длилась вечно и моя сторона потерпела бы поражение.

Ядрана потряс этот взрыв нескрываемой ненависти, он опустился на стул, не веря своим ушам. Возможно ли такое: отказаться от всего, сделанного для движения, даже если сейчас все это оборачивается против него? В глубине души Ядран уже боялся услышанного и, возможно, того, что еще предстоит услышать. Словно раненый зверь пробудился в нем, и он крикнул:

— Говори, предатель!

— Дрожите, комиссар, даже стул под вами трясется. Проигрываете дуэль. Может быть, заговорила ваша совесть?

— Моя совесть чиста,— ответил Ядран уже спокойнее.— Говори о своем злодеянии!

И в тот же момент Ядран непроизвольно, но угрожающе вскинул руку, и Анджело воскликнул:

— Уберите руки, прошу вас! От меня вы ничего не добьетесь силой. Не спешите! Проживу я днем меньше или днем больше, это не так уже важно и для меня, и для вас. Но если уж суждено умереть, я хочу умереть честно.

— Нет ничего позорнее, чем ваша «честная» смерть. У предателя и преступника нет ни честной жизни, ни честной смерти.

— Повторяю, я не предатель и не преступник. Я лишь выполнял свой долг. Опомнитесь, комиссар, вы все еще заблуждаетесь. Я работал не на вас.

— Ничего не понимаю,— пробормотал Ядран тихо, но достаточно внятно.

— Да, в такой момент вам трудно это понять.

— Но, видно, клубок для того и наматывают, чтобы когда-нибудь размотать. Итак, начнем. Как вы узнали, кто такая Бела?

— Я уже начал объяснять, и в том, что я говорил, есть доля истины. Сейчас расскажу подробнее. Простите, если в чем-то повторюсь. Снисхождения не прошу. Уверен, что совершил роковую ошибку, упомянув Белу, иначе еще долго бы вас обманывал. Виноваты тяжелая рана и состояние, близкое к агонии. Но такова жизнь, комиссар,— разведчик, как и минер, ошибается только раз.

Я уже говорил, мне вскоре стало ясно, что в нашем гарнизоне есть ваш человек, видящий и знающий все. Нужно было только за что-то ухватиться, что-то предположить и идти шаг за шагом, след в след. Скрупулезно изучать человека за человеком, моральные качества каждого, сопоставлять все привходящие обстоятельства. Должен признаться, в самом начале мне и в голову не приходило усомниться в Ольге Тебич. Ведь она была чуть ли не нашей подопечной. Партизаны ее арестовывали. Ей угрожал самосуд. Ее красота привлекала и меня еще с того момента, когда Ольга встречала нас с огромным букетом цветов. Но я повел себя не как мальчишка, не как другие офицеры, ухаживавшие за ней глупейшим образом. Прикидывался, что ее не замечаю. Женщины не выносят навязчивых болтунов, но равнодушие и некоторую отчужденность воспринимают как вызов. Даже такая девушка, как Ольга.

Наши попытки что-либо предпринять против вас, используя воинские подразделения, почти всегда заканчивались неудачей, мы терпели поражение за поражением. Попадали в засады, похоже было, нас кто-то строго наказывает. Это как раз и подтверждало мое предположение, что за нами все время наблюдают, кто-то постоянно следит, знает все наши намерения едва ли не в зародыше. И этот некто, конечно же, скрывается «внутри» нашего дома. Постепенно перебирал всех людей, имевших с нами контакт, пока не дошел до Ольги Тебич. Методом исключения. Как видите, плодотворный метод, спасительная логика. Ольга была единственным человеком, для которого были открыты все наши двери. Между прочим, само по себе предположение еще ничего не значит. Нужны были доказательства. Был уверен, если она действительно ваш агент, то рано или поздно допустит ошибку. Какую-нибудь мелочь, которая не ускользнет от глаза профессионала, постоянно следящего за ней.

Однажды, совершенно случайно, заметил, как она забавляется со своей овчаркой на окраине Гулно. Кому нынче до таких забав? Ведь даже выйти за пределы поселка было трудно, требовалось особое разрешение. На это я обратил внимание. Через несколько дней встретился с ней в сумерках на улице. Прежде мы почти и не знали друг друга. В глаза бросились ее выпачканные грязью туфли. Странно. Шепотом приказал своей дрессированной собаке обнюхать ее. Пес словно бы вырвался у меня, подбежал к девушке и ткнулся ей в ноги. Тогда я отозвал собаку, слегка ударил ее. Вроде бы в наказание. Разумеется, подошел к девушке и извинился. После того как Ольга ушла домой, приказал собаке взять след, чтобы посмотреть, где она побывала. Собака привела меня прямо к вашему «святому дубу», жестяной банке и письму в ней, подписанному Белой.

Ядран был в полной растерянности. Хотел что-то сказать, но мысли его обрывались, путались, уводили к прошлым дням, связанным с человеком, лежащим перед ним. Ядран все еще не мог забыть, что этот офицер, так сурово обвиняющий себя, спас жизнь ему, членам штаба, жителям деревни. Перед его глазами вновь возникла страшная картина того дня, когда бомбы перепахивали село. Вспомнил, о чем думал тогда: кончилась бы война и нужно было бы этому неизвестному итальянскому офицеру при жизни поставить памятник. Чувства благодарности и признательности были еще так свежи несмотря на все, сказанное освобожденными подпольщиками, и все, услышанное сейчас. Он сумасшедший, подумал Ядран. Откуда в нем столько ненависти, вытеснившей все разумное и человеческое? В этом раненом офицере он никак не мог разглядеть того Анджело, которого знал по письмам Белы, и никак не мог отождествить с этим.

— Что было потом? — спросил Ядран.

— Остальное вам известно. Ольга, ваша Бела, оказалась у меня на виду. Никто, кроме меня, не знал о ее деятельности. Не знает и по сей день. Тогда я пустил в ход те приманки, на которые должны

были клюнуть вы лично. Я взял в руки дирижерскую палочку. С тех пор я сам решал, какая именно информация и когда пойдет. Вся переписка велась под моим контролем. У меня было достаточно доказательств вины девушки и поводов для ее ареста. Но нет, ни в коем случае. Раскрытый таким образом агент не представляет особой опасности. Пусть пока заблуждается. Води его за нос, и его самого, и тех, на кого он работает. Между прочим, мои планы, как это выяснится значительно позже, были широкими, весьма амбициозными. Следовало действовать осмотрительно и терпеливо, в расчете на длительное время. В конце концов увидим, комиссар, кто кому принес большую пользу. Кому это удалось. Исключаю лишь свою собственную судьбу.

Информация от Белы, господин комиссар, которую она вам пересылала с тех пор, как стала общаться со мной, содержала в основном то, что я вам подбрасывал. Конечно, я не хочу сказать, что помимо моей воли не могло проскочить кое-что, добытое ею, благодаря болтливости наших офицеров. Есть ведь у нас глупцы, которые при виде юбки теряют рассудок.

Итак, я держал вас в своих руках, благодаря вашей «чудодейственной» жестяной банке. Должен был быть осторожен, да еще как, чтобы меня не обнаружили Бела или ваш почтальон. Его я особенно боялся. Он, как мне удалось установить, чаще всего подбирался к дубу ночью. Я же старался бывать там днем. Появляться там ночью было бы слишком рискованно. Ваш почтальон, я был в этом уверен, никогда не подойдет к жестянке, не оглядевшись. Он был для меня натянутой тетивой. Ни разу я не подходил к дубу, не обследовав с собакой окрестности. На всякий случай прихватывал с собой охотничье ружье. Иногда стрелял птиц. Своих опасался не меньше, чем вас. Иной раз возвращался, так и не заглянув в жестянку. Стоило псу насторожиться, и я удалялся. Однажды он погнался то ли за дичью, то ли за вашим письмоносцем. Судя по лаю, это был скорее человек.

— Пожалуй, так оно и было. Говорил мне однажды связной, что за ним гналась какая-то дворняжка,— заметил Ядран.

— Нет, нет, ошибаетесь, комиссар, это отличная собака. Я свистнул, и она тотчас возвратилась. К дубу я так и не пошел, предоставив эту возможность вашему резвому почтальону.

— Можно подумать, что вы его знаете.

— Нет, мы так и не познакомились, но я его знаю. Видел несколько раз, как он подкрадывается к жестянке. Однажды чуть не столкнулись нос к носу. Я не трус, но с ним, поверьте, не хотел бы встретиться ни при каких обстоятельствах, пока все решает оружие.

Но в тот раз, к счастью, я был без собаки. Вовремя его заметил и укрылся в кустах. Держал его на мушке из предосторожности. Вы не представляете, как ловок этот парень. Подбирается к дубу, а в руках нечто вроде топора, машет им, рубит по веткам, будто хочет прутьев набрать. Затем невзначай сядет на тот самый корень и обязательно закурит сигарету. И это, изволите видеть, под самым нашим носом, днем, а я бы, не знай его намерений, никогда бы не сказал, что парень занимается сомнительным делом. Рука его будто и не шарила под корнем в поисках лежащей там жестянки. Умелого человека вам удалось найти, комиссар.

— Не забывайтесь, вы здесь не судья. Следствие веду я,— прервал его Ядран.

— Поэтому и говорю. Я не обольщаюсь. Мне нечего скрывать и незачем увиливать. Приговор вынесен, знаю. Хочу только разоблачить и я вас. Меня обвиняют, и я обвиняю. Вас также надо судить.

— Довольно об этом! — крикнул Ядран.

— Нет, продолжим. Пока перевес на вашей стороне. Но вернемся к пересылке сообщений. Много хлопот мне доставляли как вы, так и Бела своими запечатанными письмами. Какое требовалось терпение!

Как надо было изощряться, чтобы заполучить ваше доверие. А это ведь и было моей конечной целью. Но крепости легко не сдаются, и чтобы завоевать доверие Белы — я это знал,— должен был завоевать ваше. Вы для нее, как сами могли убедиться, непогрешимы. Святыня, которую лишь вы, коммунисты, можете сотворить. Это видно в каждом ее письме. Какая ревностность, какая преданность вашей магической идеологии, над чем я сам старался не задумываться, боясь, как бы и меня не вовлекло в этот водоворот. Будь ваша вера религией, для ваших святых не хватило бы 365 дней в году. Надеюсь, согласитесь, что Бела не только как разведчица была очарована вами. Но к своим чувствам не прислушивалась, потому что видела в вас святыню. А вы повели себя как инквизитор. Неужели ей самой надо было признаваться вам в любви!

Видите, комиссар, именно поэтому я понял, что ваше доверие нельзя завоевать одним лишь распространением слухов о моих симпатиях к движению. Не трудно было догадаться, что вы требуете веских доказательств. Надо было менять тактику и предоставлять вам эти доказательства. Отсюда и моя первая акция: военная операция в лесу, которая могла погубить все мои замыслы, не будь вы столь легковерны. Возвращаюсь из леса с десятком носилок, на которых несли якобы убитых и раненных в боях с вами, а через несколько дней узнаю из вашего письма к Беле, что вы вообще не открывали огня. А наши «потери» вы объяснили Беле следующим образом: «Случается даже и с партизанами, что из-за несогласованности они вступают в перестрелку между собой». Почему же тогда не может произойти подобного случая и в рядах противника? Таким был ваш ход мыслей и естественный вывод. Мне, как военному, это в укор, но само предположение вполне допустимо. Кто бы усомнился, что в шквальном огне не было и ваших залпов. Знал бы я действительное положение, никогда бы не допустил этой глупости с носилками.

Не ответить на нашу пальбу ни одним выстрелом было трудно, и вы, право же, заслуживаете похвалы. Не знаю, будет ли вам приятно, но скажу: ваше письмо к Беле помогло раскрыть троих самострелов среди наших солдат. Поплатились за это, бедняги, головой. Как видите, не все носилки были пусты. А на остальных семи лежали выбившиеся из сил солдаты. Хитрость с носилками не была разгадана и Белой.

— Чего же вы достигли такой вашей игрой? — спросил Ядран.

— Многого. Комиссар подранен, заключил я. Поколебал я его. Это было первое проникновение в вашу крепость. Вы стали смотреть на меня уже другими глазами, хотя до полного доверия было далеко. Вы поверили сообщению о выступлении колонны, которое я передал Беле, а она вам.

— И все же не из всех ваших вылазок вы возвращались с пустыми носилками,— возразил Ядран.

— Вы совершенно правы. Всякий раз я нес потери, оставлял вам трофеи. Ровно столько, сколько было мною предназначено. Десяток солдат, двенадцать винтовок — это для вас уже нечто. Да хотя бы и сотня солдат вместе с их оружием. Пусть они достанутся вам. Деньги малые, а барыш велик. Разве это потеря для миллионной армии, опирающейся на два континента! Она может жертвовать большим.

— Эти ваши два континента — дело прошлое,— сказал Ядран.— Думаю, и на прочих широтах почва вскоре выскользнет у вас из-под ног.

— Оставим стратегию! Вернемся к нашим делам! Знал, что делаю и ради чего. В один прекрасный день все это окупится.

— Действуя таким образом, вы совершили злодеяние и по отношению к своей армии.

— О господи, комиссар, не думал, что вы так ограниченны. С ка-

ким трудом воспринимаете некоторые вещи! Все это окупилось. Дало хорошие плоды. В войну жизнь ценится дешевле всего и продается по дешевке. Я не напрасно штурмовал ваш «престол», хотя приходилось платить все дороже. Признаюсь, вы были крепким орешком. Не забудем Дебели и Голи вырх. Это была моя вторая акция. Я был проницателен, вы — крайне наивны. Хотели устроить мне небольшую проверку. Между тем все получилось удачно сверх всяких ожиданий. Если бы я предварительно не прочитал ваше письмо и основывался бы только на полученной от Белы информации о вашем нападении, то должен был бы в ту ночь занять Дебели вырх и поставить под удар все свои планы и намерения. Но зная из вашего письма, что вы собираетесь использовать всего десяток или два партизан, мог, не опасаясь, пойти на «риск». Ведь у жестянки я всегда успевал побывать до Белы. Я занял Голи вырх, предоставив вам Дебели, и таким образом за дорогую цену «продал» себя. Проверка, как видно, вас удовлетворила. Это был уже серьезный шаг на пути завоевания вашего доверия. И все же я не мог понять, почему вы так долго колеблетесь. Может быть, все проходило бы проще и легче, если бы в вашем сознании я не был бы тем мужчиной, которого хвалила Бела. Этого вы не могли мне простить. Вы боялись за Белу. Меня надо было удерживать на расстоянии, подальше от нее, чтобы я не вмешался в ее личную жизнь, о чем она тогда, уверен, и не помышляла. К тому же вы ортодоксальный коммунист, сомневающийся в каждом, кроме самого себя. А я хотел полного доверия. «Ты должен завоевать его любой ценой»,— говорил я себе. Долго обдумывал и прикидывал, как этого добиться. Ради этого доверия подарил вам жизни сотен солдат. Но вы продолжали сомневаться. Надо было придумать нечто такое, что сняло бы и это ваше последнее «но», открыв мне путь через вас к Беле. Тогда, решил я, все пойдет легче. И этот момент наступил.

— Какой же это момент? — спросил Ядран.

— Вы, как и я, знаете: бомбардировка вашего штаба.

— Тогда вы спасли нам жизнь. Почему?

— Именно в этом суть дела. Наконец-то мы подошли к главному, господин комиссар. Я не планировал бомбардировку. Она не относится к моему ведомству и находится вне моей компетенции. Случайно разузнал об этом намерении нашей авиации. Один офицер, подвыпив, проговорился. Пробил мой час, подумал я. Если удастся спасти вас от авиационных бомб, выйду победителем. Знал, что это вас сломит, и тогда я проникну в ваш лагерь.

Серьезно опасался, что вас не предупредят вовремя. Волновался, будто речь шла о моих близких друзьях. Но все кончилось благополучно. И как только ваш письмоносец успел преодолеть такой путь! В самом деле, это достойно восхищения.

С точки зрения формальной я превысил свою власть, совершил преступление. За это меня, вне всякого сомнения, наши приговорили бы к смертной казни. Но они, откровенно говоря, слишком ограниченны, мыслят шаблонно, воюют по уставам и учебникам. Даже сейчас, после всего происшедшего, они бы меня не помиловали. По их представлениям, бомбардировка проведена впустую. Да, ваша жизнь была спасена, но сделано это было с расчетом. За это я не требую благодарности, да и не заслужил ее. Не прошу и помилования, хотя, не поступи я так, не было бы вас в живых. Этот последний мой шаг превзошел по своему значению все предыдущие. Все, что я делал раньше, было лишь длительной подготовкой к нему. Но что такое вы и ваш штаб по сравнению с тем, что я намеревался сделать? Вместо вашего прежнего штаба появился бы новый. Возможно, и лучший. Возможно, с более умным комиссаром во главе, нежели вы. Только так мог я проложить себе путь к вам и нанести значительно более ощутимый удар. Уничтожение штаба, пусть даже не такого, как ваш,

пусть даже бóльшего масштаба, это ничто по сравнению с уничтожением вашей политической организации, души и мозга движения, протянувшей свои щупальца от первого до последнего дома во всей округе. Она предопределяет ваши победы. Без этой мощной организации вы и не существовали бы. Без нее вы бы распались. Она создала вас, она вас и поддерживает, ей вы служите. Ради достижения такой цели разве не стоит поплатиться вылетом десятка самолетов, несколькими тоннами бомб и горючего. Бомбы, сброшенные на село, позволили поразить главную цель. Но процесс еще не окончен. Он будет продолжаться и без меня. Теперь, после всего сказанного, господин комиссар, надеюсь, для вас многое проясняется.

— Как вы проникли в нашу организацию?

— Благодаря вам. Вы дали мне ключ.

— Мерзавец! Я дал ключ?!

— Не горячитесь! Да, сами. И ключ, и замок. Замок и ключ — ваше доверие, которого я так долго и упорно добивался, принося в жертву жизни наших солдат. «Этому человеку можешь оказывать полное доверие». Не ваши ли это слова из письма к Беле? Я ликовал, читая их. Крепость пала. Вы развязали руки Беле. Ее уверенность в том, что я — подлинный друг, не имела бы ни малейшего значения, если бы вы сами этого не подтвердили. И если она назвала мне по памяти одно имя, то сделала это из самых честных побуждений. Нельзя возлагать на нее всю вину. Вы, комиссар, виноваты больше, чем кто-либо. Заговорит ли сейчас ваша совесть?

— Негодяй, тебе ли взывать к моей совести! — закричал Ядран, теряя самообладание. Полной уверенности в неправоте противника у него все еще не было.

— Это было первым подлинным посвящением меня в ваши тайны. Полуправда ведь может поколебать и самые крепкие натуры. Потом пошло легче. Не вините Белу! Она верила в мои планы и обещания. Бунт всего гарнизона в Д. и переход на вашу сторону не такое уж простое и малое дело. Бела должна была мне поверить, раз вы сказали ей, что она может относиться ко мне с полным доверием. Ведь это был почти приказ.

— Врешь, мерзавец! Она наверняка информировала бы меня о таком плане и запросила бы мое мнение.

— Не забывайте, вы наперед дали ей известную свободу действий. Поэтому кое на что она могла решиться и без вашего ведома. Я читал ее письма, которые она оставляла у «святого дуба», однако об операции в Д., задуманной мной, в письмах не было и слова. Даже вас не хотела она посвящать в мой план. Это ваша школа. Может быть, хотела сделать вам сюрприз, а самое главное — сохранить секретность «предстоящей операции».

— Без явки выйти на связь невозможно, капитан.

— Без явки! И у вас мне не потребовалась явка. Пришел к вашему человеку в Д. как дезертировавший офицер. Даже план приготовлений в гарнизоне изложил. Вначале он посмеялся над ним. Хотел уже казнить меня, но не сделал этого, и опять-таки благодаря вам. Когда положение стало безвыходным, я сослался на комиссара Ядрана. Сказал, чтобы связались с ним и спросили, кто спас штаб отряда. Об этом он уже кое-что знал. Слышал, что это сделал некий офицер. Сработало. Не знаю, связывался он с вами или нет. Наступил перелом. Так что эта игра была для меня более опасной, но не столь долгой. Было привлечено еще несколько человек. Начались «приготовления». Затем, когда меня самого включили в сеть, дело пошло так, как я задумывал и желал. Не обвиняйте Белу, она вас не предала. Я защитил бы ее и перед вашим судом. А вот вас бы не смог, комиссар. Нет!

XVI

Первую часть допроса Ядран на этом прервал, чтобы отправить Беле распоряжение немедленно бежать из Гулно и явиться в партизанский отряд. Он не давал себе отчета в том, почему именно в этот момент послал ей вызов. Возможно, хотел устроить очную ставку с Анджело. Может быть, хотел предоставить ей самой право судить его, отомстить, показать, что она его не любит и никогда не любила — это была лишь ее хитрая игра,— что ненавидит его. Таких вот «может быть» и «что» было предостаточно.

Ядран долго ходил возле раненого, стараясь собраться с мыслями. Разговор с Анджело сменился разговором с самим собой. Он не решался продолжать допрос, чтобы не слышать обвинений. Постепенно начал размышлять о мере собственной вины, и все так запуталось, что конца и края не было видно. Ядран был подавлен и растерян. Искоса поглядывал на раненого, а тот смотрел на него с кровати, словно торжествующий победитель.

Чувство вины действительно охватило Ядрана, приводя его в отчаяние. Хотя он был уверен, знал, что не виновен, и разгадал намерение Анджело затянуть его с собою в пропасть, но все равно никак не мог успокоиться. Мыслями обратился к прошлому. Перебрал в голове все свои письма Беле, анализировал фразу за фразой, доказывая себе, что совесть его чиста. Восстанавливал в памяти содержание каждого письма в отдельности, сравнивал, искал в них защиту. Ни одно из них не служило обвинением. Напротив. Каждое предупреждало Белу об опасности и необходимой осторожности. И только после этого Ядран немного успокоился.

Даже в письме, написанном после бомбардировки села, в котором Ядран сообщал Беле, что она может доверять тому человеку, содержалось предупреждение и не было разрешения на свободу действий. Здесь, в этом письме, Ядран усмотрел надежное укрытие и, теперь оставаясь в засаде, мог продолжать бой, опровергая обвинения и успокаивая свою совесть. Но это была лишь самооборона. Сам Ядран знал, что его предупреждение в письме было не результатом недоверия к офицеру, а следствием боязни за судьбу Белы. Он боялся тогда, что Анджело могут схватить, арестовать, пытать, и тогда окажется под угрозой и его жизнь, и жизнь Белы. Но разве в такой обстановке это грешно? Разве это позволяло Беле сообщать Анджело какие бы то ни было имена лиц, связанных с подпольем?

Ядрану все происходящее здесь, в комнате, казалось тяжелым сновидением, в котором война все вывернула наизнанку. Сознание не хотело мириться со случившимся. Разве офицер, чей образ сложился в его представлении, мог вдруг превратиться в такого вот зверя, способного на все. Однако эти два взаимоисключающих представления об одном и том же человеке существовали, и первый из этих двух людей служил всего лишь маской для второго.

Мысль о Беле все настойчивее и сильнее волновала Ядрана. Вот если бы удалось предать все забвению. Оставить только имя. Но это невозможно. В душе и сознании Ядрана жили две Белы. Одна Бела, прославленный герой, соседствовала с другой —предателем, одна угрожала другой беспощадной расправой. Одна из них должна была выжить, другая — умереть. Славным было имя одной, но другая должна была его потерять. Но как совместить это?

Если бы имя Белы не стало символом борьбы и свободы, если бы его не знал никто кроме Огневого, Сречко и его самого, все решить было бы легче.

Все письма Белы, от первого до последнего, он хранил в своей полевой сумке. Расставался с ними только на время боев, чтобы в случае его смерти не попали в чужие руки — наши или неприятель-

ские, все равно,— это грозило провалом. За судьбу писем Ядран опасался больше, чем даже за собственную жизнь.

Утешал себя мыслью о том, что в один прекрасный день все эти письма станут неопровержимым свидетельством подлинной жизни и борьбы Ольги Тебич. Знал, что будет день ее торжества, ее, а значит и его, счастья. И вдруг все рухнуло.

Оказавшись лицом к лицу с новым Анджело и новой Белой, Ядран настолько растерялся, что не узнавал сам себя. Всегда он был уравновешен и спокоен, справедлив и беспристрастен. Сейчас он разрывался между крайностями, исключающими одна другую. Поиски разумного решения были мучительными. Нельзя было после признаний офицера, организатора вероломной дьявольской игры, считать Белу виновной в гибели подпольщиков. Разгромлена организация, душа движения. Но нет, Бела не виновата. А все-таки! Как она позволила вовлечь себя в эту игру и сообщить Анджело об одном из существующих звеньев нелегальной организации? И как ни оправдывал он, Ядран, Белу, как ни пытался мотивировать ее поступок, обойти этого вопроса не мог. Она преподнесла вражескому офицеру на блюдечке то, о чем молчат под пытками, ради чего идут на казнь. Самое непоправимое произошло тогда, именно тогда. «Помни об этом и думай так»,— сказал себе Ядран.

Когда Ядран заставил себя вспомнить об этом, вера его поколебалась. Все, сделанное Белой прежде, словно бы рушилось и сгорало в ярком пламени, зажженном ею самой. А она? Сгорит ли в нем и она сама? Есть ли оправдание ее поступку? Неужели Белу и ее заслуги скроет черная непроницаемая пелена?

Добро словно бы перевешивало, но то проклятое малое звено лежало на другой чаше весов и перевешивало в сторону зла. Ядран взвешивал все точно на аптекарских весах, но стрелка этих весов склонялась то в одну, то в другую сторону, поддаваясь ежеминутной смене его состояний. Ядран хотел спасти доброе имя Белы, но превыше всего была ее жизнь.

Не надо было вызывать ее в отряд. Нужно было оставить ее там, где она находилась, и постепенно прервать с ней всякую связь. Это облегчило бы задачу. Все бы умерло. Тьма поглотила бы Ольгу Тебич, и она была бы забыта. Имя Белы продолжало бы жить. Поздно, слишком поздно явилась эта мысль. И теперь предстоит встретиться с Белой, взяв на себя роль и обвинителя, и защитника, и судьи.

Ну, а раз так, надо по крайней мере подумать, как составить обвинение против Ольги Тебич, а имя Белы сохранить неприкосновенным. Преуспей он в этом, и моральный долг, налагаемый и службой, и совестью, будет выполнен. Имя Белы должно жить в сердце народа, жить и никогда не угасать, хочет он того или нет.

И Ольге Тебич, размышлял Ядран, не следует знать, в чем она провинилась. Если ей суждено умереть, то пусть погибнет, не зная всей страшной правды. Хотя для Ядрана сама мысль о смерти Белы была невыносима. Он понимал, что обрекает себя на страдания, против которых нет лекарств, которые унесет лишь могила. Страдания совсем иного рода, чем те, к которым он привык на войне. Повседневная, ежеминутная борьба между жизнью и смертью сопровождается неминуемыми потерями. Люди убивают друг друга на поле брани. Но нет угрызений совести, терзаний, обвинений самого себя, сомнений в том, был ли прав или виноват тот, кого следовало убить? Война не хочет знать, кто кого убил и кто у кого на совести. Все так и было до сих пор. Но сейчас все смешалось: и общее, и личное, и личное укоряет совесть. И тогда совесть становится тем палачом, который убивает свою жертву исподволь, из месяца в месяц, из года в год.

Возвратившись в штаб вместе с освобожденными подпольщиками, Ядран стал просматривать письма Белы. Читал письмо за пись-

мом по порядку, мысленно восстанавливая все события. Бой следовал за боем, засада за засадой. Каждый шаг был успешен, и за всем этим виделась девушка, готовившая эти успехи, ее вдохновение, ее страдания и унижения, ее ненависть к врагам, с которыми она вынуждена была вести дружбу.

Все происшедшее с Белой было в то же время его собственной драмой, и его не покидало желание никому ничего не открывать, сохранить тайну навсегда, предать забвению. Даже могильной земле ничего не доверить. Светлая память ничем не должна быть омрачена. Бела должна оставаться на той высоте, на которую она поднялась благодаря своим заслугам. Вершина завоевана ею и должна остаться за нею. И низвергнуть ее нельзя. Разве возможно рушить памятники, воздвигаемые самой жизнью и эпохой. Сам он не хочет знать никакой другой Белы, кроме той, которую видел однажды, знает по письмам. Такая она, все остальное — плод воображения, ложь, привнесенная в сознание каким-то злым духом, желающим ввести его в непростительный грех. Наконец-то все решено, и он, Ядран, все же вступил на правильный путь, с которого уже не свернет.

Не было бы еще и Анджело. Тот путал мысли, рушил все расчеты. Единственный ли это человек в стане противника, знающий о том, что совершила Бела? Не выболтал ли чего в госпитале? Не оставил ли какой-нибудь записи? Ядран был преисполнен решимости уничтожить все следы, ведущие к Беле. И он снова отправился в госпиталь к раненому на допрос. Анджело продолжал твердить, что никому не открыл, кто такая Бела, ради успеха своей же операции. Ядран принял такое объяснение с огромным облегчением.

В тот же день Ядран приказал расстрелять раненого без суда, не дожидаясь его выздоровления, впервые поступившись своими твердыми принципами. На сей раз он не раздумывал и виноватым себя не почувствовал. Напротив, наступило какое-то облегчение. Драма подошла к концу. Дело о Беле было закрыто. Тайна похоронена в глубинах сознания Ядрана, и никто об этом ничего не узнает — ни Сречко, ни Огневой. В памяти народа сохранится имя Белы.

Ночь Ядран провел спокойно, избавившись от гнетущего чувства. Но так было лишь во сне. С пробуждением вновь явились мрачные мысли. Обретенное было спокойствие утрачивалось, исчезало. Вновь возникали в сознании расстрелянные люди подполья и те, кого еще ждала казнь. Слышал Ядран и тех, кому грозила облава. Все они, словно объединившись, искали виновного в провале организации, требовали справедливости, отмщения, возмездия. Разве голова Анджело оплатит все долги? Вновь Ядран слышал упреки, мольбы, призывы. Мучило не только это. Разве он приказал уничтожить Анджело только ради спасения доброго имени Белы? И продолжения ее жизни в народе? В чем же правда?

И снова Ядран оказался на распутье. Бела требовала защиты, а Ольга, о чьей вине знал только он, заслуживала осуждения. Одно человеческое существо заключало в себе два образа. Пробовал в отчаянии разъединить их, представить в виде двух разных существ, одно из которых продолжало бы жить, а второго бы вдруг не стало.

Оказавшись в тупике и не видя выхода, Ядран осознал, что ему одному не найти мало-мальски разумного решения. Стало быть, следовало искать помощи у человека, способного его понять, с ним и следует обсудить все спокойно и обстоятельно. Не разобраться ему самому в этой путанице... Огневой. В нем Ядран увидел свое спасение. Но с чего начать? Лучше всего дать все письма Белы. Пусть прочитает их сам. Обо всем остальном Ядран расскажет. Письма должны подействовать. Только так придут они к совместному решению о том, как поступить с Белой.

Огневой сразу же принялся за письма. Читал их внимательно одно за другим, в той последовательности, в какой подавал их Ядран.

Ядран не сводил с него глаз, стараясь по выражению лица определить, как тот реагирует на письма. Лицо Огневого постепенно прояснялось. Твердое сердце — так говорили об Огневом — явно смягчалось по мере знакомства с посланиями Белы, которые, Ядран знал, со временем становились все длиннее, все искреннее и теплее. Когда речь в письмах пошла об Анджело, и это отразилось на лице Огневого. Сведения о положении в гарнизоне были, разумеется, основным содержанием всей переписки, но в них было нечто иное, столь необычное для военных условий, освещавшее все иным светом,— это чувство Белы.

Когда Огневой закончил чтение, Ядран начал свой рассказ.

Огневой не обращал внимания на домыслы, которые иной раз выдавались за истину. Во всем, что он услышал, не осталось места для оправдания Белы. Картина была мрачной, и тучи все больше сгущались над девушкой. Образ же Белы, вопреки всем словам обвинения, не мерк в сознании Ядрана.

— Знает ли кто-либо еще помимо нас двоих, что она совершила? Сознает ли она, что сделала?

Ядран вздохнул с облегчением. Видимо, Огневой вник все-таки в существо дела и сам оказался перед неразрешимой дилеммой.

— Кое о чем я намекнул Сречко, но с ним-то проще. Сама она ни о чем не подозревает. Преступник вовлек ее в злодейскую игру. Слепо верила, что он готовится отдать нам без единого выстрела чуть ли не целую дивизию. Судя по словам Анджело, она и сегодня верит. Ты сам видишь, как в последнем из писем она тревожится об офицере, с каким волнением ждет его возвращения. Судьба девушки, Огневой, сейчас только в моих и твоих руках.

— Хорошо, что она там, Ядран. Пусть остается и ждет. Сама судьба придет туда за ней и без нас.

— Но, Огневой, я ее уже вызвал! — воскликнул Ядран и почувствовал, как кровь бросилась ему в голову, и понял, что уже не может владеть собой.— Нам надо вынести решение, забыть обо всем, что она для нас сделала. Будто она никогда и не рождалась на свет.

— Лучше бы уж наши враги, а не мы расправились с нею. Она виновата и перед ними, и перед нами. И мы, и они вправе отрубить ей голову. Рано или поздно она была бы раскрыта. Тогда ее не станет физически. Ядран, я понимаю всю тяжесть ее проступка. Предвижу и наше осуждение, если дело дойдет до этого. Но не можем мы вычеркнуть ее из памяти, будто бы она и не рождалась вовсе. Есть тут и «за» и «против». Для нас она сделала очень многое. Одно освобождение Гулно, не считая всего остального. Не зачеркиваю прошлых заслуг человека, если даже появились основания осудить его нынешние дела. Но меня, Ядран, во всем этом волнует другое, и я спрашиваю: в ком же тогда из наших товарищей, работающих по ту сторону фронта, ты не усомнишься?

— От тебя ли я это слышу, Огневой? — прервал его Ядран.— Это уж слишком даже и для меня. Опомнись! Заболев этой болезнью, мы не излечимся никогда. Погубит нас эта зараза. Спроси себя, и я себя спрашиваю: есть ли опасность страшнее, чем потеря веры в человека? Подозрение — болезнь нескончаемая. Начнется с нас двоих, а перекинется на всех. Для наших рядов это обернется тяжелее всех вражеских наступлений. Тяжелее всех тех потерь, которые мы несем. Исключая очевидное, начнем видеть врага в каждом. Разве это не трагедия. Не станем учиться подозревать!

— Ты прав, а все же мы должны смотреть правде в глаза.

— Но без всяких преувеличений. Глаза наши достаточно зорки: заострим взгляд, и возникнет иная картина, уже искаженная. Гоняясь за врагом, начнешь его искать и в собственном доме. Слишком ревностные поиски дразнят воображение и могут заставить искать врага даже там, где его нет. Того, кто сочувствует нам, не вынуждай

быть против нас. А того, кто борется вместе с нами, не отталкивай, иначе он отдалится от нас. Мы нанесли бы тяжелый урон нашей свободе. Когда в верности клянутся винтовками, слова излишни. Не люблю тех, кто слишком громко кричит о своей преданности.

— Послушай, Ядран, если я и погибну, то не от пули, а от твоих нерушимых принципов,— заметил Огневой.

— Но сначала они похоронят меня. Вот уже несколько дней, как они меня добивают. Что и говорить, на словах легче быть принципиальным, чем на деле. Разве случай с Бе́лой этого не подтверждает? Разговор с тобой немного успокоил меня, спас от этих неотвязных мыслей. Не знаю, надолго ли меня хватит. Надо вместе найти какое-то решение.

— Решение состоит в том, чтобы она не прибывала сюда. Сразу же отправь ей послание, как ты это делал раньше, чтобы она осталась там, где находится. Предоставим ее судьбе. Другого выхода я не вижу. Так мы пощадим и ее, и себя.

После разговора с Огневым Ядран подумал, что, может быть, самое худшее теперь позади. Как только появится Сречко, дам ему письмо и попрошу, пусть спрячется поблизости «святого дуба» и, дождавшись, скажет ей на словах, что приказ отменен. А если случайно он встретит ее на пути к партизанам, то пусть вернет обратно в Гулно. Может быть, все обстоит не так уж и плохо, как представляется.

Ядран все еще ожидал Сречко, когда в его комнату вошел другой связной из дальнего партизанского района и сообщил, что к ним прибыла некая Ольга Тебич, которая требует направить ее к комиссару Ядрану.

Весть о появлении Белы разрушила все планы Ядрана. Ошибку, совершенную им, когда он послал вызов, исправить не удалось. Ворота Гулно закрылись перед ней навсегда. Ядран знал одно: она здесь и их встреча неизбежна.

Напрасно совещались он и Огневой, желая найти выход. Теперь не остается ничего другого, как судить ее. Суд есть суд. Ядран и раньше судил и выносил приговоры, часто с болью в сердце, но непоколебимо. Однако сейчас это было выше его сил.

Но как вершить суд? Как осудить Ольгу Тебич и при этом сохранить незапятнанным имя Белы? Кто в состоянии хранить эту тайну до могилы? Неужели только он и Огневой будут судьями, примут на себя и понесут эту бесславную ношу?

Посовещавшись накоротке, они решили из десяти кандидатур отобрать в качестве судей только Сречко и Виктора Тизича, начальника штаба. Ядрану по положению предназначалось место председательствующего. Самая неблагодарная роль, какая только могла выпасть на его долю.

Важен был сам приговор, но еще важнее — сохранение его в абсолютной тайне. Помимо всего прочего, именно этим и вызвано было решение провести суд в отсутствии Белы. Без всякого допроса. Белу необходимо было избавить от мучений, которые она неминуемо испытала бы на суде.

Четверка собралась на совещание поздно вечером. Ядран как обычно совершенно официально, словно имел дело не со столь уж близкими людьми, обратился к судьям:

— Здесь, сейчас, мы действительно выступим в качестве судей только в том случае, если согласимся судить при соблюдении определенных условий. Случай особый, можно сказать, чрезвычайный, с каким раньше мы не сталкивались и вряд ли столкнемся не только в нашем отряде, но и во всей стране. Деликатность дела требует сохранения абсолютной тайны. Клятва, клятва на всю жизнь, до гроба. Суд этот не должен оставить никакого следа ни в словах, ни в бумагах. Мы должны будем стереть в своем сознании память о сегод-

няшнем дне. Кто уверен в себе, может остаться, чтобы участвовать в суде, кто не уверен, пусть выйдет. Текст клятвы зачитаю после ваших высказываний.

Сречко встал и обратился к Ядрану:

— Знаю, о чем речь, Ядран. Похороню это в себе и без формальной клятвы. Зная тебя, догадываюсь, какой приговор вынесете. Но сделаешь это без меня. Вычеркни меня из списка «образцовых» связных. Теперь мое место в роте среди «обычных»,— закончил Сречко и выскочил за дверь. Через несколько минут он был уже в роте.

Это было для Ядрана ударом. Не ожидал он, что Сречко — не только его связной, но и его друг — отвернется от него, изменит ему. И позавидовал тому, что тот, избежав суда над Белой, избежит и суда своей совести. Не взял он на себя тяжкого бремени. С какой радостью Ядран уступил бы ему в этот момент и свое звание комиссара, и свое место председателя...

Ядран с трудом приподнялся, чтобы стоя прочитать написанный им самим текст клятвы. Слова клятвы, которые он четко произносил, а Огневой и Виктор повторяли за ним, потрясали: презрение, позор, проклятие тому, кто нарушит клятву. До самого конца, до гроба. Эти три человека коммунистической убежденности произносили слова клятвы, твердо веря, что никогда ее не нарушат.

Зачитав клятву, Ядран несколько спокойнее начал говорить о деятельности Ольги Тебич — Белы, о ее заслугах. Стараясь больше сказать о ней самой, зачитал и некоторые из ее писем, которые подобрал заранее. Письма были и самыми надежными свидетелями, и лучшими ее защитниками. Выступление Ядрана походило на торжественную речь при награждении за выдающиеся заслуги.

Затем перевернул страницу. И тогда словно заговорил совсем другой человек, не похожий на прежнего. Голос Ядрана не дрогнул, когда он обрушил на Белу самые тяжкие обвинения. Направление Анджело на связь с освободительным движением квалифицировал как предательство. В этом он видел начало всех зол, определивших и все последующие события. Перечисление фамилий пострадавших, арестованных, многих других участников подполья, судьбы которых были неизвестны, потрясали до боли. Все, что Бела делала прежде и о чем было сказано раньше, теперь тонуло в этих мрачных словах, фактах и обвинениях. Они не позволяли и думать о снисхождении, а требовали ее смерти.

Бела, по единогласному решению судей, должна умереть. Имя ее ничем не должно быть запятнано. Оно будет жить в народе, как прежде. И казнь должна совершиться в полной тайне. Даже ее исполнитель не должен знать, кого он казнит. Уже после смерти будет объявлено, что погибла Ольга Тебич — Бела. Не будет сказано, как и почему, но пусть еще раз прозвучит это имя. Текст приговора было поручено составить Ядрану. Приговор должен быть зачитан лишь перед расстрелом.

Ядран предложил ничего не объяснять и самой Ольге Тебич, пусть она так и не узнает о своей роковой ошибке, тогда и в ней самой не будет убита Бела. Огневой и Виктор с ним не согласились. Это бы означало, что они убили ее предательски, исподтишка. Но Ядран просил и заклинал не зачитывать приговор, пощадить ее, избавить от самого страшного. Все напрасно, никто не соглашался, хотя в тот момент, право же, Ядран предпочел бы умереть сам.

Встреча с Белой была теперь их судным часом. Сколько ни откладывай со дня на день, а избежать встречи нельзя. Ядран сидел в штабе, склонив голову над уже подписанным приговором.

Бела вошла без предупреждения и, широко раскинув руки, подбежала к Ядрану. Крепко обняла его, поцеловала в обе щеки как са-

мого близкого друга, радуясь тому, что нашла его, что он спас ее от пребывания в Гулно среди врагов.

— Твой вызов пришел в самый крайний срок, ждать уже было нельзя. Впрочем, без Анджело, который исчез бесследно, я не смогла бы сделать ничего полезного. Пришла в себя, лишь когда прибыла сюда. Почти не верится, что на свободе, что разговариваю с тобой. Больше никто не отворачивается от меня, не презирает, не оскорбляет.

— Ты добралась окольным путем? — спросил Ядран, как будто это было самым важным.

— Вынуждена была добираться кружным путем. Пропуск имею. Села на поезд. Не решилась пойти условленным маршрутом через лес и через приемный пункт. Боялась встретить какого-нибудь партизана из Гулно. Тогда бы живой не добралась. Было бы обидно погибнуть от руки своих. Погибла бы как предатель. Тогда даже ты не смог бы и после моей смерти открыть мое истинное лицо.

Эти слова неистребимой болью отозвались в сердце комиссара.

— Теперь я по-настоящему счастлива. Только бы еще и Анджело появился; надеюсь, скоро все узнают о нем и у нас, и у них. Он может совершить чудо. Об освобождении Гулно будет забыто после того, что сделает он. Возможно, целый полк, а может быть и больше солдат, перейдет на нашу сторону.

— Об этом ты ничего не писала.

— Тише,— прошептала она,— это великая тайна. Видишь, не посмела посвятить даже тебя. Да и хотела приятно удивить. Пришлось и мне помочь немного, связала его с одним из наших в Д.

— Тогда я ошибся, вызвав тебя, Бела. Может быть, лучше все же возвратиться тебе в Гулно.

— Ни в коем случае. Ты хочешь отдать меня в их руки. Десять дней как я ушла из Гулно. Пропуск кончился. Это само по себе уже говорит о многом. И потом, пришло ведь и мое время стать истинной партизанкой, открыто носить партизанскую пилотку и винтовку. Направь меня в одно из боевых подразделений, в самое опасное место, чтобы я могла, наконец, проверить свою смелость, знать, чего я стою. Храбрость во время войны без винтовки не испытывают.

Как бы Ядран хотел стать простым орудием в руках богов. Но, увы, помощь надо было искать в силе своего разума. И тем яснее Ядран видел, что спасения нет и что свое будущее и судьбу Белы решить должен он сам.

Он взглянул на текст приговора, прижатый к столу пальцами левой руки. Бумага приковывала взгляд. Строчки словно громоздились одна на другую. Затем буквы все же начали выстраиваться в нескончаемо длинный ряд. Но он не мог связать их воедино, не в состоянии был прочитать ни слова, ибо все они словно превращались в ту череду пуль, которые изрешетят Белу. Это видение обессиливало и затуманивало мозг, когда все меркло и оставалось одно-единственное желание — поскорее умереть. Смерть. Конец. Исцелитель всех недугов.

— Ядран, тебе нехорошо? Ты бледен,— сказала Бела.

— Да нет,— ответил он, собравшись с силами,— обдумываю, куда бы тебя определить. Подскочу на минутку к командиру, надо договориться.

— Это обо мне-то договариваться! О чем же тут говорить? Я сказала о своем желании.

— Я быстро. Мне еще кое-что надо решить с ним.

Ядран сунул приговор в карман и пошел к Огневому.

— Не могу, Огневой. Делайте со мной что хотите и с ней тоже, но от меня она не услышит приговора.

— А твои принципы, Ядран? Не верю, что ты можешь ими поступиться. С тобою что-то не в порядке. Скорее всего минутное мало-

душие. Проще говоря, кризис. Не привыкли мы к таким вот поворотам.

— Дело не в принципах, а в человеческой слабости.

— Я про то и говорю. Совесть твоя неспокойна?

— С сегодняшнего дня не будет она спокойной.

— Тебя мучает чувство вины?

— Не знаю. Слабость. Нечто страшное и нелепое. Даже смерть врага никогда не вызывала у меня радости. А тут, признайся, совсем иное.

— Значит, я буду сердцем тверд.

— Да. В данном случае.

— Все в порядке, оставь мне эту бумагу. Возьму на себя твою роль. Не позволим тебе быть малодушным. Надо пересиливать самих себя. Война есть война, и все же легче было бы переносить ее, не будь и таких вот жертв. Не наступило еще время прощения. Много воды утечет, пока оно наступит. Я, как и ты, хочу как можно скорее забыть этот день.

— Не прибавляет он доблести ни мне, ни тебе, Огневой, но заменить нас никто не может. Сделай все сам. Я на время куда-нибудь исчезну. И никогда не спрошу. Клянусь тебе, никогда. Никогда не заговорим об этом дне. Этот день мы попытаемся запрятать в тайники нашей памяти.

— Не волнуйся, Ядран. Время поглотит и его и еще более тяжелые дни, что ждут нас впереди. Войну мы не забудем, но какие-то дни уйдут из памяти. И этот день войдет в их число.

Огневого не особенно беспокоила взятая на себя роль. Простая, как и всякая другая обязанность. Война не спрашивает и выбирать не дает. Кроме того, он думал и о Ядране.

Твердость, решительность, находчивость в бою были присущи командиру, таким он оставался и в минуты самых тяжких испытаний. Уж если за что возьмется, не остановится на полпути. Ну, а если порой и заколеблется, усомнится в исходе боя, убоится потерь или пожалеет погибших солдат разбитой неприятельской части, то сочтет это за недостаток и малодушие, которых война не терпит и с которыми войну не выигрывают. Всегда умел он стиснуть зубы, совладать с собой, преодолеть минутную слабость.

Огневой взял в руки текст приговора, чтобы подготовиться. Он хорошо знал почерк своего комиссара и легко читал все им написанное, но на этот раз натолкнулся на такие каракули, что намучился, пока их разбирал. При подписании приговора он, как и все, не читал текста, а лишь заслушивал его.

Заголовок «Народный суд...» был написан крупными буквами и легко читался. Но следующий абзац с прыгающими строчками и буквами он разбирал, должно быть, с полчаса, прежде чем, наконец, прочитал: «...на своем заседании по делу обвиняемой Ольги Тебич — Белы суд вынес приговор, по которому вышеназванная приговаривается к смертной казни — к расстрелу — за непреднамеренное предательство». (Огневой заменил слово «непреднамеренное» словами «осознанное или неосознанное».) «Ее прежние заслуги неоспоримы, но они не могут ни умалить, ни смягчить всей тяжести ее непоправимой вины. По легкомыслию связавшись с агентом фашистской охранки ОВРА, итальянским офицером Анджело Дости, слепо уверовав в его приверженность к освободительному движению, выдала ему тайну, за что поплатились жизнью наши лучшие товарищи, а многие были арестованы и интернированы».

Оставшиеся две страницы обоснования приговора он изучал по крайней мере час, пока не убедился, что во всем разобрался и может их зачитать внятно и громко. Огневой при этом что-то вычеркивал, добавлял, уточнял, явно недовольный слишком уж мягкими формулировками. Таким образом приговор и по содержанию, и по форме

был доведен до предельной остроты и категоричности и уже не оставлял обвиняемой никакой возможности для защиты и опротестования решения суда. Даже лишал ее последнего слова, последнего желания.

Огневому никогда прежде не выпадала роль судьи, никогда не оглашал он и решения суда, поэтому не представлял, как надо вести себя при этом. Ничего не меняло и то обстоятельство, что все должно происходить с глазу на глаз. Самым правильным будет, решил он, облачиться в свою новую форменную одежду, подпоясаться широким ремнем, а на голову надеть пилотку с пятиконечной звездой, затем в таком официальном виде, стоя в положении «смирно», огласить приговор, как будто все происходит на заседании судебной коллегии. Так будет и по-военному, и по-партизански. Прежде чем вызвать девушку, Огневой сделал все, как задумал. Еще раз повторил вполголоса текст приговора. Только после этого он распорядился, чтобы Ядран прислал к нему Белу.

Огневой сидел за подобием письменного стола, сколоченного из двух грубо отесанных досок. Открылась дверь, и появилась Бела. Девушка, взволнованная и растроганная, готова была обнять командира точно так же, как немногим ранее она обняла Ядрана, но внезапно сникла, будто увидев перед собой разбойника, смотрела на Огневого в упор. Стояла как вкопанная, не двигаясь.

И Огневой, не менее ошеломленный, не знал, как себя вести. Оба они в этот момент думали об одном и том же событии, происшедшем в мартовские дни тысяча девятьсот сорок первого года в Загребе, когда оба были еще студентами. Картина тех лет по-разному запечатлелась в памяти каждого. У Белы она вызывала брезгливость, а у Огневого чувство неожиданно нахлынувшей радости и воспоминание о своей вине перед этой девушкой, оказавшейся сейчас перед ним. Он никогда не терял надежды рано или поздно встретить ее, объясниться и попросить прощения. Вот совершенно неожиданно и предоставилась ему такая возможность, и он совсем забыл о приговоре. Надо было напомнить о том, не столь уж далеком дне и поблагодарить девушку за спасение, о чем она, должно быть, и не догадывалась.

— Простите,— сказала наконец Бела,— кажется, я ошиблась. Я ищу командира Огневого,— она повернулась и взялась было за ручку двери.

— Ты не ошиблась, сейчас он придет. Имей терпение,— остановил ее Огневой.

— Подожду, но за дверью, а не здесь,— бросила она в ответ.

— Прошу тебя, подожди здесь, иначе он меня накажет.

Девушка неохотно села и с преувеличенным вниманием занялась своими ногтями, стараясь, видимо, избежать разговора со знакомым уже ей типом. Не могла она понять, как этот человек мог проникнуть в ряды партизан.

Огневой снял пилотку, пояс и сел за стол, не сводя глаз с Белы. Сейчас он мог рассмотреть ее хорошенько, поскольку она умышленно его не замечала. Бела действительно была очень красива. Если бы Огневой мог послушаться сердца и дать ему волю! Если бы мог забыть о той страшной бумаге, которую должен был зачитать! Если бы мог перечеркнуть все написанное! И особенно те слова и фразы, которые сам только что вставил. Всеми силами души он желал, чтобы все написанное оказалось ложью. Понимал, что сейчас изменяет себе как командиру, но это его не смущало.

— Прошу тебя, товарищ,— заговорил Огневой примирительно,— выслушай меня. Я должен тебе все объяснить. Знаю, ты думаешь, что я перед тобой виноват.

— Вам нечего мне объяснять. Случившееся трудно забыть.

— Нужно объяснить, раз не забыто. Ты должна меня выслушать.

— Я ничего не должна,— девушка встала, чтобы выйти.

— Должна,— резко возразил он.

— Не думала, что таких вот людей встречу в партизанах.

— Встретишься и с худшим, девушка.

— Возможно, но я ничего не должна знать о них. Почему вы обращаетесь ко мне на «ты»?

— Так у нас принято, и вскоре ты сама будешь обращаться ко мне так же.

Девушка иронически усмехнулась.

— Вернемся, Ольга, к тому случаю, который тебя так огорчил.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Знал его и в тот субботний вечер в Загребе. Знал, кто ты и чем занимаешься. Полиция гналась за мной по пятам. Я бежал, бежал, толкался в десятки дверей, но ни одна не открылась. Единственной открытой оказалась дверь в студенческом клубе «Светлость». Но прежде я туда не заходил.

— Туда не всякого и пускали.

— Верно. Влетел внезапно, охваченный мыслью, пришедшей в голову... Зал переполнен. Возле самой двери ты с кем-то кружишься в вальсе. Некогда было размышлять. Полиция гналась за мной. Подпольщик. Надо было их опередить. Вызвать беспорядок. В этом было спасение. А дальше ты знаешь, как было. Вырвал тебя как разбойник какой из рук партнера, словно решил похитить. Ты завизжала, дала мне пощечину... Затем удары посыпались со всех сторон, и я... кувырком... вниз по ступенькам, весь избитый. Кровь из носа, волосы растрепаны, я у самой двери. Угрожаю вам на глазах у полиции. А с кем студенты из «Светлости» так расправляются, тот, по полицейскому разумению, не может быть коммунистом. Один полицейский даже начал меня утешать. Говорит, это, мол, банда разбойников. К счастью, фотографии моей у них не было. Да если бы и была, «светляки» так изукрасили мою физиономию, что меня бы не опознали. Это меня спасло. Не уйди я тогда от них таким, возможно, не был бы здесь, да и вообще среди живых.

— Так не вели себя коммунисты. Исключением, я слышала, был только подпольщик Огневой. Никто другой не осмеливался так поступать.

— А если я и есть Огневой?

— Не может быть.

— Как тебя убедить, Бела? Позвать Ядрана?

— Он сейчас ушел.

— Хорошо, тогда посмотри на это,— Огневой показал ей два красных ромба на рукаве — знаки отличия командира отряда.

— Прости, Огневой,— произнесла Бела, лицо ее прояснилось, взгляд потеплел.— Теперь давай поздороваемся. И я поцелую тебя в обе щеки, а не ударю, как тогда.— Бела обняла его и поцеловала.— В самом деле, ну кто, кроме тебя, мог бы совершить подобное!

Примирение состоялось, дружеские отношения были установлены, и они уже разговаривали как старые добрые знакомые, которым было о чем вспомнить и рассказать. Слушая девушку и разглядывая ее, Огневой уже не мог себе представить, что перед ним преступница, которую и он сам приговорил к смертной казни. Здесь какая-то роковая ошибка, думал он. Ни обвинения, ни приговора словно и не бывало. Все придумал тот проклятый офицер, чтобы мы убивали друг друга. Огневой судорожно ухватился за эту мысль и незаметно для себя очутился точно в таком же положении, как и Ядран. Факты между тем были против Белы, несокрушимые, как крепостные стены. И жертвы, павшие из-за нее, взывали к отмщению. Долг оставался долгом Огневой сунул приговор в карман.

Дошла очередь и до Виктора, третьего члена суда. Ядран был убежден, что Виктор решит все. Вызвал его к себе и без какого бы то

ни было вступления, пользуясь правом вышестоящего командира, приказал сообщить приговор Беле. Виктор внимательно выслушал его и, когда Ядран уже приготовился услышать в ответ обычное «слушаюсь», угрюмо произнес:

— Знаешь ли, Ядран, я познакомился с этой девушкой и немного поговорил с ней.

— Тем лучше,— бросил Ядран.

— Если бы не видел, то, не долго думая, согласился бы выполнить это задание. Но поверь, и тогда наверняка не хватило бы сил сообщить ей приговор с глазу на глаз. А теперь тем более.

— Отказываешься выполнить распоряжение?

— Так точно.

— Знаешь ли, что это значит? Чем это тебе грозит?

— Как же мне не знать. Тебе известно, я солдат с довоенного времени. Очень хорошо знаю. Но не боюсь. Впрочем, Ядран, ведь ты обязан сообщить ей решение суда. Что же тебе помешало?

— Оставим это. Пойди подумай немного, а потом зайдешь.

— Я сказал свое последнее слово. Обо всем уже подумал.

— Ты что, с ума сошел?

— Сошел, видно, кое-кто еще и до меня.

Ядран взглянул на него, словно желая сказать — полностью, мол, тебя понимаю и рад этому новому для меня в тебе открытию. В этом Ядран находил оправдание и своей собственной слабости.

Ядрану не оставалось ничего другого, как снова все принять на себя. Никуда не денешься. Легче всего было разорвать бумагу и сделать вид, будто ничего и не было. Сам он так бы и сделал, решился бы на это, если бы не этот вечный его спутник — совесть. А совесть вела его через всю жизнь самыми трудными путями. Столько раз ставила перед непреодолимыми трудностями, многого не дозволяла в жизни. Вынуждала порой отрекаться даже и от маленьких радостей, развлечений, танцев, увлечений, во все вмешивалась, всегда предостерегала.

Чтобы остаться честным до конца, Ядран решил снова вызвать командира и начальника штаба. Назначил еще одного члена суда. Выбор пал на Зрелого, связного при штабе. Клятва о сохранении тайны была произнесена и им. Назначая Зрелого судьей, Ядран видел в нем и одного из судей, и исполнителя приговора. Сам бог послал ему этого человека. На кого ж надеяться, если не на него, никогда не считавшего, что выполняет обязанность палача, расстреливая приговоренного к смерти военного преступника. У Зрелого в таких случаях не дрожала рука, и его не мучила совесть. Да, такой человек теперь, как никогда прежде, был нужен Ядрану.

Второе судебное заседание, если вообще можно было назвать его заседанием, не было похоже на первое. За столом сидела прежняя тройка и Зрелый. Трое главных судей были явно смущены. Ядран пытался что-то объяснить, но говорил уже не как тот человек, каким он был, а словно ставший собственной тенью. Тенью, скорее осуждающей происходящее, нежели творящей суд. Голос его звучал приглушенно. И все же Зрелый схватил самую суть рассматриваемого дела о Беле, а это и было основной целью заседания и не очень внятного выступления Ядрана. Огневой и Виктор сидели молча, понуро склонив головы. Видимо, все мысли их и самого Ядрана были теперь обращены к Зрелому в надежде, что всю тяжесть решения, все бремя ответственности он возьмет на себя. Зрелый был сейчас воплощением их совести.

Зрелый ерзал, переводил острый взгляд с одного на другого, словно готов был в любой момент обратить обвинение против них самих и судить их за то, что они сникли и колеблются.

— Зачем вы назначили меня судьей? — спросил он, словно размышляя вслух.— Это что же, новое рассмотрение дела? Для чего? Зачем я здесь? Раньше вы меня не звали. С каких это пор я стал столь

разумным в ваших глазах! Скажите, речь идет не о той ли девушке, что находится тут у нас уже несколько дней?

— Разве ты ее видел?— испуганно спросил Ядран.

— Красавицу нельзя спрятать, хотя, я вижу, вы стараетесь это делать. Такая от глаз не ускользнет. Для нее не ищите во мне палача. Мое оружие не послужит вам на этот раз. Если за это станете стрелять в меня — не дрогну. Да и не может она быть такой виноватой, как вы мне тут расписали. Она может быть преступником, но не предателем. Есть ведь даже преступники, заслуживающие снисхождения! А вы забываете, что она сделала для нас. Забываете обо всем, что только сейчас сами мне открыли. А вы мне открыли Белу. Разве можно ее убить, Белу? Будь я на вашем месте, послал бы девушку сражаться. Бросьте вы эту вашу дурацкую логику, которая велит рубить ей голову, а потом причислять к лику святых. Сделали открытие! А спросика себя, Ядран, скольких врагов ты освободил, да еще таких, каких щадить не следовало. Девушка заслужила того, чтобы бороться и жить.

Произнеся эти слова, Зрелый встал и вышел из комнаты.

XVII

Еще никто из заседавших не проронил и слова, а из коридора донеслись уже смех Белы и голос связного, демонстративно покинувшего комнату. Оживленный разговор, исполненный сердечности и веселья, длился несколько минут. Троим заседавшим стало ясно, что связной рассмешил Белу, словно взывая к их совести.

В коридоре все уже успокоилось и затихло, а они все сидели втроем в тяжком раздумье, не произнося ни слова. Полное молчание хранили они и тогда, когда Огневой взял приговор в руки и надорвал его с трех сторон почти до самой середины, будто собираясь разделить на три равные части; не было оно нарушено и тогда, когда он положил бумагу на стол и едва заметным кивком головы предложил каждому взять свою часть и потянуть, как это делается при разламывании рождественского пирога. Лишь когда у каждого в руке оказалось по клочку приговора, лица прояснились. Затем Огневой встал, собрал порванные листки приговора и сжег их над пепельницей, выполняя одно из условий клятвы — не оставлять никакого следа. Уже на следующий день Белу включили в штурмовую группу гранатометчиков роты Мирко. Записи Ядрана не говорят о том, было ли это именно ее желание или он преднамеренно направил ее туда, где бытие исчисляется минутами. Такие группы набирались только из добровольцев. Шли не все. Лишь самые храбрые, те, кто любил жизнь, но готов был сражаться в самом опасном месте. Поэтому и смерть собирала с них свою кровавую дань чаще, чем с других.

С прибытием Витки, под таким именем Ядран направил ее в группу, Мирко и опечалился, и обрадовался. Он не скрывал радости, что к его гранатометчикам впервые прибыла такая гостья. Знал, перед ней ребята постараются превзойти друг друга в геройстве. Да и самому захотелось не ударить лицом в грязь. Но мысль о том, что она сама может погибнуть, пугала его. Пусть бы только жила, чтобы его рота славилась и храбростью, и красотой.

На протяжении десяти дней девушка прилежно изучала боевое оружие, искусство боя. Теперь оставалось ждать случая, чтобы испытать свою храбрость.

Наступил и этот день. Из штаба отряда было получено задание. Трудное и опасное. На этот раз Мирко не захотел назначать бойцов, как часто делал. Сам характер операции требовал участия добровольцев. Если их окажется больше пятерых требуемых, задание будет поручено тем, кто первыми поднимут руки.

Не успел Мирко произнести свой призыв, как Бела тут же подняла руку. За ней подняли руки еще семеро. Командир попытался воспользоваться этим для того, чтобы в числе трех лишних отстранить от уча

стия в операции и Белу. Но она не согласилась: первой подняла руку. Попытки командира ее удержать, отложить ее боевое крещение до следующей, более легкой операции оказались тщетными.

После долгих приготовлений и суточного перехода небольшая штурмовая группа гранатометчиков крадучись подползла к массивному блиндажу со многими амбразурами, окруженному несколькими рядами колючей проволоки. Среди малочисленного строя находилась и Бела с несколькими гранатами в сумке и автоматом в левой руке. Ползла быстро, ловко, соблюдая все правила, усвоенные на учебных занятиях. Пасмурная ночь скрывала их, и бойцы должны были приблизиться к блиндажу на расстояние броска ручной гранаты, проделать проход в проволочных заграждениях, захватить блиндаж и взять в плен «языка». И природа, и война будто погрузились в глубокий сон. Даже зловещая сова, частый спутник ночных вылазок, не подавала голоса. Командир, радуясь такому началу, уверовал было в то, что группе удастся незаметно подобраться к самим бойницам и вместо одного «языка» добыть нескольких.

Один из бойцов уже сноровисто перекусывал клещами колючую проволоку. Оставалось порвать и отсечь три-четыре натянутые линии — и проход будет открыт, а там осторожно можно будет подползти вплотную к блиндажу. Но в этот момент над блиндажом взвилась зеленая ракета. Блиндаж предстал перед ними во всем своем величии и неприступности. Не успела потухнуть первая ракета, как вспыхнула вторая. Она все еще поднималась вверх, когда застрочили два пулемета и раздались винтовочные выстрелы. Ракеты взлетали все чаще, оттесняя тьму от блиндажа и проволочного заграждения. Несколько партизанских гранат разорвалось перед массивной стеной укрепления, но пулеметы продолжали стрелять. Бела метнула гранату. Ударившись о блиндаж, граната взорвалась. Один пулемет замолчал. На короткое время все скрылось в темноте, а затем снова вспыхнула ракета и затрещал пулемет.

Когда у бойцов уже не осталось гранат, командир приказал отступать. Четверо бойцов, из них двое раненых, медленно ползли прочь от заграждения. Среди них не было только Белы. Сначала подумали — отстала, и все торопили ее: «Быстрее, Витка, быстрее». Но она не отзывалась. Взвилась еще одна зеленая ракета. Бойцы плотнее прижались к земле и оглянулись, ища глазами Белу. Но смогли разглядеть лишь ее правую руку, безжизненно повисшую на проволоке,— можно было подумать, что она только что бросила гранату,— увидели ее скрюченное тело. Пулемет продолжал строчить, пули свистели над мертвым телом. Вернуться к Беле было уже невозможно. Но боец с автоматом укрылся поблизости, он должен был оберегать тело, пока его не смогут вынести. Только на третью ночь, в бурю, уже другой группе бойцов, действовавшей по приказу Ядрана, удалось вынести тело девушки. Он сам захоронил Белу в укромном месте.

Почему Ядран спрятал от людских глаз могилу Белы, навсегда останется тайной. Может быть, хотел, чтобы хоть мертвой она принадлежала только ему и тому могильному холмику, с которым он связал все свои послевоенные дни и годы.

Несколькими днями позже было объявлено, что погибла Ольга Тебич — Бела.

Эта весть быстро облетела Гулно. Люди были взволнованы. Ольга оказалась Белой. Ни у кого это не укладывалось в голове. И пока не появилась листовка, изданная освободительным движением, подтверждавшая эту весть, убедить Гулно было невозможно.

Но когда люди поняли, что в войну неизбежны самые крутые и неожиданные повороты, все их сомнения развеялись, а недоумение сменилось чувством гордости. Имя Ольги взлетело высоко-высоко, и каждый хотел видеть в нем частицу самого себя. Да, вот так оно получилось, Гулно ее породило, презирало, а сейчас прославляет. Отдавая

должное памяти Белы, Гулно оделось в траур. На окнах и дверях домов были вывешены куски черной материи. Даже на церковной колокольне на рассвете развевались два флага — красный и черный.

В своих записях Ядран сетует на то, что имя Белы постепенно исчезает из памяти, а сколько он трудился, чтобы оно не было забыто. Умерла вовремя, в битве за свободу, а не позже, когда имена воинов умирают часто раньше физической смерти самих воинов. Более того, он сожалеет, что и сам не умер во время войны, когда вспахивались борозды свободы, когда пахари не забывались, не оставались лишь в памяти своих близких. А прошла война, и память не сохраняет уже многого из того, что было, остаются лишь безымянные герои, открывшие двери в завтрашний день. Остается в памяти время, чем-то похожее на сумрачные рассветы с их молодым птичьим разноголосьем на стыке ночи и дня, когда свет борется с тьмой.

Душа на голгофе

Встречаются в литературе наделенные особенной нравственной силой произведения, которые потрясают на всю глубину чувств и уводят мысли далеко за пределы прочитанного. Именно таким мне видится роман «Бела» югославского писателя Велько Ковачевича, известного советскому читателю по романам «Капельские костры» и «Молодой лес». Роман впечатляет не только прозрачностью, чистотой языка и безыскусностью изобразительных средств, но главным образом напряженностью высоких чувств, которыми живут его персонажи, и трагичностью ситуаций, слагающихся в ходе смертельной борьбы Народно-освободительной армии и партизанских отрядов Югославии против фашистских оккупантов. Такое произведение мог создать художник, сам проживший трудную, большую и героическую жизнь. Только пройдя огненными дорогами войны, сражаясь, терпя поражения и достигая побед, можно было подняться на ту высоту, с которой видится давно минувшая борьба так ясно и со всей ее страстностью.

Действительно, не проста биография у Велько Ковачевича, и писателем он стал далеко не в молодом возрасте. Родился Ковачевич в 1912 году в Черногории, учился в гимназии, закончил учительскую школу, поступил на философский факультет Загребского университета. В 1937 году он уже сражался в Испании в рядах батальона «Джуро Джакович» на стороне Республики. Затем двухлетнее пребывание в лагерях Франции, где томились бойцы интернациональных бригад, а в июле 1941 года он пробирается в оккупированную Югославию и становится одним из организаторов народно-освободительной борьбы, командует партизанским отрядом, являясь одновременно членом Окружного комитета Компартии Хорватии. С апреля 1942 года — командир Пятой оперативной зоны, затем тринадцатой и сороковой дивизий Народно-освободительной армии Югославии, а с января 1945 года — командир Шестого корпуса. После окончания второй мировой войны занимает в стране разные высокие военные и государственные посты. За боевые заслуги удостоен звания Народного Героя. Это — очень беглое изложение биографии писателя.

В 1968 году генерал-полковник Ковачевич ушел в отставку, целиком посвятив себя литературному труду.

Роман «Бела» увидел свет в Югославии в 1979 году. И это свидетельствует о том, что в наших литературах сейчас происходят процессы, близкие по содержанию: как советские, так и югославские писатели военной темы до сих пор ищут ответы на вопросы, связанные с главными событиями того тяжкого времени, когда велась борьба за освобождение родной земли от поработителей. Наряду с вопросами политического, социально-экономического, военного встают вопросы духовного, философского характера. Ответы на них рождаются не только из анализа заново постигнутых фактов и событий. Главное о минувшей войне мы узнаем все-таки через человека, всматриваясь в его чувства и мысли, в его муки и радости, в его взаимоотношения с гремящей борьбой действительностью, в его оценки и суждения. Человек с его внутренним миром — наиболее точное зеркало эпохи.

САХАРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1914 г.).

Советский журналист, переводчик. С сербскохорватского переводил произведения В. Ковачевича, В. Блашковича, с английского — Л. Полинга, Г. Сиборга, Д. Сталла, Э. Вестрема, К. Бэгнала и других американских и английских ученых.

То, о чем пишет в романе «Бела» Велько Ковачевич, могло произойти и на нашей земле во время войны, в районах, оккупированных фашистской Германией. И это родство событий, похожесть ситуаций и человеческих судеб как бы дает нам возможность посмотреть на те давние и грозные годы не только через призму наших знаний и собственного опыта, но и через восприятие югославских воинов — наших побратимов по борьбе с фашизмом, изображенных Ковачевичем в его романе ярко и убедительно. На мой взгляд, главное в романе — это величие, красота и сложность чувств борющегося за правое дело человека.

Роман заставляет нас размышлять о том, что в особых условиях войны человек подчас вынужден ради высоких идеалов отказываться от самого себя, своего имени, своей чести. Так поступает и героиня романа Бела, представ в глазах даже родных людей изменницей. Она знает, что над ее головой навис топор, который может обрушить не только рука врага, но и рука друга, знает, что может погибнуть, так и не открыв окружающим своего подлинного лица, не отстранив от себя позор и всеобщее презрение.

А для человека не может быть ничего страшнее, чем потерять себя в глазах, мыслях и суждениях людей, и тем не менее Бела, непрерывно чувствуя себя будто на голгофе, испытывая душевные муки и утверждая каждым своим поступком и всплеском чувств величие человека, борющегося за свободу, дерзостно стремится к опасности.

Нам очень симпатичен и партизанский комиссар Ядран с его неожиданно вспыхнувшей тайной любовью к Беле, с его пониманием разумной тактики командира отряда Огневого — поступать не так, как бы поступил враг, нападать там, где противник не ожидает, действовать подчас чуть ли не вопреки здравому смыслу, но с внутренней убежденностью в успехе. И нам интересен его опасный, психологически тонкий противник — итальянец Анджело Дости, вышколенный фашистский контрразведчик. Анджело тоже умеет построить свой план действий с учетом характера приемов партизанской борьбы. Нешаблонное мышление, наблюдательность и понимание человеческой психологии помогают ему «переиграть» юную и прекрасную Белу, разоблачить в ней партизанскую разведчицу, выдать ей себя за друга югославских воинов, даже пробудить к себе светлые, возвышенные чувства.

Нас потрясают и те черты характера Белы, которые раскрываются в ее донесениях комиссару Ядрану. Правда, в советской литературе, кинематографе и театральном искусстве уже встречались подобные персонажи. Но Ковачевич привносит в характер своей обаятельной героини национальные черты, зримо рисуя народно-освободительную борьбу в Югославии, ставшую нам столь близкой в общей борьбе с фашизмом. Писатель выстраивает драматургию своего романа столь остро и впечатляюще, что Бела, пожалуй, забирает пальму первенства у своих литературных «однотипов». Ее судьба никого не оставит равнодушным. Наши чувства яростно протестуют против приговора, вынесенного партизанским трибуналом Беле, неумышленно предавшей друзей-подпольщиков, наша любовь к ней, рожденная художническими усилиями писателя, мешает нам на весах мудрости взвесить степень ее вины. И тем более глубоко наше потрясение, когда холодный рассудок все-таки подсказывает нам в итоге, что никакая любовь, заблуждение, никакие особые условия не могут оправдать человека, если по его вине погибли люди, соратники, борцы.

И попутно возникает мысль, может, самая главная и важная, как итог творческой победы Велько Ковачевича,— мы задумываемся о человеческой жизни вообще, о ее непродолжительности на фоне вечности... Да, жизнь человека и вечность!.. Что же такое вечность?

Если вечность вечная — то не было у нее начала, не будет и конца?.. Как осмыслить на фоне вечности жизнь одного человека? Это будто искорка в бесконечной ночи?.. А что являет собой в вечности все человечество с его прошлым и будущим?.. Речку мерцающих огоньков, которая течет сквозь мрак вечности, образуя в ней своим руслом вопросительный знак неохватного мыслью масштаба?

Эти зыбкие размышления приводят нас к догадке, что вечность и время — категории разные. Если вечность беспредельна, то время имеет свои границы, связанные с отсчетом бытия человечества. И если при этом мы всмотримся, сколь мизерно время человека в неподвижности вечности, нас охватывает печаль от того, что он, человек, с древнейших времен до наших дней то и дело обмеляет реку жизни огненными всполохами войн.

Нет, мы не станем устремлять свою мысль к причинам войн с их классовой сущностью. В данном случае нас больше заботит все то духовное, морально-нравственное, что происходит с человеком на войне, когда он стоит на пороге между бытием и смертью, когда только что зажегшийся в вечности факелок может быть мгновенно потушен недогоревшим. Многим художникам слова этот вопрос не дает покоя, многие писатели на всех континентах решают его по-своему, будучи уверенными, что каждому из них подвластна истина.

Велько Ковачевич эту истину открыл по-своему, на примере военных судеб Белы, Ядрана, Игора и других югославских героев, населяющих роман. Он убедительно показал, что красота человеческой жизни — в чистоте, возвышенности и искренности чувств, в благородстве идеалов, которые исповедует и которым служит человек. Эта истина как свет разума, другой быть и не может, с какой бы стороны ей ни заглядывали в лицо. Может, именно поэтому энергия памяти о войне столь страстно зовет советских и югославских писателей к новым поискам.

ИВАН СТАДНЮК

■

ШИЛА ГУДЖРАЛ

Стихи

■

Душа

Разве соблазнительные речи —
сладостное упоенье славой
не пытало утолить меня?
Я всегда неутолима!

Разве обольстительные сети
вероломной, недостойной страсти
не пытались уловить меня?
Я всегда неуловима!

Разве изнурительные муки,
языки палящего страданья
не пытались опалить меня?
Я всегда неопалима!

Разве все пронзительные стоны,
все мучительные скорби мира
не пытались утомить меня?
Я всегда неутомима!

Разве разрушительные волны
яростного, грозного прибоя
не пытались сокрушить меня?
Я всегда несокрушима!

Разве все пленительные маски
ярких, завлекающих иллюзий
не пытались победить меня?
Я всегда непобедима!

Разве чьи-то мстительные стрелы —
злобные упреки и насмешки
не пытались уязвить меня?
Я всегда неуязвима!

ШИЛА ГУДЖРАЛ.

Индийский поэт и прозаик; пишет на языках хинди, панджаби и английском. Автор нескольких сборников стихов: «Джаги Джаната», «Чалта Джа» и др., ее стихи и рассказы публиковались также в журналах.

В Советском Союзе стихи Ш. Гуджрал печатались в журналах «Наш современник», «Огонек» и «Индия», переводились на украинский, узбекский и латышский языки.

Публикуемые стихи переданы автором в рукописи и взяты из сборника «Сбрось покрывало» («Парда утхао». Дели, 1969).

Мой сынок

В час, когда в тревожном море жизни
Тонет мой беспомощный кораблик —
Кружится, кренясь и содрогаясь
Под напором волн неумолимых,
И когда последние надежды
Меркнут, будто гаснущие свечи,
И растет кипящий и грозящий
Надвигающийся гул прибоя —
В этот час смятений и волнений
Ты, как звездочка над бурным морем,
Мне указываешь путь к спасенью,
Став моим светильником чудесным,
Мой сынок!

А когда глухою темной ночью,
Как внезапно пробужденный демон,
Воскресает повесть предо мною
Всей изменчивой, превратной жизни
И когда тревоги этой жизни
У ворот души моей смятенной
Начинают грозный танец Шивы,
Беспощадный, исступленный танец,—
В этот час видений и мучений
Ты, как ясный луч луны весенней,
Отгоняешь тьму зловещей ночи,
В сон и отдых погружаешь душу,
Мой сынок!

И когда нежданные измены
Тех, кого друзьями я считала,
Недругов язвительные речи
Рвут души моей святые струны,
И когда в измучившемся сердце
Разрушается чертог надежды,
Разрывается доверье к жизни,
Открывается тропинка к смерти,
В этот час томлений и сомнений
Ты беспечным лепетом и смехом
Мне любовь и счастье возвращаешь,
В сердце радость жизни возрождаешь,
Мой сынок!

Жизнь идет...

Жизнь идет, и дышится все трудней,
Все трудней поспеть за потоком дней.

Порвалась многолетнего счастья нить,
Улетевшей юности не возвратить.

Но надежда в мою опустелую грудь
До сих пор еще не забыла путь,

И пускай от жажды иссох мой рот,
Ветвь души зеленеет еще, живет...

Раскололась звезда скитаний моих,
Раздробилась и чаша страданий моих,

Но еще сохранились в ее глубине
Две-три капли нектара — на самом дне.

Охладел любимый... Ни слов, ни слез —
Лишь руины остались от прежних грез.

Перевод с хинди СЕРГЕЯ СЕВЕРЦЕВА

Вдохновение *

Не знала я надежд и порывов
С тех пор, как трепетный свет души
Стал пленником разума
И истаял, как воск.

Но вот внезапно этот воск
Проливается на белый лист бумаги,
И рождается то,
Что зовут Поэзией.

Чему же уподобить эту тайну?
Так в недвижном и бездыханном теле йога,
В самой глубине его естества,
Всегда тлеет искорка жизни.

Но как отыскать путь
Угасшему мерцанию души,
Которое меньше даже этой искры,—
Путь к пыланию большого огня,
Огня Поэзии?

Надо учиться у птиц —
Они знают, как окрашивать песни
И нежностью, и пламенем, и вечной теплотой дыхания,
Они знают, как сплетать все это
В летящие звоны,
Близкие каждому сердцу.

Вот где пролегает истинный путь
Маленькой искры к большому огню,
Вот как рождается то,
Что зовут Поэзией.

Перевод с хинди Н. ГУСЕВОЙ

Тулси и кактус *

Ласковая тулси [1]
И колючий кактус,
Вы доверчиво шепчетесь,
Живя рядом в моем маленьком саду,—
Но о чем? О чем?
Тулси ведет неизменно волнующую речь
О великом прошлом, исполненном славы,
И о вечности,
Которой нет предела,
А также о том, что в каждой семье,
Где почитают Добро,

* © Shiela Gujral, 1980.

[1] Растение, посвященное Вишну, вечно возрождающемуся богу милосердия и правды.

Люди заботливо орошают ее свежей водой
И поклоняются ей
Как отражению благостного божества.
А кактус?
О, его повести колючи, как он сам,
И часто жестоки.
Они тоже говорят о прошедшем,
Тоже не забытом,
Но совсем-совсем ином.
Одно из многих его преданий —
Это рассказ о крестьянине,
Чье поле разоряли звери
И люди.
И тогда он создал вокруг посевов
Живую ограду из кактусов,
Беспощадных ко всему живому,
И только так смог сохранить урожай.
Все возненавидели кактус
За его неумолимые шипы,
И он жил, не ведая ничьей приязни.
Но однажды дочь Махараджи
Сказала, что он ни в чем не повинен
И что его грозное оружие
Не может оттолкнуть душу,
Исполненную нежности.
Одарив его теплотой своего сердца,
Она стала растить его в мраморной вазе
Рядом с нежной тулси.
Так родилось это двуединство,
Так обрели друг друга
Две стороны всего сущего
И с тех пор стали нераздельными
Повсюду
И всегда,
Как в моем маленьком саду.

Зимняя баллада *

Ветер ночами поет,
С деревьями игры ведет,
Баллады творя из теней
Переплетенных ветвей
На мягком и чистом снегу.

Месяц летит в вышине,
Ветер звенит в тишине,
Камни безмолвно зовут,
Звезды во мраке плывут,
И я вслед за ними бегу.

А в легкие зимние дни,
Когда мы с тобою одни,
Снимаешь с моих плечей
Кружево светлых лучей.
Мой милый, прошу, не забудь —
Лишь день озаряет путь...
И ветер кружит на снегу.

Перевод с английского Н. ГУСЕВОЙ

■

РОБЕР АНДРЕ

Дитя-зеркало

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

Когда мы достигаем определенного возраста, душа ребенка, которым мы прежде были, и души усопших, от которых мы произошли, начинают щедро одарять нас своими сокровищами и своей злой судьбой...

МАРСЕЛЬ ПРУСТ. «Узница»

Вместо вступления — живая изгородь и почти настоящий волк под серым лотарингским небом

Моя тетушка Берта, старшая сестра отца, вышла замуж за пастора-эльзасца и поселилась в пригороде Меца. Я жил у них, когда мне не было и двух лет, еще до того, как сформировалась моя память. Все же у меня сохранились об этой поре некоторые воспоминания, и, при всей своей незначительности, они, как мне кажется, верно отражают тональность самого начала моей жизни, ее музыкальный ключ: чередование страха с ощущением безопасности, но чаще — страха.

В саду, между живой изгородью и ореховым деревом, роется в гравии ребенок; рядом с ним другой ребенок, родившийся в тот же год и в тот же месяц: послевоенные времена всегда отмечены особенной плодовитостью. Мы с ним родственники, точнее сказать, он сын одной из пасторских дочек. Это «бедняжка Пьер», и эпитет «бедняжка», увы, не имеет никакого отношения к музыке Шумана. Смерть караулит его. Ему суждено нас покинуть на исходе моего детства, он умрет от какой-то неизлечимой болезни. Черты его полностью стерлись, но я его любил, и ощущение, что он рядом, прочно осталось во мне непреходящей памятью об исчезнувшем близнеце.

Неподалеку — застекленная дверь, ведущая в гостиную с желтыми стенами; в кадр вдвинуто кресло, сидя в котором взрослые присматривают за нашими играми. Эта часть сада проникнута ощущением безопасности, но стоит обогнуть гостиную и пологим склоном

© Editions Gallimard, 1978.

РОБЕР АНДРЕ — ROBERT ANDRÉ (род. в 1921 г.).

Французский писатель, критик; доктор филологии, профессор, президент Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор семи романов, в том числе «Упорное сражение» («Un combat opiniâtre», 1960), «Тщеславная память» («La memoire vaine», 1964), «Любовь и жизнь женщины» («L'amour et la vie d'une femme», 1969), «Соблазнитель» («Le seducteur», 1972), «Простодушная страсть» («Une passion ingénue», 1980) и других, а также работ о Бальзаке, Стендале, Достоевском.

В русском переводе опубликована его повесть «Взгляд египтянки» («ИЛ», 1977, № 1). Повесть Робера Андре «Дитя-зеркало» печатается в журнальном варианте («L'enfant miroir». Paris, Gallimard, 1978).

спуститься к огороду, и вы тут же попадаете в царство страха под низким серым небом, где дует холодный и сильный ветер, но враждебность стихий — это сущий пустяк по сравнению с враждебностью сторожевого пса, который, завидев крохотного посетителя, рычит и бросается ему навстречу, грозно сотрясая свою цепь. Он очень похож на волка — да это и есть волк!

Если быть точным, он волк лишь наполовину; молва утверждает, что это помесь дога с волчицей. Он наводит на меня ужас, но я не упускаю случая снова и снова испытать этот ужас, чтобы лишний раз взглянуть на здоровенного пса, который рядом со мной кажется сказочным великаном, увидеть его разинутую слюнявую красную пасть и огромные клыки. Быть может, это нужно мне для того, чтобы по контрасту еще явственнее испытать то ощущение безопасности, которое исходит от шафрановой гостиной, где восседают безмятежные, защищающие меня божества. Их лица расплывчаты и неясны, даже лица моих родителей. Куда они скрылись? Кроме гостиной есть еще сумрачная столовая, а также пахнущая воском передняя, и только здесь я могу отождествить себя с тем давним ребенком. После долгого путешествия его вносят сюда на руках, ему неуютно и страшно, он плачет и прячет глаза в ложбинку женского — материнского! — плеча, отвергая заигрывания, с которыми пристают к нему двое чужих людей, военный и дама; потом все снова тонет в тумане...

Кроме общей тональности, все так и осталось бы навсегда погруженным в туман, если бы годы спустя я случайно не оказался опять в тех краях. И мне захотелось проверить, смогу ли я что-то узнать.

Предместье состоит из широких прямых улиц, которые пересекаются множеством боковых улочек с виллами и садами; я шагаю по этой однообразной шахматной доске и почти не надеюсь на успех, ибо архитектору зачем-то понадобилось, чтобы все кварталы были похожи друг на друга. Однако в какой-то момент меня охватывает странное ощущение, близкое к ахронии, временные ориентиры как будто смещаются, мне становится трудно дышать, и по этому знакомому чувству стеснения в груди я понимаю, что мое тело узнало и приказывает мне вернуться и войти в боковую улочку, которую я только что миновал. Сменяют друг друга садовые ограды, и вот — словно кто-то ведет меня за руку — я без малейшего колебания направляюсь к одной из вилл, берусь двумя руками за прутья ворот и смотрю в прошлое — оно тут, совсем рядом, совершенно нетронутое, несмотря на добавленные временем мелочи вроде ржавчины на затворенных ставнях или засохшего плюща, цепляющегося за фасад. Живая изгородь из бирючины словно бы подросла, стала вровень с голым ореховым деревом, и гравий теперь перемешан со щебнем, но взгляд безошибочно отыскивает изогнутую линию крыльца перед застекленной дверью, угол гостиной и сумрачной столовой — те, кто сиживал здесь, последовали за бедняжкой Пьером — и пологий спуск к огороду, где некогда завывал давно уже умерший теперь волк и где, как и прежде, над подрагивающими кустами гуляет нож восточного ветра.

В этих краях почти всегда холодно, и бледное солнце памяти упирается в серое небо. Должно быть, в эти минуты я и подумал впервые, что было бы хорошо оживить призраки, которые так неприкаянно бродят по саду,— ведь недаром же тело мое само привело меня к ним. Мгновенная тайная мысль... Прошли годы, прежде чем я к ней вернулся. И если я все же решаюсь это сделать, причиной тому, пожалуй, не только пронзившая меня тогда скорбь, но и последний, завершающий штрих, невероятно эффектный и броский, будто придуманный кем-то нарочно. На фасаде, над дверью, ведущей с крыльца в ту переднюю, где некогда, уткнувшись в материнскую шею, плакал ребенок, билось теперь на ветру объявление, с равномерными промежутками ударяясь о стену, точно призраки

умоляли впустить их в дом. «ПРОДАЕТСЯ»,— кричали линялые буквы.

Город Мец и предместье Келё занимают в моем существовании ничтожно малое место; лишь странное очарование истоков придает им в моих глазах какую-то ценность; тем не менее надпись возмутила меня.

Я один только знал, я один только мог говорить, и, если бы я промолчал, я стал бы пособником той пошлой и ужасающей неизбежности, которая с первых мгновений дамокловым мечом нависает над всеми рождающимися на свет. И жалким символом которой явилось для меня объявление «ПРОДАЕТСЯ» с его глухим постукиванием «никогда-уже-больше» под серым-серым лотарингским небом.

От нуля до пяти

Серая глубь серого двора —

вот истинное начало; залитый цементом двор, с трех сторон замкнутый корпусами жилых домов, а с четвертой стороны — стеной; над стеною крыша сарая, дерево — парижская акация, клочок неба.

В одном из окон второго этажа, в глубине двора, взял обыкновение появляться ребенок — появляться и делать знаки ребенку, живущему напротив, то есть мне; однако сначала следует произвести перестановку фигур. В черноте, на фоне которой сейчас вырисовывается тот, другой, родился однажды вечером я, родился после длительных родовых схваток, про которые роженица любит вспоминать с нотками снисходительности к виновнику ее страданий. Молва утверждает, что роды длились двадцать четыре часа, а происходило это в летнюю пору, когда день никак не хочет угаснуть, и мне казалось всегда, что существует некая смутная связь между моим нескончаемым появлением на свет и тем тяжким усилием, с каким ночь завладевала нашим двором.

Я где-то читал, что сумерки — это щель между видимым и незримым. И я уже в детстве думал о том, что попал в этот мир в неурочный час, что увидел лишь темноту или вообще ничего не увидел и что мне предстояло еще какое-то время ждать, чтобы получить возможность наконец оглядеться. Поскольку к тому же я не был способен установить прямую связь между материнскими муками и моим запозданием, ибо не знал, как рождаются дети, этот рассказ меня очень смущал, и я склонялся к тому, чтобы приравнять эти муки к мучениям нравственным, похожим на те, какие причиняешь любящим тебя людям, когда не выполняешь своих обещаний. Так, в силу какой-то непостижимой фатальности я изначально чувствовал себя виноватым.

Значит, событие произошло там, где-то за спиной подменившего меня ребенка, и симметричность точек обзора удивляла меня: другой мальчик созерцал то, что должен был бы созерцать я. Этот зеркальный эффект порождал враждебное чувство к тому, кто незаконно захватил мое место, и я довольно скупо отвечал на его авансы. Обстоятельством, отягчавшим его вину, служил и тот факт, что он был моим ровесником,— он родился в один день со мной! — о чем его бестактные родители не уставали напоминать; все это еще больше усиливало мою сдержанность.

Когда мне доведется опять посетить здание в глубине двора — разумеется, не второй этаж, ибо ни о каком общении с людьми, которые позволили себе нам подражать, не могло быть и речи, а первый, где жила молодая вдова, приятельница моей матери,— я выка-

жу живейший интерес ко всему происходящему этажом выше и буду тщетно пытаться представить себе, как выглядят комнаты, в которых внезапно — придя откуда? — возник я в час, когда все окутано сумерками и всем хочется спать, и поэтому был встречен градом упреков за опоздание.

Постепенно из этих безнадежно мутных глубин мне удастся извлечь едва слышный возглас совы, незримо обитающей в ветвях акации, тявканье пса на соседнем дворе, а потом сквозь кору забвения пробивается еще один образ, неожиданно сочный и свежий, что скорее всего объясняется его нетипичностью. Сначала я слышу приглушенный шум детской коляски, катящейся на мягких рессорах; этот звук убаюкивает меня, я вдыхаю запах откидного верха, поглаживаю ладошкой полированную поверхность кузова, от которого исходит ощущение безопасности, и в обрамлении стенок моего экипажа передо мной открывается чудесный вид. Коляска катится по синему, залитому ярким сиянием небу, но вполне может быть — так происходит при некоторых оптических иллюзиях,— вполне может быть, что движется вовсе не коляска, а само синее небо, и весь окружающий мир вращается вокруг некоего центра, который совпадает с моею персоной, а вернее, с двумя нашими персонами, ибо в обрамлении стенок коляски я вижу лицо женщины, которая толкает коляску перед собой и улыбается мне,— лицо моей матери... Мелькают и исчезают прутья ограды. Из этого я делаю вывод, что мы въехали в Люксембургский сад. Улыбка, синева, движение и небывалое чувство покоя, ибо меня окружает двойная защита — стенок коляски и материнского лица, которое благодаря моей полулежачей позе я вижу особенно явственно, словно лик Вседержителя в арке византийского свода,— вот все, что выжило и сохранилось, выбившись из непроницаемой мглы, которая подступает к ребенку, жадно приникшему к окну, к моему окну... Четкость этой картины, ее полнота и неизменная яркость, над которой не властно время, связаны, должно быть, с ее исключительностью. Подтвердить это предположение можно будет, лишь повествуя о последующих событиях моей жизни. Пока скажу лишь о том, что с самого раннего возраста я начал болеть.

В самом деле, не довольствуясь тем, что на свет я явился с опозданием, через несколько месяцев я предпринял попытку вернуться обратно в небытие, в качестве предлога использовав для этого воспаление легких, в результате чего, согласно семейному преданию, оказался *на волосок от смерти*.

Сердясь и капризничая, я буду пытаться разжалобить окружающих и лишаться чувств, то есть достигать такого пароксизма воплей и судорог, который ввергает человека в роковое беспамятство. Вся сложность этого предприятия заключается в том, чтобы соблюсти правильную дозировку притворства: перейдя определенный порог, актер попадает в собственную ловушку, что со мной нередко и происходило. Тогда мы снова переживали трагическую минуту, фигурировавшую в семейном предании. Твердо помня уроки прошлого, мать разжимала мне рот и, приложив свои губы к моим, как это делают, откачивая утопленников, вдыхала в мои легкие воздух, насильно возвращая меня к жизни. Это и радовало меня и огорчало. Прикосновение материнского рта было приятно, но такая пневматическая интимность лишала меня моего главного оружия.

Сколько времени длилось это время? Не знаю. Может быть, мы только потому ничего о себе не помним, что уже никогда больше не попадаем в обстановку, где проходили события нашего детства; мой опыт с лотарингским домом под серым небом как раз об этом и говорит. Доведись мне снова оказаться в квартире, где я появился на свет и сыграл первую в своей жизни комедию, я, быть может, оживил бы еще целую вереницу утраченных образов, которые сопутст-

вовали бы картине моего безоблачного счастья в коляске и улыбающегося лица на фоне синевы. Говорю об этом не без некоторой ностальгии. Увы, мне дано увидеть лишь двор да маленького узурпатора на нашем балконе — лишь негативную географию, запечатленную на потолке у молодой вдовы...

Мой свинцовый сон

Обсерватория, откуда я вглядываюсь в темноту и подстерегаю появление ребенка-зеркала,— это комната, в которой я живу вместе с родителями.

Я сплю в металлической кровати у внутренней стены. Спинки кровати обтянуты материей, так что, лежа в постели, я никого не вижу и никто не видит меня. Не знаю почему, но в этой мнимой слепоте, напоминающей повадки страуса, есть для меня что-то успокоительное. Я люблю забраться в свое убежище и уютно залечь в нем, прижав к себе непременного спутника младенческих лет — плюшевую зверюшку, мохнатую обезьянку, которая не знает износа и которую я люблю безрассудной любовью.

Мы мгновенно погружаемся с нею в мир непроницаемого мрака, столь же густого, как тот, каким наполнена вселенная до нашего рождения, и оба просыпаемся в тех самых позах, в каких заснули, так что иногда я сомневаюсь, в самом ли деле я спал. В детстве у меня был хороший сон, я бы сказал, даже слишком хороший, потому что засыпал я без малейших усилий и мог спать до бесконечности долго, пребывая во власти растительного оцепенения и полнейшей отрешенности от самого себя. Моя родня еще долго будет сетовать на мою медлительность, и умственную и физическую, в которой, надо думать, повинен все тот же столь милый моему сердцу ночной сумрак.

Даже еще и теперь, когда благодать глубокого сна, полностью лишенного сновидений, давно меня покинула, я храню доставшуюся от нее в наследство инертность: проснувшись, я долго лежу неподвижно, не в силах выбраться из лабиринта мерещившихся мне ночью видений, и отпечаток моего тела хранится в матрасе незыблемой вмятиной. По вечерам я снова погружаюсь в нее, не нарушая ее очертаний, и временами без всякой тревоги думаю об окончательной неподвижности, которая ждет меня впереди, и о том, что не будет, пожалуй, особенной разницы между первой и последней позами моего тела.

Я отчетливо вижу комнату в ее ночной географии; зимой ее озаряют отсветы горящего в камине огня и смутно белеет возле кровати родителей прямоугольник зеркального шкафа. Нужно ли говорить, что, в отличие от большинства детей, я не боюсь темноты. Я ей даже признателен: ведь она помогает мне забываться в глубинах моего полотняного замка.

Я упомянул родительскую кровать. От нее меня отделяет глубокий ров. Кровать у родителей огромная — или кажется мне огромной; она из красного дерева, с полированным изголовьем, и, когда у меня повышается температура, гладкая панель приятно холодит мне затылок. В изножье кровати высится шкаф, его зеркало отражает спящих на кровати людей; все мое детство отмечено неизменностью этой картины. Чем чаще я буду болеть, тем больше родительская кровать будет становиться моей кроватью, а пока что она — предмет моего самого пристального и довольно нескромного наблюдения.

Случается, я просыпаюсь раньше обычного. Стараясь не шевелиться, я настороженно ловлю малейшие звуки, слушаю, как щебечут птицы в ветвях растущего во дворе дерева, как звонит большой колокол; я чувствую за ставнями трепет близящегося рассвета и

знаю, что пространство комнаты делается уже различимым. Тогда я осторожно сажусь, бесшумно высовываюсь из кровати и поверх медного прута, отделяющего меня от остального мира, смотрю на родителей. Я рад, когда мне удается застигнуть их спящими; я погружаюсь в созерцание их неподвижных тел, и меня охватывает удивление, смешанное с беспокойством. Я почему-то не вижу сходства между их сном и моим. В их неподвижности мне чудится неестественность, я тороплюсь увериться в том, что неподвижность эта неполная, напряженно всматриваюсь в простыни, которые смутно шевелятся на груди и в ногах, вслушиваюсь в дыхание; для вящей уверенности мне очень хочется их разбудить, но я не решаюсь. Отец лежит ближе к моей кровати и отделяет от меня тело матери, но в будни место отца к этому часу обычно уже пустует, и я тороплюсь поскорее обнаружить эту пустоту.

В течение многих лет он будет рано уходить на работу, и у матери войдет в привычку после его ухода снова ложиться в постель. Поэтому я без колебаний преодолеваю разделяющую наши кровати пропасть, приникаю к матери, сжимаю ее в объятиях и всячески демонстрирую сыновнюю нежность, проделывая это с огромным пылом и с несколько меньшим простодушием,— можете как угодно трактовать это мое признание. Тут разобраться не просто. Я и сам не отдаю себе отчета, чего я ищу в таких объятиях; ничто — или почти ничто — еще не имеет для меня названий в том мире, куда я с таким рвением и с некоторой опаской погружаюсь. Нет, история моих ощущений вряд ли начинается именно с этих ребячливых шалостей, которые связаны скорее с тем, что я не люблю и боюсь всего нового и неведомого. Обнимая мать, я стремлюсь лишь вернуться в прежнее, более раннее состояние моего бытия, когда это, ставшее уже теперь редким, удовольствие соприкосновения с материнским телом отпускалось мне щедро и с полным отсутствием бдительности, ибо тогда меня кормили грудью, и, согласно деревенским обычаям, это затягивалось на более долгий срок, чем принято ныне,— чуть ли не до двухлетнего возраста, что, конечно, истощало и раздражало кормившую меня мать.

Такие игры происходят не ежедневно. Кровать зачастую оказывается пустой, и я, прежде чем снова залечь в свое логово, удрученно созерцаю белизну простынь, надеясь дождаться появления неясной фигуры, которая впустит в комнату дневной свет и наклонится ко мне, и я увижу улыбающееся лицо; это будет сигналом к окончательному пробуждению, но я, блюдя верность правилам игры, притворюсь, что сплю, потом удивлюсь — тоже притворно, потом спрошу, какая нынче погода, и услышу в ответ одну из ритуальных формул: «Настоящий весенний денек!», или: «Погода — хуже не бывает», или, что случается значительно реже: «Знаешь, снег идет!» И я вскочу на ноги, поцелую ее, погляжу для верности в окно, и пойдут у нас долгие утренние разговоры.

Однако в наших отношениях вскоре происходит непонятная перемена. Обнаружив как-то утром, что кровать не пуста, я перебираюсь через ров, подползаю к горячему телу и как можно теснее прижимаюсь к нему.

И сразу вижу — денек, должно быть, и вправду настоящий весенний, потому что в комнате светло и я отчетливо вижу мамины черты,— сразу вижу, как улыбка уходит с ее лица и сменяется беспокойством; подобное выражение мелькает в глазах человека, которому вдруг вспомнилось нечто такое, чего никак нельзя забывать. Между нашими телами пробегает тень, возникает преграда, неощутимая и невидимая, но достаточно прочная, чтобы их развести. Эта загадочная метаморфоза запомнилась мне навсегда, ибо она возвестила, что некий период существования канул навеки в прошлое, несмотря на мои попытки его задержать.

Отныне, когда мне выпадает удача и я мог бы снова прильнуть к матери, позволившей себе роскошь поваляться утром в постели, я упорно борюсь с искушением, я не хочу, чтобы между нами опять возникла тень.

Итак, у меня что-то отняли, но я не слишком печалюсь, ибо у часов, которые следуют за окончательным пробуждением, тоже есть своя прелесть: мою персону будут окружать весьма приятными мне заботами. Мы с матерью одни, мы с ней будем одни до самого вечера, нашей интимной близости длиться и длиться. Начало моей истории озарено этой близостью так же ярко, как было оно озарено горячим солнцем при въезде коляски в Люксембургский сад. То был райский период моей жизни, райский в библейском смысле слова, ибо в мире еще не было зла, а я не ощущал еще своей наготы. Когда меня купают, растирают, массируют и прочищают всяческие отверстия, а потом одевают, я совершенно не думаю о своем теле; во время этих процедур меня лишь охватывает томительное блаженство, которое никак еще не локализовано; ощущение своего тела как сенсорной клавиатуры придет позже и будет связано не с наслаждением, а с болью. Не думаю я также и о материнском теле, когда, умыв меня, она приступает к собственному туалету — все в той же комнате, возле меня.

Вряд ли и она слишком уж озабочена тем, чтобы прятаться от моих глаз. Факт примечательный. Тень может возникнуть, только если я стану прикасаться, ощупывать, трогать, а к взорам тень безразлична; да и я смотрю на обнаженное мамино тело с полнейшей невинностью; больше того, мне даже становится чуточку жалко — с какого именно времени, сейчас восстановить уже трудно,— что это зрелище не скрыто от меня никакой завесой; правда, сожаления такого рода весьма мимолетны и ничуть не мешают мне быть очень нескромным, ходить за матерью по пятам и с интересом исследовать все детали нижнего дамского белья, которые были в ту пору куда разнообразнее, чем в наше время. Никаких секретов тут для меня не было, ибо мы пребывали с ней, повторяю, по ту сторону всякой стыдливости, в чем, пожалуй, кроме личного характера мамы, сказывалась и фамильная черта: ведь недаром потом у меня будут столь же обширные познания по части белья моих бабушек, а уж бабушки-то мои не терпели никакой непристойности. Так что упреки этого рода я должен решительно отмести. Речь шла лишь об украшениях и уборах, которые служили красоте моей матери, о красоте же у меня были самые четкие представления, и мать я считал первой красавицей в мире. Когда она примеряла, снимала, прикидывала, расправляла все эти ткани, эти благоухающие шелка, когда она разглядывала себя в зеркале, поворачивалась, прохаживалась, подпрыгивала перед шкафом и с такой лестной для меня серьезностью спрашивала моего совета: «Как я выгляжу, мой дорогой? Мне это к лицу? Тебе не кажется, что здесь немного морщит? А с моим цветом лица это как сочетается? У меня так мало вещей, которые мне идут...» — я был искренне убежден, что в целом мире нет больше женщины такой красивой, как мама.

Я безоговорочно все одобрял. Меня окутывали удивительные ароматы, источаемые тканями, флаконами духов, баночками с кремом, и я бесконечно гордился, что присутствую при тончайшей работе, посредством которой мать изменяет первоначальный свой облик, на глазах превращаясь в величественную даму. Она представала передо мной законченным образцом красоты, в которой было все: исполненные достоинства позы, хитроумнейшие украшения и, конечно, прекрасные маски, ибо главным для мамы было искусство гримироваться; так перед выходом на сцену актриса видит в зеркале уже не себя, а свою героиню.

Но, от души восхищаясь, я чувствовал смутно, что всей этой

красоте предпочел бы ее простое, естественное лицо, каким я вижу его, просыпаясь, и ее поцелуй — без помады, без пудры, которая мешает мне ощутить настоящий запах щеки, без дурмана косметики, густого и даже словно бы липкого, особенно если сравнить его с легким потрескивающим ароматом растрепавшихся за ночь волос,— да, конечно, мама мне нравилась больше в своем натуральном виде, только я не решался в этом признаться. Хрупкость туалетов отдаляла ее от меня, портила нашу близость.

Призраки

Я никогда не знал того, что зовется семейным кругом, того многолюдного сборища домочадцев, которое представляет собой пирамиду разных поколений и возрастов. Наши родственные связи подчинены географическим расстояниям, определяющим частоту взаимных визитов.

В те дни, когда, опасаясь простудиться и умереть, мы сидим дома, у нас регулярно появляется женщина небольшого роста с тихим и нежным голоском — одна из сестер отца. Она быстро завоевывает мою симпатию, потому что приносит мне вкусные вещи вроде пряничных зверюшек или марципановых овощей. Тетя Луиза с видимым удовольствием рассказывает всякие страшные истории про оборотней и людоедов, но особое предпочтение отдает Синей Бороде. Ее нежный голосок еще больше усиливает впечатление, которое производят на меня эти сказки; она чуть ли не по секрету сообщает о вещах, про которые говорить громко было бы даже опасно. У нее очень сильная близорукость, от этого кажется, что она тебя не видит, зато ее взгляд проникает сквозь стену и перед ней проходят картины кровавых убийств, совершенных в запретной комнате, откуда долетает до нас трепетная мольба: «Ах, сестрица, взгляни, не идет ли кто к нам на помощь!»

На корсаже у тети Луизы висело множество амулетов, приносящих удачу и предотвращающих удары судьбы. В ее тоне не было и тени волнения. Эта полная невозмутимость, составляя важную часть ее таланта рассказчика, вызывала порой недоверчивость у мамы, которая с подозрением относилась к искренности сердечных порывов. Ей требовались доказательства любви. Мне же такое недоверие представлялось необоснованным. Я склонен был думать, что тетя Луиза живет богатой внутренней жизнью и совершенно не нуждается в том, чтобы расточать улыбки и слезы. Она обожала моральные сентенции, часто повторяла, что «счастье — оно в нас самих, в нашем образе мыслей», и приводила в пример свою жизнь. Кроме того, она любила рассказывать о посетивших ее видениях.

— Знаете, вчера вечером я видела Аркада,— внезапно заявляла она без всякой связи с темой беседы.

— Вы его видели! — эхом отзывалась моя мать, и в ее голосе слышалась жажда подробностей, которые позволили бы ей полностью поверить тете Луизе.

— Так же ясно, как вижу сейчас вас с малышом. Он стоял в ногах кровати.

Мама говорила, задумчиво покачивая головой:

— Да, Луиза, бывают поразительные вещи...

И рассказывала о своих собственных видениях и предчувствиях. Прежде чем случиться на самом деле, несчастные происшествия и смерти непременно являлись сперва ей во сне.

Аркад был давно умерший муж моей тетки. Потусторонние беседы с супругом и усердные занятия оккультными науками помогали ей стойко нести бремя многолетнего вдовства. Покончив с Синей Бородой и возвратив Аркада царству теней, она извлекала из сумочки

колоду игральных или гадальных карт и справлялась у матери, что она выберет на этот раз:

— Полную колоду? У вас сегодня хватит флюидов?

Мать отвечала обычно, что флюидов у нее вполне достаточно, и Луиза раскладывала на столе карты, тасовала, заставляла снова и снова снимать, тянула карту, опять прятала ее в колоду, и все тем же своим монотонным, слабеньким голоском, подкрепляя его выразительной мимикой, предрекала нам беды и радости, сетуя на то, что незримые силы вечно о чем-то недоговаривают. Она подолгу держала вытянутую руку над картой и шептала, закрывая глаза:

— Странно... Я что-то чувствую.

Мама в испуге тоже наклонялась над картой. Я ждал, что призраки вот-вот возникнут из воздуха и сами выскажут все свои подозрения.

— Налицо враждебное совпадение светил,— добавляла тетя Луиза,— но я не в силах расшифровать, что же оно означает.

Она опять предлагала снять и тянула из колоды другие карты и все же, к огорчению матери, порой бывала вынуждена признать свою неудачу:

— Ничего не поделаешь, Жюльетта, они больше не хотят ничего говорить.

Иногда, в простоте душевной, она делала заявления, чреватые довольно рискованными последствиями.

— Ах! Я вижу предательство! Вижу одну особу, которой вы доверяете, но она этого не заслуживает... Да, да, да, совершенно не заслуживает,— говорила она мягко и ласково, очевидно не замечая, какое смятение вызывают эти слова в склонном к подозрительности сердце.

Мать немедленно принималась искать предательницу, перебирая одну за другой своих близких подруг, и делала это с дотошностью восточного деспота, которому грозит кинжал или яд. Зачастую оказывалось, что нас предают и нам изменяют именно те, чья репутация была до сих пор безупречной; на этом поразительном открытии гадание заканчивалось, тетя Луиза невозмутимо собирала карты и мирно возвращалась домой, в выходившую во двор квартирку на первом этаже в квартале возле площади Терн, и ее уход меня огорчал, потому что я восхищался ее всеведением и надеялся, что в конце концов она откроет и мне мою будущность, но она неизменно отказывалась, ссылаясь на мой юный возраст. Должно быть, духи не занимались детьми.

Вечерами отец достает иногда из ящика пожелтевшую фотографию и задумчиво вглядывается в нее. Молодая женщина на фотографии очень напоминает отца.

— Это мама,— шепчет он умиленно, и детское слово странно звучит в устах человека, обычно не склонного к излияниям чувств.

В его голосе слышится скорбь. Молодая женщина умерла, когда мальчику было два года, возраст, в котором взрослый человек потом уже не помнит себя. У него было еще девять братьев и сестер, и большинство из них рано ушло из жизни; это целая вереница существ для меня почти абстрактных и воображению не подвластных. Воображение мое в лучшем случае бродит где-то вокруг приемных родителей отца — это выражение возбуждает мое любопытство. Оно означает земледельцев из Морвана, к которым отца поместили после смерти его матери и которые воспитывали его до той поры, когда настало время отдать его в монастырский пансионат, к «Братьям христианских школ» Это суровое детство стало семейной легендой, которую отец не без гордости вспоминал,— вспоминал школу, расположенную за много километров от фермы, и как он ходил туда в любую погоду, в глубокий снег и в трескучий мороз, и как дрался с мальчишками из соседних деревень, и как вместе с приемными ро-

дителями работал в поле, и какая жестокая дисциплина была у братьев монахов.

Все это составляло целую героическую эпопею, я внимал ей с большим интересом, но одновременно и с некоторым унынием: уж слишком заметно отличалось все в ней от моей собственной судьбы. Сочувствовать отцу я был мало склонен — может быть, оттого, что история эта была для меня словно бы взята из сказки и представлялась поэтому нереальной. Тот факт, что ее героем был отец, пожалуй, еще больше увеличивал дистанцию, которая пролегала между ним и мною из-за моего исконного перед ним страха. У отца было — или он приписывал себе — столько доблестей и достоинств, что мое собственное существование выглядело совершенно ничтожным и жалким. Повстречай я героя этой легенды, он бы ведь на меня и внимания не обратил, думал я, когда передо мной мелькали воспитавшие его родственники, бабкин портрет, раннее сиротство, заснеженная равнина, а потом, вслед за картинами детства, боевые подвиги на войне. В сравнении с этим неполноценность моя становилась особенно очевидной, что побуждало меня с новой силой искать утешения под крылышком матери и находить новые поводы для самоутверждения, и я был рад, что она подтверждает мою бледную легенду о моем сумеречном появлении на свет, о поползновениях вернуться назад, в небытие. К тому же я чувствовал, что хранительница этой легенды не испытывает особого восхищения перед хрестоматийными доблестями отца.

Более того, я очень рано ощутил, что в том, как мама относится к отцовской эпопее, даже к его красочным рассказам о войне четырнадцатого года (которую он провел на самых опасных участках фронта, в том числе под Верденом, где был отравлен газами), тоже присутствует некая тень, похожая на ту, что вставала между мною и матерью, когда в наших утренних играх на большой кровати я пытался перейти границу дозволенного. Имела ли эта тень ту же природу, не знаю. Но мне кажется, есть что-то общее между той первой преградой и новой, которую я ощущал, когда отец пускался в воспоминания, а у матери делалось непроницаемое лицо. Все его подвиги били тогда мимо цели.

Отец напрасно старается прыгнуть выше головы

Такое поведение матери, хотя оно в чем-то и совпадало с моим, все же смущало меня. Оно сулило более серьезные разногласия. Наша семья начинала утрачивать былое единство. Мои взаимоотношения с родителями дали трещину. Я даже спрашиваю себя теперь, не сознавал ли это и отец, когда он в ответ на равнодушие матери еще больше жал на педали. Иногда, правда, случается так, что моя тревога, вызванная скрежетаньем ключа в замке, оказывается напрасной. В дверях возникает вовсе не тот молчаливый чиновник, который всецело поглощен лишь двумя обстоятельствами — своей службой, где толпы соперников плетут коварные интриги, мечтая его погубить, и постоянными болями в желудке, доставшимися ему в память о героической военной поре,— в квартире появляется совсем другой человек. Он что-то весело напевает с победоносной улыбкой, потом без единого замечания по поводу меню садится за стол, щедро наливает себе вина и приступает к традиционным рассказам о детстве, армии и войне, а мать со скептическим видом пресыщенного однообразными зрелищами театрала тяжко вздыхает и удрученно следит за тем, как убывает в бутылке вино.

Поначалу я проявляю энтузиазм; мне непонятно, почему такие занимательные истории могут показаться кому-то скучными, и я даже прошу самые интересные из них повторить: «Расскажи еще про платок!» — и отец, точно виртуоз, польщенный криками «бис!»,

опять заводит рассказ про новобранца, которому только что выдали обмундирование. Если верить отцу, армейская форма в его времена либо совсем не налезала на солдата, либо висела на нем мешком и каждая деталь одежды была соответственно чрезмерно мала или чересчур велика. К тому же в своем носовом платке молодой солдат обнаруживает дыру, платок из-за нее к употреблению не пригоден, и солдат просит выдать ему другой, но эта идея, как и следовало ожидать, не вызывает у начальства восторга. «Ах, у него, видите ли, платочек порвался! — грозно рычал мой отец.— Ну и ну! Поглядите-ка на этого смутьяна! Давайте сюда ваш платок!..» И отец вытаскивал из кармана платок и разворачивал его над столом, изображая испуганную угодливость, и с выпученными глазами разглядывал воображаемую прореху; я восторженно хохотал, а мать выказывала свое отрицательное отношение негодующими возгласами. Однако отец не обращал на это внимания, он думал лишь о том, как бы эффектнее подать финальную реплику. Он выдерживал долгую паузу, потом тупая мина рядового сменялась грозной маской унтер-офицерского гнева, нахмурив брови, он наконец изрекал: «Прекрасно! А теперь выверните его наизнанку!»

Он медленно поворачивал платок другой стороной, показывал его матери и опять погружался в созерцание воображаемой дыры...

— У тебя совершенно нет чувства меры. Это просто ужасно. Какой пример ты подаешь ребенку!

Но отец в ответ хохотал до слез, а я радостно ему вторил...

Все было как будто бы хорошо. Но я чувствовал, что отца раздражает отсутствие единодушия в рядах аудитории, что он сердит на зрительницу, которая неуместным вмешательством портит впечатление от лицедейства. Я ощущал, что между ними вырастает тень, неуклонно густевшая по мере того, как он переходил к каждой следующей истории, и истории эти становились все более двусмысленными и все менее пригодными для детского слуха. Он все больше пьянел, мать все больше мрачнела, и вскоре даже меня, при всем моем восторге, начинало что-то тревожить. Моя радость достигала степеней пароксизма, прежде мне неведомых, но я пребывал еще в том возрасте, когда полное удовольствие получаешь лишь от тех впечатлений, которые тебе знакомы, и их повторения ты с нетерпением ждешь. Здесь же было что-то новое и потому пугающее.

Бутылка стояла пустая, глаза отца пылали огнем, в голосе прорывались гневные нотки. Он стучал по столу кулаком, моя душа томилась ностальгией по благоуханной атмосфере чаепитий и мирных застольных бесед, тело же все стремительнее вовлекалось в неистовый ритм отцовских воспоминаний. Он уже презрительно отвергал плоский юмор казарменных анекдотов, он вел нас теперь дорогами воинских подвигов, и я понимал, что это для него главный козырь, что отец стремится внедрить нам в сознание свой героический образ, образ, который невозможно оспорить, образ, овеянный славой, образ, который ему надо любой ценой оживить перед матерью, свидетельницей славной эпохи, ибо, когда шла война, меня на свете еще не было. (Где же я тогда находился?) Было ясно, отец тоскует по подвигам.

Заново их пережить помогали ему доспехи, которые он благоговейно хранил в передней, в стенном шкафу, и впоследствии я не раз буду с особым наслаждением туда забираться, закрывая за собой — на всякий случай неплотно — дверцу и воображая себя героем, сидящим в окопе под огнем вражеской артиллерии. Я перебираю в этом убежище противогаз, каску, тяжеленную саблю, сделанный из донца снаряда нож для разрезания бумаг, аксельбант, кепи, провиантский мешок, офицерскую трость — полное снаряжение *пуалю*, чьи фотографии помещены в томах «Войны 1914—1918 годов в иллюстрациях»; я люблю рассматривать это издание и очень жалею, что

мне закрыт доступ к наиболее священным реликвиям — к орденам и револьверу; да, забыл упомянуть про самую замечательную вещь — про горн, из которого я тщетно пытаюсь извлечь хоть какой-нибудь звук: у меня слабы для этого легкие. Возясь в шкафу, я то и дело задеваю висящую надо мной и закрытую чехлом офицерскую форму, карманы которой время от времени набивают нафталином.

Когда наступает час славы, мне уже хочется спать, я устал от веселья, которое без передышки царит с той самой минуты, как в замке звякнул отцовский ключ, и вот в знак протеста против его поведения мать спешит раздеть меня и уложить в большую кровать. С этого наблюдательного пункта, оснащенного зеркалом, я увижу главный номер отца — увижу, как он метнется в переднюю, как будет лихорадочно рыться в стенном шкафу и вытащит из него мундир на плечиках, потом с торопливостью взломщика ринется в гостиную и закроется там, и с этого мгновения я уже точно знаю, что произойдет дальше, но я нахожу удовольствие в том, чтобы как будто не знать, и с непонятной тревогой жду его появления.

И вот метаморфоза свершается! Распахивается дверь гостиной, и по коридору парадным шагом, с резной тростью под мышкой, в большом надвинутом на ухо берете и при всех орденах дефилирует офицер альпийских стрелков, следом за ним, воздевая к небесам руки, движется женщина. На пороге спальни офицер картинно застывает, будто позирует перед фотоаппаратом, и торжественно улыбается. Это производит на меня такое же впечатление, как если бы вдруг ожила огромная, в человеческий рост фотография; я хлопаю в ладоши, как в театре, и отец может считать, что выиграл наконец свою партию, однако мои аплодисменты не вполне искренни. За ними скрывается неясная грусть; возможно, она вызвана усталостью, а может быть, ощущением, что передо мной и отец и в то же время кто-то другой, что это такой же двойник, как мое отражение в зеркале или как мое — ненавистное мне — второе «я» в глубине двора; моя грусть происходит, должно быть, еще оттого, что нам не хватает материнского одобрения, и поэтому кажется, что отец весь вечер старался напрасно; эта зыбкость отцовской славы уязвляет меня в самое сердце, я понимаю, что ему никогда не удастся придать ей прочность и что здесь уж ничто ему не поможет. Даже горн.

Да, горн! Словно осененный внезапным наитием, а может быть, потому, что он просто не может так вот сразу взять и прервать свой спектакль, офицер бросает трость, пятится назад в полумрак коридора и тут же опять появляется в проеме дверей, потрясая сверкающим медным горном. Он становится в позу героев «Иллюстраций» и подносит мундштук горна к губам. Надуваются щеки, багровеет лицо, и инструмент, из которого мои слабые легкие могли выжать только жалкие вздохи, издает одну за другой пронзительные ноты, воспроизводя с грехом пополам уставные сигналы; он трубит, мой отец, трубит зорю или отбой, трубит и трубит во всю мочь, невзирая на позднее время и ничуть не заботясь о том, что во всем доме просыпаются перепуганные соседи, трубит до изнеможения, душераздирающе трубит, и я, восхищенный, но охваченный ужасом, гляжу, как на шее у него вздуваются жилы, и думаю — это будет уже немного позже, когда я чуть подрасту,— думаю про Роланда в ущелье, про императора, который не слышит призыва, про песню Роландова рога, которая угасает, удушенная кровью и смертью. Мне и до сих пор кажется, что из самых дальних глубин моего детства долетают до меня хриплые звуки военного горна, они по-прежнему зовут меня и зовут, а я совершаю предательство, не отзываюсь на них...

После этого спектакля — мама именовала его маскарадом — дом опять погружался в молчание, которое, словно ночная тьма, застилало поле отгремевшей битвы. Меня переносили в металлическую кровать, целовали, поправляли одеяло. Герой покидал сцену, его до-

спехи снова занимали свое место в шкафу, я прижимал к себе любимую обезьянку и с энергией отчаяния принимался сосать большой палец: этот мой жест имел какую-то связь с дующим в свой инструмент горнистом. Дурная привычка — именно таковой считают ее взрослые — помогала мне быстрее погрузиться в небытие, я делал это с чувством облегчения и словно торопясь освободить родителей от своего присутствия, как будто предвидел, что вскоре оно станет причиной всяческих затруднений.

Еще один Робер, мой тезка,
который берет надо мной верх в гастрономической битве

Я стремлюсь поскорее добраться до мира, где царят мои бабушки, но прямого пути туда нет, нужно идти в обход, через края, связанные с моим именем, через пригородную виллу, через жилище одного моего дяди, чьей фамилии я уже не могу припомнить. Речь идет, разумеется, о материнской ветви, ибо эти родственники движутся и говорят не призрачно, а вполне реально; это живые люди. Уж не помню по какому поводу, но я провел у них в доме недолгое время, имевшее, однако, для меня большое значение.

Этот дядя Робер толст и усат, говорит низким басом и успешно выступает в хоре. Его супругу, сестру моей бабушки, зовут Зели. У них две дочери, они играют на мандолине. На фоне виллы и сада в моей памяти запечатлелась занятая стиркой тетя Зели, стирка подошла к концу, я отчетливо вижу опущенное в синьку белье, и этот цвет, небесно-синий, лучезарный и солнечный, зачаровывает меня... Это одно из немногих приятных впечатлений за то время, что я гостил у них, пустяк, который вряд ли стоило запоминать, но память упрямо собирает подобные пустяки, чтобы прикрыть ими другие, уже не столь приятные картины, так что сцена стирки тоже запала мне в память из-за этого самообмана.

Итак, семейство дяди Робера отмечает какое-то (не помню, какое именно) событие, а всякое пиршество, чтобы быть достойным этого имени, должно в своем меню содержать лангуста. Как известно, это ракообразное нередко подают в холодном виде и непременно под майонезом, субстанцией таинственной, в основе которой лежат жидкие вещества, сдобренные горчицей. Многие утверждают, что, несмотря на этот последний ингредиент, майонез — приправа довольно пресная. Но моя тетка убеждена в обратном и не без гордости ставит на стол полную миску этого желтого застывшего крема, чтобы мы могли оценить всю прелесть лангуста, чьи клешни мой дядя раскладывает по тарелкам с торжественностью патриарха.

На это обстоятельство прошу вас обратить особое внимание. Мой дядя царил за столом. Человек по натуре властный и деспотичный, с величественной осанкой, гулким голосом и усами, он держал в трепете всю семью. Тетя Зели всегда вела себя так, будто всякую минуту боялась совершить какую-нибудь оплошность, нечто такое, что вдруг не понравится ее супругу. И я, вспоминая постоянные сражения в нашей семье, даже немного завидовал царившему здесь порядку, ибо рабство, в котором тетя Зели пребывала вместе с дочерьми, делало в некотором смысле их существование безоблачным... Но к моей зависти примешивалось и раздражение. Привыкнув к тому, что дома у нас повелительный тон обыкновенно встречали в штыки, я с трудом заставлял себя покориться дядиной власти. А он, конечно, навязывал ее мне, как и всем остальным, и я вел себя смирно, но моя покорность была чисто внешней и держалась не на согласии, а на страхе. Я понимаю, что довольно смешно возводить такие громоздкие конструкции вокруг ложки майонеза, но бывает, что самые славные царствования оказываются на грани краха из-за сущего пустяка. Так получилось и здесь. Я взбунтовался.

Напрасно тетя Зели пытается обольстить меня нежностью майонеза и гарантирует мне его целебность. Я майонеза не хочу. Это не просто каприз, к бунту меня склоняет самый вид этой приправы. Желеобразная масса цвета яичного желтка, упругая и вязкая, вызывает во мне отвращение. Мне уже совершенно не хочется есть, мой желудок судорожно сжимается, я чувствую в животе страшную тяжесть, нет, я не могу, не могу, это выше моих сил, и тетя Зели приходит в отчаяние. Будь мы с нею только вдвоем, я думаю, она бы не стала настаивать, но мы не одни, и мои многократные отнекиванья привлекают внимание дяди.

— Что здесь происходит?

У него вокруг шеи повязана салфетка, в голосе звучит добродушная снисходительность. Но тетку мгновенно охватывает паника.

— Он не хочет. Не хочет майонеза,— лепечет она.

Ропот изумления и ужаса обегает стол предвестием катастрофы. На меня устремляются все взоры. Дядя хмурит брови.

— Ничего! Майонез едят все, и он тоже будет есть,— говорит он и тут же теряет ко мне интерес; он, конечно, ни на секунду не подозревает, что ничтожный сморчок сумеет пошатнуть монолитность его домашнего очага.

— Ну, пожалуйста, сделай над собой усилие,— умоляет меня растерянно тетя.

— Ну, хотя бы капельку, ну доставь нам удовольствие,— подхватывают кузины.

Я сам был бы рад доставить им удовольствие, я обожаю своих кузин, но, по мере того как напряжение за столом нарастает, скользкая масса майонеза все больше вызывает у меня тошноту. Мой желудок твердит «нет» с упорством отчаяния, и в разговор снова вступает дядя.

— Ну, как он, съел? Что это еще за комедия?

— Нет, он не съел,— удрученно говорит тетя.— Может быть, он болен?

На этот раз дядя сердится не на шутку и заполняет своим могучим басом всю комнату:

— Болен? Скажите пожалуйста! Чтобы стать мужчиной, нужно есть все! Ешь и не устраивай фокусов! Ты ведь хочешь стать мужчиной, а?

У моего дяди были твердые принципы, но я в ту минуту вряд ли был способен их оценить, я повторял лишь «нет», с ужасом сознавая, что мое положение безнадежно. Нужно сказать, что дядя выглядел необычайно величественно — с салфеткой в виде манишки на груди, с седыми и длинными, как у художника, кудрями, с усами на прусский манер и с зажатой в руке, точно скипетр, клешнею лангуста. Мой отец на его месте стукнул бы кулаком по столу, чертыхнулся, поднял бы адский шум, но мне все равно было бы не так страшно, потому что я сразу нашел бы защитника в лице матери и сыграл бы на родительских разногласиях. Здесь же такая стратегия оказывалась неприменимой. Эта семья была сплоченной, как монолит.

— Значит, ты не хочешь расти? Тебе не стыдно? — неумолимо гнул свое дядя.

— О боже! — охнула тетя, когда я заплакал при виде ложки с майонезом, которую она совала мне в рот с лицом печальным, но и решительным, точно священник, подносящий крест приговоренному к казни. Я понимал, что я в руках фанатиков и что моя тетка, женщина добрая, но подневольная, будет обливаться слезами, но из чувства долга подвергнет меня пытке. Моя воля была сломлена, и с болью в сердце я дал влить себе в глотку целую ложку мягкого бархатистого вещества вместе с кусочком лангуста. Повернутые ко мне лица дружно озарились блаженством, будто перед ними сидел грешник, обращенный в истинную веру.

— Ну, на здоровье! — вскричала тетя и облегченно вздохнула.

Дядя, одержавший надо мной победу, сидел и жевал...

Но едва майонез коснулся моего нёба, как у меня начал разбухать язык, за ним губы. Дыхание застопорилось, желудок подступил к горлу. Я кинулся из столовой и изверг из себя лангуста и майонез. Следом за мной выбежала тетя Зели, впервые в жизни поколебленная в своих жизненных установках, ибо, оказавшись вне поля зрения своего повелителя, она решилась высказать вслух крамольную мысль:

— Я так и знала. Он болен.

Я в самом деле был болен. Словно торопясь взять реванш над суровой мужской моралью, рвота и боли в животе продолжались с удвоенной силой. Но еще больше меня испугало другое: язык и губы у меня оставались раздутыми, словно после пчелиного укуса, дыхание было по-прежнему затруднено, но задыхался я странно и необычно. Вдохнуть в себя воздух я еще мог, но выдохнуть его мне удавалось лишь ценой изнурительных усилий, сопровождавшихся грозным свистом в бронхах. Каждую секунду я мог окончательно потерять дыхание, и, чтобы этого не случилось, я тяжко трудился, трудился изо всех сил, мучительно и тщетно, как рыба, выброшенная на песок. Такое происходило со мной впервые, я решил, что умираю, на сей раз уже по-настоящему, вдали от спасительных материнских вдуваний, на глазах чужого перепуганного семейства,— умираю жертвой садиста-дяди.

Но я не умер... После многих часов тошноты и удушья дыхание наконец вернулось ко мне, но с тех пор на всю жизнь остался у меня ужас перед сладковатой острой массой с ее дьявольской алхимией, превращающей самые безобидные яйца и масло в адскую смесь. Мой мучитель сломил мою волю, но вскоре был отомщен, о чем я тем не менее сожалею. Вскоре после этого происшествия дядя умер.

Больше я никогда не видел ни сложенной из песчаника виллы, ни удивительной синевы белья, ни грозного человека, давшего первый толчок странной болезни, о цепкости которой тогда еще никто не догадывался.

Меня терзают врачи, а я из засады нападаю на отца

Недавно, проходя по мосту Искусств в сторону Французской Академии, я снова оказался свидетелем зрелища, которое завораживало меня в детстве: в парадных мундирах шел на рысях конный отряд республиканской гвардии, цокали копыта, в саблях и в синеватых касках отражалось затянутое легкой дымкой предвесеннее солнце — шла кавалерия со старой открытки, воскресла легендарная армия прежних времен, о которой я столько слышал от покойных родителей. Ветер донес до меня терпкий конский дух, и перед моими глазами вдруг приоткрылось далекое прошлое, но я увидел в нем не картинки войны из старых журналов, а те далекие, очень далекие и не привязанные ни к какому конкретному времени приступы удушья, так мучительно терзавшие меня в детстве. Конский дух? Обвиняя его, я был, наверно, так же несправедлив, как в своей обиде на непреклонного дядю-тезку. Вряд ли кто-то вообще был в этом повинен.

В самом деле, мои бронхи выказывали все бóльшую чувствительность к запахам, они становились все более недоверчивы и подозрительны, я больше всего на свете боялся приступов прогрессирующего удушья, которые, казалось, неумолимо вели меня к полной остановке дыхания.

Контакты с медициной тем временем продолжались. Моя болезнь задавала врачам загадки. Мне ставилось в вину отсутствие бодрости. Я был слишком замкнут, не искал общества других детей, мне не с кем было играть. Своего двойника я терпел только на расстоянии, лишь когда видел его в проеме окна в глубине двора. Меня выводили

теперь из дому с бесконечными предосторожностями, после самой придирчивой проверки атмосферных условий, так что с начала зимы я уже совсем не показывал носа на улицу, но мать это не слишком заботило, она утешалась, множа домашние чаепития, да и я не очень страдал. Другие дети были мне не нужны — то ли по причине раннего самоуглубления, то ли оттого, что положение единственного ребенка в семье приучило меня к компании взрослых.

В эти первые годы я буду встречаться с одним только мальчиком. Он живет на шестом этаже, и поскольку на этот раз досадных совпадений в днях рождения не существует, наши семьи наносят друг другу визиты. Нас с ним ничто не связывает, кроме, пожалуй, игрушек, но его игрушки более разнообразны и больше способствуют просвещению, чем мои. Дело, наверно, в том, что его отец-архитектор не гнушается участвовать в играх сына и даже получает от них удовольствие. Лично мне такие отношения отца и ребенка кажутся ненормальными. Кроме того, этот мальчик слишком уж аккуратен и бережлив, он любит все расставлять по местам, он непрестанно что-то коллекционирует, а у меня нет вкуса ни к коллекциям, ни к новым игрушкам. Его роскошным оловянным солдатикам я предпочитаю подаренных мне бабушками ветеранов, уцелевших после кампании 1870 года, облупившихся и безруких. Я, конечно, в чем-то уступаю Жаку, но у меня есть перед ним и ряд преимуществ. Когда я спрашиваю у него, кричат ли его родители за обедом, бьет ли господин Мадлен тарелки и трубит ли по вечерам в горн, Жаку нечего мне сказать, а я горделиво выпячиваю грудь.

Чаще всего я его оставляю — пусть сидит со своими дорогими и слишком мудрыми игрушками — и ухожу к взрослым. К тому же мне нравится его мать.

Госпожа Мадлен, маленькая ласковая женщина, чье лицо не назовешь ни красивым, ни безобразным, привлекает меня своими глазами, поразительно синими, еще более синими, чем была синька у тети Зели. Она держится просто, без церемоний, а главное, хорошо играет на пианино и ничуть не чванится этим. Она любит играть, чтобы доставить мне удовольствие, и улыбается, когда я к ней подхожу:

— Я знаю, чего бы тебе хотелось!

Она садится и усаживает меня, и я начинаю слушать. Пианино у них такое же, как у нас, только оно не расстроено. Госпожа Мадлен уверенно и с большим чувством играет сонаты Шуберта. Когда я вслушиваюсь в мелодический рисунок — порою слишком для меня сложный, хотя у Шуберта часто звучат простые и хватающие за сердце интонации народных песен,— мне словно становится легче дышать, мне кажется, что в синих звуках госпожи Мадлен таится лекарство от всех моих недугов и от всех тревог.

Это было мое первое соприкосновение с музыкой, впрочем, всегда мимолетное, всегда очень краткое, потому что мать, хотя она и сама любила петь и пылко восторгалась виртуозностью пианистки, к нашему взаимопониманию относилась ревниво.

— Ах, Маргерит, ты чудесно играешь! Но мальчик тебя утомляет. Ты слишком снисходительна к нему. Ну-ка, малыш, пойди поиграй с Жаком.

— Да он ничуть меня не утомляет. По крайней мере у меня теперь есть слушатель, которому нравится моя игра. Смешно сказать, но Жак и его отец совершенно равнодушны к музыке.

Мать со скорбным видом вздыхала:

— Между нами говоря, Луи тоже к ней безразличен. Он полностью лишен художественного чувства.

Однако эта общая беда двух семейств не слишком волновала госпожу Мадлен. Не снимая пальцев с клавиатуры и глядя в ноты, она пожимала плечами:

— Ах, старушка, мужчин надо принимать такими, какие они есть.

Эта беспечность, как и обращение «старушка», не нравилась матери; ей очень хотелось поделиться с госпожой Мадлен своими семейными неурядицами. Мы и поднимались-то к ним чаще всего с единственной целью обсудить эти темы.

— Ах, Маргерит, у тебя такая тонкая натура! Как ты, наверно, страдаешь!

Маргерит опускала руки на клавиши, словно чтобы проверить, страдает она или нет.

— Конечно, я бы предпочла, чтобы Шарль любил музыку, но... если уж так получилось...— говорила она, словно смущенная тем, что разочаровывает нас.— У людей вкусы разные!..— И она бодрым аккордом завершала свои раздумья.

— Твоей покладистости можно только позавидовать. Шарлю повезло, что у него такая жена!

— Ну что ты! — протестовала пианистка, впрочем не слишком польщенная похвалой. И спрашивала меня:— Сыграть тебе еще что-нибудь?

— Ах, нет, Маргерит, не надо. Он злоупотребляет твоей добротой! — говорила мать.— Лучше мы с тобой немножко поболтаем.

— Как хочешь.— И госпожа Мадлен с явным сожалением закрывала пианино.

Я вымещал свою досаду на Жаке, мы ссорились с ним и дрались, матери нас разнимали, мы уходили домой и на какое-то время прекращали свои визиты. У моей мамы оставалось в душе раздражение. Оно проскальзывало потом по утрам, в часы задушевных бесед, когда мы перебирали подруг и друзей или когда карты тети Луизы заставляли предположить чью-то измену.

В ту пору круг наших знакомств ограничивался молодой вдовой, жившей в глубине двора, «славной женщиной с золотым сердцем» — на этом мама настаивала убежденно и категорично,— и женой инженера Жермен Перрон, подругой маминой юности; она тоже была пианистка, ученица Венсана д'Энди, ей сулили блестящую будущность, но она принесла ее в жертву мужу и детям. «С ее-то талантом!» Здесь тоже виновным оказывался ограниченный муж-эгоист.

— Перрон очень, очень виноват. И он даже не отдает себе в этом отчета — вот что самое страшное!

Сходство с ситуацией, сложившейся в семье господина и госпожи Мадлен, проступало все явственней.

— Но нужно признать, что Жермена позволяет вертеть собою, как куклой. Она ни разу не возмутилась. А ведь как я старалась открыть ей глаза! Все напрасно. Вырастешь — поймешь. Не делай людям добра. Они этого не прощают.

Мне нравилось, что мама доверяет мне такие важные тайны, я выказывал ей сочувствие, но если пытался порой взять виновных под защиту, это немедленно вызывало новый поток жалоб и обличений. Я уже начинал понимать, отчего Жермена и Маргерит подвергаются суровому моральному осуждению. Как-то утром я вспомнил цвет глаз госпожи Мадлен и не скрыл, что он мне очень нравится. Сидевшая за туалетным столиком мама живо обернулась ко мне:

— Подумать только! Забавно от тебя это слышать! Только не преувеличивай. Я согласна с тобой глаза у нее в самом деле приятные, но ведь на лице должны быть не только глаза! Впрочем, тебе этого не понять. Ума не приложу, где ты такого набрался!— И она продолжала краситься, но уже не так увлеченно, как прежде. Потом выпустила кисточку из рук и, словно желая избавиться от мучившей ее мысли, сказала задумчиво: — Знаешь, Диди, сугубо между нами: я даже думаю иногда, что у Шарля и Маргерит не все так ладно, как кажется!

Обвинение было серьезным, и я счел нужным ей возразить. Но мама была непреклонна.

— Уверяю тебя... Совсем не так ладно, как кажется,— повторила она с крайней таинственностью.

Нет, несмотря на черные тени, омрачавшие мое детство, мне было интересно жить среди взрослых, я проникал в их секреты, они поверяли мне свои мысли, вовлекали меня в свои ссоры,— удивительно ли, что общество сверстников представлялось мне скучным? По вечерам, оставшись в спальне один, я прислушивался к долетавшим до меня через закрытую дверь голосам, и все эти распри, мнимые или подлинные, для меня продолжались; я видел перед собой в зеркальном шкафу жалкое, болезненное существо, прижимавшее к груди мохнатую потрепанную обезьянку, но мне казалось, что я безмерно богат, что я обладаю великими знаниями, что я — средоточие этого мятущегося и тесного мира. И я безмерно гордился собой, хотя бремя гордости порою нести так трудно.

Вернусь теперь к докторам. Их власть надо мной только еще начиналась. Чудо-доктор потерпел позорный провал, и надо было срочно искать ему замену. Нужен был человек, который мог бы меня спасти. В этих поисках, насколько я помню, помог мой крестный; у него было много боевых наград, и он состоял секретарем в обществе ветеранов войны, у которого был свой госпиталь. Меня привели туда на прием к знаменитому профессору, обремененному титулами и званиями. Знаменитость оказалась маленьким пузатеньким человечком с бородкой и сильным тулузским акцентом. Он обследовал мое горло и легкие, сопровождая свои открытия короткими радостными восклицаниями, которые я поначалу истолковал в лестном для себя смысле. Лишь позже я понял, что веселье и оптимизм возрастали у этого доктора прямо пропорционально серьезности заболевания его пациентов. Он сделал мне рентгеновский снимок, и меня ошарашило внутреннее устройство моего тела. Дома мы с мамой часто вынимали этот гибкий большой негатив и с почтительностью разглядывали его на свет.

Профессор с бородкой и черная комната примиряют меня на время с медициной. Врач снова предстает перед нами в облике спасителя. Правда, вся его велеречивость сводится в конечном счете к двум назначениям, которые вызывают у меня беспокойство: серия уколов и удаление миндалин. Для этого он направляет нас к другому врачу, человеку молодому, с приятными, я бы даже сказал, дипломатическими манерами, которые необходимы, видимо, для того, чтобы успокоить мою подозрительность. Ученик профессора — виртуоз по части уколов, так же как его пациент — утверждаю без ложной скромности — виртуоз по части болезней. Я буду весь в дырках, как решето.

Молодой доктор внушает мне доверие. В отличие от своего тулузского шефа он не расхваливает с видом ярмарочного зазывалы себя и свой товар, а держится с подкупающей небрежностью, словно просит не принимать его всерьез. Мне нравится также, что у него нет громких титулов. Из профессорского списка он сразу вычеркивает ряд лекарств; он верит в простые традиционные лекарства и советует мне как можно больше бывать на воздухе; маму это немного пугает. В минуты волнения он слегка заикается, а иногда просит собеседника повторить какое-нибудь слово; может быть, он плохо слышит, или это у него от рассеянности. Так что кроме достоинств у него есть, конечно, некоторые недостатки.

Мы долго обсуждаем его кандидатуру, мама более сдержанна в оценке его качеств, она считает, что ему не хватает знаний, а также должного уважения к святой медицине; но с другой стороны, и покровительство тулузского светила нельзя сбрасывать со счетов... Оказалось, что нам нужны оба врача.

Я был самым горячим приверженцем ученика профессора. Прежде всего потому, что уколы он делает почти без боли. А кроме того, он буквально покорил меня одним небольшим сувениром... Да что я говорю — небольшим! Он дал мне настоящее сокровище!

Осененный гениальным озарением, доктор вручил мне металлическую коробочку. Угадайте, что в ней лежало! Старые шприцы, иглы для уколов, пилочки для вскрытия ампул, зажимы для остановки кровотечения и много еще других восхитительных вещей, незаменимых для тренировки моих рук и для подготовки к карьере медика.

Мать уже видела меня в ореоле врачебной славы. «Прекрасная профессия,— говорила она,— священная профессия. О, если б я могла начать свою жизнь сначала...» Я не стал задумываться над тем, что такое священная профессия и как это можно начать жизнь сначала,— меня занимало лишь содержимое металлической коробочки. Я с упоением протыкал иглой бедную и без того обиженную жизнью обезьянку, колол круп лошадки, колол своего медведя, впрыскивал в них воздух и воду. Мой азарт разгорался, и я уже начал подумывать о том, чтобы расширить поле своей деятельности. Взоры мои упирались теперь с вожделением в заднюю часть окружавших меня людей. Однажды возникнув, искушение уже не покидало меня, и в один прекрасный вечер я не смог против него устоять.

Как всякий большой стратег, я заранее разработал план операции. Я уже говорил, что узкий коридор ведет у нас из передней в ванную комнату. В ее открытую дверь виднеется умывальник; когда взрослые моют руки, они над ним наклоняются. Зажатые в тесном пространстве между стеной и краем ванны, они при нападении сзади оказываются беззащитны. Притворяясь, что занят игрой, я с нетерпением жду, когда отец зайдет в мою ловушку и примет нужную позу. У меня наготове шприц с самой длинной и самой толстой иглой, потому что, по моему разумению, кожа у человека гораздо толще, чем у плюшевых зверей. Мне кажется, что, несмотря на свое героическое прошлое, отец плохо переносит боль: когда мать выдавливает у него прыщики на спине (эта процедура доставляет ей огромное удовольствие), он стонет и вскрикивает. Вот он склоняется над умывальником. И, как солдат, идущий в штыковую атаку — я видел такие картинки,— я беру свое оружие наперевес, подбегаю и самозабвенно всаживаю иглу в отцовскую ягодицу. Раздается душераздирающий вопль, который подтверждает мою догадку: отец в самом деле плохо переносит боль. Он пятится назад, а я разражаюсь торжествующим хохотом. Смеюсь, впрочем, я недолго, ибо дело принимает самый плачевный оборот. В этот вечер никто не встает на мою защиту. Приверженность к экспериментальному методу жестоко высмеяна, посрамлена и наказана. Набор инструментов конфискован и объявлен подарком дьявола. Тот, кто меня осчастливил ими, удостоен оскорбительной клички.

Однако довольно скоро доктор был прощен — ведь не может же он отвечать за мои садистские наклонности. И я на долгие годы обречен был оставаться пациентом обоих врачей — профессора «Все-к-Лучшему» и доктора Пелажи. Думаю, их лечебные принципы нейтрализовали друг друга, потому что результаты получались неважные: я не выздоравливал. У семи нянек дитя без глаза, говорил отец. Вскоре после моего подвига оба целителя произвели надо мной сенсационную операцию по удалению аденоидов и миндалин, которая осела у меня в памяти одним из самых тяжких воспоминаний. Возможно, я смещаю события и операция произошла несколько позже— представления о времени были у меня еще очень смутные, но эта ошибка большого значения не имеет.

Увы, жестокая пытка, которой меня подвергли, оказалась напрасной. Я не дал свежих ростков, мое дыхание не улучшилось. Приступы удушья мучают меня, как и прежде, и мне кажется, что деспотизм покойного дяди продолжает давить на меня своей чудовищной тя-

жестью. Звуки, которые я пытаюсь извлечь из отцовского горна, все так же слабы. Мое тело, которое я все больше начинаю познавать, слишком часто меня терзает.

Рай, которого я должен стыдиться

Почти каждое воскресенье мы наносим визит моим деду и бабке с материнской стороны. Делается ли это из чувства долга, из любви или по привычке, сказать трудно. Это живые родственники, и вполне естественно, что мы общаемся именно с ними, а не с покойными родичами отца. У отца есть только портрет его мамы, вера сестры в призраков раздражает его. Но человек должен жить в настоящем и живом семейном кругу — этим, должно быть, и объясняются добрые отношения, сложившиеся у отца с тещей. Но я замечаю, однако, и нечто иное: мне видно стремление родителей забыть свои корни. Наше прошлое, которое годы спустя станет так дорого для меня, имеет в глазах родителей какой-то непонятный изъян, что-то похожее на неравный брак в благородном семействе. «Не всем же быть аристократами»,— говорит по этому поводу моя прабабка. Когда речь заходит о нашем генеалогическом древе, загадочная немилость судьбы толкает нас на всяческие ухищрения.

Со времени моего чудесного въезда в озаренный утренним солнцем Люксембургский сад мы очень редко выходим из дому. Смертельно опасные для моего здоровья превратности погоды держат меня взаперти, и я лишь в окно поглядываю на колокольню, с которой долетает бой часов. Но все же по воскресеньям, если я только не на постельном режиме, родители отваживаются взять меня с собой. Маршрут неизменно все тот же: мы поднимаемся по улице Сен-Жак и около самой настоящей, чудом сохранившейся в центре Парижа деревенской фермы сворачиваем направо, к кафе, постоянному месту отдыха моего дедушки. Кафе расположено на углу улицы Фельянтинок, и я люблю постоять на этой улице возле одной из витрин; там шьют на машинах три карлицы, две из них горбуньи, все три неопределенного возраста и поэтому кажутся мне бессмертными. Идут годы, я подрастаю, но в какое бы время суток я ни шел мимо этой витрины, карлицы по-прежнему шьют, и ни малейшего признака одряхления, ни малейшей усталости не видно на их крохотных лицах. Следом за этим чудом идет особняк, потом два жилых дома, лавка угольщика, лавка мясника — вдохновленный примером карлиц, квартал еще долго будет противиться натиску новшеств и перемен,— и улица Клода Бернара отлого спускается к улице Гобелен. Мы приближаемся к цели нашего путешествия. Порой, в дождливые дни весны или лета, нам в ноздри ударяет конский дух. Там и сям виднеются исклеванные воробьями кучки лошадиного навоза. Запах становится еще сильнее, когда, пройдя через подворотню соседнего дома, мы оказываемся под высоким сводом, где расположен главный поставщик удобрений для садоводов-любителей и корма для птиц — конюшни «Сыроварни Жерве». Войдя в коридор, родители всегда ускоряют шаг, и мы уже на лестничной клетке; справа от нас — двустворчатая дверь, одна створка застеклена, в другой имеется опускное окошко. Это привратницкая, туда мы и идем. Перед дверью мое лицо радостно озаряется, а на лицах родителей я вижу озабоченность и тревогу, особенно если мы случайно сталкиваемся с кем-нибудь из жильцов; в ответ на учтивый поклон отец кланяется смущенно и торопливо, как будто его застигли на пороге злачного места. Но что поделаешь? Такова судьба. Мы поспешно захлопываем за собой дверь, трудный переход позади, уже улыбаются все — кто от радости, кто облегченно. Должно быть, вы уже догадались, что привратница — это и есть моя бабушка...

Впрочем, со словом «привратница» связаны некоторые лингвистические сложности. Я почти никогда не слышу, чтобы у нас в доме

произносилось это слово, кроме, конечно, тех случаев, когда речь идет о нашей собственной привратнице, невероятно толстой женщине родом из окрестностей Бордо; у нас с ней хорошие отношения, но не очень тесные, потому что от ее жилища и от нее самой слишком сильно пахнет чесноком. Установить сходство между двумя привратницами мне трудно еще и потому, что меня сбивают с толку постоянные перифразы, к которым прибегают родители, когда речь идет о привратницкой, куда мы сейчас вошли. Ее никогда не именуют этим словом, а говорят: «первый этаж», или «улица Клода Бернара», или просто «семьдесят первый». Эти формулы отнюдь не свидетельствуют о любви к лаконичности речи. Они вызваны горячим желанием уйти от проблемы и вообще никак не определять характер жилища деда и бабки. Быть может, родителям хочется верить, что вещь, не названная своим именем, как бы вовсе не существует, что посредством иносказаний она забудется, исчезнет. Мне представилась возможность проверить это предположение, когда я однажды необдуманно употребил в разговоре слово «привратница». Меня тотчас сурово одернули:

— Что ты там мелешь! Не болтай о том, чего не знаешь. Твоя бабушка живет на улице Клода Бернара, в доме семьдесят один, и все. Вечно ты суешься не в свое дело. И не спорь, когда взрослые с тобой говорят.

Я не настаивал, но эта проблема была мне чужда. Думаю даже, что и сам я больше любил выражаться обиняками, тем более что в иллюстрированных журналах, из которых мне читали вслух разные истории, привратницы обычно выглядели смешно и глупо, и я не находил абсолютно ничего общего с моей бабушкой. В конце концов победила формула «Семьдесят первый», и мне потом даже стало казаться, что она обозначает число радостных впечатлений, связанных с этим местом. Мой рай обозначится номером. И лишь много позже задумаюсь я над тем, по какой же странной случайности моя бабушка, мать моей матери, такая элегантная женщина, такая утонченная, такая *дама,* очутилась в этой полутемной конуре и так долго выполняла работу, которой в ту пору занимались лишь люди, стоявшие в самом низу социальной лестницы, где-то рядом с прислугой. В нынешнее время привратник стал скорее *смотрителем*; бабушка умрет, так и не узнав, какая эволюция произошла в языке. А мне стыдно, что я назвал конурой то место, которое было мне в детстве дороже дворцов.

Начать с того, что в привратницкой вовсе не тесно, это только так кажется, это предрассудок. В комнате два окна, они выходят во двор. Напротив них расположен альков, довольно глубокий, в нем стоит двуспальная кровать; рядом — кухня с дверью во двор. Я отчетливо вижу всю мебель, все вещи и — наиболее ясно — все часы. Одни из них вы видите сразу, как только входите в комнату: они висят над камином, и бабушка учит меня по ним узнавать время; я перевожу часовую стрелку, и я потом долго еще не буду знать минутных и особенно секундных делений, поскольку таких делений на этом циферблате не было; секунды казались мне совершенно неуловимыми, и что они означают, я понял лишь позже, когда доктор Пелажи брал меня за запястье и считал удары пульса, глядя на свои часы, где прыткая стрелка отсчитывала непокорные секунды.

Я подробно останавливаюсь на всем этом, потому что в комнате, которая станет местом моего начального обучения и воспитания, время течет удивительно плавно и равномерно, оно кружится, как часовая стрелка, всегда возвращаясь к одним и тем же цифрам, оно не таит в себе неожиданностей, какие случаются на Валь-де-Грас; время здесь можно предвидеть, и мне кажется иногда, что на циферблате повторяется всегда тот же самый день. Должно быть, я так и считал до тех пор, пока не стал наконец понимать, что же такое дни и их постоянная смена; помню, что переход от понятия часа к понятию

дня был мне очень труден, и преодолеть его мне помог отрывной календарь, висевший в простенке между окнами. Бабушка каждое утро отрывала на нем листок, и на свет появлялся новый день, он был обозначен жирными большими цифрами, а также историческими сведениями о памятных событиях этого дня, как-то: смерть Людовика XIV, битва при Бувине и так далее. Календарь возбуждал мое любопытство, я глядел на листок, думал о том, какие сюрпризы готовит нам завтрашнее отрывание листка, и меня удивляло, что прошлое так богато событиями; первое смутное представление об историческом времени, первое представление о годе, который тогда мне казался немыслимо долгой временной единицей, связано у меня, пожалуй, с бабушкиным календарем, который день за днем становился все тоньше и тоньше.

Календарь соседствует с другим, гораздо более величественным инструментом, измеряющим время; он занимает угол между стеной и дверью, ведущей на кухню. Это деревенские часы с медной гирей и медным маятником, и с ними не идут ни в какое сравнение скромные учебные ходики, висящие над камином. Часы эти сделаны в Бри, на родине моего семейства, украшены фабричным знаком — солнцем и круглым узорным орнаментом — и помещены в высокий футляр мореного дуба; они громко тикают и мелодично бьют, стоит лишь стрелкам пробежать четвертую часть своего пути, но я всякий раз сбиваюсь со счета. В противоположность часам с колоколенки Валь-де-Грас, этих часов я словно вовсе не слышу; затрудняюсь сейчас это объяснить; дело, может быть, в том, что к бою комнатных часов я привык и уже не обращаю на него внимания. Часы Валь-де-Грас всегда отмечают ожидание или тревогу. А здесь я вспоминаю о часах лишь тогда, когда гири опускаются до конца и прабабушка, владелица этого сокровища, приступает к священнодействию, которого она никому другому доверить не может. Церемония заключается в том, что с помощью рукоятки, вращающей ось, гири поднимаются вверх и маятник снова пускается в ход. Не знаю, из-за особого ли устройства механизма или просто из осторожности, но во время этих манипуляций прабабушка всякий раз заново ведет стрелки по всему циферблату, заставляя часы на каждом делении звонко бить; она словно проверяет, не забыли ли они свою программу за то время, пока стояли.

— Кому это нужно, Люсиль, чтоб они без передышки звонили!

— Я не хочу их торопить,— отвечала Люсиль своей дочери, словно часы и в самом деле наделены душой как на этом настаивают плохие поэты,— и мне непонятно, чем тебе это мешает.

— У меня от них в ушах звенит!

Но прабабушку, которая была туговата на ухо, это не трогало.

— Тем хуже для тебя,— говорила она.— Заткни уши ватой. Это мои часы, дочка, и они будут звонить, сколько мне хочется.

Подобные сценки, чаще всего связанные с утверждением права собственности на тот или иной предмет домашнего обихода, случались почти ежедневно, но даже они были мне в радость, поскольку в них совершенно не чувствовалось враждебности. Перебранки вообще были давней семейной привычкой, а здесь они усилились из-за тесноты... Я еще вернусь и к проблеме времени, и к этим старым болтливым часам, которым предстояло оглашать комнату и похоронным боем, но сначала мне хотелось очертить обстановку квартиры; она предстает предо мною с той сияющей четкостью, с какой человек всегда помнит место, где ему встретилось счастье, потому что в детстве счастье, видимо, все-таки существует.

Так что можете теперь сами судить: перед вами вовсе не конура и никакая не привратницкая, и, если ее так называют, это чистое недоразумение... Я рад был бы избежать этого сухого перечня вещей и предметов, но что поделаешь, если в калейдоскопе образов, мелькаю-

щих в *семьдесят первом*, мои детские глаза различают в первую очередь вещи, а не людей...

Но все же воспользуемся тем, что в это воскресенье, такое похожее на десятки других, за столом собралась вся семья, и я попытаюсь вам рассказать, какими мне видятся сейчас эти, если употребить старомодное выражение, столь дорогие моему сердцу тени.

Бабушка всегда ходит в темной одежде, и от этого кажется, что она раньше времени надела траур. У нее круглое, такое же, как у моей мамы, лицо и небольшие серые глаза; она носит очки и, когда ей нужно посмотреть вдаль, поднимает их на лоб. Мочки ушей у нее растянуты и проколоты, но сережек она не носит, и я, бывает, прошу ее вдеть в дырочки иглу, чтоб убедиться, что они не заросли. Ее седеющие волосы собраны в пучок. Она называет меня своим *сокровищем*.

Прабабушка представляется мне баснословно старым доисторическим существом. Она повыше бабушки ростом и одевается в длинные полосатые платья, поверх которых носит синий передник с завязками на спине. Я люблю развлечения ради развязывать их потихоньку. У нее совсем седые волосы, и на фоне белоснежного ореола синева ее глаз кажется удивительно яркой. Нос достался ей, наверно, от очень далекого предка, и наследственность вдруг проявилась через множество поколений. Ни у кого больше в нашей семье нет такого внушительного носа с горбинкой, настоящего носа Бурбонов. От кого она могла его получить?.. Она называет меня своим *счастьем*.

Крестный сидит во главе стола, чтобы удобнее вытянуть ногу. Вы уже немного знаете его. Он невероятно длинный, худой, с выпуклым лбом, с густыми бровями и глубоко посаженными глазами. Из-за поврежденной челюсти у него искривлен рот. Но меня больше интересует его нога. Он зовет меня своим *кроликом*.

Здесь впервые — и ненадолго — появляется в моем рассказе дедушка Эжен. Он очень тучный, и у него опухшие руки. Когда он целует меня, мне делается щекотно от его галльских усов, часто пахнущих ликером, вином или анисовой водкой. Целый день он что-то мурлычет себе под нос и возится со столярными инструментами — раньше он работал столяром. Не помню уже, как он меня называл, но отчетливо вижу его: он занят приготовлением аперитива, процеживает абсент через ситечко, в котором лежит кусок сахара. Этот образ, прочно оставшийся у меня в памяти, как нельзя лучше объясняет причину его преждевременной смерти.

Конец дня проходит в разговорах, я почти не слушаю их, они вертятся вокруг дороговизны жизни и вокруг сбережений. «Откладывать деньги на черный день — закон для каждой семьи!» Изречение отца встречается одобрительным гулом. Есть в этом слабый отголосок его споров с мамой, и отцу эти сборища нравятся, думаю, еще и потому, что все единодушно становятся здесь на его сторону. Во время наших визитов здесь всегда царит дух высокой морали; я назвал бы ее *моралью копилки* — в память об игрушке, которую вскоре вручит мне бабушкино семейство. Дабы привить мне вкус к накоплению, в копилку положили для почина монету. Начни я регулярно пополнять мою копилку, я, конечно, непременно бы разбогател, но мне, как и маме моей, всегда не хватает терпения...

С наступлением сумерек родители начинали собираться домой. Я не желал уходить, мне хотелось еще поиграть, порыться среди заманчивых безделушек, я умолял оставить меня ночевать, и обе бабушки за меня вступались: «Конечно, пусть малыш останется. Здесь воздуха больше». Этот аргумент обычно срабатывал, хотя мне до сих пор непонятно, что́ они имели в виду, когда говорили о воздухе,— может быть, деревья в садах Валь-де-Грас, видневшиеся за стеною двора. Я оставался на одну, на две ночи, и в конце концов ритм моей жизни переменился настолько, что ночевать на улице Валь-де-Грас,

в моей собственной комнате, стало уже исключением, а в *семьдесят первом* — правилом.

Здесь мое детство было совсем иное — протекавшее параллельно первому и не похожее на него. Почему это стало возможным? Причины того предпочтения, которое я отдавал бабушкиному дому, ясны, но неясно другое: почему родители, невзирая на все свои лингвистические сомнения, так охотно отдавали меня туда на целые годы. Это оставалось для меня загадкой, и лишь долгое время спустя, когда все уже умерли, *семьдесят первый* перестроили, а конюшни Жерве снесли, я услышал из уст стареющей матери странное замечание, одну из тех фраз, которые словно нечаянно произносят пожилые усталые люди без всякой связи с ведущимся разговором и отвечая, должно быть, собственным мыслям. «Так было лучше на какое-то время»,— сказала она. В чем именно лучше? Но я не расспрашивал. Да и к чему? Все ушло далеко, и я чувствовал, что в усталой маминой памяти тоже все затянулось туманом. Эта нота диссонансом врывается в то, что я сейчас хочу рассказать. Ведь речь пойдет о моем счастье. Может, оно не было столь безоблачным, каким сейчас представляется мне? Да нет же, то было действительно счастье, в *семьдесят первом* встретил я то, чего мне так не хватало в родительских стенах, у бабушки была безмятежность, была безопасность ночей и дней, был уверенный ритм дыхания, был ровный дружный ход часов.

Круговорот ночей и дней

После комедии прощания, когда все с неумеренным пылом перецеловывают друг друга, я наконец остаюсь один и чувствую, что я свободен. Хотя меня воспитывают в общем-то не строго и относятся ко мне как к ребенку больному, с достаточной снисходительностью, меня все равно держат в шорах. Отец никогда не упускает случая напомнить мне о моих слабостях и недостатках и при этом (без особого, как вы помните, успеха) поставить в пример самого себя; он пытается вдохновлять меня *моралью копилки*, он часто повышает голос, чьих раскатов я боюсь с самого раннего детства, он постоянно за мною следит и вечно судит меня. Даже мама, хотя она и потворствует мне, тоже на свой лад все время стремится прибрать меня к рукам, и ее власть надо мной я чувствую постоянно. Она не ставит себя в пример, принципы ее давления на меня гораздо проще: она не представляет себе, что я могу не любить того, что любит она, и эту линию она неуклонно проводит, втолковывая мне, что я ошибаюсь насчет собственных вкусов, что ее распорядок дня должен быть моим распорядком и ее капризы — моими; почему-то получается так, что в результате я никогда не делаю того, что хочу. Ее неусыпная бдительность и придирчивое внимание к любым мелочам моей жизни обрушиваются на меня с того мгновения, как захлопывается дверь за отцом и я освобождаюсь от его опеки; так что ни о какой свободе говорить не приходится. А здесь я сбрасываю с себя путы, напропалую пачкаю себе лицо и одежду, становлюсь нахальным и грубым, делаю все, что мне заблагорассудится. Я злоупотребляю безграничной снисходительностью обеих бабушек и извожу их своими проделками.

Бывать у бабушек я люблю и потому еще, что, приходя к ним, словно погружаюсь в минувшее. Их привычки, их образ мыслей принадлежат прошлому веку, тревожат и завораживают меня. Это другое начало моего существования разворачивается как будто за рамками жизни, оно каким-то волшебством перенесено в царство мертвых, сливающимся у меня в голове с теми туманными картинами моего бытия до появления на свет, которые осаждают меня, когда я смотрю из окна во двор и сумерки сгущают его глубину, таящую в себе мою первородную тайну. И опять-таки именно в сумерки мне легче войти в мир воспоминаний, потому что ночная тьма, лишенная

ориентиров, не позволяет нам осознать протяженность времени, она в большей мере, чем день, сродни детскому уму, еще не усвоившему механизма связи между календарем и часами.

Итак, оставшись у бабушки, я начинаю с непослушания, которое дает мне возможность вкусить немножко свободы, но я все же стараюсь не заходить слишком далеко — какое-то тревожное чувство примешивается к опьяняющему предвкушению долгих часов безраздельной власти над обеими бабушками, ибо они слепо обожают меня, а я, с моей инстинктивной хитростью, умею превращать любовь в рабство. Непослушание — всего лишь задорная игра, которая нужна мне, чтобы удостовериться, что ничего с прошлого раза не изменилось, и, когда приближается вечер, усталость помогает мне образумиться; наступление темноты пробуждает во мне беспокойство, которое, должно быть, уже стало привычным из-за постоянных вечерних скандалов в родительском доме. Но здесь мне тревожиться не о чем. Разнеся по квартирам почту, бабушка в любое время года к семи часам закрывала ставни, запирала изнутри парадную дверь дома, которую можно было открыть, лишь дернув за шнурок, укрепленный над бабушкиной кроватью, занавешивала вход в нашу квартиру, и все эти меры безопасности отгоняли тревогу. Теперь до утра мы были отрезаны от всего мира, и я не раз убеждался, что бабушка была очень осторожна и дергала за шнурок только после того, как жилец, проходя мимо наших окон, выкрикивал свое имя. Впрочем, в доме проживали мирные чиновники и учителя, и ночь не сулила нам никаких неожиданностей. Только прабабушка, или, как все ее звали, Ма Люсиль, самая отважная из нас, иногда оставляла летом в своей комнате открытые ставни; устроившись в кресле, она смотрела на улицу и произносила монолог; в нем шла речь о родной деревне, по которой она все еще тосковала, и о людях, которые давно уже умерли. Но интермедия была недолгой, ибо, верные сельским привычкам, все здесь любили ложиться рано, чуть ли не сразу после ужина, который проходил под газовой лампой и за которым царила безмятежная атмосфера, лишь изредка нарушавшаяся легкими стычками между бабушкой и ее супругом по поводу выпивки, а впоследствии, когда дедушка уже был серьезно болен, по поводу запрещенной ему еды.

Не подозревая в ту пору о пристрастии деда к спиртному, я жалел его и считал безвинно гонимым. Он садился за стол в прекрасном настроении, которое ему часто портили, ибо, стоило ему протянуть руку к бутылке, как жена произносила звучное и решительное: «Нет!»

Словно пойманный на месте преступления воришка, он подскакивал на стуле и бормотал:

— Ну, Клара, хоть капельку...

— Нет, хватит с тебя. Одному богу известно, сколько ты уже сегодня выпил в кафе!

— Но, Клара, клянусь тебе!

Клара с усмешкой заявляла, что клятвы пьяницы немногого стоят. Дед бросал вокруг жалобные взгляды, ища нашего сочувствия, но сочувствия не было. Сын хранил полную невозмутимость. Теща, воинственно поднимая над столом нож — орудие это она применяла в самых мирных и безобидных целях, но из-за слабого зрения часто резала себе руки и обычно ходила, обмотав пальцы белыми тряпочками,— изрекала сквозь зубы, вернее, сквозь десны: «Бездельник!» В этой ситуации восклицание было довольно неуместным, но оно выражало не столько конкретный попрек, сколько определенную ассоциацию идей. Я ни разу не слышал, чтобы прабабушка назвала моего деда как-либо по-другому. Он не протестовал и сидел, уткнувшись носом в тарелку, точно обиженный ребенок. Мне все более становилось ясно, что дедушка Эжен — пропащий человек, пьяница, шалопай, игрок, а также — значение последнего упрека от меня ускользало — *бабник,* бегающий по словам Ма Люсиль, за «потаскухами».

Такой замечательный букет пороков внушал мне к деду симпатию, я его искренне жалел, и меня удручали все эти окрики, которые он так терпеливо сносил; мне казалось, что он даже чересчур терпелив, я привык к перебранкам другого рода, когда противники не лезут за словом в карман. Отсутствие подлинных боевых действий придавало застольным беседам оттенок веселой комедии, атмосфера по-прежнему оставалась мирной, и я не принимал близко к сердцу ни злоключений страдавшего от жажды деда, ни досады его супруги.

Лишь однажды, когда измученный диабетом Эжен доживал уже последние недели, я оказался свидетелем сцены гораздо более тяжкой и буквально потрясшей меня. Не помышляя ни о чем худом, больной взял кусок хлеба, как вдруг бабушка вскочила с места и в ярости вырвала хлеб у него из рук. У хлеба была, наверно, очень твердая корка, и от резкого рывка она оцарапала дедушке ладонь и пальцы. Словно это было вчера, я отчетливо вижу, как он, испуганно вскрикнув, смотрит то на жену, то на свою толстую, отечную руку, на которой выступают капли темной, почти черной крови, то на сына, который равнодушно бросает: «Так тебе и надо!», потом взгляд деда снова переходит на женщин, а они невозмутимо жуют, безучастные, точно парки. В глазах у него появляются слезы.

— Какая же ты бессердечная, Клара,— говорит он и вздыхает под аккомпанемент жующих челюстей...

Было ли так на самом деле? Я не решаюсь этому поверить, но жалобный возглас деда на закате жизни был единственной тенью, замутившей безмятежную ясность, которая, как мне казалось, витала над *семьдесят первым*,— должно быть, я был уже слишком эгоистичен, чтобы суметь различить за пределами царства обожания и лести, средоточием которого была моя драгоценная особа, приметы более сложной действительности.

А нынешним вечером, как и многими другими вечерами, ничего серьезного не происходит — только этот досадный эпизод: дедушке запретили прикасаться к вину... Отяжелев от еды, которая по сравнению с тем, как мы едим в кухне на Валь-де-Грас, представляется мне экзотической и роскошной, я жду перехода в комнаты, выходящие на улицу, это для меня переход в другое измерение; нередко мы совершаем его досрочно: Люсиль зажигает лампу «молнию», и мы переходим гуськом через площадку. Там полумрак, там холодные сквозняки гоняются друг за другом по спирали темной лестницы; мы, как заговорщики, идем следом за прабабушкой, которая держит в руке чадящую лампу, и от всей этой загадочной обстановки еще больше усиливается ощущение разрыва с дневным миром. Мы словно движемся подземными, полными опасностей ходами к неведомой тайне, что заперта в этих битком набитых воспоминаниями комнатах, похожих на музеи, которые создаются в домах знаменитых людей и где иллюзия недавнего присутствия великих хозяев поддерживается нагромождением одежды и предметов домашнего обихода, их тщательно продуманным беспорядком, и кажется, что покойник только что вытащил их из шкафа, собираясь на недолгую прогулку.

Крестный берет лампу, зажигает от ее огонька стоящую на комоде другую лампу — она из темного фарфора, на котором нарисована белая голенастая птица,— и удаляется в соседнюю комнату, где еще топчется какое-то время, волоча неподвижную ногу. Бабушка раздевает меня, крепко целует и уходит, закрыв за собою дверь. Теперь в путь, в ночное путешествие!

Оно начинается церемониалом, который никогда не может мне надоесть: подготовкой Люсиль ко сну. Странность этого зрелища помогает мне отвлечься от мыслей о маме и о Валь-де-Грас. Что там сейчас происходит? Вопрос лишь на мгновение вспыхивает в мозгу и тут же отодвигается куда-то. Я с удивительной легкостью забываю роди-

телей и погружаюсь в сладостные мечты, которые будут посещать меня еще долго, лишь немного видоизменяясь в мелочах.

Я засыпаю на этой постели совсем не в том ритме, к которому привык дома. Я уже не тороплюсь провалиться в глубины сна, не спешу поскорей убежать от окружающей меня яви, а стараюсь подольше держаться на поверхности и потому обнаруживаю, что в мире существует тоненькая полоска бытия с очень зыбкими краями, о которой я понятия не имел, лежа в тесной и жесткой металлической кровати в родительском доме, открытой всем сквознякам и скандалам; эта полоска, где образы полусонного сознания перемежаются с виденной реальностью, двойственна и двусмысленна по своей сути, словно некая отражающая поверхность, и ты не знаешь уже, где сама эта поверхность, где на ней отражение, с какой оно стороны, и неясности этой также способствуют маячащие перед носом гравюры, всадники в красных камзолах, собаки, преследующие лисицу, лавина лап и оскаленных морд, несущаяся напролом через луга и леса; тем временем с улицы, которую я чувствую где-то рядом, под окнами, просачиваются сквозь щели в ставнях смутные блики и долетают до слуха невидимые шаги, напоминая мне таинственное постукиванье, которым дают знать о себе дýхи тети Луизы, а справа надо мной высится смятый профиль, обрамленный седыми волосами пророчицы,— Ма Люсиль хрипло дышит и что-то без перерыва бормочет, о чем-то, не разжимая рта, упорно твердит, навязчиво, непонятно, с одержимостью старого человека, которому уже давно неуютно жить в настоящем и он ищет утешения в воспоминаниях о далеком прошлом.

Бабушка Клара в городе прижилась быстро, а Люсиль постоянно тоскует по деревне, скучает и места себе не находит, хотя не знает ни минуты покоя в непрестанных хлопотах по хозяйству. Мне не раз доведется увидеть, как она вдруг оцепенело застынет в самый разгар кухонной работы, поднимет в руке нож и, устремив взгляд в пространство, проговорит тем же тоном, каким она обычно жалуется на непостижимое исчезновение очков и зубов: «Ах, оказаться бы сейчас в Гризи!», и тут же, должно быть осознав, что если отдельные части тела порой все же отыскиваются, то уж Гризи никак не отыщешь, вздыхает: «Вот ведь несчастье!», и ночью этот же вздох летит ко мне с высоты ее подушек, и такими же вздохами пересыпаны обрывки воспоминаний, выбирая которые я снова оказываюсь среди призраков,— теперь это уже призраки материнских предков, они более многочисленны и более отдалены во времени, чем отцовские, но при этом кажутся мне более четкими и конкретными — наверно, все из-за той же стертости граней между явью и сном.

Гризи — деревня в департаменте Сены-и-Марны, там прабабушка родилась, там она вышла замуж, и я знакомлюсь там с ее матерью, с самой для меня прозрачной из всех прозрачных теней, что живут в ее памяти, потому что мне трудно представить себе, чтобы у старого человека тоже могла быть, как у мальчика, мать; эта породившая мою прабабушку тень для меня прозрачна еще и потому, что Ма Люсиль называет ее нежным и смешным прозвищем Ма Зизи, и оно наталкивает меня на неуместные сопоставления. Я даже немного стесняюсь материализовать это бесплотное существо, венчающее собой пирамиду поколений, где каждая женщина зовется на сельский манер: Ма Клара, Ма Люсиль, Ма Зизи... Дело в том, что Зизи — имя любимой моей обезьянки, вот в чем причина моих сомнений... К счастью, один существенный штрих мешает мне полностью отождествить тень прапрабабушки с обезьянкой, ибо однажды, должно быть под бременем горестных дум о непоседах зубах, Ма Люсиль говорит мне, вздыхая:

— Ах, если б ты знал Ма Зизи! Ты ведь не знал ее? Ну конечно не знал... Вот у кого все зубы были свои.

Это сразу меня успокоило, потому что у моей Зизи вообще нет зубов.

Об этой родственнице, затерянной в далях времени, прабабушка больше мне ничего не расскажет. Зато супруг Ма Зизи занимает в наших беседах довольно большое место, хотя его имя *Па Гюс* и не вызывает у меня ассоциаций с игрушками. О нем говорит иногда мне и мама, все эти сведения сплетаются воедино, и в душной жаре необъятной постели сквозь тяжелое дыхание Ма Люсиль ко мне пробивается деревенское прошлое, протекавшее среди полей и лесов, которые окружали Гризи. Деревня для меня — своего рода миф, нечто вроде утраченного рая, и о нем непрестанно вздыхает рядом со мною старая женщина.

В деревне есть воздух, которого мне в городе так не хватает, и он бы сразу окрасил ярким румянцем мои щеки, которые сейчас так бледны, словно их вылепили из папье-маше, в деревне мои легкие стали бы и сильными и здоровыми и я бы извлек из отцовского горна могучие звуки, от которых рушатся стены; в деревне я был бы свободен как ветер и бегал бы по горам и долинам, вместо того чтоб сидеть взаперти в душной комнате, я бегал бы там, как этот самый Па Гюс, который отправлялся в лес — из этого я заключал, что он был, наверно, егерем — и там, подобно Орфею, околдовывал зверей и птиц, в особенности фазанов и куропаток, сзывая их свистком, на чьи волшебные звуки вся живность мгновенно выпархивала из чащи и собиралась вокруг чародея, да, настоящего чародея, потому что ему удалось приручить однажды хитрющую лисицу, за которой гналась целая свора собак, точно таких, какие скачут передо мной на гравюре,— собаки свалили на рыжую плутовку стог сена, а она все равно удрала от них; Па Гюс приручил и свирепого кабана, к которому не смеют приблизиться окружившие его псы... Кабан и лисица, которая спит в подпечье, ну и, конечно, собаки, и кошки, и всякая домашняя птица — в деревне у меня под рукой был бы целый Ноев ковчег! Прибавьте сюда еще ягоды и грибы, которыми полон лес и которые так хорошо собирать, и выходит, что целый день, с рассвета и до заката, ты занят в деревне интереснейшими делами, тебе никогда не бывает там скучно, ты словно играешь все в новые и новые игры, рядом с которыми игры парижские кажутся жалкими, потому что в Париже тебе мешают играть всякие распри и ссоры, в голову лезут разные вопросы о себе и о родственниках, остающиеся без ответа...

Так прабабушка создавала для меня целый мир, он служил мне убежищем, он был моим *золотым веком*, потому что в своей семье, на удивление бедной преданиями, я не находил ничего, что было бы хоть сколько-нибудь равноценно этим рассказам, и хотя золотой этот век, разумеется, уже и тогда устарел, ибо перестал соответствовать потребностям человеческого воображения, которые господствовали в мое время и в моей среде, но благодаря ему я не был лишен своей доли чудесного, я научился мечтать не об одних только военных подвигах, столь милых сердцу крестного и отца, и в тайниках моей памяти навсегда остались картины, куда более прекрасные и жизнеутверждающие, чем то, что я видел на Валь-де-Грас. Думаю, что эти мечты были для меня благотворны, потому что, возникая на протяжении жизни снова и снова, они всякий раз излучают подлинное счастье, а к образам моего собственного детства, хотя они и окрашены в розовые ностальгические тона, которыми всегда отмечена память о времени, канувшем в вечность, неизменно примешивается горький привкус младенческих страхов.

Какие она рассказывала мне сказки? Иногда те самые, какие я слышал от мамы или от тети Луизы, которая, как вы уже знаете, обожала сюжеты самые страшные, но в целом репертуар у Люсиль был более оригинальным. Он восходил большей частью к сборнику под названием «Сказки Малого замка»; я по нему учился читать, но книга была до того истрепана, что мне так и не удалось узнать ни имени автора, ни конца последней сказки, и никто не смог пересказать мне

содержания вырванных страниц. Это была своего рода семейная собственность, никто уже не помнил, как она появилась в доме; она переходила из поколения в поколение, эта книга с черно-белыми гравюрами, в покоробленном, покрытом пятнами зеленом переплете, и из-за своей древности, дряхлости и безымянности приобрела в моих глазах сакраментальную ценность. Я часами листал эту светскую библию, разглядывал в ней картинки, всматривался в непонятные мне закорючки букв, но содержание было мне так хорошо знакомо, что я мог воспроизводить наизусть целые страницы, притворяясь, что умею читать, чем приводил в восторг мою благодарную аудиторию. Это знание текста позволяло мне в случае необходимости исправлять ошибки памяти Ма Люсиль. Я слушал, как льются слова, друг с другом сливаются и образуют картины, уже подготовленные моим сознанием, которое их дополняло и украшало, оживляя новыми подробностями; это было чудесное взаимопроникновение, в котором я мог бы, наверно, уже ощутить всю прелесть поэтической метафоры, будь эти сцены не так наивны, слова не так привычны, а прабабушкино произношение не так изобиловало бы диалектными формами, характерными для жителей Бри.

Но зато это живое воплощение устной традиции придавало повествованию пронзительную достоверность. Пусть французский язык прабабушки не был достаточно чистым, но мысли свои она выражала с какой-то стихийной образностью, которая удивительно совпадала со своеобразием сказочного мира, где все отмечено волшебством и всякими невероятными чудесами; самое замечательное при этом, что в голосе Люсиль звучала безграничная убежденность, было ясно, что она, как это бывает у настоящих артистов, сама искренне верит всем этим чудесам — тому, что твари лесные говорят человечьим языком, люди принимают обличье птиц и зверей, ручьи и деревья служат обиталищем для колдуний и фей, а юные принцы то и дело теряют дорогу среди зеленого леса, полного дивных чудес.

Какие же именно чудеса происходили в этом зеленом лесу? Когда я научусь читать и гипнотическое воздействие прабабушкиного голоса и сказочных образов немного ослабеет, я начну догадываться, что это все чудеса назидательные, призванные еще больше укрепить высокие нравственные устои в душе и уме благовоспитанного ребенка, который всегда послушен, уважает своих родителей и свято чтит законы. Ему противопоставлен *негодник*, и автор повествует об ужасающих бедствиях, выпавших на долю этого *злого ребенка*. Мой опыт позволяет думать, что по отношению лично ко мне эти воспитательные намерения не достигали цели, потому что злой ребенок и его приключения были мне гораздо ближе и интереснее, даже если они заканчивались наказанием. Кроме того, меня увлекали и доводили до ужаса — правда, ужас бывал несколько туманным и тусклым — всякого рода жестокие выдумки вроде ожерелья-удавки, подаренного феей юному врунишке, чтобы оно у него на шее сжималось и душило его всякий раз, когда он в своих ответах начнет уклоняться от правды, или вроде расчленения тела на части, которое уготовано маленькому неряхе.

Нравится мне и другая сказка с ее мотивом испытаний, влекущих за собой решительное исправление злодея. В один прекрасный день корова Беда — а еще у нее есть кличка *Бешеная корова* — выходит из заколдованного леса на поиски самого плохого мальчишки в деревне. Она должна поднять его на рога и утащить, чтобы он в конце концов стал хорошим и добрым; лишь при этом условии корова обретет свой прежний вид, ибо в коровью шкуру заключена добрая фея. И вот она хватает маленького негодяя, и оба они мчатся безумным галопом по горам и лесам, иногда, правда, делая остановки, во время которых различные сказочные персонажи, применяя самые крутые меры, исправляют один за другим все пороки мальчишки и действуют, надо сказать, очень успешно: он раскаивается, нежно целует свою корову в самую

морду, и корова превращается в Даму, *которая прекрасна, как солнечный день.*

Я любил упоение скачки, которую устраивает корова, любил слушать, как звучит в ночной темноте голос Люсиль: «...*А Корова мчалась во весь опор и несла его через леса и луга, через деревни и реки...*»; мне хотелось спать, голова немного кружилась, и безумная эта скачка становилась похожей на полеты во сне, когда ты птицей паришь над землей; только здесь ощущение было еще пронзительнее и острее: очень уж диким и странным животным была верховая корова. Я вдыхал неведомые деревенские ароматы, ловил запахи сена и сжатых хлебов и вместе с героем выходил окрепшим и возмужавшим из испытаний, выпавших на нашу с ним долю; я чувствовал, как после тяжких трудов на земле мои мускулы наливаются силой. Корова с медными копытами помогала мне побороть мою физическую слабость, и сказка становилась еще одним вариантом моей ссылки в семейство неотесанных крестьян, где мои хилые мышцы так закалились, а разум так оскудел, что собственные родители меня не узнали.

Эта бессонная ночь может показаться до неправдоподобия долгой, но в ней, очевидно, слились отголоски многих и многих ночей, и я сейчас дополню ее воспоминанием об еще одной теме наших ночных бесед; эта тема была очень дорога для Люсиль, гораздо крепче, чем я, привязанной к реальной действительности. Она тоже пережила войну, она была той живой эстафетой памяти, что добавляет в историю, запечатленную в книгах, бесценные свидетельства очевидца и передает новым поколениям состояние души, свойственное минувшему, не позволяя исчезнуть пережиткам былых умонастроений и поддерживая в людях давнюю, закоренелую ненависть. Мое детство было свидетелем того, до какой степени прочно въелось в умы понятие *наследственного врага* и как оно сделалось непрестанным напоминанием о неизбежности кровной мести. Сегодня трудно себе представить накал воинственности, в атмосфере которой я был воспитан, и силу патриотических чувств, воодушевлявших людей *из народа.* Вы могли это, очевидно, заметить, когда я упоминал об отцовском горне и офицерском мундире, а также о кипах «Иллюстраций» и «Панорам» *Великой войны,* как ее называли тогда и называют до сих пор. Отец и крестный еще вносили порой в свои рассказы о войне какие-то другие оттенки — особенно отец, когда его не мучили желудочные боли и ему не требовалось их заглушать восхвалением своих подвигов на войне. Говоря о Вердене, о Шмен-де-Дам, он позволял себе даже очень смелые замечания, вроде того, что это было *омерзительно* или что немцы *хлебали там не меньше, чем мы;* он останавливался иногда на каком-нибудь известном эпизоде, и его рассказ так мало вязался с нашими привычными представлениями, что отцу становилось неловко. Он рассказывал, например, что после одного чудовищного артиллерийского обстрела передний край был весь разворочен и, столкнувшись друг с другом чуть ли не нос к носу, воюющие стороны в едином порыве перестали стрелять друг в друга. «Иначе никто бы оттуда живым не ушел»,— доказывал отец своим слушателям, которые довольно холодно принимали его речи.

Подобные отступления от героических мифов были непонятны членам *нашей* семьи; для их поколения войны с немцами имели место всегда, находясь в одном ряду с явлениями природы, а мир казался лишь передышкой между двумя очередными войнами. Случалось, что прабабушка, которую часто подводила память, вдруг в самый разгар каких-нибудь хозяйственных дел спрашивала у дочери: «Скажи, Клара, война уже кончилась?» Бывало, дядя принесет газету и развернет ее, чтобы наскоро пробежать заголовки, а Люсиль, услышав за спиной шуршанье газетных листов, не поворачивая головы, осведомится самым будничным тоном, словно спрашивая о погоде: «Что там за шум, уж не война ли?» Неудивительно, что перед сном

исторические даты особенно сильно путались у нее в голове. Война была здесь, была в эту минуту, была вокруг нас, даже не война, а обе войны, свидетельницей которых Люсиль явилась, и, как это часто случается со стариками, первая война, война ее юности, представлялась ей особенно грозной — война *семидесятого,* со вторжением, осадой и фран-тирерами, величественная эпопея, которая представлялась ей куда более возвышенной и красочной — достаточно вспомнить тогдашнюю кавалерию и замечательные мундиры,— чем кротовая возня пехотинцев четырнадцатого—восемнадцатого годов. И красивых легенд тоже было в то время побольше. Я с любопытством слушал ее рассказы о неизменно безжалостных пруссаках, о баварцах, которым иногда бывали доступны человеческие чувства,— нужно ли говорить, что слово «немец» начисто отсутствовало в ее лексиконе,— о военных неудачах императора, которого один раз она видела собственными глазами во время какого-то парада, о предательстве Базена, наконец об осажденном Париже и о пресловутом голоде, когда парижане съели всех домашних животных и даже всех крыс.

Должен признаться, что эта кулинарная сторона дела интересовала меня больше всего. Проявляя полнейшее отсутствие патриотизма, я готов был перескочить через все подвиги наших войск и поскорее перейти к удручающей картине опустевших парижских лавок, где уже не было красных мясных туш, которые я иногда вижу, когда меня берут с собой за покупками, и где на прилавках лежали мохнатые зверьки с длинными голыми хвостами, к которым привязаны были бумажки с ценой.

— А сама ты их ела?

— Нет, пожалуй, не ела, но я знала, что были люди, которые...

Неуверенность разочаровывала меня. Сморенная сном, Люсиль вяло ссылалась на слухи, и мне приходилось самому заполнять пробелы в ее рассказе, но скоро и меня одолевала сонливость — может быть как раз оттого, что перед моими глазами сновали бесчисленные грызуны, заменяя собою овец, которых рекомендуется считать при бессоннице.

Я просыпаюсь обычно, когда все уже встали. Комната обрела свой дневной вид, мне жаль, что я опять пропустил переход от ночи ко дню. Мне никогда не удается увидеть, как встает Люсиль. Зубов в стакане уже нет, прабабушка в нижней юбке занимается уборкой. Вскоре в комнату врывается бабушка; непричесанная, в халате, она кидается ко мне и целует так горячо, будто я вернулся из экспедиции в дальние страны.

Ее неумеренная нежность временами смущает меня. Я не понимаю, почему и за что меня так пылко любят... А день между тем начинается — один из тех бесчисленных дней, чьи часы и минуты с поразительной законченностью сливаются воедино, образуя гирлянду пустячных, но радующих сердце мелочей; мне даже немного совестно, что я так охотно и с таким удовольствием обо всем этом вспоминаю, но как раз эти мелочи запечатлелись в моей памяти особенно четко, лишний раз подтверждая, какую ценность имели они для меня когда-то и имеют по сей день,— видимо, уже в те далекие времена во мне начало складываться ощущение, что счастье всегда позади, что оно с каждым днем отступает все дальше, и, пожалуй, мне можно простить, что мне кажется, будто я все еще там, в номере *семьдесят первом,* и щеки у меня мокрые от бабушкиных поцелуев, и передо мной — окно, открытое, чтобы *немного проветрить комнату,* и за ним тихая улица, по которой еще ездят упряжки, и с нервным постукиванием копыт пролетают черно-желтые коляски с рекламой «Сыроварен Жерве», и холеные лошади с заплетенными гривами мимоходом оставляют нам в дар коричневые, с золотистыми искрами, катыши. Ма Люсиль, которая всегда начеку, встречает подношение ликующим возгласом: «Вот это чудесно!»— и торопливо выбегает на улицу с совком и метелкой.

чтобы скорее подобрать даровое удобрение для горшков с геранью, которыми украшены окна, выходящие во двор.

Я нежусь в постели и наблюдаю, как бабушка, подойдя в свою очередь к зеркалу, висящему над комодом, начинает заниматься своей сложнейшей прической: ей надо сначала заплести волосы в косы, а потом собрать их в пучок, и меня восхищает пышность ее седеющей шевелюры, этот последний намек на исчезнувшую красоту, но про красоту я, конечно, не думаю. Я думаю про изобилие бабушкиных волос и про то, что у мамы прическа совсем не такая,— у нее тонкие, нежные, хрупкие кудри, и гребень вызывает в них электрическое потрескиванье, а эти упругие, мощные волны таят в себе нечто первозданное и простое, в них еще сохранился, наверно, *запах деревни*. Взрослым я буду всегда с замиранием сердца глядеть на великолепие женских волос, зачарованный их струением и ароматом, и вздрагивать от чувственного наслаждения, истоки которого восходят, должно быть, к той далекой поре, когда я погружался в созерцание равномерных взмахов гребня с редкими толстыми зубьями, проводившими плавные борозды в длинных волнистых каскадах, по которым уже перестали струиться живые соки и к которым медленно подбиралась смерть... А рядом раскачивался маятник, скандируя ритм движения руки и гребня, ритм непрерывного хода времени, уже успевшего обесцветить эти некогда прекрасные пряди.

Между тем возникают первые перебранки. Бабушка выговаривает прабабушке, заявляя, что в таком виде на улицу не выбегают и что такое поведение неприлично — с непокрытой головой и в домашних туфлях собирать конский навоз. *Нужно иметь гордость* — вот девиз моей бабушки. Но прабабушка понимает гордость по-своему, она не допустит, чтобы навоз валялся на улице и чтоб его подобрали другие, и на свете она прожила достаточно долго, чтобы самой знать, как себя вести, и не нуждается в советах, а тем, кто их дает, лучше бы на себя посмотреть, а не делать другим замечаний. Обе они поднимают меня с постели и одевают, не прекращая при этом обмениваться репликами, словно взятыми из пьесы, которую они никогда не устанут играть. Дрязги продолжаются и в привратницкой, куда мы все переходим, потому что водопровод есть только там; если кто-то заболевает, оттуда приносят кувшины с водой и наполняют умывальник в комнате крестного.

Крестного я почти не вижу, мне только слышно, как он шаркает за стеною ногой и стучит по паркету палкой. Хотя наши комнаты примыкают друг к другу, он ведет независимый образ жизни. Единственный в семье человек с образованием, он поздно засиживается за занятиями, к которым окружающие относятся с уважением, но считают их вредными для здоровья. Когда речь заходит об этих ночных бдениях, Ма Люсиль хлопает себя ладонью по лбу и предрекает, что дядя *свихнется*. Я сталкиваюсь с ним лишь изредка, когда он выходит из своей комнаты, отправляясь в банк на службу, или по воскресеньям в привратницкой, где он утром сидит перед круглым зеркалом, обладающим увеличительными свойствами, и бреется с помощью кисточки и опасной бритвы.

Тем временем бабушка отрывает очередной листок с настенного календаря, и я бегу к ней, чтобы услышать, какое сегодня число и какими памятными событиями отмечен начавшийся день. Она показывает мне буквы на календарном листке, и эти утренние минуты будут для меня на протяжении долгих лет единственными уроками грамоты.

После этого я предоставлен самому себе. Считается, что дети не знают, чем заняться, и теряются. Со мной не случалось такого. Развлечений у меня сколько угодно, мне есть чем поиграть, есть на что посмотреть. Для игр в моем распоряжении имеется коробка с набором самшитовых безделушек; они предназначены для демонстрации фо-

кусов, но уже вышли из моды, причем никто в доме не знает, как они вообще сюда попали; для меня это таинственные талисманы. Есть у меня чудесная кукольная мебель кустарной резной работы — в наши дни такое увидишь разве только у антиквара. Но меня эти сокровища оставляют равнодушным: в наборе фокусника мне нравится только рюмочка, из которой я последовательно извлекаю половинки красных, белых, синих и зеленых яиц, да хитроумный кинжал с убирающимся лезвием, которое я кровожадно вонзаю в спину и в грудь окружающих.

Предметов для созерцания у меня тоже более чем достаточно — надо только не лениться. Я брожу по квартире и разглядываю вещи. Бóльшая часть относится к предыдущим периодам жизни семьи, к тому *раньше*, о котором здесь только и слышишь: *раньше в Гризи, раньше в Руасси;* в том, как обставлены комнаты, есть что-то несовременное, даже немного траурное — это перечень того, чего никогда больше не будет. Вещи в доме семьдесят первом принадлежат застывшему прошлому: это и чучело хорька, напоминающее о леснике Кенсаре, и стойка для оружия, и особенно малокалиберный карабин с прикладом, отделанным черной эмалью; впоследствии карабин оживет на недолгое время, когда попадет в мои руки, но, увы, употреблю я его отнюдь не во благо... Есть тут и шкаф, где за стеклянной дверцей хранятся книги Робера-ученого, но бабушка, которая обычно снисходит к моему любому капризу, запрещает прикасаться к этому шкафу. Книги — орудия познания и восхождения по социальной лестнице, но восхождение не состоялось: помешало неудачное стечение обстоятельств, помешала сама История, видимо не пожелавшая, чтобы столь блестящие способности принесли свои плоды. Книги высятся за стеклянной дверцей безмолвным свидетельством рухнувшей надежды; эта же атмосфера витает над будильником, в котором сквозь прозрачный корпус виднеется механизм,— будильник был получен дядей как приз в соревнованиях по стрельбе,— витает над рисунками на стенах, над масками, рапирами и нагрудником для фехтования. Какие разнообразнейшие способности!

С помощью фехтовального снаряжения дядя пытается иногда забыть про свою безжизненную ногу. Он надевает нагрудник и маску, ставит своего племянника-крестника в позицию, и начинается поединок. Я делаю неловкие выпады, беспорядочно наношу торопливые удары, ни один из них не достигает цели, и дядя приходит в величайшее возбуждение. Он снова чувствует себя молодым и здоровым, смеется, что-то выкрикивает, даже делает толчок здоровой ногой, но внезапно, словно поняв, что занялся самообманом, неподвижно застывает, опускает руку с рапирой, снимает маску и удрученно бормочет: «Все это так далеко». Меня поражает его восковая бледность, по щекам, точно слезы, стекают крупные капли пота.

Бывает, что подобные эпизоды, исполненные внутреннего драматизма, сменяются тут же поистине фарсовыми сценками. Надо сказать, что скромность в этой семье не в чести. Здесь при любых обстоятельствах призывают в свидетели публику, здесь, точно в театре, напоказ выставляется то, что принято обычно скрывать.

Словом, я живу, полный трепетного внимания к комедиям, которые разыгрывают все члены семьи, кроме одной лишь Клары, и именно к ней меня и тянет. Мне нравится, что на Клару можно просто смотреть и она не требует от меня непременного участия в ее деятельности. Я долгими часами наблюдаю, как она гладит белье или возится у плиты на кухне. Тогдашнее кухонное оборудование обладало замечательной способностью возбуждать мечты, которой нынешнее не обладает. Глядя на дровяную плиту, можно так славно мечтать, а перед электрической плитой особенно не помечтаешь. Живой огонь покинул наши жилища, в чугунной плите ему было привольно.

В *доме семьдесят первом* плита невероятных размеров, с огромной топкой и дает столько тепла, что его хватает на всю квартиру; плита снабжена хитроумными приспособлениями, позволяющими регулировать температуру от легкого, приятного тепла до поистине адского жара, когда труба и конфорки раскаляются докрасна и глухо гудят, вся плита, точно живое существо, дышит и храпит, и в эти утробные звуки вплетаются клокотанье и свист — это в многочисленных чайниках и водяных банях постоянно кипит вода. Кроме того, плита обладает способностью поддерживать в воздухе нужную влажность... Пол в кухне кирпичный, огненно-красный, на стенах поблескивают, отливая медью, чаны, сковороды и кастрюли, и на этом насыщенном темными красками фоне особенно ярко выделяется светлая дверь, что выходит во двор; на наличниках висят связки чеснока и лука, придавая кухне деревенский вид; во всем этом есть что-то общее с ночными рассказами Люсиль, и, когда я выхожу в эту дверь, я будто попадаю в края мне знакомые и одновременно таинственные, и за стеной, которая окружает двор, мне чудятся сверхъестественные силы, пришедшие из прабабушкиных сказок.

Взрослые тщетно пытаются положить предел моему невежеству

Мои дни и вечера в *семьдесят первом доме* нередко текут полноводной рекой, в берегах спокойствия и тишины, и в эту безмятежную пору начнется мое умственное образование. Им займется бабушка Клара. По причине хрупкого здоровья в школу я пойду поздно; сначала будет сделана безуспешная попытка отдать меня в *малышовый* класс и ей будут предшествовать долгие споры о том, какое учебное заведение предпочтительнее — лицей или муниципальная школа. В *семьдесят первом доме* все симпатии были решительно на стороне последней, она представлялась здесь городским подобием общинной школы в деревне, где царил Учитель, Метр — фигура наиважнейшая в Третьей республике. Об учителях в семье говорили с величайшим почтением, и я склонен ныне считать, что при всей скудности программы преподавание велось тогда на самом высоком уровне. Простые деревенские женщины, имевшие лишь свидетельство о начальном образовании, мои бабушки никогда не делали орфографических ошибок и письма писали — особенно Клара — языком уверенным и точным. Этими же достоинствами обладал мой отец — нужно ли говорить, что он был союзником бабушек. Начальное образование он ставил превыше всего, ибо считал, что оно закладывает прочные основы знаний и внушает твердые нравственные принципы. Об этом свидетельствовало его образцовое детство. Но, с другой стороны, муниципальная школа отпугивала семью отсутствием четких классовых перегородок, в ней было что-то плебейское, а мы стремились вознестись по социальной лестнице вверх. Нет, конечно, только лицей достоин принять меня в свои стены, ибо мне предстоит славное будущее, и, поскольку обе бабушки слепо верили в мои выдающиеся, поразительно рано проявившиеся, просто *ненормальные*, как они с испугом сообщали порой кумушкам по соседству, умственные способности, их довод оказывался самым весомым. Образование *среднее* — этот мистический и таивший в себе грозные опасности термин был вписан в книгу моей судьбы. Поэтому следовало сразу встать на дорогу, ведущую к славе. Кроме того, в муниципальной школе я не буду огражден от вредных контактов с беднотой, напоминала мать. Я научусь у них всяким грубостям и даже могу заразиться — чесоткой, сыпью и вшами.

Подобные совещания проводились по вечерам, когда родители приходили меня навестить. Я встречал их приветливо, однако домой не стремился и держался несколько отчужденно, дабы показать, что здесь я лицо значительное, здесь я господствую. Но при этом мне

хотелось быть в курсе всего, что делается на Валь-де-Грас: ведь там тоже был мой дом, и хотя я временно не жил в нем, но совсем не собирался от него отказываться, несмотря на душевный комфорт, которым была мне мила привратницкая. Эта двойственность привязанностей смущала меня: я то нарочито подчеркивал свое безразличие, то, кидаясь в другую крайность, просил маму рассказать мне в мельчайших подробностях, как она проводит время в отсутствие сына, которому она всегда поверяла все свои мысли и который всегда был свидетелем всех дел. Мне казалось невозможным, чтобы она могла смириться с этим новым положением, и я очень сердился, когда понимал, что от разлуки со мной в ее жизни мало что изменилось. Разве что без меня она чаще бывала на людях и ездила на *Балы Синего Горизонта* — это название возбуждало во мне сильнейшее любопытство, в моем воображении возникало море, которого я никогда не видел. На эти балы она надевала незнакомые мне новые платья, а чтобы разучить модные па, посещала уроки танцев, которые давал один наш дальний родственник. Подобным легкомыслием я возмущался ничуть не меньше, чем мои бабушки. О современных танцах они говорили с гадливостью, распространявшейся, впрочем, на все, что имело касательство к тем определенного рода отношениям между мужчиной и женщиной, о которых у меня было самое смутное представление. Благодаря Кларе я знал лишь, что мужчины, как правило, *отвратительны*, лучшим примером чему служило поведение дедушки. Что до молодых женщин, то у них, как утверждала Люсиль, одно на уме: по увеселениям шляться да *жизнь прожигать*, но мне это мало что говорило, так же как эпитет *потаскушка*, которым она щедро одаривала живших по соседству девиц; молодые же люди, по ее убеждению, были сплошь *вертопрахи* и *психи*, одним из образчиков каковых был помощник мясника, часто проходивший перед нашими окнами. Я доверчиво присоединялся к их оценкам: эти стороны жизни у меня никакого интереса не вызывали. В целом ряде вопросов я буду еще долго, гораздо дольше, чем это обычно бывает принято, выказывать если не невинность, то во всяком случае полнейшую неосведомленность.

Эти семейные споры рисуют передо мной до того ослепительную картину моего будущего, что я отношусь к ней с некоторым недоверием. Муниципальная школа больше прельщает меня, быть может как раз из-за грозящих мне там опасностей — сквернословия или вшей. Лицей же тешит мое тщеславие. Но если говорить откровенно, у меня совсем нет охоты идти ни в лицей, ни в школу. Для того чтобы научиться читать без помощи взрослых иллюстрированные журналы и детские сказки да разбираться в числах и днях на отрывном календаре, с меня вполне хватило бы бабушкиных уроков. Мне не хочется покидать свой привычный мирок, во мне с прежней силой говорит все тот же рефлекс — свернуться клубочком в уютном и теплом, защищенном от бурь уголке...

Итак, в одно октябрьское утро — пожалуй, здесь было бы уместнее написать «в одно прекрасное утро», именно так будут начинаться потом мои школьные сочинения — перед воротами *семьдесят первого дома* происходит необычное скопление народа, привлекая внимание соседей, среди которых я вижу продавца лекарственных трав и пиявок, нескольких конюхов из семьдесят третьего дома и психа, иными словами, помощника мясника, который приходит со своей корзиной — он принес для Люсиль кроличьи головы, и она донимает его своими шуточками, потому что его собственная голова завита и напомажена самым чудовищным образом.

— Ах ты мой бедненький! — саркастически восклицает Люсиль, оглядывая его с головы до ног.

— Что случилось, мадам Кенсар? — осведомляется элегантный приказчик, охотно включаясь в игру.

— И он еще спрашивает! Ты что же, овощи собрался у себя в волосах выращивать? Иначе зачем бы ты стал их так обильно поливать!

Приказчик делает вид, что шутка Люсиль поразительно остроумна, и хватается за живот.

— И нечего смеяться, пижон ты этакий! Пошел отсюда, пока я не намылила тебе голову простым мылом! Это надо же — так вонять!

Помощник мясника хватает свою корзину и мчится в сторону улицы Гоблен, изображая сильный испуг, оборачиваясь и гримасничая на бегу, а Люсиль делает вид, что собирается побежать за ним вдогонку, и грозит ему кулаком.

Пока продолжается эта интермедия, мой кортеж уже в полном составе: мама, обе бабушки в выходных платьях и в шляпах, и крестный, который по этому случаю, должно быть, отпросился со службы. На мне новенький, с иголочки, передник. Дедушка, который передвигается уже с трудом, остается сторожить привратницкую. Он выражает надежду, что я научусь в школе хотя бы делать бумажных голубей, но я не обращаю внимания на его ехидные слова. Я стараюсь быть достойным торжественного момента, но внутри меня гложет тревога. Дорогой мне удается немного прийти в себя, и вот мы уже в вестибюле лицея — *моего* лицея. Здесь полно детей, некоторые плачут. Наше появление производит сенсацию, на мой взгляд чрезмерную. Увы, я вынужден мириться с нашим семейным стилем, поскольку он составляет часть нашей наследственности, но в своих отношениях с товарищами мне придется хлебнуть из-за этого немало горя. Пока же все идет хорошо, ибо я еще не очень хорошо понимаю, кто я здесь — зритель или актер. Я оглядываю вестибюль и вижу за стеклянной перегородкой посредине нечто вроде зимнего сада. Свежая зелень листвы и посыпанные песком, никому не нужные дорожки изумляют меня, от них исходит ощущение покоя и тишины, что особенно отрадно, когда вокруг царит такая немыслимая суматоха. Вспоминая этот день, я прежде всего вижу сад посреди школьного вестибюля... Потом дама в халате, *мать семейства*, пытаясь разделить нас по классам, велит нам построиться, и я вынужден отпустить мамину руку. Моя свита так исступленно обнимает и целует меня, точно я сажусь на корабль, который должен увезти меня в Китай; крестный глядит на меня широко открытыми глазами, громко шепчет: «Работай!» Его сведенная гримасой щека сегодня производит на меня особенно мучительное впечатление, и вот я уже стою среди хнычущего отряда, который под предводительством матери семейства трогается с места. Уныние моих товарищей действует на меня заразительно, некоторое время я кое-как удерживаюсь от слез, но когда вижу, что обе бабушки, у которых вообще глаза на мокром месте, вытирают слезы и машут платками, словно вслед уходящему поезду, я не выдерживаю и тоже начинаю реветь. Мы входим в класс, и я впервые в жизни вижу знакомую всем картину — доску, счеты, возвышение, ряды парт.

Лицо учительницы у меня в памяти не сохранилось. Мы как попало рассаживаемся по партам, рыдания затихают, уступая место всеобщей подавленности. Дома меня снабдили грифельной доской, футляром для мела и маленькой губкой, но пользоваться ими мне не пришлось. Учительнице сейчас не до того, она пытается установить какую-то видимость порядка и приступает к перекличке; эта операция тянется долго и бестолково, некоторые вообще не отзываются, другие отзываются невпопад и бормочут нечто невразумительное, иные встают по ошибке, отзываясь на чужую фамилию, и все начинается сызнова. Потом учительнице приходит в голову не самая удачная мысль, и она говорит, что если кто себя плохо чувствует или кому-то нужно пойти по естественной надобности, он может выйти из класса без особого разрешения. И сразу целая вереница потяну-

лась к дверям. Мой сосед заявляет, что у него болит сердце, и уходит — я следую его примеру. И таким образом, пробыв в классе не больше десяти минут, оказываюсь во дворе. Двор совсем не похож на сад, с любой точки глаз натыкается на ограду. Чувствуешь себя узником какой-то непонятной тюрьмы. К тому же лицейские дворы снабжены целой системой арок и периферических галерей. Меня подавляет даже не тюремный характер окружающей обстановки, а кричащая диспропорция между моим крохотным «я» и всем этим огромным и сложным ансамблем, не поддающимся восприятию. Нужно ли было строить такую громаду только для того, чтобы научить нас читать? Достаточно было бы бабушки, обладающей изрядными познаниями по части грамматики и истории. И разве не большему бы я научился, если б занимался один, а не с толпой в тридцать гомонящих мальчишек? Мои родственники пали жертвой иллюзии, они перепутали нынешнюю школу со школами своего детства, здесь ничто не похоже на то, что я слышал от них. Набравшись храбрости, я заглядываю в вестибюль, надеясь, что мое семейство дожидается меня там, но в вестибюле никого нет. Я подумал было вообще уйти, как не раз буду делать впоследствии, но сейчас мне еще не хватает мужества поступать так, как мне хочется.

Я вернулся в класс, вернулся внешне покорный, но для себя все твердо решивший, и мое решение укрепилось еще больше, когда я увидел, чем тут приходится заниматься. Учительница учила нас всем вместе вставать и садиться под звук шумно захлопываемой книги, и по второй команде складывать перед собой руки, и по третьей — замолкать. Потом она хватает длинную указку и передвигает ею шарик на счетах, и, когда шарик доходит до конца, она кричит: «ОДИН!» — и у нее такой голос, точно она кого-то дразнит, потом она поворачивается к нам лицом, взмахивает указкой, как дирижер своей палочкой, и велит нам повторить за ней хором: «ОДИН!» То же самое она проделывает потом сразу с двумя шариками — «ДВА!», и мы тоже должны хором крикнуть: «ДВА!» Когда она провозглашает: «ЧЕТЫРЕ!», класс входит во вкус игры, и робкое эхо, которое последовало за ее первым «ОДИН!», превращается в оглушительный крик. Приближаясь к ДЕСЯТИ, мы вопим невесть что: вместо «ДЕВЯТЬ» орем «ЛЕБЕДЬ»! или «ДЕНЕГ»!, а последовательность, в какой выстроены простые числа, остается для нас загадкой. После чего раздается барабанная дробь, возвещающая конец первого урока в моей жизни.

Ожидавшая меня в вестибюле Ма Люсиль бросилась ко мне с поцелуями. Время разлуки со мной показалось ей таким же долгим, как и мне, ей не терпелось поскорее услышать рассказ о моих ученических подвигах. Каково же было ее разочарование, когда я объявил, что в лицее нечего делать и я больше сюда не вернусь.

— Мыслимое ли дело! — бормотала она по дороге домой, пока я рассказывал ей о наших гимнастических упражнениях и криках под взмахи указки. Придя домой, она рухнула в кресло и, снимая ботинки с натруженных ног, провозгласила: — Малыш говорит, что в лицее ничему не учат. Клара, ты слышишь?

Клара воздела к небесам руки, отказываясь верить, но я чувствовал, что она не так уж и недовольна и что я лью воду на муниципальную мельницу. Я поспешил воспользоваться ее слабостью и с лицемерием дипломата предъявил девственно чистую грифельную доску: мне, мол, очень обидно, но я так ни разу ничего и не написал, нас целый час заставляли вставать да садиться; я куда больше узнаю полезного и быстрей превзойду все науки, если буду заниматься с Кларой.

Кофе с молоком был выпит бабушками в глубоком унынии, они даже не стали затевать свою обычную перебранку по поводу сахара: дочь обычно заявляла, что Люсиль кладет себе в чашку слишком много кусков. Меня еще несколько раз заставили повторить все сначала,

и я всякий раз прибавлял все новые красочные подробности. Они расспрашивали меня, произнесла ли учительница вступительную речь, затрагивались ли на уроке проблемы нравственности, учили ли нас читать, показывали ли картинки, стыдили ли плохих учеников. Нет, нет и нет! — отвечал я. Потом они стали благоговейно вспоминать школьные занятия своего далекого детства, добавляя к воспоминаниям литературные украшательства: научившись читать, я обнаружил прямое сходство между их воспоминаниями и некоторыми страницами Альфонса Доде; правда, он был их современником...

Как бы там ни было, но благодаря этим историческим экскурсам мои позиции укрепились еще больше, и я непременно добился бы своего, если бы не родители: придя вечером в привратницкую, они отнеслись к моим доводам без всякого понимания, объявили их ребячеством, детским капризом, а меня назвали бездельником и лентяем. Отец бушевал; ко мне вернулись младенческие страхи. Моя игра оказалась проигранной, и я отправился спать в печальном сознании, что завтра утром все начнется сначала и будет продолжаться так же бесконечно, как бесконечны все эти числа, которые надо выкрикивать хором и которые — об этом я узнаю потом — можно складывать друг с другом тоже до бесконечности, и в этом состоит непреходящая красота, якобы свойственная математическим наукам... В постели я жалобно попросил Люсиль рассказать мне еще раз про то, как она девочкой впервые пришла в класс, про ее деревенскую школу, и как дети сами топили печку в классе, и про замечательные речи Метра, про его объяснения, про его незабываемые уроки нравственности. На улице стемнело, пошел мелкий дождь, он мягко шуршал по ставням и мерно баюкал меня, сливаясь в тихую песню с голосом неутомимой рассказчицы; мне было тепло и уютно, но я смутно ощущал при этом, что за стародавнюю легенду о деревенской школе я цепляюсь как за якорь спасения и что все это — из области сказок. И было уже неважно, выиграю ли я на этот раз в споре с родителями или проиграю,— все равно я подходил к завершению целой эпохи своей жизни, я получал лишь коротенькую отсрочку, и спокойные, сладкие дни моего неведения, моих одиноких игр в пустынном дворе, моих таинственных грез за вечерним столом под свистящей газовой лампой, рядом с обожающими меня людьми, всегда готовыми баловать и хвалить,— эти дни были уже сочтены.

Но я покрываю себя славой в глазах моего отца

На этот раз я все-таки выиграл; сомнительная эта победа была одержана мной благодаря совместным усилиям моего мятежного духа и не менее мятежного тела, и при бесчисленных хворях, снова свалившихся на меня, было уже трудно сказать, где грань между действительным нездоровьем и хитрой симуляцией. Простуды и приступы удушья возобновились с новой силой, и возвращение в мир врачей сделало невозможным мое пребывание в лицее. Слишком уж часто я отсутствовал. Моя родня скрепя сердце вынуждена была смириться. Успехи в науках откладывались на неопределенное время. Получалось, что я и в плане умственном не оправдываю возлагавшихся на меня надежд, точно так же как раньше не оправдал их в плане физическом, и это, насколько я теперь понимаю, причиняло мне боль, несмотря на завоеванное такой ценой право не ходить больше в школу.

Однако и у меня был свой звездный час; он наступил после того, как я прожил в *семьдесят первом доме* долгие и счастливые недели золотой осени, когда наперекор календарю лето длится и длится и каждый новый погожий денек встречаешь с радостным удивлением, он словно отвоеван тобой у зимы, которая — ты это знаешь — все равно уже не за горами.

Но сначала расскажу о той забавной и решительной поддержке, которую неожиданно получили мои идеи, когда нас навестил дальний родственник Ма Люсиль — мясник из деревни Гризи.

Этот всеми уважаемый человек с прочной репутацией мудреца был огромного роста и поперек себя толще; в молодости он служил в кирасирах, всегда готов был потолковать об этих отборных войсках и был решительным противником раннего обучения детей.

— Понимаете, когда голова чересчур много работает, получается вред всему организму. Ученье истощает ребенка и не дает ему развиваться физически. Вот и у вашего на костях нету мяса, вот он и болеет у вас. Будете заставлять его учиться, он и вовсе не вырастет.

Впрочем, мою судьбу разделяли тысячи моих несчастных сверстников, и правительство несет за это тяжелейшую ответственность: когда разразится война, у нас не будет солдат, а одни хиляки да фитюльки!

— Понимаете, это очень опасно, их только и делают, что портят, этих нынешних малышей! — И он своей огромной ручищей гулко шлепал себя по лбу.

Потом он поведал о горестном отрочестве некоего молодого человека, которого он взял к себе приказчиком. Ученье, которое юноша ненавидел, довело его до неврастении. И лишь мясная торговля смогла вернуть его к жизни. Теперь он стал знатоком своего дела, он счастлив, так как нашел работу по вкусу и стал сильным, точно турок, потому что с утра до вечера ворочает бычьи туши. Для меня тоже было бы полезно пожить в Гризи, подышать деревенским воздухом — настоящим воздухом боен. Он бы собственнолично присматривал за мной, и я в конце концов стал бы хорошим солдатом.

Эта речь произвела большое впечатление на моих бабушек. Наконец-то выяснилась причина моих болезней! Не то чтобы они желали для меня такой же карьеры, какая выпала на долю образцового юного мясника, и еще меньше соблазняла их карьера солдата (горюя о моем слабом здоровье, Клара утешалась иногда лишь одним: «По крайней мере, уж этого-то ребенка они у меня не отнимут!» — восклицала она со слезами на глазах),— но было решено, что мне нельзя больше переутомляться и что будет неплохо отправить меня при случае в деревню к великану-мяснику для поправки.

Итак, мне была дарована моя золотая осень, даровано наслаждение новыми чудесными днями, чей медлительный ход прерывался лишь под вечер, когда я усаживался с бабушкой за уроки. Я учусь читать под посвистыванье лампы, и на красной скатерти лежит книжка, а с нею рядом тетрадь, в которой я вывожу палочки и крючочки,— каким безмятежным покоем все дышит вокруг! За моей спиной раздаются уютные домашние звуки: на разные голоса поют свои песни чайники, стоящие на плите, постукивают маятником ходики на стене и звонко отбивают четверти старинные часы Люсиль, а сама она бродит вокруг нас со своим неизменным ножом в руке в поисках опять запропастившихся куда-то очков и зубов, и дедушка что-то насвистывает и строгает, а передо мною приотворяются двери, которые ведут в совершенно новый для меня и такой заманчивый мир!

Бабушка в восторге от своей новой роли, она ласково улыбается мне и терпеливо объясняет, каким образом гласные и согласные, сливаясь друг с другом, превращаются внезапно в слова. Мне бы очень хотелось восстановить сейчас по этапам весь сложный процесс обучения, но я почти ничего не помню, кроме двух страниц букваря, где крупным шрифтом, под картинками, одна из которых изображает ворону, а другая — *лестницу*, напечатаны какие-то слова. Мне кажется, что добраться до *лестницы* — это подвиг, и мне не терпится его совершить. Неожиданно я обнаруживаю, что между словом и предметом, который оно обозначает, существует непреложная связь, и это как озарение: в напечатанных на странице буквах, неподвижных

и отчужденных, неожиданно появлялось что-то живое, делая их выпуклыми, подталкивая друг к другу, соединяя в единое целое, и меня поражает необратимость этого превращения; слова у меня на глазах как будто рождаются под воздействием живущего в них смысла, обретая свою неповторимую, звонкую, гибкую индивидуальность; на первых порах эта неповторимость характера, присущая каждому слову, кажется недолговечной — стоит мне закрыть букварь, и она исчезает,— но постепенно слова становятся прочнее, их лица больше уже не тают в памяти, а некоторые даже начинают понемногу стареть, особенно те, что открылись мне в первых уроках,— стареть, утрачивать свежесть, словно мое привыканье к их смыслу отнимает у них живую теплоту, и я с еще большей жадностью устремляюсь вперед, чтобы в новых словах опять ощутить это чудо. Я полюбил все эти слова, они — плод терпеливой нежности, которая их предо мной раскрывает, я люблю свои палочки, кружочки и целые буквы, люблю их всех вместе и каждую в отдельности, люблю этот древний как мир способ ученья, который считается медленным, но по своим результатам оказывается удивительно быстрым, даже, может быть, чересчур быстрым, поскольку самый переход от буквы и слога к слову в моей памяти не сохранился. Я часто проверяю свою ученость, подбегаю к окну, которое выходит на улицу, и читаю то, что написано на вывесках лавок, и по мере того, как я овладеваю всеми этими знаками, улица совершенно меняет свой облик; потом я уже проверяю себя чтением настенного календаря, иллюстрированных журналов и сказок; гордость моя не знает границ, а через несколько месяцев она достигает своего апогея, память о котором до сих пор меня радует.

Когда я прилежен, бабушка, в лучших традициях школьных учителей, в награду читает мне вслух. Чаще всего это тексты исторические, батальные или посвященные коронациям, выбирает она их из учебника Лависса. Бабушка обожала историю и могла часами сравнивать достоинства разных королей. Я слушал ее с благоговейным вниманием, она читала хорошо, с искренней убежденностью, заражавшей и меня. Больше всего мне нравился рассказ, где герой хоть и побежден, но его величие еще ярче проступает при поражении. Когда бабушка читала, как предводитель галлов подъезжает к римлянину на своем могучем коне и гордо бросает к его ногам оружие, а тот равнодушно глядит на него, я с трудом удерживался от слез. Эта проза представлялась мне возвышенной и прекрасной, она изобиловала словами, смысл которых оставался для меня туманным и зыбким. Я решил в них разобраться самостоятельно и с удивлением, ибо еще не отдавал себе отчета в том, как далеко уже продвинулся в науке чтения, вдруг обнаружил, что все это не так уж и трудно. В один прекрасный день оказалось, что я могу прочесть весь текст от начала до конца. Я понял это даже не сразу, настолько был поглощен драматическими перипетиями рассказа и возмущен подлостью Цезаря, который через некоторое время после своей победы повелел придушить поверженного врага в римской темнице. Я не верил своим глазам. Неужто я умею читать? Чтобы окончательно в этом убедиться, я прочитал рассказ еще раз. Сомнения не было: все слова были совершенно понятны. Да, я умею читать!

Я со всех ног устремляюсь к бабушке и сообщаю ей великую новость. Я умею читать! В привратницкой наступает праздник, комнаты заполняются благодарственным гимном, его отголоски выплескиваются на улицу, достигают ушей мясника и торговца лекарственными травами. Но самая главная радость еще впереди. Триумф свершается позже, с наступлением сумерек, когда в привратницкую приходит отец. Его ждет великий сюрприз. В глубине души я чуточку трушу, я подобен актеру, которого перед выходом на сцену охватывает страх, и когда после ритуальной беседы о болезнях желудка и о росте цен на провизию бабушка с торжественностью церемоний-

мейстера велит мне открыть учебник, а отец напускает на себя строгий вид, ибо по привычке не ждет от меня ничего хорошего,— мой голос поначалу немного дрожит. Но вот он крепнет и даже начинает звучать чересчур громко, точно я читаю глухим; в моих интонациях проскальзывает некоторая напыщенность, но что поделаешь: история, которую я читаю, так прекрасна, что я не могу оставаться спокойным. Без единой запинки я выпаливаю весь текст и с бьющимся сердцем поднимаю глаза...

Этому мгновению суждено навсегда остаться у меня в памяти, ибо — о чудо! — отец улыбается. Бабушка пытается побороть волнение и, чтоб не расплакаться, усиленно моргает за стеклами очков своими серо-голубыми глазами, но бабушкины слезы мне не в диковинку, бабушка плачет часто и по любому поводу. Улыбка отца — вот что меня потрясает, и, мне кажется,— может быть, оттого, что мы теперь живем с ним в разных квартирах,— такой изумительной улыбки я у него еще не видал. Он улыбается растроганно и победно, словно это он сам так блестяще выдержал трудный экзамен. Его улыбка действует на меня заразительно, я тоже начинаю улыбаться, и мы с ним глядим друг на друга, как, наверно, никогда еще не глядели и как уже не будем больше глядеть никогда.

Не помню, какими словами выразил он свою радость, но после этой улыбки мне уже не нужны были никакие слова, так же как и последовавшая за словами награда — она, разумеется, доставила мне удовольствие, но слишком уж пахло от нее моралью копилки... Впрочем, стоит ли придираться — ведь все это сделано было от чистого сердца: отец вытащил из жилетного кармана двухфранковую монету и положил ее на стол рядом с портретом доблестного вождя галлов.

Ночной порою, в час сказок, меня похищают...

Не говорю уже об испуге, о страхе — я был до глубины души возмущен. Ибо, несмотря на малый свой возраст, я смутно ощутил всю важность этого похищения, понял, что произошло нечто безобразное, подлое, чему я по сей день не могу найти оправдания.

Начиная рассказ о своей жизни у бабушки (длительность этого периода я, возможно, преувеличиваю, но никого уже не осталось в живых, кто мог бы исправить мою ошибку, так же как нет никого, кто бы рассказал мне, чем занимались родители во время моего отсутствия, я сразу же дал понять, что *Привратницкая* — виноват, не будем произносить это слово! — что *семьдесят первый дом* был пятном на фамильном гербе моих родителей, которые горели желанием подняться по социальной лестнице повыше и которым благодаря удачному стечению самых разных, как исторических, так и личных, обстоятельств суждено было в этом преуспеть. Новоиспеченный дворянин, как известно, остервенело стремится порвать со своими плебейскими корнями, и бес честолюбия — самый злобный и ядовитый из всех бесов. В «Сказках Малого зáмка», где рассказывается буквально про все людские пороки, есть поучительная история и на эту тему, но в сказке честолюбие сурово карается, в жизни же часто происходит совсем по-другому. Привратницкая постоянно маячила перед носом моих родителей злосчастным призывом к скромности, напоминанием о том, что «мы не из бедра Юпитера вышли», как говаривала насмешница Люсиль. Это было для них поистине бельмом на глазу. Но как от него избавиться? Попытка избавления включала в себя два эпизода, разделенных некоторым перерывом.

Однажды вечером, когда все сидели за ужином, к нам нагрянул с визитом отец. Пришел он в необычное время, мой урок с бабушкой давно уже кончился, а триумф, который я незадолго до этого одержал, прочитав текст о сдаче Верцингеторикса, позволял мне надеяться на отцовскую милость и во всех прочих делах. Поэтому я поначалу

не прислушивался к разговору взрослых, но довольно скоро почувствовал, что происходит нечто необычное и атмосфера за столом начинает накаляться. Ужины с отцом и матерью на Валь-де-Грас научили меня чутко улавливать признаки надвигающейся грозы, и я навострил уши.

Отец произносил длинную речь, его голос звучал торжественно и в то же время немного смущенно. Я видел, как морщится крестный и на лбу у него взбухает багровая жила; бабушки же слушают отца внимательно, но с непроницаемым выражением, как будто с ними говорят на иностранном языке. Оба мужчины сидят друг против друга, на разных концах стола. Отец толкует о том, что настала пора покончить с таким положением, ибо оно унижает всех. Он много думал последнее время, никого он не хочет упрекать и не считает себя вправе это делать, он сам начал с нуля, но он всего добился своим горбом, работал в поте лица своего, никакой поблажки себе не давал — вот в чем вся суть; а они не желают и пальцем пошевелить, плывут по течению, поглядишь — им даже нравится жить в этом убожестве, на правах прислуги, да, да, да, надо называть вещи своими именами, Клара и Люсиль сведены до положения прислуги, не говоря уже о том, как они устают, не говоря о прочих неудобствах. Его жена, все это видя, тоже страдает, и настало время, пробил час принять решительные меры, они с женой надеялись, что их родственники наконец все сами поймут, но нет, увы, этого не произошло, они точно в спячке...

Я видел, что бабушки очень удивлены столь мрачным изображением их жизни.

— В золоте мы не купаемся, это верно, но и бедняками нас тоже не назовешь; пока у человека есть здоровье... Да у нас и потребности совсем не те, что у вас.

— Не об этом речь! Но соблюдайте хотя бы благопристойность!

— Мы живем своим честным трудом, Луи, живем никому не в тягость,— обиделась бабушка, которая, очевидно, несколько по-другому понимала слово «благопристойность».

Отец вздохнул с видом человека, который уже не надеется, что его поймут. К тому же Люсиль, которая все это время вынимала и снова вставляла свою искусственную челюсть, что обычно свидетельствовало о полном ее равнодушии к разговору, объявила, что она идет спать, и ее шумные сборы, зажигание лампы, которая все не хотела гореть и отчаянно дымила, и уход на другую половину создали небольшой перерыв в споре. Желая задобрить отца, Клара предложила ему целебный желудочный отвар, но он отказался, что было скверным предзнаменованием. В самом деле, все кончилось настоящим скандалом. Дядя, у которого вена на лбу вздулась так сильно, что, казалось, она сейчас лопнет, насупил густые брови.

— У тебя прекрасное положение, и завтра оно будет еще прекраснее,— сказал он,— а я занимаю место скромное, самое заурядное, все это верно, но ты же знаешь, что тут не моя вина, вот в чем причина.— И он раздраженно хлопнул ладонью по своей изувеченной ноге.— Ты выпутался из этой заварухи благополучно, а я нет, только и всего.

— Чистое везение. Я ту же самую окопную грязь месил.

На лице крестного промелькнула горькая улыбка, говорившая о неуместности сравнения их воинских заслуг.

— Весьма возможно, не буду спорить. А если говорить о нас, то ведь это *твоя* семья — и семья честная.— Он выделил голосом слово «честная».— Когда мы с тобой познакомились, ты, помнится, рад был, что ее нашел.

— Вот поэтому-то мне и неприятно видеть вас в таком положении. Честно скажу тебе, я не понимаю, как ты можешь мириться с

тем, что твоя мать продолжает оставаться привратницей. Меня это удручает.

Дядя вспылил. Я и раньше замечал, что в результате увечья он часто теряет над собой контроль. Это выражалось в неожиданных приступах гнева, а иногда в слезливости. На сей раз это был гнев.

— А я тебе скажу, что это никого, кроме меня, не касается, и я не нуждаюсь в том, чтобы мне читали мораль! — закричал он и побледнел.

Отец отвечал, что он все равно будет это делать, нравятся крестному его слова или нет.

— А мальчик! Вы считаете, что для него хорошо жить в такой обстановке? — И отец широким жестом обвел привратницкую.

— Но здесь он всегда под присмотром, с ним здесь занимаются, этим-то вы, я надеюсь, довольны...— вмешалась бабушка.

— Клара, поверьте, я очень ценю вашу самоотверженность, но выслушайте меня! Все ведь так просто можно решить! Почему вы не хотите переменить квартиру?

Но попытка к примирению оказалась напрасной.

— Ты у меня уже в печенках сидишь! — кричит дядя, тяжело поднимаясь со стула.

— Ах, если на то пошло, ты мне уже давно осточертел! — кричит отец.

Бабушка разражается слезами, и крестный, не помня себя от ярости, вопит со сведенным в судороге лицом:

— Гляди, что ты натворил, негодяй!

Отец багровеет и вскакивает со стула. Мне становится страшно...

Я не хочу прибегать к литературным приемам, дабы придать этой сцене больший драматизм. Мне действительно стало страшно. Страшно не столько из-за разгоревшегося спора, который я, разумеется, передаю весьма приблизительно, и даже не из-за бранных слов — мне уже тогда доводилось слыхать слова и похлеще. Нет, мне было страшно смотреть, как двое друзей, чья фронтовая встреча привела к знакомству моих родителей и к моему появлению на свет и чья давняя дружба, казалось, была крепкой и нерушимой, как дружба античных героев,— мне было страшно смотреть, как эти два человека, чуть ли не братья, вдруг начинают оскорблять друг друга и вот-вот перейдут в рукопашную. Но еще страшней оттого, что раздор начался в тех самых стенах, которые были для меня желанным прибежищем, благословенным уголком покоя и мира,— это уже граничило со святотатством; я в ужасе думал о том, что вот и здесь поселилась вражда и мне никогда теперь не спастись от воплей, терзавших мой сон в родительском доме. И еще я понимал, как мучительно больно бабушке,— это было главным доказательством отцовской несправедливости, и я принял, конечно, сторону Клары, и разозлился на нарушителя нашего мирного ужина, и тоже стал горько рыдать, отчего бабушка заплакала еще пуще и со стоном отчаянья и любви прижала меня к себе. Можно ли так поступать — ведь ребенок сейчас заболеет, он у нас такой слабенький, разве она заслужила, чтобы с нею так обращались, если у вас пошли нелады, так разве же мы виноваты, я всю жизнь с утра до ночи надрываюсь, не жалею себя, работаю честно, да еще этот лодырь всегда на шее висел, теперь-то он умер, бедняга, но из песни слова не выкинешь... Такого поворота событий отец, видно, не ожидал. Агрессивность шурина, потоки жалоб и слез, которые обрушивает на него теща,— все это ошеломляет его, он распаляется еще больше и начинает яростно чертыхаться:

— Есть отчего белугой реветь, черт возьми! Уж и слова сказать нельзя! Посоветовал квартиру переменить — и вот вам, пожалуйста! А мальчишка чего здесь торчит? Чем слезы зря лить, лучше бы спать его уложили, черт бы вас всех побрал!

Наступает второй антракт. Мальчишку уводят, и он, весь дрожа, начинает сам раздеваться в тусклом мерцании лампы-молнии, потому что Клара, торопясь скорее вернуться в привратницкую, забывает зажечь на комоде голенастую птицу. Люсиль уже дремлет, ей в полумраке видно, как я удручен. Я кое-как взбираюсь на гималайскую гору кровати и понемногу успокаиваюсь под мудрые прабабушкины речи.

— Давно бы тебе надо было лечь, а не сидеть да их глупости слушать. Всё-то они норовят выше головы прыгнуть! Прямо как дочка Розы. Розу из Гризи знаешь? У которой из-за дочки все кувырком пошло. Дочку-то ты не знал? В деревне все не по ней было, все ей не так: и скучно-то ей, и женихов нет подходящих, и уж так-то она выдрючивается, и рожу себе малюет, и побрякушки на себя навешивает, уж прямо такая она благородная барышня, и, видите ли, подавай ей Америку, в Голливуд, ей, видите ли, надо, чтобы стать там кинозвездой! Тьфу ты, господи, потаскушка она! И вот в этой самой Америке нашелся один мерзавец, до нитки ее обобрал да и бросил. И никакого тебе больше кино, и вернулась домой, да еще спасибо скажи, что Роза с Альбером ее в дом-то пустили. Вот я и думаю, не от того ли у Розы с тех пор что-то с легкими стало. Удушье какое-то, прямо как у тебя,— видно, очень уж сильно из-за дочки переживала...

В ту ночь я так и не узнал, что же все-таки было у Розы с легкими: убаюканный этой историей, последней из всех, что довелось мне услышать от Люсиль, я уже начал медленно погружаться в сон, как вдруг снова послышался шум голосов, плач и грохот дверей. К нам в комнату кто-то ворвался. На пороге возникла бабушка, и в мерцании керосиновой лампы, которую она держала в руке, я увидел, что по щекам у нее текут слезы, а за ней, в пальто и шляпе, стоит разъяренный отец. В испуге я было решил, что они пришли наказать меня за какой-то тяжелый проступок, про который я почему-то забыл, но по ночам обычно детей не наказывают... Впрочем, долго размышлять об этом мне не дали.

Строгим голосом отец приказал мне встать и одеться: мы уходим. Бабушка с горестным воплем поставила лампу на стол. Люсиль приподнялась на подушке и спросила, почему такой шум, уж не посходили ли все с ума. Я в отчаянии кричал, что ничего плохого не сделал и никуда не пойду, Люсиль причитала, что все хотят ее уморить, ее дочь громко стонала. Отец ходил взад и вперед с видом палача, недовольного тем, что осужденный на казнь замешкался и заставляет себя долго ждать. Несмотря на суматоху, я понял, что мой бунт бесполезен. Обе бабушки оплакивали мою злую долю, но делали это с атавистической женской покорностью перед непререкаемой и законной властью мужчины. Клара, рыдая, молила меня повиноваться отцу. «Ты ведь не наш!» — простонала она в тоске. Против этого мне нечего было возразить, и я с тяжелым сердцем приступил к обряду одевания, стараясь совершать его как можно медлительнее и бросая горестные взгляды на окружающие предметы, на людей, которых я любил, на дряхлую мою подружку, делившую со мной постель под гравюрами, изображавшими псовую охоту. Ее горе, которое она выказывала сдержанно и стыдливо, было искренним и глубоким. Когда я с ней прощался, она мне шепнула, что рано или поздно отец будет наказан за свою жестокость.

Но это, должно быть, произойдет еще не скоро, а пока что я снова оказываюсь на холодной и темной лестнице, похититель, торопясь поскорее покончить с тягостной процедурой, подталкивает меня к выходу, а мой крестный, опираясь на палку, тащится за нами вслед до самого тротуара и ругательски ругает отца. Из его слов я заключаю, что меня используют как заложника, как средство давления на семью и что таким способом мои родители хотят привести в исполнение свой подлый план, который направлен на то, чтобы уничтожить или, на

худой конец, подальше упрятать следы их низкого происхождения. Бранные эпитеты, которыми дядя награждает своего фронтового товарища, звучат особенно выразительно на заунывном фоне сетований и жалоб Клары. Отец в сбившейся на сторону шляпе в последний раз оборачивается и указывает на меня пальцем, изрекая торжественным тоном, каким герои и полководцы произносят свои исторические слова:

— Можешь ругать меня сколько твоей душе угодно, но если вы отсюда не уедете, вам его не видать как своих ушей!

И он увлекает меня за собой. Я торопливо семеню, едва поспевая за ним и молча оплакивая свой утраченный рай,— я почти бегу по таким знакомым мне улицам, мимо кафе, которое было свидетелем последних подвигов дедушки, и мимо фермы, и мимо решетчатой ограды Валь-де-Грас, за которой во мгле с трудом угадываются очертания собора, и с быстротой кошмарного сна снова оказываюсь в обстановке моей прежней жизни.

Мама ждала нас в гостиной. Она с демонстративным пылом кидается ко мне, обдавая меня ароматом духов, я очень холодно принимаю ее поцелуи, но она не обращает внимания на мою сдержанность и с восторгом слушает отчет отца о проведенной операции, требуя от него все новых подробностей, и я понимаю, что вдохновительницей заговора была мама; это вызывает во мне жгучее чувство обиды. Однако усталость одерживает верх над обидой, я чувствую себя здесь чужаком, и моя кровать, теперь мне кажется, открыта всем ветрам, и мне жестко и холодно спать в ней после пуховых перин *семьдесят первого.*

Я лежу в черной тьме, прорезанной тонким лучиком света, который пробивается из-под двери, и до меня долетают смутные отзвуки двух голосов. Разговор ведется сегодня в самом дружеском тоне, но это дружба сообщников, замышляющих бесчестное, подлое дело, и, уже засыпая, я думаю о том, что такому согласью я предпочел бы даже злые выкрики, как в стародавние времена...

От шести до десяти

Новая жизнь, новые и старые лица, а также радости танго

Итак, мое раннее детство кончилось, и когда я теперь вспоминаю о нем, я делаю вдруг неожиданное открытие: раньше я думал, что мама занимала в моем сердце единственное, главное, ни с чем не сравнимое место, но мне приходится признать, что я ошибался, что мама не царила в моем сердце безраздельно и что изначальные наши узы оказались разорванными, ибо, как выяснилось, я мог долго жить если и не совсем без нее, то во всяком случае вдалеке от ее бдительного надзора и нисколько не страдать от этой разлуки... Мне приходится также признать, что отчуждение, возникшее между нами, в известной мере сохранится и позже. Когда бабушки уехали из привратницкой, у всех точно гора с плеч свалилась, и я опять получил право подолгу жить у них, теперь уже в их новой квартире, а потом и проводить каникулы с бабушкой. Впереди были новые узы — и новые обстоятельства, затруднительные и печальные. Но о них я еще расскажу.

Из раннего детства я выбираюсь довольно трудно, и мой интеллектуальный запас далеко не блестящ. Я умею читать, но этим все и ограничивается. Я сильно запаздываю со школьным образованием — мне никогда его не наверстать. Когда приступы удушья немного отпустят меня, родители сделают попытку снова отдать меня в лицей, чтобы я зажил обычной жизнью нормального школьника, и хотя я уже не бунтую против методов коллективного обучения и безропотно покоряюсь неотвратимой судьбе, но я с полнейшим безразличием отношусь ко всему, чему меня учат, и, мечтая о чем-то своем, ожидаю звонка, возвещающего конец урока. Болезненный, хрупкий и чересчур

убежденный в этой своей болезненности и хрупкости, я держусь от всех в стороне и не вступаю ни в какие отношения со сверстниками, ибо привык жить и общаться с одними лишь взрослыми, со старухами и стариками. И мне начинает казаться, что сам я всегда буду маленьким старичком. В этом есть какая-то неестественность, и ничего хорошего она не предвещает...

Существование, которое я отныне веду, лишено той размеренной неторопливости, какой был отмечен быт исчезнувшего *семьдесят первого*, теперь оно у меня довольно беспокойное. Теперь, за исключением дней, когда я нездоров, я не сплю больше в металлической кровати, что стоит рядом с большой кроватью родителей, и уже само это переселение знаменует собой начало новой эпохи. Я располагаюсь теперь в столовой, на диване, занимающем пространство между камином-калорифером и внутренней стеной. Мы живем в тесноте, и от этого происходят всяческие неудобства. Когда у нас гости, я вынужден ложиться очень поздно или же меня с вечера укладывают в спальне, а потом, после ухода гостей, переводят в столовую, перетащив на скорую руку мою постель на диван. У меня больше нет постоянного места для сна, и это смущает меня; плотная сеть привычек привязывает меня к спальне, к тому же, ложась спать в разное время, я теперь с трудом засыпаю. В столовой я чувствую себя неуютно. До сих пор я никогда не спал в комнате один,— меня словно отлучили от груди. Комната полнится всякими запахами, они говорят мне о сборищах, которые происходят здесь до того, как я ложусь: здесь пахнет сигаретами и духами, смутно виднеются в сумраке стулья и стол, и все это — точно намеки на недавно шумевшие в этой комнате споры.

Семейный климат не изменился к лучшему. Когда отец возвращается вечером домой, происходят все те же тягостные сцены — разница лишь в том, что они перемежаются теперь приемом гостей или уходом родителей в гости. Эти перерывы я очень ценю, они дают мне некоторую передышку и открывают передо мной новые горизонты.

Ибо когда уходят родители, я остаюсь в доме не один. Рост нашего благосостояния очевиден: у нас теперь есть прислуга! Правда, слово это правильнее было бы употребить во множественном числе. Ни одна из женщин надолго в доме не задерживается. Сроки их пребывания у нас колеблются от нескольких дней до нескольких месяцев, их лица мелькают передо мной нескончаемой чередой, и сколько их прошло за эти годы, упомнить невозможно, хотя мой педантичный отец ведет им строгий учет, неукоснительно отмечая и разнося по графам имя, фамилию, возраст, дату поступления и дату ухода. Встречались среди них фигуры живописные, порою совсем странные. Чем объяснить их непоседливость? Причин тут, пожалуй, несколько. Если особа отличается миловидностью, маму охватывает беспокойство, ее начинают терзать подозрения относительно поведения отца, которому она приписывает безудержную тягу к любовным связям с прислугой, как, впрочем, и ко всем другим видам адюльтера, что делает ее жизнь изнурительно трудной. Если особа уродлива или в летах, отец принимается сетовать на то, что у него перед глазами постоянно торчит огородное пугало, мама же, со своей стороны, плохо переносит непререкаемый тон, каким обычно разговаривает с молодой хозяйкой пожилая прислуга, и дело быстро кончается конфликтом. Если же, благодаря счастливому стечению обстоятельств, некая женщина неожиданно удовлетворяет всем этим взаимоисключающим условиям, она сама вскоре сбегает от нас, устрашенная той тиранией доброжелательства, жертвой которой она неизбежно здесь оказывается.

Мама считает, что прислуга является составной частью семьи и должна быть достойной своих благородных хозяев, должна отличаться безукоризненным поведением и блистать незапятнанной добродетелью, а также добровольно исповедоваться перед хозяйкой не только в грехах, но и в тех искушениях и соблазнах, которые ее неизбежно под-

стерегают; впрочем, соблазны сии обычно становятся предметом специального наблюдения, осуществляемого с помощью бдительных лавочников и привратников, а также посредством производимых мамой тайных досмотров личных вещей подозреваемого лица. Нужно ли говорить, что подобная перспектива мало кому улыбается и мы никогда не отыщем того *сокровища*, тоской по которому так страстно томится наше семейство.

Некоторым из этих мимолетных теней я обязан восхитительными минутами и часами. Хотя мои родители с поистине карикатурным рвением спешат перенять все пороки столичной буржуазии, я еще не успел заразиться буржуазной спесью, молодого барина из себя не корчу, и мои отношения с неведомым дотоле миром прислуги носят самый панибратский, даже сообщнический характер.

Вспоминаю одну прехорошенькую девицу, которая благодаря молодости лет, правильным чертам лица и живым глазам была, разумеется, заранее обречена на самое скорое увольнение. Она едва успела приступить к исполнению своих обязанностей, и ей предстояло провести целый вечер в моей компании. Девушка заявила, что это для нее только в радость, чем приятно удивила меня, поскольку подобная перспектива ни у кого до сих пор восторга не вызывала. Между нами сразу возникла взаимная симпатия, и немалую роль в этом, невзирая на мой нежный возраст и на полнейшую мою невинность, сыграла, я думаю, чувственность, чувственность, глубоко затаенная, лишь подразумеваемая, чуть ли не бессознательная, а скорее всего — только отдаленный намек на нее, но в этом и была особая прелесть, ибо чувственность эта своим незримым присутствием обволакивала все наши слова и жесты, подобно тончайшим духам, чей аромат, казалось бы готовый уже бесследно исчезнуть, все равно никуда не уходит и витает вокруг в бесконечных своих модуляциях. Она чувствовала, что я восхищаюсь ею как женщиной, как представительницей всего женского пола, и я в самом деле был восхищен, не понимая, конечно, какова природа того наслаждения, которые я испытывал, когда смотрел на эту высокую, с тонким станом, темноволосую девушку, следил за ее гибкими движениями, вдыхал ее запах и старался использовать любую возможность, чтобы потрогать ее. Еще до ухода родителей она успела шепнуть мне: «Мы повеселимся как следует. Я приглашу свою сестру и принесу скрипку». И перспектива подобного разгула привела меня в неописуемый восторг, который нас едва не выдал.

И вот на сцене появляются и сестра, и скрипка. Сестра, тоже хорошенькая, правда не совсем в моем вкусе, постучалась около девяти часов в дверь и, прыская от смеха, ввалилась в прихожую. Помню, в ушах у нее были серьги, от нее сильно пахло духами и волосы у нее были сплошь в завитках. К тому же ей нравилось высоко задирать юбку. Представьте себе мое блаженство: облаченный в пижаму, я восседаю по-королевски в кресле в гостиной, точно в театре, а мои новые подруги, достав откуда-то фляжки, потягивают из рюмок ликер и покуривают папироски. Потом любительница музыки демонстрирует нам свой талант, об уровне которого я судить не берусь, ибо мои критические способности полностью испарились; мне кажется, что скрипка почти не фальшивит, однако звучит немного на цыганский манер, с ярко выраженной чувственностью, и играют нам, конечно, исполненное неги танго! Какой ужасный пример для ребенка! И насколько дальновидной была моя мама, когда требовала от служанок строгого отчета во всех их поступках! Девушка исчезла через несколько дней после нашей прекрасной вечеринки, прихватив с собою на память отцовские запонки и кое-что из дорогого белья.

Я не выдал, не предал волшебной мечты, и мама, несмотря на всю свою прозорливость и на свой безошибочный нюх, так и не догадалась о том, каким опытом я обогатился.

К счастью — и в полном соответствии с афоризмом, утверждающим, что слова человеческие суть просто сотрясения воздуха,— сцена ночного похищения забыта. Я снова окунаюсь в атмосферу не существующей больше привратницкой. Увы, мне ничто не сможет ее заменить, но я утешаюсь тем, что все находившиеся в ней вещи продолжают существовать, хотя они расставлены теперь в новой — роскошной по контрасту — квартире. Словно желая показать, что он принимает вызов и с презрением отвергает обвинения своего хулителя, крестный не поскупился: у него теперь четыре комнаты — да, да, целых четыре! — даже на комнату больше, чем у нас, новоиспеченных буржуа, четыре комнаты в прекрасно расположенной квартире, с видом на сады Вальде-Грас, которые наконец предстают предо мной в своей полной красе. Дом стоит рядом с прежним — надо только спуститься по той же улице пониже. О доме шестьдесят третьем можно уже говорить, не прибегая к обинякам.

Вы входите в переднюю, направо дверь из нее ведет в кухню, слева же, где в углу стоят часы Люсиль, передняя переходит в коридор, который тянется вдоль гостиной и столовой и кончается комнатой крестного. Она-то и выходит на прекрасные деревья и цветники военного госпиталя.

Как и в *семьдесят первом,* она сообщается с комнатой Люсиль, и я с радостью обнаруживаю, что мебель расставлена здесь точно так же, как стояла там. Только вот Люсиль жалуется, что теперь у нее нет улицы под боком — ведь это шестой этаж. Не выбежишь подышать воздухом, поглазеть на прохожих, подобрать свежий навоз. «Роскоши тут через край, да к чему она мне?» Роскошь — это, пожалуй, все же преувеличение, правильнее было бы сказать, что квартира эта удобная, что она более городская, хотя за окнами и колышется недостижимая листва; здесь уже не может быть речи о том, чтобы разводить кроликов или развешивать связки лука перед входом на кухню. Здесь мы не слышим больше запаха лошадей, о чем немного жалеем. Но в этом переходе на городской образ жизни есть и свои хорошие стороны. Привратницкая была расположена на теневой стороне, туда никогда не заглядывало солнце, а здесь все залито светом. Обилие солнца — это еще одно преимущество перед нами. Когда меня будут оставлять здесь на ночь, на раскладной кровати в гостиной, я поначалу буду удивлен и счастлив, увидев поутру омытую сиянием мебель, сверкающий на солнце паркет. И хотя ощущением счастья отмечены обе бабушкины квартиры, но Привратницкая остается в моей памяти жилищем ночным, освещенным чадящими лампами, а квартира в шестьдесят третьем доме ассоциируется с белизной дня.

...Когда впервые после похищения я опять увидал своих бабушек, я почувствовал, что все теперь изменилось: ночной мрак Привратницкой обнимал меня, заключал в себя, тогда как дневной свет шестьдесят третьего дома от меня отделен, он предстает предо мною как зрелище, как неизменная ясность неподвижного времени, которое все — ожидание смерти. То, что Люсиль называет роскошью, по существу равнозначно уходу на пенсию, и всем хорошо известно, как это вредно сказывается на человеке. Может быть, ты и в самом деле, как считают мои родители, выглядишь более почтенно, если тебе не надо натирать до блеска лестницу, мыть полы на площадках, разносить по квартирам почту, но ведь эта унизительная работа не заменена ничем другим. Бабушкам теперь совершенно нечего делать! Только лишь Кларе еще удается с грехом пополам убеждать себя в том, что она играет какую-то роль в жизни сына и внука, ибо, хотя я опять хожу в школу и хотя мои воскресенья заняты по большей части гостями или кино, у нас остаются еще четверги. По четвергам мы с ней вдвоем отправляемся на прогулку, и она продолжает на свой манер меня просвещать.

Замечательно, что эта женщина, так мало, казалось бы, склонная к тому, что принято сейчас называть культурной деятельностью, женщина, в чьей жизни, ограниченной мирком семьи, не было, казалось бы, ничего, что могло бы направить ее любопытство именно в эту сторону, неукоснительно посещала со мной музеи — по музею на каждую нашу прогулку.

Мы повидали с ней все — от гробницы Наполеона и музея колониальной истории во Дворце инвалидов до Охотничьего домика герцога Орлеанского, побывали в музее Карнавалэ, в Клюни и Лувре. Посетили музей Гиме и, главное, несравненный Трокадеро, старый Трокадеро, этот единственный в своем роде музей хаоса и чудес. Не зная усталости, мы вдоль и поперек исходили все его сумрачные галереи, все заставленные мумиями закоулки, мы сделались знатоками и горели желанием делиться своими открытиями.

Но, увы, в нашей жизни были не одни только радости. Довольно скоро после переселения в шестьдесят третий, думаю, примерно через год, судьба взяла жестокий реванш за эту уютную — должно быть, слишком уютную! — и солнечную квартиру. Крестного разбил паралич, он сделался полным инвалидом. Со времени фронтового ранения он страдал сильнейшей гипертонией, которая привела к поражению сосудов головного мозга; у него полностью отнялась правая рука, частично пострадала одна сторона лица, расстроилась речь. Неспособный отныне ни сам одеваться, ни ходить, ни самостоятельно есть (кто-то должен был всякий раз нарезать ему еду на мелкие кусочки), ни писать (хотя он и мужественно тренировал для этого левую руку), крестный вынужден был бросить работу в банке и целиком перейти на иждивение матери. Для Клары опять отыскалась работа, поглощавшая все ее время.

Я был потрясен, когда снова увидел его, исхудавшего, желтого, с неподвижной половиной лица, с безжизненно повисшей рукой, которая своей тяжестью перекашивала на сторону все его тело; опираясь на костыль и с трудом сохраняя равновесие, он мучительно тяжко передвигался по комнате. Голос его то и дело прерывался, он говорил страшно медленно, каждое слово стоило ему колоссальных усилий, умственных и физических. Он сидел теперь большей частью в гостиной, в плетеном кресле, обложенный подушками, положив неподвижную руку на тот самый письменный стол, который в *семьдесят первом* стоял в его комнате и за которым он там ночами работал с риском *свихнуться*. Люсиль, конечно, и сама не подозревала, насколько пророческими оказались ее слова... Теперь на столе нет ни книг, ни тетрадей, но не так-то просто беде скрутить этого упрямого человека. Он научится снова писать — левой рукой, а когда, благодаря упорным тренировкам, у него в мозгу восстановятся какие-то нервные связи, стол будет служить ему для размещения альбомов с коллекцией почтовых марок, а потом и для шахматной доски, и я стану его партнером. Но это произойдет позже, а пока квартира в шестьдесят третьем надолго погрузится в атмосферу болезни, и заливающий ее свет словно померкнет перед скорбью, которой проникнуты каждое движение, каждый взгляд оставшихся здоровыми женщин, померкнет перед их настороженной обреченностью, ибо они знают, что несчастье, пришедшее в дом, неизбывно: мозговые расстройства, так же как болезни сердца, неизлечимы, они дают лишь передышку, и никто не знает, как долго эта передышка продлится; когда Робер, после стольких трудов и усилий, снова начнет медленно ходить из комнаты в комнату, мы будем постоянно прислушиваться к постукиванью его костыля по паркету, готовые уловить малейшее изменение звука и ритма, и любое затишье будет нас страшно тревожить...

Вот почему, невзирая на удобство квартиры, мебель, перекочевавшую сюда из Привратницкой, в шестьдесят третьем все лишь обман. Ничему уже не бывать таким, каким было раньше, и моя детская чут-

кость явственно ощутит это неслышное присутствие смерти — ощутит и в том новом, пугающем облике крестного, к которому мне так трудно будет привыкнуть, и в едва заметных признаках старения Клары и Люсиль; из-за этого в душе моей погаснет радость возвращения в пределы ушедшего рая. Все испорчено роком, чьи шаги приближаются так же медленно и неотвратимо, как некогда в *семьдесят первом* шаги таинственных тряпичников, рывшихся под нашими окнами, но сейчас это даже страшнее, ибо невидимое не дает воображению ничего, за что можно было бы уцепиться, и разит внезапно, как молния.

Остается одно — пользоваться полученной отсрочкой, вкушать последние радости уцелевшего прошлого. Эти радости отодвинуты ныне куда-то вдаль, на задворки моего существования, наподобие тех застывших картин, которые память ни за что не хочет терять и возвращается к ним в рассказе снова и снова, вопреки движению времени.

Карнак, Карнак!

Выбором Карнака я обязан оптимисту профессору, имевшему власть над моим здоровьем. Он посоветовал мне пребывание на пляже, в защищенном от ветров месте, ибо ветер может оказать раздражающее действие на мои бронхи.

Я никогда не испытывал большой симпатии к этому южанину, но я благодарен ему за совет, за то, что мое прошлое озарено светом Бретани, мягким перламутровым светом Карнака, чья прелесть особенно ощутима из-за поразительной белизны солончаков, озарено светом лагуны, который ближе к берегу приглушают песчаные, поросшие папоротником и утесником ланды да покрытый лишайником гранит, поглощающий блики,— озарено светом края, который уже одной своей верностью традициям так гармонирует с детством.

Ныне край этот существует лишь в неповторимости своих пейзажей. Бретонский фольклор, вместо того чтобы хранить местные обычаи, освящает их упадок, их оседание в больших могилах, какими являются краеведческие музеи. Там лет тридцать спустя я увидел снова те народные костюмы, которые во времена моего детства были самой обычной одеждой — их все носили в этих краях.

Путешествие в Карнак, курорт в ту пору малоизвестный, было подлинной экспедицией. Поезд довез нас с бабушкой до Плоэрмеля. Где были тогда мои родители? Этого я уже не помню, да и не уверен, что вообще когда-нибудь знал. По выходе из вокзала пассажиров и их пожитки погрузили в шарабан. Тряская, в рытвинах дорога шла лесом и ландами и привела нас сперва в глухую деревушку, а потом к берегу моря. На пляже, окаймленном соснами и тамариском, стояла единственная гостиница. А еще там было море, я впервые увидел его, вернее сказать, впервые увидел как единое целое, поскольку мое прежнее вйденье моря было фрагментарным, сводилось отдельно к волнам и отдельно к песку, которые были связаны между собой довольно непрочно и то лишь благодаря комментариям взрослых. Теперь море предстало передо мной в своей пейзажной реальности, я открыл его как некое живое существо, и это открытие было радостью и восторгом; не надо думать, что из-за этого я отказался от свойственных моему возрасту развлечений, от совков и ведерок, от барахтанья в мокром песке среди скал и камней во время отлива,— вовсе нет, но к каждой из этих отдельных забав я шел от созерцания моря в его единстве, я был способен отныне обнимать взглядом все море разом — и одновременно исследовать сокровища его внутренней жизни, которые дарили мне прилив и отлив. Короче говоря, море будет занимать меня куда больше, чем собственно Бретань, поэтому свой рассказ о пребывании в Карнаке я начинаю именно с моря; говорить об этом доставляет мне удовольствие, однако атмосфера непрерывной радости.

окутывавшая меня, затрудняет мой рассказ: ведь если все благополучно и ладно, рассказывать не о чем; все то, о чем я хочу здесь поведать, интересно, пожалуй, только благодаря хрупкости этих лучезарных месяцев, только благодаря тому, что они выпадают из общего течения жизни. Известно также, что такого рода каникулы нерасторжимо связаны с детством, вместе с ним они невозвратно уходят, и эта очевидность пронизана ностальгией. Когда я стану взрослым, мне долго не захочется возвращаться к морю — я буду верен этим далеким нехитрым картинам, этим сверкающим, безлюдным, заливаемым в часы прилива берегам, по которым я брожу вместе с моим другом Андре, буду верен моим прогулкам с бабушкой; мы с ней любим, когда сгущаются сумерки, смотреть на рокочущее пространство, лежащее под тонкой резьбой пламенеющих облаков,— во тьме загораются маяки, и моя спутница объясняет мне значение их огней. В этот час всегда поднимается легкий ветер, и сосны шумят, подпевая прибою, и порою луна, прозрачная, точно агат, украдкой проглядывает из-за облаков и благодушно смотрит на нас...

Мой распорядок дня вам известен заранее. В нем есть четкая размеренность, она по душе мне, она действует на меня умиротворяюще, она благотворна, как монастырский устав. При этом мой образ жизни достаточно легкомыслен, чего я совсем не стыжусь. Наша гостиница скромна и опрятна. В ней заведен общий стол — обычай несколько старомодный, облегчающий человеческое общение, и бабушка, которая поначалу несколько выбита из колеи, поскольку впервые в жизни проводит время на курорте, что в ту пору было большой роскошью, счастлива завязать знакомство с дамами своего возраста, у которых она открывает ряд бесспорных достоинств, таких, например, как вдовство и уменье вязать.

Я опять стал хорошо спать. Голова едва успевала коснуться подушки, как глаза закрывались, чтобы открыться, когда в комнате уже светло, так что я снова, как в раннем детстве, начинал сомневаться, спал ли я вообще. Новый день я встречал с радостным настроением, на душе было хорошо и легко после сна, в который проваливаешься, как в колодец, и который, начисто отключая сознание, возвращает его тебе наутро свежим и новеньким.

Мы устремлялись к окну поскорее взглянуть на небо, и погода, конечно, была все время прекрасная, только менялись чуть уловимо оттенки света и соотношение света с влажностью воздуха; иногда поутру над морем висела туманная дымка, которая потом медленно растворялась, или виднелись те ослепительно яркие облачка, которые позже, по мере того как разгорается день, бесследно истаивают в синеве. Потом бабушка меня одевала, а вернее сказать, надевала на меня пляжную сбрую и снаряжалась сама, стараясь как можно надежнее защититься от солнца, которого в те времена вообще опасались, и вот, нагруженные: я — ведерком, корзинкой, сачком для ловли креветок, она — шляпами, складными стульями, зонтиками от солнца, мы переходили дорогу, взбирались на дюну, всю утыканную чертополохом и еще каким-то кустарником, обвешанным белыми мохнатыми клочьями, которые входят в непременный состав сухих букетов, и спускались на пляж. Наше появление должно было бы привлекать к себе внимание зрителей, но никаких зрителей вообще не было, а если они и были, то располагались очень далеко от нас, так что мы с полным правом могли считать этот участок пляжа своей собственностью. Мы представляли собой примечательное зрелище. И не только из-за устрашающего объема нашего снаряжения, но и по причине ужасного, граничившего с манией преследования страха, который бабушка испытывала перед солнцем. Не довольствуясь раскрытым зонтом, она набрасывала на свою соломенную шляпу вуаль и набрасывала на шею, руки и без того закрытые юбками ноги бесчисленные шали и платки. Эта запеленутая фигура напоминала

рассказы о переходе через Сахару и выглядела неуместной в курортном местечке на Атлантике.

Защитив себя таким образом, бабушка раскрывала книгу и пыталась читать, ни на минуту не забывая, однако, об исходящей от солнца и моря смертельной опасности, которой я все время норовил себя подвергнуть, сбрасывая шляпу или кидаясь раньше времени купаться. Бабушка то и дело вскакивала во всех своих покрывалах, которые ветер, озорничая, разматывал, махала, как семафор, руками и, отчаянно крича, призывала меня быть благоразумным. И я с раздражением снова пристраивался рядом с ней и принимался возводить сооружения из песка, которые самодовольно называл замками, но которыми занимался лишь для того, чтобы ее успокоить. Было совершенно невозможно ускользнуть от ее бдительного ока. Я знал: стоит мне отойти от нее чуть подальше, она поднимет на ноги всю округу, всполошит местные власти, снарядит спасательную лодку,— словом, сделает нас всеобщим посмешищем. Женщина мужественная, когда речь шла о суше, она чувствовала себя на море в чужой, враждебной стихии, ей постоянно чудились потенциальные катастрофы. Эти путы угнетали меня. Меня влекло к себе море. Не скажу, чтобы я был особенно чуток к тому, что принято называть красотой морского пейзажа,— в семилетнем возрасте эстетические чувства развиты мало,— но я уже угадывал в море что-то мне близкое, что-то такое, что хорошо сочеталось с моей склонностью к пассивному созерцанию мира, меня увлекало это постоянное изменение, которое никуда не движется и в котором взгляд то и дело теряется, чтобы снова себя обрести и опять потеряться; меня влекло море, вбирающее в себя твое сознание, море, что струится в своих цепенеющих ритмах — прилив, отлив, прибой, пульсация, смутная зыбкость, дремлющая непоседливость; море напоминает то неясное томление духа, когда человек задержался на пороге сна и рассудок полностью растворяется в себе самом; в море есть то, что будет потом меня завораживать в стоячей воде и что, может быть, связано с притягательностью небытия, со странной тоскою по той своей жизни, когда ты еще не родился на свет, с тоской, воплощавшейся некогда в сладострастном падении в сон, который на время сотрет, уничтожит тебя, и эта тоска здесь снова вернулась ко мне, и опять мне припомнилось, как я тщетно всматривался в *глубину двора*, пытаясь что-то найти, разглядеть сквозь непрозрачное окно, которое было свидетелем моего рождения; в море было еще одно сходство с моим предрожденьем, когда во время отлива оно обнажало и дарило взгляду свое дно, которое не предназначено для того, чтобы на него смотрели, которое остается открытым всего несколько часов, словно время движется вспять, позволяя нам обрести наше прошлое, а если и не обрести, то хотя бы увидеть его, вспомнить, узнать, пока закон, управляющий бытием, снова не утвердится в своих правах. Это означает также, что я тянулся не столько к бурному и грохочущему морю, морю крутых берегов, сколько к печальному морю маленьких бухт со скалистыми островками, где утихает неистовство волн и где раздробленный рельеф порождает на самом пике прилива водную гладь, лишенную измерений, когда кажется, что озеро и лужа равны, и некое всемогущее, но великодушное божество предлагает тебе: «Вот здесь мои самые укромные тайники, изведывай их, погляди, что́ я прячу под покровом водорослей,— изобилие этих крохотных жизней позволяет мне не жалеть их». На большом пляже бухточек не было. Лишь впоследствии мы обнаружили их на другом конце побережья: за холмом, обсаженным араукариями, разнокалиберные обломки скал прикрывали собой совсем маленький, размером с детское тело, кусочек пляжа, а немного дальше отлив обнажал рифовую площадку, отделенную от берега длинным протоком спокойной воды. Я полюблю заходить в море, медленно погружаясь в него до лодыжек, до ко-

лен, до бедер, до живота и ощущая при этом легкое беспокойство, которое возникает оттого, что тебя с каждым шагом все выше задевают холодные прикосновения воды, а вода непрозрачна, и неведомо, когда же закончится этот невидимый спуск; в глубине проходят какие-то струи, и от разницы температур возникает ощущение, что к тебе прикасается кто-то живой, враждебно ощупывая тебя своими пальцами, и ты не знаешь еще, чем тебе это грозит.

Тем не менее я не раз отважусь пройти вброд по этому проливу, честно говоря, абсолютно безопасному, потому что совсем рядом находится скалистый островок, где для посетителей уготован в бесчисленных естественных садках огромный выбор самых разных созданий — чуть ли не все, что еще не загрязненное и не ограбленное море может предложить любопытствующему мальчишке. Как же они были тогда чисты, эти внутренние воды, и дно каждого маленького водоема было окрашено в свой собственный цвет, и вода отражала то сероватую синеву скал, то зеленые и коричневые краски водорослей, то охряную желтизну песка, который служил жилищем хитрому крабу, или плоской пугливой рыбе, или рукастой морской звезде, непоседливым ракушкам, сиреневым студнеобразным медузам, и я без устали буду шарить по дну, ловить и забирать в плен всех этих тварей, а потом снова выбрасывать свои находки в воду, за исключением самых редких из них, способных вызвать восхищение окружающих; такова была, например, странная рыбка с телом змеи и длинной заостренной головой; она вызывала в памяти образ гавиала из Ганга; ее названия я не помню. Эти сокровища я хранил в ведерках, а удовлетворив свое рыбацкое тщеславие, возвращал на другой день в родную стихию. Моя склонность к жестокости не пустила глубоких корней, и мне претила смертная казнь через разложение, на которую обычно обречены эти взятые в плен карликовые рыбки и моллюски. Помню, я часто прекращал свои поиски, садился на обломок скалы, опускал ноги в воду и, чувствуя, что их щекочут стайки мальков, слушал, как шуршит ветер в араукариях на холме, слушал отдаленный гул моря, сверкавшего на горизонте, а поблизости, в грудах морских водорослей, что-то булькало, капало и сочилось; мне казалось, что я бесконечно далеко от настоящего, от повседневности, от родителей, ставших смутными воспоминаниями, представлялось, что я сослан на пустынный остров, где веду существование Робинзона; подобные фантазии осаждали меня еще до того, как я прочитал эту книгу, а когда я ее прочитаю, она лишь придаст моим грезам более четкую и упорядоченную форму, и я с жадностью снова и снова буду читать о Робинзоне, постоянно украшая его историю все новыми подробностями и эпизодами, и это поможет мне полнее вжиться в причудливый мир моих миражей. Здесь и коренится, я думаю, секрет этого бесподобного произведения, которое, что бы ни говорили, конечно, написано для детей. Но время чтения для меня еще не настало, у меня почти еще нет образцов для подражания, мое сознание еще лишено, если можно так выразиться, глубины и легко становится морщинами на скатерти вод, летящей чайкой, скалой, влажной полосой берега и всей громадой застывших волн, которые затаились в глубинах и ждут своего часа, когда они смогут наконец вернуться; мое сознание слито с морем, которое плещется и сверкает вдали, прежде чем ринуться к берегу и вновь завладеть брошенным здесь добром, и скоро я научусь по частоте молний, зажигаемых солнцем на зыби, по усилению гула, который становится похож на отдаленный ропот, что слышен, если приложить к уху огромные экзотические раковины, стоявшие в те времена для украшения на комодах,— научусь узнавать приближение мига, когда темно-синяя полоса разобьется на множество извивающихся щупальцев, про чью коварную быстроту бабушка не устает мне твердить каждое утро, напоминая об ужасной участи рассеянных бедолаг, которые позволяют прили-

ву застать себя врасплох; пора возвращаться на землю, которую принято называть твердой, возвращаться к обычной жизни, а мне так хочется еще хоть немного побыть здесь, хоть чуточку задержаться, перебирая эти не заслуживающие внимания мелочи! Это доставляет мне радость, которую позже мне самому будет уже не понять, а радость, право же, стоит того, чтобы я написал несколько этих похожих на стоячие воды страниц, которые надвигающийся прилив готов уже перелистнуть.

Пора, однако, спросить, как случилось, что мне были позволены все эти дерзости, все эти переходы вброд и прочие вылазки, которые предполагают свободу. Благодаря одному знакомству, благодаря моей первой дружбе.

Однажды утром, когда я сидел возле своей бдительной бабушки и возводил архитектурные сооружения из песка, к нам подошел мальчик, на вид чуть постарше меня. Он ел огромный ломоть хлеба с маслом. Сперва он с большим интересом осмотрел закутанную, точно мумия, бабушку. Потом стал изучать мои песочные постройки, и в его взгляде я прочел то насмешливое и немного презрительное выражение, с каким местные жители всегда смотрят на приезжих курортников. Я изобразил полнейшее равнодушие и непринужденность и с видом старого землекопа продолжал корпеть над работой, которая совершенно не занимала меня и которую я делал из рук вон плохо. Но зритель был не из тех, кого легко обмануть. Сунув в рот последние остатки хлеба и с крестьянской медлительностью жуя, он подтвердил истинность известной поговорки: «Устами младенца глаголет истина» (что верно даже в тех случаях, когда уста эти набиты хлебом), заявив:

— Ты это делаешь по-дурацки.

Но сказано это было доброжелательно, и я не обиделся. Незнакомец пришелся мне по душе. Этот маленький бретонец словно сошел с почтовой открытки, он был моего роста, но более коренастый, весь в веснушках, со светлыми волосами, синими глазами и носом таких размеров и такой формы, которые стали знамениты благодаря альбомам «Бекасси́н» [1],— прошу у Бретани прощения, ибо она ненавидит это издание.

— Почему ты это строишь? — спросил он, показывая пальцем на мой замок. — Все парижане их строят.

Почему, в самом деле? Сознаться, что я делаю это потому, что так принято, потому, что все говорят, будто, сидя на пляже, надо строить из песка замки? И тем самым признаться в отсутствии собственного взгляда на вещи? И я с видом старого скептика отвечал, что меня это забавляет. Бретонец усмехнулся.

— Почему ты не строишь корабь?

Произношение удивило меня.

— Ты хочешь сказать «корабль»?

— Корабь — так все говорят.

Я, конечно, очень хотел бы построить *корабь*, но совершенно не знал, как это делается. Я чувствовал, что становлюсь смешным, но зловредность была чужда моему будущему другу, к тому же он, наверно, был рад случаю поучить парижанина, человека, как все парижане, невежественного.

— Давай сюда совок. Я тебя научу.

Счастливый тем, что мне помогли выйти из затруднительного положения, я с готовностью протянул ему строительный инструмент. Мой учитель поплевал на ладони и принялся за работу с такой ловкостью и сноровкой, что я почувствовал прилив небывалого энтузиазма. Не знаю, что́ считается самым трудным при возведении этих столь недолговечных произведений искусства; однажды мне довелось

[1] Популярная в начале XX в. серия иллюстрированных рассказиков о приключениях глупенькой служанки-бретонки. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

во время конкурса, устроенного какой-то газетой, видеть, как юные мастера возводили с помощью родителей величественные готические сооружения, но *корабь* по-прежнему жив в моей памяти, и ничто не в силах его затмить. То был овал, срезанный там, где должна быть корма, с выемкой в корпусе между лавками для гребцов,— ничего на первый взгляд сложного, но потом начались работы по оснастке и вооружению, тут я уже совсем ничего не знал, и Андре ошеломил меня своей осведомленностью. Сын служащего береговой охраны, он не только знал бретонские слова, но и отлично разбирался в технической терминологии, а мне и в голову не приходило, что его поразительные знания связаны с прихотью судьбы, угораздившей его родиться именно в этом месте и в этой семье. Я был проникнут восхищением, я обрел наконец наставника, я чувствовал, что меня буквально переполняют чувства признательности и любви... Отмечаю это потому, что та детская дружба стала для меня моделью других, довольно редких дружеских отношений, которые возникнут у меня в последующие годы. Это была, так сказать, любовь с первого взгляда! Я отдался своему чувству всей душой, в нем было неистовство страсти, мне просто необходимо было восхищаться своим избранником, просто необходимо, чтобы он в чем-то меня превосходил, чтобы я мог ему подражать. Я жаждал образцов для подражания и не испытывал ни малейшего стыда от своего подчиненного положения, действительного или мнимого. Эта некоторая приниженность доставит мне немало горьких минут, ибо я не умею скрывать своих чувств, скрывать, до какой степени нуждаюсь я в своем друге, а он будет пользоваться этим и этим злоупотреблять.

Но все эти тонкости еще впереди. Андре совершенно лишен хитрости, свойственной детям в буржуазных семьях, он принимает наши комплименты спокойно и просто; со словами: «Теперь сам будешь так делать» он возвращает мне совок, после чего моя подозрительная бабушка подвергает его настоящему допросу, желая удостовериться, что перед нами не «негодяй», и он с охотой отвечает. Положение, занимаемое его отцом, производит на бабушку впечатление; о причине догадаться нетрудно: «Уж этот ребенок знает, что к чему, во всем, что касается моря». После чего Андре нас покидает, чтобы незамедлительно приступить к подрыву тех правил, на которых бабушка строит нашу с ней жизнь.

Он решительно направился к воде, разделся до купальных трусов и нырнул головою в волну; вынырнув, он кинулся в следующую волну, после чего размашистым брассом поплыл прочь от берега. В вихре накидок и шалей, вскочив испуганно на ноги, бабушка глядела на его безрассудные подвиги с тем боязливым вниманием, с каким обычно люди следят за выступлением канатоходцев.

— Боже ты мой, этот ребенок ныряет сразу после еды! — прошептала она.

Нырять с головой — вредно для ушей, утверждало другое правило. В довершение всего, желая, видимо, блеснуть всеми своими талантами, Андре нырнул еще раз и сделал под водой полное сальто; повергнутая в ужас бабушка увидела, как из воды на мгновенье показались купальные трусики, после чего вместо головы на поверхность вынырнули ноги. Катастрофа! Но нет, вот уже акробат в целости и сохранности появился, отфыркиваясь, над водой. Бабушка покачала головой с таким выражением, с каким философ узнает о новом научном открытии, из-за которого рушится вся его годами выношенная система мироустройства. Мое же восхищение не знало границ.

Это показательное выступление имело весьма полезные для меня последствия. Став другом Андре, я избавился от запретов, которые из-за бабушкиных страхов угнетали меня. После того как обнаружилась их несостоятельность, подтвержденная новыми встречами с

Андре, бабушке было уже трудно держать меня все время на поводке. Андре был мальчик местный, сын моряка или почти моряка— не знаю, часто ли береговая охрана пускается в плаванье,— а у бабушки была счастливая для меня склонность: больше доверять опыту, чем теориям, костоправу больше, чем врачу. Обычаи ошибаться не могут, и она без колебаний вручила мою судьбу в руки нашего нового приятеля, который явно не был «негодяем» и пришелся ей по душе. Для меня началась пора самых больших радостей в Карнаке. Я зажил жизнью маленького бретонца, а бабушка стала отдавать почти все свое время коллективным сеансам вязания и обмену вдовьими горестями.

Говоря между нами, бабушка проявила излишнюю доверчивость. Жизнь маленького бретонца слишком уж походила на жизнь грабителя и варвара. Ту почтительную нежность к самым разным формам животной жизни, которая была мне свойственна в начале каникул, Андре ни в коей мере не разделял. Он разрушал и истреблял все вокруг с такой безмятежной изобретательностью, что с моим гуманным отношением к природе было мгновенно покончено. Никто не мог с таким проворством, как он, забраться на дерево, чтобы разорить птичьи гнезда, никто не мог так искусно разведать и отыскать все хоть мало-мальски съестное на берегу и в полях. Моей бабушке, к счастью, никогда не узнать, каких самых неудобоваримых вещей наглотался я за время наших странствий с Андре, начиная с неспелых яблок, дикой моркови и капустных листьев и кончая всякими резиноподобными моллюсками, чьи раковины мы вскрывали ножом, а содержимое заглатывали в сыром виде.

Наши вылазки завершились в закрытой бухте, где была рифовая площадка, богатая многоцветьем животной и растительной жизни, к которой я относился уже без прежнего благоговения. Теперь я играл и плескался в свое удовольствие под умиротворенным оком бабушки и ее вдовствующих подруг. Как сейчас вижу эту странную группу: три старые женщины в темной одежде сидят на фоне серой скалы, разматывая и перематывая шерсть; эти фигуры, напоминавшие о мифологии, плохо вписываются в однообразное и вместе с тем восхитительное течение дней, чья монотонность прерывается лишь в воскресенье, под утреннюю серенаду, которую устраивают волынщики в преддверии вечернего концерта. И тут мы вступаем в область празднеств и фарандол, без описания которых я вполне мог бы обойтись и даже бы наверняка обошелся, если б не участие в них моей бабушки. Бабушка так тесно связана с моим повествованием, что я могу позволить себе рассказать немного о ней и о той радости, которую доставляли ей воскресенья. Она предстанет здесь в неожиданном свете, и вы наверняка удивитесь, как, впрочем, удивлялся и я.

Итак, по мере того, как идет за неделей неделя, бабушка все меньше боится солнца и моря. Мне кажется, что она забыла о своих бедах, потому что в этом краю стойких традиций все больше позволяет себе от традиций отступать. Теперь она уже не носит всегда свое полное траурное облачение, включающее, в частности, величественную шляпу с длинной дымчатой вуалью, под которой она поначалу пряталась даже на пляже и которая, вкупе с черным платьем и многочисленными платками для защиты от солнца, придавала ей причудливый вид, нечто среднее между огородным пугалом и богиней загробного царства из греческой трагедии, что, как вы помните, произвело сильное впечатление на Андре. Теперь вуали сброшены, а на воскресных празднествах мы увидим ее даже в светло-сером платье с рукавами немного ниже локтя, что, по контрасту, выглядит верхом вольности, во всяком случае ей самой представляется чем-то в высшей степени дерзким и может быть оправдано только тем, что мы находимся в далекой провинции, где царят экзотические нравы.

— Все думаю, что́ сказала бы Люсиль, предстань я перед ней в этом виде,— призналась она мне в то утро, когда решение было принято, и добавила, глядя растерянно в зеркало: — Но мы ведь в Бретани.

Да, мы в Бретани, среди высоких трепещущих чепцов, кружевных корсажей, пышных передников, бархатных платьев, и даже Андре, всегда грязный, весь пропитанный сложным запахом, где прогорклое масло мешается с рыбой,— даже он в этот день был умыт, волосы щедро напомажены, как у нашего парижского соседа-приказчика, над которым так потешалась Люсиль, и одет в традиционный детский костюм: маленький жилет поверх белой сорочки с жабо и длинные брюки. Я тоже был облачен в парадную одежду маленького парижанина (но как же бедно она здесь выглядела!) и занял рядом с ним место в кортеже мальчишек, сопровождавших процессию волынщиков от церковной площади к берегу моря. Оттуда все отправились на луг, где музыканты взобрались на подмостки и стали играть национальные танцы, у которых довольно бедный мелодический рисунок, но завораживающий своей неотвязностью ритм, прерывая гавоты и жабадао короткими возлияниями, отчего их щеки горели все больше румянцем, а легкие всякий раз обретали новую силу и яростно раздували мешки волынок. В Париже бабушка наверняка сочла бы эту веселую и пьяную гульбу непристойной и уж во всяком случае совершенно несовместимой с ее достоинством почтенной вдовы, но здесь-то ведь мы далеко от Парижа, здесь мы в Бретани, среди пестрой толпы рыбаков и крестьян, явившихся сюда целыми семьями, и под ногами у нас снуют сорванцы и собаки, и с каждым часом все больше становится пьяных, а волынщики, чьи щеки уже пылают теперь пурпурным пламенем, по-прежнему что есть силы дуют в свои инструменты, не оставляя танцорам ни минуты покоя, ибо музыка эта, гнусавая и назойливая, заразительна, как болезнь; тут не увидишь замысловатых акробатических прыжков, какие выделывают сейчас в ансамблях народного танца,— нет, просто то тут, то там на лугу вдруг кто-то начнет, словно в трансе, подпрыгивать на месте и мгновенно заражает соседей; рука тянется, чтобы схватить наугад любую оказавшуюся поблизости руку, и пара качается, идет с притопом, вприпрыжку, бочком, раз, два, три, руки вскидываются на высоту плеч, раз, два, три, образовалась цепочка, она все длинней и длинней, она струится и вьется, она сворачивается в кольцо, окружая, сжимая тех, кто еще не танцует, пьяницы бьются, машут руками, как утопающий, и, еле вынырнув, спасаются где-то в хвосте этой гибкой змеи, но и там ежеминутно все новые и новые пары вступают в хоровод. Эта вакханалия, совершенно лишенная буйства и даже, напротив, отмеченная печатью степенности, что связано скорее всего с незыблемым ритмом и с боязнью танцоров сбиться с ноги, вызвала у бабушки живой интерес, если не сказать больше. Она высоко отозвалась о благопристойности празднества (обе приятельницы горячо поддержали ее); ее нисколько не раздражало обилие пьяниц, и она благодушно наблюдала за их мучительными усилиями сохранить равновесие; вскоре она уже отбивала ногою ритм. Я не узнавал своей бабушки. Склонен думать, что в этот день на лугу играли заколдованные волынки, потому что, могу поклясться, мы ничего не пили, если не считать жалкого стаканчика сидра. И вот, когда мимо проплывает цепочка танцующих, которая заканчивается чьей-то исполненной мольбы рукой, мадам вдова Амболе встает, мгновенье колеблется, говорит, обращаясь к двум другим вдовам: «А не попробовать ли, старушки, и нам?» — не дожидаясь ответа, мизинцем ухватывается за цепочку и увлекает за собой самых респектабельных курортниц Карнака!

Я не верил своим глазам. Передо мною была та самая троица вдов, которые сидели всегда в шляпах у прибрежных скал и, неуто-

мимо работая спицами, обменивались соображениями по поводу несчастной своей судьбы. Теперь они бодро подпрыгивали, с увлечением вскидывали руки к плечам своих легкомысленных платьев, раскачивались и струились вместе с толпой и делали это, черт побери, весьма складно! Моя бабушка словно сбросила годы. Ноги обрели былую силу и ловкость, седая прядь, выбившись из пучка, подпрыгивает на лбу. Бабушкины глаза сверкают от удовольствия, я бы даже сказал — от счастья, словно здесь, в этой праздничной суматохе, среди древнего, отрезанного от нашего века народа, под небом, где от порывов своенравного ветра еще больше кружится голова, бабушка вдруг получила возможность забыть свои горести и снова стала ненадолго той девушкой, которой когда-то была... Она вскоре вернулась, немного запыхавшись, на свое место, и обе вдовы, чей танец — говорю это с некоторой долей семейной гордости — отличался меньшим изяществом, вернулись следом за ней; с удовлетворением глядя на струящиеся извивы гавота, бабушка заявила:

— Мы еще молодым не уступим.

Дамы горячо ее поддержали, на этом все и кончилось. Бабушка вытерла платочком потный лоб. Я не забыл этого проблеска на мгновенье вернувшейся молодости, сверкнувшего тогда в Карнаке под бешеную музыку воскресных волынок, не забыл потому, что бабушке не довелось больше пережить такие минуты, ей даже пришлось тяжко расплачиваться за них: ее любимого сына вскоре разбил паралич. Карнак и для нее оказался лишь временной остановкой, короткой передышкой на долгом пути.

И пока эта передышка еще не закончилась, я хочу разобраться в причинах моего столь трепетного отношения к Карнаку, понять, почему с такой нежностью говорю я о скромном курортном местечке, которое не отличается никакой особенной красотой, если сравнить его с другими уголками Бретани, где мне впоследствии довелось побывать. Но причины вполне очевидны и даже банальны. Не надо забывать о том, что в Карнаке незримо присутствует другая реальность, что он окружен легендарной страной вертикально стоящих камней; мы с бабушкой посетили эту страну, и Андре служил нам переводчиком, когда нас обступила ватага оборванных мальчишек, которые выклянчивают у туристов несколько монеток, предварительно рассказав им общеизвестную легенду: святого Корнелия и его быков преследуют римские воины, и он обращает врагов в камни, оставив стоять на века эти гранитные легионы,— легенду, в которую даже ребенок верит с трудом, но совсем другое дело, когда среди пустоши тебя окружают огромные камни и всюду звучит непонятная речь, которая в путеводителе Мишле значится как язык мертвецов. Я же был особенно восприимчив ко всему сверхъестественному и чудесному, подготовленный к этому своим первоначальным воспитанием. Как ни далека была Бретань от нашего образа жизни, как ни чужда она станет впоследствии всем духовным привычкам, которые мне предстоит унаследовать,— она прекрасно сочеталась с суеверными основами моего характера, и я зачарованно смотрел на менгиры, когда мы брели по аллеям, разрезанным тенями этих камней, и мне очень хотелось принять за чистую монету все рассказы об их чудесном происхождении. Мы ходили туда всего один раз: бабушка хоть и любила историю, но все таинственное решительно отвергала. Мне не удалось уговорить ее отправиться туда снова, что придало тем местам еще большее обаяние.

Андре, как я уже упоминал, был немного старше меня и на следующий год достиг того возраста, когда интересы меняются и человека больше не тянет играть на пляже, разорять птичьи гнезда, собирать съедобных моллюсков. Изменился его физический облик, изменилось и поведение. У него оттопырились уши, он по любому

поводу нелепо ухмылялся, сопровождая эту ухмылку словечками вроде «ma réor», что по-бретонски означает «моя задница», или звучным рыганьем, или лихими плевками, дабы утвердиться в своей возмужалости.

Поначалу он еще удостаивал меня своим обществом, но его превосходство стало отдавать снисходительностью, и вскоре я почувствовал, что мое присутствие ему в тягость. Он часто меня бросал, чтобы присоединиться к местным мальчишкам, с которыми говорил по-бретонски, кидая в мою сторону насмешливые взгляды и длинные струи слюны. Я стал вести себя униженно, я, как говорится в таких случаях, *липнул* к нему. Я проявлял полнейшую покорность, я в отчаянии дарил ему свои сокровища. Все знают, насколько бесплодны эти старания, но я этого не знал и не умел хитрить. К счастью, Андре тоже хитрить не умел и не слишком злоупотреблял моей готовностью к рабству. Он просто от меня отдалился, и все распалось само собой. К концу каникул наша дружба себя изжила. Я снова оказался в одиночестве, под бабушкиным надзором, и поскольку у меня уже не лежала душа к уничтожению и поеданию даров моря, я принялся снова на своем каменистом островке, в маленькой бухте, слушать шум волн и созерцать морские пейзажи, верность которым я сохраню навсегда. Время от времени я замечал Андре, он корчил рожу или рыгал, и хотя он делал все это не со зла, но сердце мое разрывалось, и я со слезами на глазах смотрел ему вслед; я любил его, а он больше меня не любил.

Я возвращаюсь домой и вновь попадаю в лапы болезни

Я подхожу теперь к тому периоду, когда усиливаются два постоянных лейтмотива моего детства: болезнь и разногласия между родителями. Они переплетаются друг с другом, существует явная связь между неурядицами в семье и поведением моего тела. Надо, однако, признать, что я предрасположен к недугу; одни болезни развиваются в человеке, другие он сам схватывает. Я свою схватываю.

Вернувшись из Карнака и походив два-три месяца в школу, я заболел воспалением легких, очень тяжелым на сей раз. Оно приковало меня надолго к постели, и знакомый сценарий начинает снова прокручиваться, как будто мне без конца показывают один и тот же фильм. Я слышу, как в замке поворачивается отцовский ключ, вижу в тумане фигуру отца. Он принюхивается к запаху болезни, и с его уст срывается брань, с которой я уже смирился и даже готов признать его возмущение справедливым, будто я и в самом деле болею нарочно:

— Черт вас всех побери, и когда это только кончится!

Конечно, тут было от чего прийти в отчаянье, но все же, пожалуй, на этот раз я заболел не нарочно. Затворничество утратило для меня свою былую прелесть. Меня истязают бесчисленными уколами, мне мучительно жарко от высокой температуры, кружится голова. Эта болезнь — какая-то чужестранка, дикарка, и лечебные средства той поры — все эти банки и влажные окутывания — на нее совершенно не действуют. Как утверждает Пелажи, выздороветь я должен сам, силами собственного организма. Единственное удовольствие — если можно употребить здесь это слово — я получаю, лишь когда называют мою температуру: тут я побиваю все собственные рекорды. Мама не верит своим глазам и еще раз сует мне под мышку градусник, но результат остается прежним. Потом она будет вспоминать об этом фантастическом рывке ртути даже с некоторой гордостью, словно в этом была моя заслуга. Она будет также в самых хвалебных тонах рассказывать о моем бреде, и мне очень жаль, что я не запомнил тех, по ее словам, удивительных речей, которые про-

износил в бреду. В памяти у меня сохранилось лишь впечатление, несомненно ошибочное, чередования полной умственной пустоты с невероятной стремительностью потока мыслей; все это сопровождалось и различными расстройствами восприятия, особенно по ночам, когда я вскакивал на своей металлической кровати, весь в поту, с головой, гудящей от колокольного звона, не успев еще опомниться от кошмаров, с саднящим горлом и трудным дыханием. Я оглядывал комнату, и мне казалось, будто что-то нарушилось в расстановке вещей, нарушилось оттого, что произошла ошибка в самом ходе времени; овальное зеркало, посверкивавшее в полумраке и отражавшее угли, которые угасали в камине, придавало дополнительную, зыбкую, как мои мысли, глубину этому жаркому пространству, пропитанному лекарственными запахами, несмотря на курильницу для благовоний; слева супружеская чета, все меньше и меньше заслуживавшая этого названия, скованная инерцией сна, расположением тел имитировала семейное согласие; на церковной колокольне монотонно отсчитывались четверти часа, и возникала иллюзия: стоит мне сейчас погрузиться в сон, и через секунду меня разбудит сочащийся сквозь шторы свет, и на большой родительской кровати я увижу свободное место и скользну туда, и опять, как в те незапамятные времена, начнутся наши милые утренние забавы...

Выздоровление прекрасно еще и тем, что будет удовлетворено мое давнее желание не ходить больше в школу. Когда Пелажи осмотрел меня и обратился потом за советом к бородатой знаменитости, каковая удостоила меня своим посещением, дабы прослушать мои легкие, ощупать мое исхудалое тело и, как всегда, выразить по этому поводу полнейшее удовлетворение, доктора высказались в том духе, что посылать меня в лицей было бы неблагоразумно, ибо рецидив может иметь самые нежелательные последствия. Лучше до наступления лета подержать меня дома...

Наконец-то я кое-что читаю...

Можно без особого ущерба опустить все то, что я собираюсь сейчас рассказать. Мои детские читательские впечатления вряд ли чем-нибудь отличаются от впечатлений других детей, и все-таки мне хочется ими поделиться, ибо есть в них нечто такое, что мне очень близко и дорого.

Расскажу о книге, про которую я уже упоминал и которая совпадала с моими мечтаниями так поразительно точно, что мне кажется, будто я знал ее еще до того, как прочел. Это «Робинзон Крузо». Она произвела на меня неизгладимое впечатление, и я не удивился, когда узнал, что Руссо предписывает своему Эмилю читать ее и хочет, чтобы этот роман был долгое время единственной книгой его библиотеки. Со мной почти так и случилось.

Принято говорить, что этот роман загроможден невнятными философскими и нравственными рассуждениями, но мне не было до этого никакого дела. Не интересовало меня и то, что, как говорят, писатели той эпохи без зазрения совести обворовывали друг друга. Для своих ночных грез я брал из «Робинзона» лишь то, что мне было знакомо и нужно. Впрочем, я уже об этом говорил, когда рассказывал о Карнаке, о своей дикарской жизни на островке среди рифов — еще до встречи с Андре, который потом меня так неудачно цивилизовал.

С помощью кораблекрушения я бегу от семьи, где чувствую все больше свою бесприютность, бегу от отца, от которого меня отделяет столько всяких недоразумений и быть сыном которого я, по-видимому, недостоин, я заново, своими руками, создаю снизу доверху целый мир, который возвращает мне самоуважение и который сам проникается уважением ко мне по мере того, как я проявляю себя

хитроумным и в то же время излечившимся от физической немощи человеком. Телесное закаливание Робинзона пленяло меня не меньше, чем строительная деятельность. Последняя привлекала меня, разумеется, больше всего работами, призванными обеспечить его безопасность: сооружением заборов и живых изгородей из деревьев и колючих кустарников, которые в конце концов создадут на острове свой обособленный остров, и, подобно маньяку, чьи мечты состоят из однообразного повторения одних и тех же сцен, я подолгу — мне немного стыдно признаваться в этом даже теперь, когда я достиг уже возраста бессонниц,— перебирал в уме и пересчитывал инструменты, орудия и приборы, извлеченные из корабельного трюма, получал наслаждение от буйного роста зеленой ограды вокруг моего форта и ради забавы постоянно увеличивал число спрятанных там хитроумных капканов. Я был до такой степени увлечен благоустройством своего прибежища, что след на песке меня просто потряс. Охватившую меня панику нельзя объяснить одной лишь магической властью текста. Я боялся, что автор разрушит здание моей мечты. Я не мог ему простить, что он придумал этого несносного, никому не нужного Пятницу, недоверие к которому я сохраню на всю жизнь. То место в книге, где появляется дикарь, резко делит ее для меня на две неравноценные части. Дальнейшие страницы я пробегаю без особого интереса и спешу поскорее вернуться назад, перечитать главы, где описывается одиночество, и, кто знает, не являлось ли это предзнаменованием трудностей, которые ждали меня в будущем.

В эту зиму я прочитаю и «Путешествия Гулливера» в переводе аббата Дефонтена, старое издание с иллюстрациями Эми и Телори, но, видно, я был еще мал для этой книги, ибо трудный язык и политическая сатира несколько испортили мне удовольствие, какое вызывает у читателя изобразительная сила Свифта. Нет, я вполне согласен с Жан-Жаком Руссо: не надо было давать мне читать эту книгу, так же, впрочем, как и другое произведение того же автора. Правда, мне его никто и не давал, я сам случайно наткнулся на него, рыская по квартире. Думаю, что мама неосторожно оставила книгу лежать на самом виду потому только, что на обложке красовалось невиннейшее название: «Наставления слугам».

Я хотел бы спародировать здесь предупреждение, адресованное Жан-Жаком Руссо читательницам «Новой Элоизы»: ребенок, который осмелится прочитать одну-единственную страницу этой книги, навеки погиб! Не знаю, может быть, я погиб еще до того, как раскрыл эту книгу, но, раскрыв ее, я не мог уже оторваться, читал ее с жадностью, как завороженный, охваченный диким восторгом и пылая нетерпением поскорее применить ее наставления на практике. Родители, говорю вам: сожгите эту сочиненную дьяволом книгу. Она способствовала моей погибели.

Различие между «сценами» и «ссорами»...

К сожалению, я опять возвращаюсь к распрям, которые по мере моего выздоровления начинают набирать прежнюю силу. Их природа представляется мне уже менее таинственной, хотя все еще достаточно смутной, но не могу сказать, чтобы мне очень хотелось ее прояснять. Я бы предпочел даже, чтобы вообще ничего не нужно было прояснять, но чувствую, что мне на роду написано познавать постепенно вещи, которые лучше бы по мере возможности скрывать от детей. Была ли такая возможность? Этого я не знаю.

Во всяком случае, отсутствие всякой скрытности в частной жизни — черта, свойственная и матери и отцу,— не способствовало столь желанному неведению. Держись они чуть более скрытно, я был бы избавлен от многих мучительных сцен... Мне скажут, что я

преувеличиваю свои страдания, я и сам уже упрекал себя в этом, но ведь известно, что нет иногда логической связи между действительным значением некоторых жизненных испытаний и тем отголоском, который получают они в нашем сознании. Было бы несправедливо считать мою жизнь голгофой, я прекрасно это понимаю,— но почему же тогда я чувствовал себя все эти годы почти постоянно несчастным? Почему мне никогда не удавалось об этом забыть? Я не обвиняю, я лишь констатирую факт, и вполне вероятно, что никто тут не мог ничего поделать.

По той же причине я не хочу никого судить. Слишком многих обстоятельств я не знаю, слишком часто они озарены для меня недолгим, надрывающим душу мерцанием, и я знаю, что буду потом упрекать себя и терзаться сомнениями. Мне также скажут, что я непочтителен к памяти мертвых, что здесь уместно лишь благоговейное молчание. Но я не согласен больше с этой моралью. Это значило бы, что смерть уничтожает все то, чем люди были при жизни. Да, конечно, нельзя отрицать, смерть выявляет нечто такое, что не виделось, не замечалось из-за непрерывного смещения перспективы, в которой мы видим людей на протяжении их жизни; меняемся и мы сами. Смерть все высветляет, и лучшее берет верх над худшим; так вода, переставая течь, являет нам лишь неподвижную прозрачность. Но под этим спокойствием, под этой пресловутой ясностью кроется неровное дно человеческой биографии. Покойники уже не могут ничего нам сказать из своих могил, но если история их жизни переплетается с нашей, разве можно о ней не упомянуть. Мне волей-неволей приходится снять со смерти табу, поскольку я лишен права на уловки, которые применяются, когда пишешь выдуманные истории про выдуманных героев.

Итак, сцены в доме не прекратились, и если пытаться сравнить их с предыдущими, то они отличаются от тех, как сцены отличаются от ссор, и мне кажется, что я это отличие уже улавливаю. Ссоры идут от разницы в характерах, от живости реакций, от упрямства, различия вкусов, неуступчивости с обеих сторон,— словом, от тысячи черточек, которые делают совместную жизнь либо спокойной, либо насыщенной бурями; совсем не обязательно при этом, чтобы бури ставили брак под угрозу: некоторым супружеским парам бури так же необходимы, как ласки. Если бы я просто тосковал по ровным отношениям в семье, по душевному согласию, вроде того, какое царило между супругами Перрон или супругами Мадлен, в чьих семьях мама так упорно искала трещину, но так и не могла ее найти, что способствовало охлаждению наших с ними отношений,— я бы как-нибудь смирился со ссорами, чью относительную безобидность, несмотря на театральные эффекты, какими они сопровождались, я уже понимал. Тут были вопли, грохот, слова и слова, но все это было не очень серьезно, требовалось лишь привыкнуть к тому, что у взрослых слова означают не то, что им положено означать. Но в нашем доме сцены связаны уже не только с разницей в характерах. Они происходят все чаще и чаще. Затяжные, торжественные, они тоже представляют собой театральное действо, только театр здесь уже совсем иного рода, он задевает самые основы моего бытия, и в поведении родителей передо мной открываются такие стороны, о существовании которых я раньше не подозревал; по-прежнему бьются тарелки, но мне еще не доводилось слышать такие слова, как «неверность», «пора с этим кончать», «развод». Поначалу слова эти повергали меня в полное недоумение, я плохо их понимал и лишь смутно чувствовал, что они таят в себе угрозу куда более серьезную, чем битье посуды.

Как ни трудно восстановить ход рассуждений ребенка, мне кажется, что, несмотря на мою привязанность к матери, возродившуюся с новой силой во время болезней, и на стойкое недоверие к отцу,

я продолжал считать, что семья наша по-прежнему крепка и едина. Она была еще чем-то целым, и мое хрупкое существование, точно цемент, скрепляло ее разнородные части. Раздираемое распрями племя оставалось племенем, со своими первобытными, сакраментальными обязанностями. Чтобы понять, что такое неверность, нужно было иметь представление о любви, существующей вне категорий нежности и дружбы, а у меня, естественно, такого представления не было, и я оказался перед лицом многих неразрешимых загадок, в которых брезжила лишь пугающая меня возможность распада семьи.

Мне предстояло долгие годы жить под этим дамокловым мечом, и вряд ли я мог бы найти более точную формулу для объяснения ситуации, когда в мое сознание надолго внедрится ощущение угрозы, сольется с прежними моими опасениями и тревогами, будет неотступно преследовать меня вплоть до начала отрочества.

Мне остается одно: выбирать между вариантами этой угрозы. Расскажу по порядку о моих грустных открытиях той поры.

Пожалуй, вначале, как мне кажется,— но здесь память может меня и подвести,— вначале была сцена, которая показалась мне очень странной и непонятной и в которой принял участие весь наш семейный клан. Очевидно, отец придерживался на все эти вещи довольно устаревших взглядов. Он заботился прежде всего о том, чтобы выглядеть пристойно в глазах общественного мнения, опасался, как бы семейные неурядицы не наделали шуму и не повредили его карьере... Когда я думаю об этом теперь, все это представляется мне похожим на традиции латинской семьи, где неверная, уличенная в измене жена покрывает бесчестьем весь свой род, и ее вина требует наказания и отмщения. К счастью, мы были не на Корсике и не в Сицилии... В чем провинилась моя мать, я совершенно не знал. Сцена между моими родителями, надо полагать, имела место еще до моего последнего воспаления легких. Она произошла у бабушек, когда физические и умственные способности крестного были еще в порядке. Когда его разобьет паралич, он будет по любому поводу разражаться рыданиями, сейчас же он еще здоров и сурово отчитывает сестру на основании жалоб, с которыми отец, как я полагаю, обратился к их семье. Эта неистребимая привычка выносить сор из избы меня всегда удручала.

Так я впервые увидел, как мою мать при всех обвиняют, и увидел, хотя в это трудно поверить, как она, всегда такая воинственная и колючая, на сей раз дрогнула перед единодушием своих обвинителей, перед единым фронтом осудившей ее добродетели. Вы ведь знаете моих бабушек, их непримиримость в вопросах морали, и я думаю, что мой дядя тоже им в этом не уступал. В латинской семье брат отвечает за поведение сестры и ревниво следит за ней до замужества. Но в чем же она провинилась, о чем шла в конце концов речь? Повторяю, это мне неизвестно. Мои родственники говорили словно на каком-то иностранном языке. Я лишь вижу, что мама уже не защищается, она горько плачет, она страдает, она одинока, она отвержена, а люди вокруг суетятся, причитают, кричат, побивают ее камнями обидных слов. И я тоже повел себя очень странно. Мне и сейчас непонятно, что же со мной тогда произошло...

Поначалу ошарашенный и оглушенный всей этой суматохой, которая была непривычна для квартиры на улице Клода Бернара, ибо бабушки уже немного постарели и праздная жизнь в новом жилище заметно ослабила их энергию, я вскоре почувствовал, что меня захватывает общее возбуждение, но вместо того, чтобы маму пожалеть, как должно было мне подсказать сердце, вместо того, чтобы, как учит Евангелие, принять сторону слабых, обиженных, угнетенных, я поступил по-другому. Немного подождав и тщетно попытавшись понять смысл происходящего, я позорно примкнул к стану побор-

ников нравственности. Быть может, меня заразила сама атмосфера этого сборища — так бывает порою в толпе, которая неожиданно подчиняет человека своей воле и заставляет его слепо кидаться вместе со всеми на жертву, чтобы ее растоптать... Но это всего лишь предположение. Во всяком случае, я тоже вдруг начал кричать и стал медленно подходить к маме, а она сидела, подперев рукой голову, и плакала. Когда мама плачет, она выглядит особенно трогательно, ее милое круглое лицо морщится, слезы текут ручьями, а тело застывает в неподвижности, и на нее больно смотреть. Я принялся тыкать ей пальцем в плечо и глупо кричать: «Да, это все ты, ты, ты!» — и в приступе гнева даже ее толкнул, как делают дети, собираясь подраться. Ее полные слез глаза посмотрели на меня с удивлением и невыразимой печалью, и это удержало меня от дальнейших действий, я сам испугался своего поступка и, боясь расплакаться, начал отвратительно кривляться, а мама смотрела на меня и шептала: «Что ты, мой маленький...», после чего я убежал в глубину квартиры, и никто не подумал меня искать...

Потом я про эту сцену забыл. Мама вновь овладела собой и в последующих ссорах с блеском выполняла роль, к которой я уже привык и в которой она мне нравилась больше, и так продолжалось вплоть до этого, восьмого года моей жизни, который проходил под знаком праздности и потому мог быть легким и приятным, если бы в ходе вечерних бесед не стали вдруг возникать новые слова, заставляя меня задумываться о будущем; оно было полно смутных опасностей, и сама эта смутность больше всего и пугала. Обычно все начиналось с простой ссоры, но ссора, вместо того чтобы идти накатанной дорогой постепенного музыкального нарастания, поочередно вовлекающего в игру все новые инструменты оркестра, пока не раздастся громоподобный удар апофеоза,— надо сказать, что примерно в таком же плане, только совершенно в другом регистре, происходило музыкальное нарастание и в те вечера, когда отец пытался завоевать мое сердце воинственными рассказами, переодеваниями, игрою на горне,— так вот, вместо всего этого в ссоре вдруг наступило затишье, и сразу все изменилось. Оба погрузились в мрачное молчание и злобно разглядывали друг друга, будто пытаясь измерить непоправимую ошибку, которую они совершили, и в этой тяжелой тишине стали рождаться опасные фразы, которые плыли по комнате, точно клочья ядовитого дыма, фразы вроде вот таких:

— Ясно одно лишь, так больше продолжаться не может.

— Я точно такого же мнения! Можно долго терпеть, и видит бог, сколько пришлось мне вытерпеть, но всему есть предел, и на сей раз решение мое бесповоротно. Я требую развода, ты слышишь?

— Это я его буду требовать.

— Нет, я!

Они долго перекидывались этим мячом, и свидетель в недоумении спрашивал себя, из-за чего они спорят; ссора опять разгоралась, точно между ворами, которые никак не могут поделить добычу, и старые обиды все время перемешивались с новыми. В частности, они попрекали друг друга происхождением: в родне у них, мол, и крестьяне, и паразиты, и дармоеды, и бездарности, и психи... подобные слова я слышал и раньше, они и раньше казались мне оскорбительными и нелепыми, но не угрожали нашему будущему, тогда как теперь они вились и кружились вокруг слова «развод», которое могло как по мановению волшебной палочки уничтожить их совместное прошлое, а заодно и мое прошлое тоже, и каждый спешил нарисовать перед другим райскую картину новой жизни, какой он будет жить после развода, но картина тотчас подвергалась осмеянию со стороны противника, который видел в ней только бахвальство и бессилие.

Я не люблю этого воспоминания, которое незваным гостем порой навещает меня, возникая со злобной четкостью. Час уже поздний, я сонно слоняюсь по комнате, держась от них от обоих подальше; мне хотелось бы не слышать их голосов, и я с тоской вспоминаю то время, когда они сперва укладывали меня спать и лишь потом принимались выяснять свои отношения, но я не могу помешать себе слушать; ах, если бы я был глухим... Но болезни всегда почему-то щадят мои уши. И я поневоле слышу весь этот торг:

— Ребенок, разумеется, уходит со мной.

— Ну уж нет! Только со мной, со своим отцом!

— Нет, с матерью!

— Ну, это мы еще поглядим, черт побери ваш этот бардак!

Удары кулаком по столу, и я понимаю: сейчас они оба направятся ко мне. Я спешу изобразить полнейшее тупоумие.

Мать движется высокомерной поступью королевы, со сверкающими глазами, с окаменевшим лицом.

Отец движется развинченно, верхние пуговицы брюк расстегнуты: хотя кислотность у него немного понизилась, но когда он нервничает, у него снова пучит живот. Крылья его и без того широкого носа раздуты от гнева.

Я не люблю этого воспоминания, я не люблю в нем ни мать, ни отца.

— Мой мальчик,— начинает величественным тоном мать; вот когда ей пригодились уроки дикции, которые она неизвестно зачем брала у актера Пьера Бертена.— Мой мальчик, наш долг поставить тебя в известность: твой отец и я приняли решение расстаться. Мы, понимаешь ли, разводимся. Думаю, я не ошибусь, полагая, что ты захочешь жить со мной. Иди, дитя мое, иди со своей матерью...— И, схватив меня за руку, она в лучших театральных традициях тащит меня к коридору, и этот уход осуществляется так профессионально, что отец на мгновенье растерянно застывает, словно покоренный прекрасным языком и изящной пластикой актрисы.

Я со своей стороны не оказываю никакого сопротивления, надеясь, что роль статиста поможет мне наконец ускользнуть со сцены, но отец уже опомнился и в ярости, что его так талантливо надули, в два прыжка нагоняет беглецов. Схватив меня за свободную руку, он вырывает меня у матери, и она, вспомнив, должно быть, о тех опасностях, которыми чревато соломоново решение, не противится и отпускает меня. Не заботясь о сценических красотах, отец пошло ворчит:

— Иди со мной, сын, со своим отцом...— И отводит меня на то место, с которого я начал свой путь. Следом идет его пока еще супруга; она восклицает, что ему должно быть стыдно, что он потерял всякую человеческую совесть, и, пользуясь мгновенной паузой, снова хватает меня — на этот раз движением более стремительным — и снова тащит к дверям, а отец с бóльшим или меньшим успехом опять пытается помешать ее попыткам. Иногда он преграждает нам путь:

— Ты не пройдешь!

Иногда нам удается добежать до ванной комнаты или до кухни, откуда он нас вытесняет и опять похищает меня.

Иногда мама успевает запереться со мной в спальне; он колотит кулаками в дверь, грозя ее выбить, а мама прижимает меня к себе с такой силой, что я задыхаюсь, и рыдает, и причитает, что никого у нее нет на свете, кроме меня, и, обращаясь к содрогающейся от ударов двери, говорит, что это варварство — отнимать ребенка у матери. Она скорее себя убьет, чем согласится на это, и я останусь несчастным сиротой. И удары сыплются в дверь с удвоенной силой, если только отец, вспомнив, как гулко отдается весь этот скандал на лестнице и у соседей,— тем более что наша квартира находится

в том же подъезде, где живет и домовладелица,— не перестанет ломать дверь. Заявив, что он уходит, а мы можем сколько угодно лизаться друг с другом, он вскоре с пушечным грохотом хлопает входной дверью.

Обессиленная, бледная, со следами слез и синей краски для век на щеках, мама садится на край кровати.

— Вот видишь, так больше жить невозможно. Это ад. Мы будем гораздо счастливее с тобой вдвоем, бедное мое дитя.

Я готов был ей поверить. Пусть все, что угодно, только не эта гротескная чехарда через всю квартиру, только не эта моя нелепая роль главного выигрыша в лотерее. Меня удручало неистовство, с каким они оба домогались моей любви. Удручало и то, что ответ, которого они ждали от меня, часто подавался как уплата какого-то долга. Кто ухаживал за тобой? Кто спас тебе жизнь? Кто всем пожертвовал ради тебя? Кто в муках родил тебя? Кто тебя воспитывает? Кто тратит столько средств на твое образование? Не было забыто ничего, вплоть до наследственных черт, которые так ясно видны в моей внешности и характере; по поводу этого пресловутого сходства они спорили с тем же пылом, с каким препирались по поводу развода, тщательно разбирали черта за чертой мою физиономию, обсуждали лоб, нос, глаза, рот и все прочее, чтобы найти лишний аргумент в свою пользу. То я бывал ничуть не похож на отца, то ничуть не похож на мать, и в мою душу даже закрадывалось сомнение: может быть, я не был зачат, как все смертные, двумя существами разного пола, быть может, я плод нового евангельского чуда?

Сцены такого рода, с их мягкой вкрадчивостью и притворством, смущали меня не меньше, чем трагедийные действа, и не только потому, что я подвергался допросу относительно моих привязанностей,— перед лицом нависавшей надо мной опасности я забывал о своих истинных предпочтениях и как за спасительную соломинку цеплялся за ложь, утверждая, что одинаково люблю и папу, и маму,— а потому, что они вносили ужасный разброд в мою душу: начиная уже привыкать к мысли о возможности моего сверхъестественного появления на свет, я тут же оказывался то вылитым портретом матери, то вылитым портретом отца и в недоумении спрашивал себя, чей же я в самом деле сын. Раздираемый пополам, оспариваемый, бесконечно то так, то этак переделываемый — кем же я был в конце концов? Я подолгу разглядывал себя в большое зеркало нашего шкафа, которое, по моему разумению, должно было за столько лет привыкнуть к тому, чтобы давать точнейшее отражение моей особы, и подвергал тщательному осмотру разные части своего тела, но привычный мой облик уже казался мне теперь только лишь видимостью, хрупкой маской, и холод сомнения пронизывал мое существо....

Я сохраню следы этих сомнений в форме отсутствия уверенности в себе, в форме склонности подражать тому, кто кажется мне сполна наделенным теми свойствами, которых мне не хватает, с тем чтобы потом, совершив крутой поворот, обратить свой ищущий взгляд на других в надежде отыскать сходство с иными, на сей раз противоположными образцами. Право на свое собственное «я», право ощущать свою личность как собственную, во всех ее связях с реальной действительностью и с присущим только ей одной характером этих связей,— это право мне придется завоевывать, и завоевание будет трудным и долгим, навсегда омраченным тенью тех давних споров, при которых возможность противоположного мнения начисто исключалась.

Однако сцены между родителями, несмотря на частое свое повторение, не приводили к тем последствиям, которых я так опасался и которые так упорно родителями провозглашались. Дом не рушился, неизбежный разрыв не происходил. Более того, неизбежность

эту они начинали обживать и уютно в ней устраиваться, что окончательно сбивало меня с толку.

Мы разводимся!

На другой день после очередного представления, завершавшегося пушечным громом захлопнутой двери, отец с утра уходил на работу, как будто ничего не случилось, разве что бывал несколько молчаливей обычного. Мама опять становилась ласковой и простой и занималась своими обычными утренними делами с явным удовольствием, словно развод придавал им дополнительную пикантность. Как это объяснить? Она пребывала в приятном, чуть ли не радостном возбуждении, как будто катастрофа была для нее благой вестью, вроде извещения о рождении или свадьбе. Именно извещения! Ей было необходимо, чтобы новость как можно скорее распространилась вокруг.

Обычно эта великая весть в первую очередь сообщалась прислуге. Используя в качестве предлога любое пустяковое замечание по поводу покупок или меню обеда, мама меланхолически роняла фразу о том, что скоро эти проблемы вообще отпадут, и, видя удивленно-сочувственное выражение на лице горничной, которая, очевидно, понимала дело таким образом, что мы начинаем поститься, торопилась уточнить, что мсье и мадам собрались развестись; это решение чревато, кроме всего прочего, печальной необходимостью, вынуждающей прислугу искать себе новое место, что маму страшно огорчает, потому что она очень довольна ее старательностью,— но в жизни случаются обстоятельства, которые от нас не зависят, не правда ли?.. Чаще всего это заявление только лишь ускоряло ход событий. Прислуга, еще раньше решившая от нас уйти, весело говорила, что мадам не стоит расстраиваться, потому что она, прислуга, уже и сама начала искать другое место и что теперь все получается как нельзя лучше, она боялась сообщить мадам о своем уходе, тогда как теперь... Тут прислуга мгновенно утрачивала все добродетели, которые ей до этого приписывались. Теперь ее сурово обвиняли в скрытности и вероломстве. Если та была остра на язык и не лезла за словом в карман, беседа перерастала в стычку, и вероломная особа тут же требовала расчета, прибавляя свое имя к и без того длинному перечню Жанин, Кристиан, Франсуаз, Симон и других святых католического календаря, которые недолгое время разделяли с нами тяготы жизни и которых отец вносил в особый реестр с педантичностью муниципального чиновника. Случалось, что наперсница, придав лицу подходящее случаю выражение, спрашивала, не должна ли она взять расчет с сегодняшнего дня. Мама с живостью перебивала ее и просила этого не делать: процедура развода долгая, не следует торопить события, и добрая женщина может со спокойным сердцем отправляться за покупками. Прислуга уходила в полном недоумении, которое разделял и я.

Выполнив эту миссию, мама приступала к своему туалету, производя его со стремительной быстротой, даже не колеблясь в выборе платья, после чего становилась трудолюбивой пчелкой, разносчицей вестей, и проявляла некоторую нерешительность только в вопросе о том, в каком порядке следует нести людям эту поразительную новость — осчастливить ли сперва госпожу Мадлен или госпожу Марбо, вдову, живущую во дворе, да еще раздумывала какое-то время на тему о том, как отнесутся к новости супруги Ле Морван и в каких выражениях им новость подать; заботил ее и доктор Пелажи: прилично ли будет сообщить ему о предстоящем разводе, когда он придет меня осмотреть. Все эти дипломатические соображения были для нее полны захватывающего интереса, они придавали повседневности желанную остроту. Привилегия узнать обо всем в первую оче-

редь предоставлялась обычно Маргерит Мадлен: маму раздражало царившее в этой семье согласие; пусть это послужит им уроком!

Мама уходила. Оставшись один, я предавался раздумьям о своей горькой судьбе и о серьезности принятого родителями решения; дни шли за днями, и серьезность постепенно угасала, но мне, увы, не удавалось привыкнуть ко всей этой светской возне, которая обвивала каждую новую вечернюю сцену какой-то дурацкой гирляндой, беспокоившей меня самóй своей неуместностью, как если бы похоронная процессия засверкала карнавальной мишурой. Я слонялся из комнаты в комнату, разглядывал нашу мебель, наши стены, наши вещи, наши окна, смотрел на открывавшийся из окон вид, перебирал игрушки, искал утешения в мыслях о том, что здесь всего очень много, что делить имущество будет трудно и что сам я, главный вещевой приз, буду еще долго предметом бесчисленных споров, особенно если я учиню обструкцию, откажусь выбирать между матерью и отцом, переселюсь на нейтральную территорию, например к своим бабушкам, или вообще убегу, сяду на корабль и уплыву на остров... Склонный к пессимизму и тревоге, я готовился к длительному путешествию и невольно начинал в мыслях перебирать вещи, которые возьму с собою в дорогу, прикидывая, чтó мне придется оставить на берегу, поскольку на корабль большого багажа не возьмешь...

Тем временем развод, вместо того чтобы материализоваться, продолжал все так же пребывать в сфере речей и пересудов, которые становились все более обстоятельными и многословными, подкармливаясь сценами, общие контуры которых я обрисовал. Всполошив всех близких друзей, чьи реакции скрупулезно учитывались (под чьи знамена они встанут? Ведь друг одной стороны не сможет уже продолжать дружбу с другой), мама, как настоящий стратег, попыталась заручиться союзниками в более отдаленных местах. Она принялась писать множество писем на бумаге небесного цвета, по которой перо ее скрипело и брызгало,— увлеченная своей исповедью, она слишком сильно нажимала на него; многие листки оказывались из-за этого в корзине, а потом подвергались сожжению, дабы избежать огласки, что было бесполезно, потому что счастливчики, получившие письма, разносили наши семейные разногласия во все концы света, до самых дальних провинций, до Бордо, где жила дочка моей тетки Луизы, до Сен-Бриёка, где обитала глухая сестра майора колониальной пехоты, друга моего крестного, и так далее.

Эти голубые письма продолговатой формы, от которых исходил легкий запах рисовой пудры, казалось, вели назад, в мое прошлое, чтобы переделать его на потребу тому туманному будущему, которое было мне уготовано... Хотя, говоря правду, было неясно, какой поддержки могла ожидать моя мама от глухой старухи из Сен-Бриёка. Впрочем, письма оставались без ответа, и мне порой кажется, что она писала их просто для времяпрепровождения, ради того, чтобы дать отдых своим нервам.

Так наш развод уходил понемногу в песок, если попытаться с помощью этой метафоры выразить суть двусмысленных пророчеств моей тети Луизы, от которой в данном случае потребовали, сами понимаете, пустить в ход *заветную колоду*. Как и прежде, тетя возникала в доме как призрак, приносила мне фигурные сласти и самозабвенно предавалась созерцанию духов, что осуществлялось теперь сложными мыслительными ходами, так как зрение у нее сильно ослабело из-за катаракты, и от этого у нее еще больше прибавилось странностей. Она уже не прикладывала руку козырьком к своим тусклым глазам и не вопрошала, возникая в дверях: «Глянь-ка, сестрица, не едет ли кто?» Теперь, то ли не замечая из-за своей полуслепоты, что я уже вырос, то ли, в силу какой-то особой склонности, придавая образам живых ту же застывшую неизменность, какая при-

суща образам покойников, она вместо приветствия декламировала мне комический монолог, который я всякий раз находил очень странным и поэтому совсем не смешным:

Болтовня-то болтовня,
Да нету дыма без огня!
У меня кошачья лапа,
На ушах большая шляпа —
Не хотите ль, господа,
Заглянуть ко мне сюда?
В потайном своем чулане
Сидит бука на диване,
По углам глазами шарит,
На огне кого-то жарит.
Сальца маленький кусочек
Я у буки попросил,
Рассердился бука очень,
Щедро палкой угостил.
Ай-яй-яй, хозяин злющий,
Ты за что кота огрел?
— Чтобы этот кот хитрющий
От безделья не жирел!

Ее общение с духами по-прежнему носило очень оживленный характер, и для того, чтобы содействовать более активной циркуляции флюидов между землей и индивидуумом, она каждое утро заставляла себя есть глину; она где-то покупала ее в маленьких горшочках, похожих на те, в каких продают простоквашу; закончив свой стихотворный монолог, она обычно ставила один такой горшочек в виде образца на ночной столик в нашей спальне. Я так и не знаю, попробовал ли отец этого снадобья; хотя он и был падок на всякие новые лечебные средства, а тетя Луиза приписывала своей глине еще и омолаживающий эффект, но очень уж его пугал отвратительный вкус этой смеси.

Странно другое: в результате регулярного приема глины тетя теперь наверняка должна была получать внушительные порции флюидов, однако, когда речь зашла о том, чтобы предсказать наше будущее, она заставляла себя очень долго об этом просить. Быть может, она подпала уже под влияние тех сект, в частности секты Christian Science, которые вскоре принудят ее отказаться от всякой оккультной практики. А может быть, дело было просто в мучившей ее катаракте. Так или иначе, но она боялась пробудить враждебные силы, способные худо повлиять на наше будущее, и без того поколебленное неосторожным решением моей мамы. Попытки что-то узнать не всегда производят благоприятное действие... Маме пришлось выказать крайнее нетерпение, даже намекнуть, что ссылками на мнимые профессиональные трудности Луиза пытается прикрыть какую-то недостойную дипломатическую игру, чтобы моя тетя решилась наконец вытащить на свет свою колоду и после бесконечного ее тасования, а также многократного вычерчиванья над нею в воздухе магических узоров запросить мнение карт о нашей судьбе.

Нет, все же зрение, пожалуй, играло тут свою роль; масть карт она еще кое-как различала, но фигуры повергали ее в полное замешательство, и, несмотря на огромную практику, она часто просила нас говорить ей, какая открылась карта — дама или валет. Всякому понятно, что в таких условиях карты выдавали информацию весьма неохотно. Мужчины, которых следовало опасаться и которые обычно представали в своих символических одеяниях в качестве или вестников, или любовников, или супругов, открывались теперь в поистине непристойном смешении всех качеств сразу, что было знаком легкомыслия, непостоянства или предательства. Даже сама мама, когда она тоже наконец появилась («Смотрите, это вы, Жюльетта, это вы!»), предстала в окружении каких-то сомнительных личностей. В деле развода следовало проявлять величайшую осторожность.

— Вы уверены в этом, Луиза?

— Насколько вообще можно быть в чем-то уверенным,— отвечала тетя ничего не значащей фразой и снова утыкалась носом в колоду, точно взявшая след собака.— Предстоит дальняя дорога, вернее сказать, пребывание на курорте, где что-то должно произойти, но будьте осторожны! Мужчина, который уже один раз появлялся, возвращается снова. Какую роль может он играть? Тяните карту... Еще одну. Нет, все по-прежнему смутно. Тяните еще одну, надо поглядеть... Ничего не поделаешь! Нет...

Все оставалось зыбким, двусмысленным и туманным, как в потайном чулане, где тебя вместо сала угощают увесистой палкой. Я был тоже, как и мама, обманут в своих надеждах, только надежды у нас с ней были разные. Мне бы хотелось, чтобы карты оказались откровенно плохими, чтобы духи дружно выступили против наших планов, со всей решительностью и прямотой. Ибо неясность их ответов оставляла место для сомнений в тетином мастерстве и позволяла маме пренебречь ее предостережениями.

Мама, наверно, была не так уж и неправа, когда намекала, что тетя Луиза ведет себя недостаточно откровенно — впрочем, то было давнее мамино подозрение — и что у нее ослабели не только глаза. Маме потребовались дополнительные консультации, она вынуждена была обратиться к профессиональным гадалкам, и эти дамы, одни из которых были похожи на цыганок, а другие держались как старые сводни, осыпали ее еще одной порцией самых противоречивых пророчеств. Уже было совсем непонятно, к кому обращаться за советом, и меня не покидало чувство беспокойства, как бывает всегда, когда ты в тревоге чего-то ждешь, и чего-то боишься, и нет перед тобой ни одного конкретного факта, которым можно было бы это ожидание ограничить, измерить, объяснить. Я входил в то психическое состояние, которому суждено было стать для меня привычным и постоянным.

А месяцы шли, уже не за горами было и лето, лето в зыбучих песках, в которых увязал наш развод, и все оставалось по-прежнему неизвестным, неизбежность растягивалась как резина и становилась неотъемлемой частью нашего существования, и ее угасавшее пламя время от времени опять разгоралось благодаря новым *сценам*, но вот что удивительно: хотя все эти события и накладывали свою печать на мой характер, настроение мое при этом отнюдь не делалось грустным.

Я учиняю всяческие безобразия

В самом деле, по мере выздоровления я вновь обретаю вкус к жизни, что выражается в большом возбуждении, которое трудно удержать в каких-либо рамках. Возможно, я просто устал от постоянного сидения взаперти, когда ты видишь мир лишь сквозь оконные стекла; нельзя же всерьез считать прогулками те короткие и редкие выходы из дому в хорошую погоду, которые длятся ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дойти от нашего дома до улицы Клода Бернара, где моим единственным развлечением оказывается возможность постоять у окна, выходящего на сады Валь-де-Грас. Забавы, которыми я себя тешу при этом, могут дать вам какое-то представление о бурлящих во мне силах.

Разбитый параличом дядя был вынужден отказаться от радостей охоты и рыбной ловли, но он не утратил интереса к оружию, и квартира моих миролюбивых бабушек битком набита всевозможными ружьями, револьверами и карабинами, и я тайком пользуюсь этим арсеналом. Я отыскал патроны, предназначенные для красавца карабина «Флобер», и всякий раз, когда оказываюсь в комнате один, упражняюсь в стрельбе по птицам старого парка, с пользой приме-

няя уроки, которые так неосторожно давал мне в свое время крестный. Это жестокое развлечение не вызывает у меня больше угрызений совести. Я безжалостно палю по всякой летящей цели, не причиняя, к счастью, птицам большого вреда: то ли я не очень меток, то ли оружие плохо отлажено. Мои тайные подвиги продолжались довольно долго — если тетка моя слепа, то бабки понемногу оглохли — и прекратились только после того возмущенного выговора и угроз заявить в полицию, с какими к нам ворвался один сердобольный военный, проходивший по саду как раз в тот момент, когда я подстрелил воробья. Я испугался. Впрочем, моя репутация несносного ребенка и без того уже достаточно утвердилась, и эта последняя выходка лишь грозила переполнить чашу терпения. Но чаша переполнилась еще не в этот раз.

Несносный ребенок — именно так виделась взрослым вновь пробудившаяся во мне радость жизни. Я становлюсь все более трудным, бью вокруг себя и крушу, подвергаю дом разграблению, *учиняю всяческие безобразия* в подражание Бедокуру, герою моего раннего детства, к чему теперь добавляется гибельное влияние «Наставлений слугам». Эта настольная книга вдохновляет меня на дерзкие, даже опасные проделки, число которых я непрестанно множу, ибо недаром говорится, что безделье — мать всех пороков, и ничто не в силах меня на этом пути остановить: ни увещевания, ни кары на меня совершенно не действуют. Да меня, честно говоря, больше уже и не наказывают. Как в те добрые старые времена, когда я издевался над прабабушкой, а потом падал на пол и, мастерски изображая приступ *падучей*, увиливал от наказания,— мне снова становится дурно, я страшно бледнею, а потом и синею, я растягиваюсь во весь рост на полу и задыхаюсь, как выкинутая на берег рыба, и вот-вот совсем потеряю сознание, и чтобы вернуть меня к жизни, мама опять вдувает мне в легкие воздух, еще энергичнее, чем она это делала прежде, и напуганные этим эффектным представлением родители вынуждены мириться с тем, что в рубашках, которые они надевают, вдруг оказываются какие-то колючие волоски, что стулья, на которые они садятся, облиты чем-то холодным и липким, что в пачке обнаруживается взрывающаяся сигарета, на столе под салфеткой ползает очень правдоподобно сделанный паук, на мебель налеплены отвратительные лепешки, художественно воспроизводящие некую субстанцию, а большие участки паркета тщательно намазаны мылом. Я ухитряюсь наплевать или напи́сать в кастрюли и в блюда́. Мои пистолеты, стреляющие пробками и картошкой, с гулким грохотом пачкают стены, а химические вещества то и дело взрываются у меня под носом, как будто я монах Шварц [1]. Когда меня приводят к врачу, я люблю незаметно повредить у него что-нибудь из медицинской аппаратуры, а то и умудряюсь что-то украсть — например, инструменты — и даже, если мне удается на минутку выскользнуть из приемной, сунуть в карман какую-нибудь безделушку или кое-что из столового серебра. Осмелев от почти полной безнаказанности, я вскоре решил, что мне любая власть нипочем, но это было с моей стороны большой ошибкой. В частности, не оправдался мой расчет на то, что никто мне не попеняет за мои выходки вне стен нашей квартиры. Эти проступки меня и погубят, они-то и будут вменены мне в вину, а вовсе не мелкие кражи у окрестных коновалов и даже не мои бесконечные шутки над матерью и отцом. И уж ни в коем случае не следовало мне вступать в конфликт с особами, проживавшими в нашем доме, здесь-то и подстерегала меня коварная ловушка.

Мои родители вели с давних пор скрытую войну с нашей домовладелицей, некоей госпожой де Парис, которая к тому же была нашей соседкой по подъезду. Начало военных действий восходило к

[1] Бертольт Шварц — изобретатель пороха.

истории с изгнанием одной привратницы. Желая, видимо, искупить свою вину в отношении моих бабушек, родители впали в филантропический раж, решительно встали на сторону простонародья и стали чинить всяческие препятствия увольнению привратницы, чем навлекли на себя гнев владелицы дома, которая неугодную привратницу все равно в конечном счете уволила.

Но мы отыгрались в последовавшей за этим битве за кошку. Согласно контракту, жильцам запрещалось держать в доме какую бы то ни было живность, начиная с собаки и кончая попугаем, но в результате ожесточенных сражений, в которые вовлечена была даже Лига защиты животных, нам удалось сохранить у себя сиамского котенка, подарок доктора Пелажи, к которому отец поначалу отнесся враждебно, но запрет, наложенный госпожой де Парис, коренным образом изменил его чувства. Нельзя было упускать чудесную возможность «дать по морде старой шлюхе и ее гнусной приспешнице», как энергически выразился он по этому поводу. Приспешницей была служанка с крысиной физиономией; подозрительная и сварливая, она вечно подглядывала в глазок за тем, что делается на лестнице, торопясь донести своей хозяйке о любой мелочи, способной нам навредить, и всегда злобно отчитывала меня, утверждая, что я веду себя на лестнице шумно и все вокруг пачкаю. Так что сами судите, при какой обстановке включился я в эту игру.

Госпожа де Парис вовсе не выглядела шлюхой. Наоборот, это была изысканная дама, очень дорожившая своим — не знаю, действительным или мнимым — дворянством и старавшаяся держаться необычайно величественно, но это было только смешно, потому что очень уж она стремилась скрыть свой возраст. Лицо у нее было покрыто толстым слоем белил, она ходила в парике и очень туго затягивала талию, дабы подчеркнуть внушительные размеры бюста и зада. Когда у отца случалось хорошее настроение, он великолепно передразнивал эту *толстуху*, эту *дебелую бабищу*, эту *старую перечницу*, эту *глупую тетку* — в прозвищах у нас никогда не было недостатка. Он засовывал себе в брюки подушку, заталкивал под жилет разные тряпки и жеманно, как-то по-куриному семенил по комнате, потом церемонно присаживался на краешек стула; потом, выпятив грудь и выставив подбородок, он брал в руки воображаемую чашку и манерно пил чай по всем правилам светского этикета. На сей раз я аплодировал ему от души, я искренне восторгался теми изобретательными проклятиями, которыми он осыпал домовладелицу и ее служанку: чтоб они сдохли, чтоб их в аду черти изжарили, пусть прогуляются туда-то и туда-то,— и мне очень нравилось неистовое желание дать им ногою под зад, которое неизменно обуревало отца. Лучших мишеней для моих злостных выходок было не найти, и я со спокойной душой принялся за дело, на сей раз уверенный в полной поддержке моих домашних. Мне только скажут спасибо, если я избавлю всех нас от этих вредных существ — ведь недаром же отец смешивает их с грязью. Это было непростительной самонадеянностью с моей стороны, а самонадеянность, как известно, обрекает на разгром самую сильную армию.

Итак, я принялся вновь разжигать вражду. Поначалу я действовал довольно робко. Я знал, что Аннетта, гнусная приспешница, была противником серьезным. Следовало прощупать почву. Я ограничился сперва тем, что начал систематически пачкать лестницу, а также строить приспешнице рожи, когда она, заслышав мои шаги, приоткрывала дверь. Но особой пользы это не принесло. Должно быть, смирившись с неизбежным соседством этих неприятных, но довольно влиятельных жильцов, которые к тому же вносили без задержки квартирную плату, Аннетта в ответ лишь тоже корчила рожи, еще более отвратительные, чем мои, что вызывало во мне бешеную зависть, да грозила надрать мне уши, как только я ей попадусь.

Нужно было переходить к более суровым формам борьбы. Избрав целью нападения их балкон, находившийся в непосредственной близости к нашему, я начал его заплевывать и поливать мочой. Это вызвало восторженное одобрение банды уличных мальчишек, которая иногда тоже использовала тот же балкон для своих нападений. С мальчишками у меня были, увы, самые отдаленные контакты, поскольку мне категорически запрещалось водиться с «отродьем», как неизменно называла их моя бабушка, и вот теперь я обретал в их глазах вес, становился таинственным мстителем. Мальчишки ненавидели Аннетту не меньше, чем я, ибо она свирепо гонялась за ними, стоило метательному снаряду попасть ей в окно, и производила иногда с чьими-нибудь ушами ту самую операцию, которую так упорно грозила произвести с моими. Мои новые проделки были встречены Аннеттой гораздо более нервозно, и, сидя в укрытии, я наслаждался криками отчаянья и гнева, с которыми эта маниакальная поборница чистоты выскакивала на балкон; потом раздавался сладкий голосок госпожи де Парис; служанка призывала ее в свидетели, и та свешивала над перилами свои передние выпуклости, пытаясь определить, как попала на балкон эта мерзость. Какое-то время в силу элементарного классового предрассудка подозрения обходили меня стороной. Так напакостить могли, конечно, только уличные мальчишки, и Аннетта принималась преследовать их с удвоенной силой.

Я счел, что нахожусь на верном пути, и стал искать способа наилучшим образом использовать свое преимущество. Моя фантазия била ключом, я уже мечтал о протянутых к вражескому балкону веревках, он был уже весь залит скользкими, зловонными лужами, и над ним висели ведра с водой, которые мгновенно опрокидывались, стоило Аннетте открыть балконную дверь. Все это продолжалось до того злосчастного дня, когда изречение «Глаза имеют, а видеть не желают» перестало действовать. От моих упражнений на стене оставались следы, которых просто нельзя было не заметить. По горящим ненавистью взглядам, которые бросала на меня Аннетта, когда мы сталкивались на лестнице или оказывались оба на балконах, я понял, что зловонный след вывел ее наконец на меня и она только ждет случая застать меня на месте преступления. Мне надо было проявить осторожность, и я это знал, но я уже не мог ничего с собой поделать, точно какой-то бес, жаждавший моей погибели, вселился в меня.

Аннетта, превратившаяся в стоокого Аргуса, застигла меня, когда я посылал на ее балкон очередной плевок. С торжествующим воплем и с быстротой Эвмениды она кинулась звонить в нашу дверь, дабы разоблачить мою зловредность, но была встречена с недоверчивостью, смешанной с раздражением. Моя мама, как вы понимаете, хоть и имела глаза, но видеть не желала, особенно если ее сына обвиняли в мерзком поступке и называли подлым и порочным мальчишкой. Даже отец, когда его поставили в известность, повел себя несколько двусмысленно, точно человек, которому подали неплохую идею. Он, конечно, стал по привычке очень громко кричать, но за всеми его «Черт побери!» я ощущал некую заднюю мысль; она очень хотела пробиться наружу, а он с превеликим трудом ее отгонял. В этих условиях я мог бы еще выпутаться из беды, но бес не дремал. Меня не устраивала эта отцовская задняя мысль, я был настолько наивен, что желал открытого признания своих заслуг, и я не нашел ничего лучшего, как сочинить анонимное письмо.

В тот же вечер я составил послание и адресовал его «Мамаше де Парис и Аннетте с крысиной рожей». Я вложил в него весь запас ругательств, слышанных от отца, не забыв, разумеется, его советов прогуляться туда-то и туда-то, прежде чем подставить свой зад чертям в аду. Я подписался — «Таинственный мститель».

Прибавьте сюда орфографические ошибки и выполненную цветными карандашами карикатуру, которая, по-моему, очень неплохо получилась; она изображала госпожу де Парис с кормою и бюстом внушительных размеров; чья-то когтистая лапа срывала у нее с головы *парик* (это слово я рядом еще и написал и обвел его кружком); тут же стояла голая Аннетта, и чертенята кололи ее вилами в зад. Свое произведение я запечатал в конверт и сунул утром владелице дома под дверь.

С глаз родителей упала последняя пелена. Госпожа де Парис сочла послание прекрасной иллюстрацией к еще одной поговорке: «Яблоко от яблони недалеко падает». И она отказала отцу в квартире, отправив соответствующее уведомление официальным путем на гербовой бумаге, что само по себе являлось оскорблением! Чаша терпения переполнилась. Больше уже никто не смеялся.

Мне надавали оплеух, и впервые в жизни я должен был снести унижение, гораздо более страшное, чем оплеухи. Меня заставили просить прощения на коленях. Я стал наконец недостойным ребенком, стал наконец чудовищем. Обе бабушки плакали так же горько, как крестный.

С нового учебного года тебя поместят в пансион

Быть чудовищем мне в общем-то нравилось, сбывалась моя давняя мечта превратиться в ужасного героя наподобие Бедокура. Однако этот взрыв суровости, так внезапно и резко пришедший на смену полосе снисходительности, мое унижение, стояние перед отцом на коленях — причем никто уже не вспоминал о моих обмороках и даже мама не решилась защищать меня,— все эти свидетельства решительного отказа в помиловании были для меня полной неожиданностью. Как и предсказывала тетя Луиза, когда спрашивала мнение карт о разводе, я, сам того не ведая, выпустил на волю грозные таинственные силы. И они продолжали преследовать меня.

Я не мог предвидеть, что хотя быть чудовищем по-своему и лестно, но чудовищ никто не любит, все норовят держаться от чудовищ подальше. Опять пошли разговоры о том, что надо меня отослать если не в исправительную колонию по соседству с Эмилем, то уж во всяком случае куда-нибудь в провинцию, в пансион. Разумеется, это наказание в том виде, в каком я вам его сейчас представляю, выглядело в моих глазах неоправданно суровым, никак не соразмерялось с моими проделками, каким бы длинным ни был их перечень. Но если говорить честно, дело было, конечно, не только в моих проделках, они лишь дополнили целый комплекс причин, иные из которых к моей зловредности никакого отношения не имели. Я лишь ускорил разработку давно намечавшегося плана, который, возможно, так никогда и не был бы осуществлен, если бы не приспели мои безобразия, придав моему поведению необходимую моральную окраску.

В самом деле, вопрос обсуждался у нас, по-видимому, давно, и отголоски этих дебатов доходили до меня в виде безобидных предупреждений, которые можно было воспринять как очередную шутку: «Если ты дальше будешь себя так вести...» — и я слушал лишь вполуха, ибо все это произносилось тем же тоном, каким пугают детей букой или говорят, что у меня отвалится палец, если я не перестану его сосать. Когда отец настаивал, мама с улыбкой восклицала: «Бедный малыш! Такой слабенький! Он там не выдержит!» И спешила добавить, что она будет очень скучать, и набрасывалась на меня с поцелуями. И я чувствовал себя в полной безопасности и совершенно не думал о том,— да и как мог я об этом думать? — что людей часто одолевает необоримое искушение воспитывать своих детей в тех же условиях, в каких когда-то воспитывались они сами.

Вспомните рассказы моего отца: деревенская школа, десять километров каждое утро, чтобы добраться до школы, потом в семь лет — в семь, ты слышишь? — сиротский приют у братьев монахов, подъем в пять утра, дисциплина, неистовая работа, выученный наизусть список департаментов,— так что до сих пор подними меня среди ночи и спроси, ну давай, спрашивай же меня! — а потом аттестат о среднем образовании, добытый такой ценой, что рядом с ним экзамен на бакалавра покажется детской забавой. И вот результат: перед вами закаленный мужчина, а из лицея выходят мокрые курицы вроде меня. Эту песню я слышал от отца чуть ли не ежедневно, свое трудное детство он помнил в мельчайших подробностях, а перед ним постоянно маячила моя жалкая персона, это досадное напоминание, что сын ни в чем на него не похож, тогда как был обязан походить на него во всем. Пансион предоставлял прекрасную возможность возместить понесенный ущерб. Искушение не покидало отца ни на миг, но, увы, я постоянно болел. И вот нескончаемая болезнь, эта моя верная защита, наконец отступила — и не только отступила, но и обернулась против меня.

Ибо жизнь в пансионе оказывалась самым лучшим лекарством для моих бронхов и легких: воздух, знаменитый деревенский воздух, когда им дышишь в юности, дает человеку здоровье на всю жизнь, этот своего рода постоянный курс лечения куда полезнее всяких курортов или минеральных вод, на курорты я еще успею наездиться, и тут, вспомнив про воздух, которого ему в его конторе, конечно, всегда не хватало, отец впадал в лирический экстаз. В своем неизменном черном пиджаке, в жестком крахмальном воротничке, который давил отцу шею, но которого он все равно никогда не расстегивал, настолько привык носить служебную форму, он начинал с умилением вспоминать о лягушках, которых он лавливал некогда в болоте, в глуши своего родного Морвана. Когда нам случается вместе с супругами Пелажи пойти на воскресную прогулку, в Шавильский лес, отца охватывает ликованье, он раздувает ноздри, стараясь втянуть в себя как можно больше воздуха, и при этом широко разводит руки, точно преподаватель гимнастики. Это и есть все тот же пресловутый *глоток воздуха;* отец не устает смаковать его на протяжении всей прогулки; для меня же этот глоток чрезвычайно опасен, потому что благодаря этой хитрой уловке отцу удается постепенно привлечь на свою сторону и доктора Пелажи, и даже маму, которая была поначалу моей верной союзницей.

Так, от воскресенья к воскресенью, от бриджа к бриджу, идея пансиона вынашивалась и вызревала, перемежаясь иногда периодами выжидания, которые были для меня не менее опасны, ибо за это время люди исподволь к ней привыкали. Теперь нужен был только подходящий предлог, который избавил бы всех от последних сомнений. Учиненные мною безобразия, которые увенчались блистательной карикатурой на мамашу де Парис, как раз и явились таким предлогом. Интернат принимал форму искупления моих грехов. Я сам захлопнул дверцы ловушки!

— С нового учебного года будешь жить в пансионе! Это решено. Получай то, что заслужил.

Я не верю своим ушам: словопрения впервые привели к практическим результатам! Но где же этот пансион?

После долгих поисков и новых колебаний возьмут верх советы одного нашего знакомого учителя: никаких заведений, слишком удаленных от столицы, никаких каторжных тюрем — самая обыкновенная школа в пригороде Парижа, лицей Лаканаль в Со, который расположен рядом с обширным парком, так что у меня всегда будет превосходный *глоток воздуха;* к тому же воскресенье я буду проводить в семье. Решение это наполняет родителей, мягко говоря, восторгом. Для видимости я выражаю покорность, но в эту затею не

верю, может быть, потому, что от страшного рубежа меня отделяют еще долгие месяцы, а может быть, и потому, что благодаря болезням и хитроумным уловкам я привык всегда добиваться своего. Ведь речи пока что остаются речами. Они парят в воздухе, словно превратившиеся в куски льда слова во время путешествия на север Пантагрюэля. Нужно только не говорить слишком громко, а еще лучше вообще на эти темы не говорить.

Как знать, вдруг и на этот раз?.. И полагаясь на чудодейственную силу молчания, я забываю о том, что́ судьба уже вынесла приговор, и думаю лишь о близящихся каникулах.

В порядке отступления от сюжета: выдра

Пока крестного не разбил паралич, он прекрасно выглядел, ходил с тросточкой, и даже неуверенность походки очень ему шла, придавая дополнительное благородство; он начинал лысеть, и от этого лоб его казался еще более высоким. Крестный пристрастился к рыбной ловле на удочку в низовьях Сены и купил моторную лодку, пренебрегая недовольством своей матери, которая считала эту покупку слишком дорогой и опасной. Чтобы задобрить бабушку, он как-то взял нас с собой в Баньер, на места своих подвигов, и мы провели там несколько дней. Сена, которая здесь уже очень широкая, течет, извиваясь между холмами, и чарует красотою своих пейзажей. Там было тогда еще довольно безлюдно, никакой промышленности поблизости, и вода сохраняла удивительную чистоту; она струилась медленным прозрачным потоком, который там и сям рассекали поперечные борозды, бежавшие по воде от прибрежной осоки. Я был очень восприимчив к этим новым для меня картинам; проникнутые гармонией и покоем, они легко и радостно вписывались в мое поле зрения. Струение, зыбкость, гладкость властно манили к себе, и я с удовольствием поддавался сладкому головокружению, которое охватывало меня, когда я подолгу смотрел на плавно текущую воду, в изобилии дарившую взору вереницы сменяющих друг друга грез; в этом головокружении была томительная безмятежность, постепенно стиралась граница между миром и мной, я забывал о себе, и мне было радостно о себе забывать, как на заре бытия, когда я погружался вечером в сон; но сейчас это забвение было даже еще приятней, оно становилось уже не отсутствием, а слиянием, оно растворяло в себе мои тревоги, и все делалось во мне летучим и легким, словно тени в глубине вод.

Крестный, надевший по этому случаю матросский берет, который придавал ему некоторую простоватость, удостоил нас чести быть приглашенными в лодку. Торжественность акта не смогла, однако, успокоить бабушку, которую страшно напугала качка, а также несоответствие между крохотными размерами судна и бескрайностью окружавшей нас реки. Вцепившись в планшир, она, не умолкая, предрекала нам катастрофу и вспоминала все несчастные случаи, о которых сообщалось в местных газетах. На твердую землю она ступила с видом потерпевшей кораблекрушение в океане.

Ее отвращение к речным прогулкам оказалось мне на руку, потому что крестный стал брать с собой на рыбалку только меня одного. Он, как и я, чувствовал себя счастливым на реке, она легко несла его безжизненную ногу, которая так осложняла ходьбу; ему было хорошо сидеть в лодке еще и потому, что такая позиция подчеркивала стройность стана этого бывшего фехтовальщика. Выбравшись на середину реки, мы выключали мотор и, закинув удочку без поплавка, отдавались на волю течения, молча слушая, как плещется волна, как выпрыгивает из воды рыба, как кричит где-то птица. Лицо крестного становилось задумчивым, он погружался в мечты, ко-

торыми не делился, но я ощущал их где-то рядом, и мне было хорошо от такого соседства.

Больше всего мы любили места возле лесистого острова, делившего реку на два неравных рукава. В рукаве более узком течения почти совсем не было, он густо зарос кувшинками, водорослями и камышом. Здесь мы закидывали удочки с пробковыми поплавками, тоже, впрочем, без особого успеха, да нам и не нужно было никакого улова, нам просто было очень хорошо здесь, на краю света, между островом, на котором темнела непроходимая чаща, и берегом, где в тополях щебетали дрозды и сойки, разнося по округе весть о нашем прибытии. Лодка двигалась медленно и равномерно, нас клонило в сон, веки тяжело опускались, и сквозь ресницы смутно мелькали двойные пейзажи, где отражения тополей и облаков переплетались в тихой воде с причудливыми очертаниями водяных стеблей и листьев, с насекомыми, с гнилыми обломками веток и с множеством всяких прочих предметов, которые, оказавшись в воде, постепенно теряют свою исконную форму и становятся совершенно неузнаваемыми.

Это ленивое блаженство тянулось до наступления сумерек. Потом воздух становился прохладней, а вода и деревья наливались густеющим мраком, словно кто-то вдруг отключил все источники света — в самом деле, предзакатное солнце, уже невидимое за лесом, покидало сине-зеленые небеса, отражение которых словно бы отдалялось, отступая в глубину, и тяжесть нависавших над нами ветвей и листвы становилась весомей и гуще, их тень дрожала в воде, и потом вдруг пространство между воздушной средой и водной затягивалось каким-то странным, все более плотным туманом, его призрачная белизна беспокойно шевелилась, точно чья-то бесплотная тень порывалась сгуститься и стать привидением. Душевный покой уходил. Мной овладевало смутное ощущение заброшенности. Каждую секунду что-то могло произойти, река и берег, до сих пор цепеневшие в неподвижности, начинали пробуждаться к ночной жизни, глухо вскрикивали птицы, сухо шелестел, пропуская какого-то невидимого своего жильца, камыш, всплескивала крупная рыба, тяжко плюхалась в воду утка или крыса, все кругом двигалось, возилось, металось — и ничего не было видно. Болотные запахи становились ощутимее, и туман по-прежнему размахивал саваном, гоняясь за самим собой...

Крестного все эти тайны как будто трогали мало, ему просто нравилась природа как таковая. Он не спеша сматывал снасть, потом поднимал палец и говорил: «Смотри, слушай и не шуми. Может, нам удастся увидеть выдру». Ему очень хотелось увидеть пушистую разбойницу, знаменитую своей поразительной хитростью. Забыв о недавних страхах, я вслушивался в ночь и таращил глаза, но вокруг все было черно и туманно. Однако я ощущал благотворность этого сторожкого ожидания, оно приглушало окружавшую нас враждебность, и я еще сильнее напрягал зрение и слух, стремясь обязательно что-то увидеть, увидеть эту ночную охотницу; все, что обычно говорилось о ней, о ее гибком и сверкающем тельце, удивительно напоминало образы сна, то было нечто, всегда от тебя ускользающее, нечто, чего нельзя ни пощупать, ни разглядеть, что только неуловимо мерцает в темной воде... Но вот наконец наступает мгновенье, когда мне кажется, что невидимая возня стала яростней, что кто-то в дикой панике метнулся по воде, недолгая погоня, вдали что-то глухо плеснулось, что-то мелькнуло в тумане — она, ну, конечно, она, — и с бьющимся сердцем я восклицаю: «Это она, вон там, я видел ее!».

Крестный, конечно, не верит, но, соучастник моих детских радостей и сам немного ребенок, он улыбается и шепчет: «Ну! Что я тебе говорил! А ведь мало кто может похвастаться, что видел ее!»

Я очень горд. Мы возвращаемся на веслах, чтобы немного согреться, и за нами, за гладкой стальной синью реки, снова слившейся в единую ленту, ночь окончательно поглощает остров. Скоро впереди из темноты выступит причал и на нем бабушкина фигура; она все это время ждала нас — так ждут возвращения своих ушедших в открытое море мужей бретонские рыбачки. «Слава тебе господи, приехали наконец!» Она страшно переволновалась, из-за наших сумасбродств сегодня она нажила бы болезнь сердца, но сердце у нее и так уже давно больное... Сын устало слушал эти жалобы и упреки. Я думаю, он хотел одного: чтобы наконец перестали обращаться с ним как с ребенком, но скажите, куда, да еще с проклятым увечьем, спрячешься от этого обожания, от тягостной этой любви?..

«Знаешь, я видел выдру!» — бормочу я, уже наполовину погрузившись в сон. «Что ж, очень может быть!» — отвечает бабушка, готовая поверить всякому чуду. Мне хочется привести ей неопровержимые доказательства своей правоты, но я уже сплю.

В пансионе

Однажды я прочитал в одном руководстве по дрессировке, что собаку, если она допустит ошибку, нужно наказывать тут же, немедленно. Иначе она забудет свой промах, не поймет, за что ее наказывают, и воспримет наказание как обиду и несправедливость. Именно так получилось со мной. Между заявлением: «На сей раз чаша терпения переполнилась. С нового учебного года ты будешь в пансионе» и тем осенним днем, когда с маленьким чемоданчиком в руках («со всеми своими пожитками», как сказала бы Люсиль) я отправляюсь на новое место жительства, прошло три долгих, насыщенных событиями месяца. *Учиненные мной безобразия* остались где-то в далеком прошлом, они отошли в область легенды, и мне даже хотелось послушать рассказы о них, чтобы оживить эти забавные воспоминания. Я ничего не понимал. Интернат становился катастрофой, чистой несправедливостью, которую ребенок ощущает с не меньшей остротой, чем животные. Я вспоминал угрозу развода, о котором почти уже не говорили, и мне казалось, что это наказание за несуществующие проступки, так же как *глоток воздуха*, который якобы требуется для моего здоровья,— все это лишь предлог, чтобы сбыть меня с рук.

Все эти мысли и подозрения мелькают в моей голове, когда я в полном отчаянии сижу в вагоне и поезд везет меня в Со, в лицей Лаканаль, чьи строения раскинулись в парке, огражденном стеной, за которой меня оставляют после нежных прощаний. Я невольно вспоминаю свой первый поход в школу и сопровождавший меня тогда эскорт. Отец восторгается парком, в котором такой изумительный воздух; он не знает, что ученикам гулять по парку запрещено во все дни, кроме четверга, когда под вечер их навещают родители. Мама оплакивает своего ненаглядного крошку. Да, тебе-то хорошо плакать! Я креплюсь изо всех сил и напускаю на себя независимый вид; к счастью, от горестных мыслей меня отвлекают практические дела: расселение, регистрация, переклички, которые происходят то в классе, где нам выделяют шкафчики, то в цементированном дворике, откуда парка даже не видно. У нас отбирают цивильное платье и обряжают в серые блузы, которые являются форменной одеждой пансионеров; пансионеры — они же *пансы* — сразу образуют особую группу, своего рода замкнутую касту, которую ученики-экстерны презирают как существ низшей породы. Внутри группы также происходит строгое разделение; иерархия основана на частоте увольнительных, предоставляемых тому или иному ученику. Таким образом, я получаю не только регистрационный номер, но и сложный опознава-

тельный код, которым я обязан всякий раз мгновенно откликаться, когда называют мою фамилию: *Париж-неделя-суббота-семья!*

Это означает, что интернат теперь уже не такой, каким он был в девятнадцатом веке. Конец недели я буду всегда проводить дома. Кроме того, каждый четверг меня будет навещать мама. Но все равно после моей беззаботной жизни эти правила представляются мне необычайно суровыми, тем более что при всей моей внешней покорности я буду стремиться весь год проявлять неповиновение. Перечислю самые неприятные пункты распорядка дня. Утром — подъем в шесть часов зимой, в половине шестого весной и осенью; туалет на скорую руку, а по пятницам — душ; столовая, урок, короткая перемена, очень способствующая простудам, уроки, уроки, масса уроков, которые тянутся весь нескончаемо долгий вечер; ужин; отход ко сну в половине девятого — тюремное однообразие, полное одиночество и при этом полная невозможность побыть одному, потому что за тобой всегда наблюдают. Контраст с моими привычками настолько разителен, что об этом нет надобности говорить; я не хочу заниматься смакованием своего горя, ибо прекрасно отдаю себе отчет в том, что горе гнездится во мне самом, оно связано с моим воображением, с моей чувствительностью и ранимостью. Один бог знает, как нам было там худо! Некоторые из детей никогда не выходили за пределы лицея, никогда не получали писем, и один такой бедолага, не помню сейчас его имени, будет меня просить, чтобы я давал ему читать мои письма. За это он будет делать мне мелкие подарки, ибо в этом мирке господствуют суровые законы торгашества и расчета. Ничто не отдается без оплаты. Должен заявить открыто и прямо: я ненавижу интернат, потому что он унижает и оглупляет детей, ненавижу его хотя бы из-за тех несчастных, которых я там узнал.

Но пока это лишь первый день, и когда несколько улеглась та дикая оторопь, которая охватила меня от всей этой суматохи, от формальностей, от занесения, сказал бы я, в тюремные списки, предо мной начинает проступать ужас моей судьбы — сперва при виде классной комнаты с высокими зарешеченными окнами, за которыми цепенеет октябрьская ночь, а вокруг маячат незнакомые лица, потом при виде дортуара, этих двух рядов железных коек, где в центре возвышается на помосте закрытое занавесками обиталище надзирателя. Моя койка была в глубине, последней в ряду. Никогда еще в жизни я не ложился спать вне сени родительского крыла, без ласкового поцелуя перед сном, без медведя или обезьянки; у меня сжимается сердце, но кому поведать терзающую меня тоску? Я уже чувствую, что было бы опасно ее показывать, ибо здесь все напускают на себя беззастенчивость и развязность, и мне не простят, если я признаюсь в том, что мне грустно, и тем самым напомню товарищам об их собственных тайных страданьях. В дальнейшем самообладания мне не хватит, и это погубит меня...

В тот вечер я нашел в себе силы удержаться от слез, пока не погасили огней, и дал себе волю лишь в темноте, которая враждебно обступила меня и где едва мерцал синий свет ночника, укрепленного над балдахином надзирателя. Как могло такое случиться? Не привиделось ли мне все это в кошмаре? Мой сосед по имени Реми, к которому я испытывал некоторую симпатию (он не напускает на себя, как другие, эту отвратительную веселость), дышал уже ровно, будто во сне. Но как я могу уснуть, если я всеми покинут? И чувство заброшенности неистово устремило меня к дому, который превратился вдруг в рай,— я всеми силами души жаждал какого-нибудь чуда, катаклизма, чего угодно, лишь бы вырваться из этого жуткого сна; сила отчаянья творит чудеса, и чудо свершилось, но какое... Я так остервенело, со вздохами и рыданьями ворочаюсь и вожусь на узкой кровати с жидким тюфячком, что в конце кон-

цов оказываюсь со всей постелью на полу, где в испуге дрыгаю ногами, пытаясь высвободиться из окутавших меня простынь и одеял; шум, волнение, свет, смех постепенно захватывают весь дортуар. Когда ценою огромных усилий я наконец высвобождаюсь из своих пут и встаю на ноги, я вижу перед собой надзирателя; он стоит возле моего матраса и с удивлением глядит на меня.

— Ну, ты совсем одурел,— говорит он мне то ли насмешливо, то ли сердито.— Постоишь час в углу, это послужит тебе наукой.

Понурив голову, я покорно бреду за ним по проходу между кроватями; уборщица, недовольно ворча, перестилает мою постель, а мне вслед со всех сторон несутся насмешки: «шляпа», «болван», «получай по заслугам» и тому подобное. Моя репутация безнадежно погублена.

— Тише вы там!

Свет снова погашен, надзиратель ведет меня в свою берлогу и ставит носом к занавеске. Сам он снимает пиджак, садится к столу и начинает читать.

Оказывается, эти стояния в полной неподвижности гораздо тягостнее, чем я думал, особенно когда есть дополнительные условия, например, если надо раскинуть руки крестом. Но надзиратель, молодой студент, был, на мое счастье, не злым человеком, и впоследствии он будет обращаться со мной приветливо и доброжелательно. Он не назначил мне особо мучительной позы и минут через пятнадцать отослал спать. Пристыженный и изнуренный, на сей раз я сразу погружаюсь в сон.

Мое эффектное падение, увы, принесло мне недобрую славу. Отныне мне предстояло быть *дураком, чокнутым, простофилей, лопухом,* служить мишенью постоянных насмешек и издевательств, что сделало мое положение тяжким вдвойне, особенно — и ведь я же предчувствовал, что это произойдет,— особенно когда каста *пансов* догадалась, что я скучаю по дому, что меня грызет неизбывно тоска, заставляя бежать от всех игр и любою ценой искать одиночества. Моей ошибкой было также и то, что я попытался открыть свое сердце, найти товарища по несчастью, ничего не зная о тех безжалостных законах, которые действуют в детских коллективах.

Тосковать — это означало отделить себя от товарищей, а главное, расписаться в своей слабости и беззащитности. Я сделал попытку завязать дружбу с моим соседом по дортуару, который, казалось, тоже был удручен постигшей его судьбой. Однажды вечером, в темноте, я шепнул с бьющимся сердцем, точно влюбленный перед первым признанием:

— Скажи, Реми, тебе здесь тоскливо?

Вопрос, кажется, озадачил его.

Вместо ответа он тоже спросил:

— А тебе?

— О, мне очень тоскливо!

После долгого раздумья Реми прошептал:

— Знаешь, пожалуй, мне тоже немного тоскливо.

Это признание явилось для меня бальзамом. Кто-то разделял со мною мою беду. Я перегнулся к его кровати и с силой пожал свисавшую с постели руку, не заметив того, что ответное пожатие было довольно вялым. Наконец у меня есть друг! Сентиментальной порывистостью я весь пошел в маму; на другой день я принялся досаждать Реми проявлениями своей нежной дружбы, одарять его своими продовольственными запасами, которые мы получали из дому на неделю, хранили в буфетной и ежедневно брали оттуда для полдника; кроме того, я стал многословно, без передышки делиться с ним своими переживаниями, делая это с бессознательным эгоиз-

мом и не замечая, что моя скука ему скучна и я заражаю его своим опасным настроением. Тогда, в целях самозащиты, он начал меня сторониться.

Я понимаю теперь, что вел себя как достойный сын своей матери: агрессивный, назойливый, нескромный, ревнивый, я оказался поистине бедствием для спокойного, лишенного воображения тяжелодума, каким был Реми. Меня постигло жестокое разочарование. Вынужденный выбирать между мной, с моим тревожным и мрачным возбуждением, и толпою мальчишек, истинных *пансов*, грубых, но лишенных каких бы то ни было комплексов, Реми без долгих колебаний примкнул к клану сильных. Более того, он поступил подло: он предал меня. Желая, очевидно, придать себе цену, он всем рассказал о моих душевных терзаниях, и я окончательно стал всеобщим посмешищем.

С тех пор *тоска Андре* стала главным развлечением группы. На каждой перемене меня осыпáли сарказмами, плотно меня обступали и пялились, как на невиданного зверя, показывали пальцем, передразнивали, и когда среди самых усердных насмешников я видел своего бывшего друга, моему отчаянью не было границ; это и была та школа жизни, которую так расписывал мой отец. А когда выяснится, что моя моральная слабость сочетается со слабостью физической, я стану настоящим козлом отпущения. Но прежде чем рассказывать об этом, вернусь немного назад, к одному воспоминанию...

Мне предстояло жить в каком-то странном чередовании отрезков времени: воспоминание о минувшей субботе, которая уже канула в небытие, и ожидание новой субботы; ожидаемое грядущее бывало всегда испорчено непродолжительностью пути от лицея до дома; время забавлялось какой-то порочной игрой, оно словно вращалось по кругу, чтобы показать мне утраченное счастье, заставить меня к нему прикоснуться — и тут же его отобрать. Относительная мягкость режима в интернате ничуть не уменьшала моих мучений. Я думаю, она даже усиливала их. Я жил только ожиданием той минуты, когда, прокричав что есть силы: *Париж-суббота-семья*, я кинусь опрометью на вокзал; но моей радости хватало лишь на дорогу, на прибытие, на созерцание Валь-де-Грас — название этой площади как никогда соответствовало тому, чего я от нее ждал [1], и на дверь, за которой меня ожидало покинутое мной жилище и самый сердечный прием, оказываемый призраку, но по мере того как я вновь вживался в мир своих прежних привычек, меня все больше преследовала навязчивая мысль, что происходит обман, что все начинается только для того, чтобы тут же завершиться. Помимо моей воли я с воскресного утра считал часы, отделявшие меня от понедельника, и уже ничто не доставляло мне удовольствия. Глядя на меня, можно было подумать, что я не так уж и рад оказаться опять в родной семье. «Вот видишь,— говорил, должно быть, отец,— это лишь поначалу все кажется трудным, но он уже привыкает. Я уверен, что это будет ему полезно со всех точек зрения. Это мы по нему скучаем! Удивительно, до чего же большое место занимает в жизни ребенок! Обычно не отдаешь себе в этом отчета...»

И наступало утро понедельника, и я опять считал дни, каждый из которых обретал свое собственное лицо, свою собственную эмоциональную окраску, и приходил четверг, этот перевал недели, и я спрашивал себя, приедет ли и на этот раз мама, и безумно боялся, что случится что-нибудь непредвиденное, например, я буду оставлен в классе после уроков,— это меня страшило больше всего,— буду лишен беседы с ней и прогулки, и тогда, подражая тете Луизе с ее верой в мудрость карт, я начинал искать и придумывать предзнаменования, смотрел, в каком направлении плывут в небе облака, как взлетел из-под ног воробей, в какую сторону от дерева падает ото-

[1] Валь-де-Грас по-французски означает «долина милосердия».

рвавшийся лист, и все вокруг становилось вестником добрых или плохих знаков и приносило мне новые муки...

Она приезжала всегда, она была верна своему слову, нужно отдать ей справедливость, и мучительное ожидание ее приезда показывало мне, как сильно я к ней привязан. До той зловещей осени я не отдавал себе в этом отчета. Я часто спрашивал себя, кого же я на самом деле люблю. Любовь моя, пробежав, как источник, большой путь под землей, выбивается наружу, но откуда берет она свое начало? Эта любовь полна загадок. Она делает зыбким и расплывчатым многое из того, в чем я раньше был совершенно уверен, и уходит на задний план моя любовь к бабушкам, к тете в Орли, к кузинам, и исчезает моя обида. В чем тут причина? Только ли в том, что я предельно несчастлив? Или в том, что я боюсь мамину любовь потерять? Или в висящей надо мной угрозе развода? Мне трудно да и не хочется в этом разбираться. Я только знаю, что меня охватывает великая радость, когда я вижу силуэт мамы, радость куда более полная, чем в субботу, ибо на это свидание отпущено слишком мало времени, чтобы чувство успело пройти какие-то сложные фазы, и потом ведь это она ко мне приехала, приехала, чтобы подбодрить и как будто сказать: «Видишь, я существую, я тебя не забыла, и если б ты только знал, как мне тебя не хватает!» Я же лишь сознаю, что я переполнен счастьем, когда мы гуляем с ней в парке по длинным аллеям, среди оголенных осенним ветром деревьев, и у нас под ногами шуршат и пахнут осенью желтые и рыжие листья. Мы идем с ней по парку, по заветным уголкам, куда ученикам вход запрещен, среди искалеченных бюстов и статуй, напоминающих об эпохе философов, когда парк и рощи принадлежали владельцам замка Со, в котором ночами шли буйные празднества. Слегка туманится даль. Мы огибаем загон, где лани, подобно мне, томятся в тоске. И меня охватывает грустная и сладкая уверенность в этой любви-связи, в новом и мощном ее приливе...

И быть может, судьба моя решается именно здесь, среди этого пейзажа Иль-де-Франс, в эту осеннюю пору, с ее медленным движением к зимней спячке, которое — словно возврат к давнему прошлому, когда еще ничего не произошло, ничего не случилось.

Но часы неумолимо бегут, и торопливость их бега особенно бросается в глаза из-за раннего наступления вечера, из-за тумана и сумрака, придающих этому месяцу грустный привкус разочарования. Наше свидание завершалось в кондитерской, очень похожей на зал ожидания, и я замолкал, я не смотрел на пирожные и собирал все силы, чтобы не расплакаться. Да я и вообще почти не разговаривал во время этих свиданий, беседа мешала бы мне в полной мере вкушать их радость-тоску; к тому же я слишком хорошо знал, какой вопрос рвется у меня с языка, и, задай я его, это все могло бы сразу испортить; я разрешу себе эти слова лишь немного позже, когда участь моя станет еще тяжелей.

— Но почему вы отдали меня в пансион?

Я вижу растерянность на ее лице.

— Потому что ты становился совсем невозможным, ты сам это знаешь, ну, и твое здоровье, и потом...

Она замолчала, и я понял, что она и сама не слишком убеждена в правоте своих аргументов. Это вселяло надежду, надо было ковать железо, пока горячо.

— Но мне здесь так тоскливо!

Она вздохнула растроганно и, словно признаваясь в своей ошибке, сказала:

— Я ведь тоже тоскую. Просто смешно!

Ну и что же дальше? Дальше стемнело, пришло время прощаться.

По четвергам классная комната казалась мне мрачнее обычного. Я тотчас садился за письмо, чтобы рассказать в нем о своей тоске, потому что Реми перешел во вражеский стан и больше не хотел меня слушать. По мере того как учебная четверть набирала силу, число врагов у меня увеличивалось,— точнее говоря, друзей-врагов, которые не выражали своей вражды открыто, а увивались вокруг меня и надо мною подтрунивали, а я раздавал направо и налево многочисленные подарки в надежде обезоружить своих противников; это была неверная тактика: она прививала моим друзьям-врагам вкус к шантажу, а количество попрошаек и вымогателей только росло.

Некоторые третировали меня без всякого зла, и я иногда чувствовал, что еще немного — и я преодолею эту неприязнь, в которой сам был виноват. Но, к несчастью, дети больше подчиняются требованиям, исходящим от группы, чем собственным чувствам. Они считали себя чуть ли не обязанными высмеивать меня; точно так же, как, сами не зная почему, они освистывают некоторых учителей, которые обладают достоинствами ничуть не меньшими, чем их коллеги. От этих мальчишек, в частности от некоего Монфрона, рослого и толстого верзилы, какие непременно есть в каждом классе, я терпел бесконечные издевательства и насмешки. От меня прятали мои вещи, в столовой подкидывали мне муху в стакан или сыпали соль и устраивали много других пакостей такого рода. Издевательства были особенно мучительны оттого, что они никогда не прекращались. От подъема до отбоя у меня не было передышки. Но этим беды мои не ограничивались. В детских коллективах всегда оказывается субъект, более одаренный и более изворотливый, чем остальные, который беззастенчиво пользуется своим влиянием и командует всеми как хочет. В нашей группе тоже был такой персонаж; он отличался как хитростью, благодаря которой учителям никогда не удавалось поймать его на месте преступления, так и удивительно рано проявившимся умением эксплуатировать себе подобных. К тому же этот Лепретр был наделен большой физической силой, которая всем в пансионе внушала восхищение и страх. Было ясно, что я неизбежно попаду к нему в кабалу. И в самом деле, Лепретр быстро смекнул, какие выгоды и удовольствия сулит ему эта перспектива, и принялся за дело с такой неумолимой жестокостью, с какой вооруженный до зубов захватчик покоряет первобытные племена. Лепретр вызвал меня на драку, отколошматил, разумеется, чуть ли не до потери сознания под аплодисменты товарищей и прочно приковал меня к своей колеснице под страхом еще более грозных взбучек, а также под страхом поборов и унижений, которым он, впрочем, и так подвергал меня более чем достаточно. Ступившему на этот скользкий путь человеку уже трудно удержаться от искушения, он должен каждодневно доказывать рабу, что тот раб, а он его господин. Вскоре Лепретр решил, что удобнее всего будет обложить меня постоянной данью.

Когда я думаю об этом юноше, моя вера в природную доброту людей дает трещину — и в то же время я преклоняюсь перед его врожденным талантом мучителя. Всякий раз, когда Лепретр хотел получить от меня нужный ему предмет — циркуль, коробку красок, агатовый шарик и так далее, он производил на меня моральный нажим, сопровождаемый угрозами физической расправы, причем эти угрозы выстраивались в довольно сложную и замысловатую систему. Моя жизнь протекала в режиме записок. Во время занятий, как только я позволял себе какой-нибудь жест, который можно было расценить как попытку к сопротивлению,— ибо утрата такого количества вещей меня очень удручала, я уже просто не знал, что придумать, чтобы объяснить дома бесконечные потери школьных принадлежностей,— мгновенно на мою парту поступала серия аккуратно сложенных бумажек, в которых излагалось то, что по утрам в дортуаре он

с горящими от удовольствия глазами называл «твоя дань»: «Пять тюбиков красок — или на перемене в час дня выкручивание мизинца... Два агатовых шарика — или на пятичасовой перемене удары ногой по колену и выкручивание руки... На семичасовой перемене битье затылком о камень и запрещение мочиться». Что и говорить, его ожидало блестящее будущее.

Одинокий, заброшенный, связанный по рукам и ногам нерушимым правилом молчания, по которому доносительство, *ябедничество* считалось, как у сицилийских мафиози, смертельным грехом, я не знал, что делать, к кому обратиться за помощью, особенно после того, как я сделал безнадежную попытку вырваться из этого заколдованного круга, но попытка кончилась плохо, и объяснить ее можно только охватившим меня беспросветным отчаяньем.

Подчиняясь законам каст, требующим, чтобы каждый искал себе подчиненного, который стоял бы ниже его на иерархической лестнице, я счел возможным если и не найти такого неприкасаемого, то по крайней мере завоевать хоть капельку престижа, вызвав на драку и победив какого-нибудь моего друга-врага из окружения Лепретра. Мой выбор пал на толстяка Монфрона, который относился ко мне довольно беззлобно, но я прикинул, что его миролюбивый характер и неуклюжесть помогут мне его одолеть. Его дородность придаст моей победе дополнительный вес. Трудность заключалась в том, что Монфрон не принимал моей игры.

Не знаю почему,— может быть, оттого, что он не испытывал ко мне никакой ненависти,— драться он не хотел. Но я поставил его своими провокациями в безвыходное положение, и он был вынужден согласиться на драку со мной. Поначалу события развивались как будто благоприятно для меня. Проворный и нервный, решив играть ва-банк, я осыпал толстого Монфрона градом ударов, от которых он даже попятился, а обступившие нас зрители, по большей части старше нас обоих, подзадоривали меня аплодисментами и возгласами: «Ну-ка, дай ему как следует, пусть этот жирный почешется!» Он и вправду был жирный, что и погубило меня. Защищенный своим жиром, как кольчугой, Монфрон перенес мои наскоки без малейшего для себя ущерба. Он втянул голову в плечи и только отдувался да фыркал, как бык, которого преследует овод. Но в конце концов миролюбивый бык потерял терпение. Он выставил вперед сжатый кулак и пошел на меня тараном. Я уже к этому времени выдохся, быстроты реакций, необходимой для матадора, у меня не было, и кулак Монфрона, в который тот вложил всю свою массу, опрокинул меня под радостный гогот зрителей вверх тормашками. Я попытался было встать и продолжить бой, но мой великодушный победитель еще раз объявил мне, что драться ему со мной противно, если же я буду и дальше валять дурака, он готов проучить меня по второму разу. Его устами — и кулаком — говорила сама мудрость. Мое самомнение было наказано. Мне суждено было остаться рабом. Надеяться больше было не на что.

Во время этих мрачных месяцев единственным моим утешением стало пианино, а впоследствии катехизис, что на первый взгляд может показаться довольно странным. Я забыл сказать, что год поступления в пансион совпал с моим первым причастием, которое является необходимым обрядом буржуазного благонамеренного воспитания. Как вы увидите дальше, первое причастие не было для меня пустой формальностью, но я предпочел бы рассказать об этом несколько позже, ибо в первую четверть уроки закона божьего не находят еще во мне никакого отклика. Это для меня просто учебный предмет в ряду других таких же предметов; священник, суровый и властный, мне не нравится, содержание катехизиса представляется

невнятным и трудным. Так что и по этой дисциплине я хожу в нерадивых учениках.

Зато первые же уроки фортепьяно привели меня в восторг по причинам, увы, не связанным с музыкой. Пользы из этих занятий я не извлеку никакой. Кого тут винить? И учителя и ученика. Учитель — одна из тех некрасивых и романтических старых дев, для которых преподавание сольфеджио и пения в младших классах лицея — дело в высшей степени неприятное и которые убеждены, что министерство просвещения вынашивает по отношению к ним непонятные и зловещие планы, если решается обрекать их на эту смертную муку. Ученик видит в уроках музыки лишь возможность дважды в неделю чуточку передохнуть от нескончаемых вечерних занятий. В этом следует также винить всю школьную систему. Но несмотря на отсутствие каких-либо ощутимых творческих результатов, я сохранил об этих уроках самые нежные воспоминания, как и о доброте славной учительницы, ибо теперь наконец мне было с кем поделиться своими горестями и бедами.

Первые шаги в освоении музыкального инструмента всегда бывают трудны. Для того чтобы ученик перешагнул этот первый рубеж, педагог должен действовать умело и твердо. Скажу только, что в моем случае эти два условия не совпадали. Музыка, которую, как мне казалось, я очень любил, быстро сделалась для меня лишь поводом для мечтаний, перемежаемых пустой болтовней, ибо старая дева, утомленная допотопным методом Роза и уроками пения, превращавшимися в несусветный галдеж, очень любила со мной поболтать. Я злоупотребляю ее чрезмерной чувствительностью, и дело дойдет до того, что она будет служить мне почтовым ящиком для длинных писем, которые я пишу почти каждый вечер маме, перечисляя в них все свои обиды. Моя жалоба на судьбу была, таким образом, все же услышана: даже чужой человек посочувствовал мне. Это очень утешало меня, но еще больше я радовался перерывам, когда она оставляла меня одного самостоятельно разучивать гаммы, а сама занималась с другим учеником. Оставляла меня одного!..

Я уже говорил о том, как невыносимо мне было постоянное одиночество в толпе, когда только сон давал недолгую передышку. А тут мне даровали настоящее одиночество, то одиночество, которое представлялось мне в лицее недостижимым миражем! В музыкальном классе та же похоронная обстановка: пыльная комната с высоким потолком, облупленные грязно-каштановые, испещренные всевозможными надписями стены, расстроенное пианино цвета гробовых досок, меловая затхлость школьной мебели, хмурое зимнее небо в окне — но не все ли равно! Наконец я могу спокойно отдаться своим грустным мыслям, сладко-горьким воспоминаниям о Карнаке с его морскими сокровищами, о маме в туманной осени парка...

Первые несколько минут я занимаюсь упражнениями и гаммами, потом на меня налетают порывы тоски, вздымая, точно листву, ворох памятных образов, которые влекут меня вдаль, и сквозь зарешеченные окна тюрьмы я вырываюсь на волю, мне нужна теперь песня, она бьется у меня под пальцами, и вот я уже играю не гаммы, а неведомо что,— так, минуя основы музыкальной техники, я пытаюсь войти в мир музыки при помощи чувств.

Ах, язык звуков — это ловушка, звуки заманивают и завлекают, потому что в них тебе слышится сходство с обуревающим твое сердце смятением. Цепочки нот и аккордов лучше всяческих слов выражают все то, что гнетет и терзает тебя. Вместо того чтобы просто-напросто выразить и сделать понятной мне самому мою сиротливость, мелодия возвышает и восхваляет ее, поднимая ее до высот прекрасной любви, и это я чувствую особенно сильно, когда начинаю импровизировать. Мои импровизации бедны и наивны, но они утешают меня и льстят моему самолюбию.

Горе-композитор, я беру реванш за свою разнесчастную жизнь, за свои унижения, за несправедливость выпавшего мне жребия, и я томлюсь, я извожу себя, я блуждаю в тумане разрозненных звуков, где точно в зеркале возникает еще один образ — образ моей славы: неистовствует восхищенная публика, мои неблагодарные родители охвачены бурным восторгом, раскаивается отец, повержен Лепретр, ад становится раем... Но всякий раз, точно падая в бездну, я возвращаюсь к унылой действительности, которая по мере того, как осень переходит в зиму, делается все более унылой, все более мрачной и серой. И вскоре, потерпев поражение в битве с Монфроном, я начну искать утешение в боге.

Повторяю еще раз: в нашей семье никто не соблюдает религиозных обрядов. Моя мама родилась в той провинции, где вера не в почете; это подтверждают история и социология, правда никак этого факта не объясняя. Глядя на моего отца, не скажешь, что он обучался в монастырском пансионе, у «Братьев христианских школ». К религии он относится не враждебно, но безразлично. Правда, наше медленное врастание в класс средней финансовой буржуазии отдаляет нас от наших корней. Это явление можно, наверно, сравнить с процессом одворяниванья в конце восемнадцатого века. По существу, мы уже и сами не очень хорошо понимаем, кто мы и кем предстоит нам стать. Этим можно объяснить наше явное тяготение к конформизму и показное уважение традиций: все получают крещение — буду крещен и я, все учат катехизис — я тоже буду его учить, а как мы при этом относимся к религии, никого не касается. Правда, я немного утрирую, ибо где-то на заднем плане все же продолжает существовать исторический отпечаток того католицизма, который столько веков сопровождал человека от колыбели до гроба и в какой-то мере помогал ему ответить на исполненный тревоги вопрос: «Кто я такой?».

Когда один из учителей спросил нас, какой мы придерживаемся веры, я был очень удивлен, услышав, как один ученик поставил себя вне всяких привычных категорий и объявил, что он — *свободный мыслитель*. Я не очень понял значение этого термина, но смутно почувствовал, что меня тоже тянет примкнуть к вольнодумству; моя собственная религиозная категория не имела ко мне прямого касательства и возникла так же случайно, как распределение учеников по классам. Но я, однако, удержался от этого шага, ибо столь же смутно чувствовал, что только слово «католик» могло быть присоединено без дополнительного суда и следствия в качестве эпитета к моему личному коду, который теперь звучал так: *седьмой «А» — Париж-суббота-семья*. Мыслитель — это понятно, но свободный? Свободный от чего? Прилагательное внушало мне недоверие. Оно вызывало в памяти одиночество, утрату имени, давние семейные ссоры с их угрозами вернуть себе свободу, а мне больше чем когда-либо нужны были прочные связи. В конце концов, после долгих раздумий, я сказал: католик — и сразу почувствовал облегчение. Как ни расплывчата, как ни абстрактна была эта семья, но она существовала, она служила мне точкой опоры.

В течение последующих месяцев мое присоединение к католицизму становилось все более определенным и четким, и трудно было сказать, что́ тут играло главную роль — отголосок ли давней традиции, мое ли отчаяние, или, быть может, атмосфера легенд, в которой прошли мои ранние годы. Постепенно лицейская часовня стала для меня убежищем в той же мере, как музыкальный класс, хотя мои первые шаги на религиозном поприще не сулили мне ничего хорошего. Вернусь немного назад.

Как я уже говорил, катехизис отвращал меня потому, что мне был неприятен преподававший его священник. Но внешность оказалась обманчивой. Он был человек не грубый, но ворчливый и раздражительный, и наши отношения оказались испорченными из-за

моего неудачного дебюта, в котором был повинен только я сам. Со мной произошел небольшой скандал, вроде того, который я учинил в свою первую ночь в дортуаре. И как это я всегда умудряюсь показать себя с плохой стороны?..

В тот день я решил захватить с собой в часовню металлическую коробку с печеньем — я, должно быть, боялся, что у меня ее украдут мои многочисленные друзья-враги. Я немного опоздал. Опрометью кидаюсь я к своей скамье и налетаю на священника, который с разъяренным видом преграждает мне путь. Его грозно вытянутый указующий перст — так на картинах рисуют архангелов — приказывает мне вернуться назад. Меня изгоняют? Нет, перст указывает на кропильницу. Оказалось, я забыл перекреститься. Торопливо поворачиваюсь, окунаю палец в святую воду и принимаюсь осенять себя крестным знамением, но тут же вздрагиваю от гневного окрика: «Креститься левой рукой? Это уж слишком!» В полном смятении я пытаюсь исправить ошибку и, чтобы освободить правую руку, перекладываю коробку с печеньем под мышку левой руки. О ужас! Коробка выскальзывает, с грохотом летит на пол, и из нее вываливается все содержимое. Класс давится смехом, лицо священника багровеет от гнева, он бросается на меня, обзывает идиотом втройне, хватает меня за ухо и начинает больно драть, но замечает, что под ногами у него груда печенья и он успел уже растоптать его в мелкие крошки. Он отпускает меня и отступает в сторону, всем своим видом выказывая крайнее отвращение.

Случай действительно страшный. Я осквернил святое место, я совершил святотатство, я не проявил уважения к священнослужителю. Первый свой урок катехизиса я проведу сначала на четвереньках, подбирая остатки печенья, а потом под гипсовой статуей святого, и мои однокашники будут строить мне рожи и показывать нос.

После этого бравурного бенефиса мне нелегко побороть недоверчивость аббата Бурбье, который еще долго будет принимать проявления моей возрастающей набожности за чистое притворство. Он ошибается. Я все больше проникаюсь искренней верой, все больше убеждаюсь в неоспоримости доказательств, которые он выстраивает перед нами в пять часов вечера в церковном полумраке, расцвеченном пятнами витражей, расхаживая большими шагами меж рядов и время от времени хлопая книгой по головам нерадивых учеников.

Его пылкие проповеди меня взволновали, и вскоре я признал неизбежность существования некоего незримого персонажа, искусного садовника и умелого зодчего, существа милосердного и услужливого. Мне нравилось, что божество предстает в столь доступном и близком моему пониманию виде. Сама наивность этого образа позволяла мне обращаться к нему со своими мольбами. Люди меня не хотели понять, а вот бог меня услышит, бог убедит моих родителей в том, что они совершили ошибку, бог примирит моих маму и папу, бог внушит Лепретру, чтобы тот перестал меня мучить. Слушай же меня, господи! И мне не приходило в голову, что я могу оказаться недостойным его благоволения. Мои грехи, и старые, и теперешние, казались мне пустяком. Вера моя утверждалась, но мое благочестие оставляло желать лучшего. Я плохо учу катехизис и не очень люблю исповедоваться, несмотря на внушения аббата, который регистрировал наше усердие в особой книжечке. Я не хотел раскрывать свои секреты. Кроме того, мне не нравилось, что между мною и богом вставало третье лицо,— аббат наверняка определил бы это мое настроение как неосознанную склонность к лютеранству. Из двух молитв, которые я теперь неизменно творил перед сном — «Отче наш» и «Богородице дево радуйся»,— я отдавал предпочтение первой. Важность сына и креста полностью ускользала от меня, и Евангелие я открыл для себя лишь несколько позже. Это «несколько позже» от-

сылает меня к событиям позорно низменным, которые произойдут во второй четверти и ускорят мое поступательное движение к религиозности менее подозрительной и менее примитивной.

Все начинается с одной романтичной ребяческой затеи, которая прекрасно сочеталась с моей неизбывной тоской по дому. Среди школьников бытовала связанная с лицеем легенда. В глубине парка, в той его части, запущенной и заросшей, где ученикам гулять запрещалось, якобы сохранился с давних времен вход в подземелье, которое вело куда-то далеко, за пределы города Со, но куда именно, никто, конечно, толком не знал. Как всегда в таких случаях, называли имена учеников прежних лет, которые исследовали подземелье, но тайны своей не выдали никому, и теперь предстояло все открывать заново. Эта перспектива пробудила у меня давно лелеемые планы бегства, и я без устали снова и снова прокручивал их в голове. Если подземный ход выводит в Париж или хотя бы в какое-нибудь место, расположенное недалеко от железной дороги, насколько это облегчило бы мне побег! Я даже успею забежать тайком домой, я имею в виду — к бабушкам, которые будут счастливы меня повидать и, уж конечно, сохранят все в секрете. А потом я доберусь до порта... Словом, я отчаянно мечтал об этом путешествии в недра земли и заразил своей мечтой всех пансионеров своего класса. Подземелье, его точные координаты, его тайные ходы сделались единственной темой наших бесед. Все наперебой придумывали новые и новые подробности и врали напропалую, стараясь друг друга перещеголять. В классной комнате, наскоро сделав письменные задания, все принимались обсуждать наши грандиозные планы.

Наступает день, когда, устав от пустых словопрений, мы решаем наконец перейти к делу. Лепретр, наш злой гений, снаряжает экспедицию к границам парка, чтобы точно установить, где расположен вход в подземелье. Мне предстоит принять участие в этой вылазке в качестве раба. Всего в поход отправятся пятеро, в том числе Реми и Монфрон. Начался волнующий этап подготовки. Нужно запастись снаряжением, лампами, продуктами и всем прочим. По вечерам в классной комнате составляются бесконечные списки, а ящики и шкафы набиваются веревками, карманными фонарями, плитками шоколада, печеньем, сахаром, перочинными ножами и другими романтическими предметами. То был один из редких моментов учебного года, когда благодаря этим увлекательнейшим делам жизнь стала вдруг яркой и интересной. Мы с упоением перебирали в памяти и заносили в списки все материалы, которые могут понадобиться в случае непредвиденной катастрофы, ну, скажем, обвала, который отрежет нас от выхода на поверхность, так что нам придется провести под землей долгое время. Экспедиция может состояться лишь в какой-нибудь из четвергов, ибо по этим дням у нас нет уроков и мы почти все время проводим во дворе без особого надзора.

Итак, однажды весенним утром, когда на деревьях начинают уже набухать почки, заговорщики покидают двор согласно заранее выработанному маршруту, позволяющему избежать наиболее опасных мест, первым из каковых является главный подъезд, перед которым имеет препротивнейшее обыкновение расхаживать директор лицея, дабы в учебные дни контролировать своевременность прихода учителей, а в дни, свободные от уроков, контролировать все, что попадается ему на глаза. Второе опасное место — боковой вход в лицей, где сидит недоверчивого нрава привратник, наделенный зоркостью хищной птицы. Уйти от бдительности обоих не так уж трудно. Надо лишь обогнуть спортивную площадку и выскользнуть в парк, а дальше идти, укрываясь за деревьями и держась подальше от аллей. Мы крадемся, растянувшись цепочкой, и карманы у нас

набиты снаряжением и продуктами. Наш предводитель все время сверяется с компасом — самым драгоценным инструментом экспедиции. Как оно прекрасно, это состояние духа, которое полностью подчиняет реальность прихотям воображения и вселяет в нас уверенность, что наш путь определен указаниями синей стрелки! Мы готовы опять и опять смотреть на ее дрожащее, неизменно обращенное к северу острие. Нас завораживает это магнетическое постоянство. И Лепретр всякий раз кивает головой и говорит: «Все в порядке».

Наш отряд скоро достигает оконечности парка; здесь все густо заросло кустарником, под ногами плотным ковром лежат сгнившие листья и плети плюща, там и сям пробиваются крокусы. Два-три дрозда с любопытством следят за нашими маневрами. Кругом много маленьких холмиков, плющ и листва придают им еще бо́льшую высоту, и нам кажется, что стоит только расчистить, только копнуть — и... Но предварительно надо посмотреть еще раз на план и, разумеется,— разве можно тут устоять? — снова свериться с компасом. А потом надо будет решить, кому принадлежит честь первым войти в подземелье. Это сложный вопрос. Лепретр склонен отправить в разведку Андре ввиду его подчиненного положения. Отборные войска нужно оставить в запасе. Некоторые — очевидно, те, кто прочел «Виконта де Бражелона»,— считают, что выслать вперед нужно Монфрона, потому что у него тугие плечи и в случае обвала ему ничего не грозит. Пятый участник похода — я забыл его имя — боится летучих мышей. Их там нет. Нет, есть, обязательно есть. Да нет же, говорят тебе, олух ты этакий!.. Мы какое-то время спорим и при этом едим взятую на дорогу провизию. И когда в воздухе уже пахнет дракой, нас безжалостно возвращает к суровой действительности главный надзиратель, неожиданно вынырнувший из чащи — и за каким чертом он туда залез? Он глядит на нас с милой улыбкой, потом берет на себя функции компаса и отводит обратно в лицей.

Приключение кончилось. Для меня это не просто разочарование, для меня это катастрофа. Военная иерархия государственного учебного заведения пускает в ход всю свою сложную систему шестеренок. Дело доходит до директора. Нас вызывают в просторный, обставленный с пугающей роскошью кабинет, где директор, наверняка уязвленный тем, что он ничего не заметил с высоты своего наблюдательного пункта, заставляет нас в мельчайших подробностях рассказать о подготовке и проведении нашей операции и слушает с видом человека, который долгое время с помощью сложной научной методики пытался решить трудную задачу и вдруг это решение приходит к нему от простых, неискушенных умов.

— Черт побери! Вдоль спортивной площадки! Вы слышите, господин заведующий?

Заведующий учебной частью слышит очень хорошо. После строгой нахлобучки, произнесенной на изысканнейшем французском языке и поэтому трудной для нашего понимания, живописав в самых мрачных тонах ожидающее нас будущее, директор сообщил мне, что я буду подвергнут именно той каре, которой я опасался больше всего,— лишению поездки домой. В следующую субботу *Париж-семья* не состоится.

Я прихожу в отчаянье. Вынести это наказание невозможно, и я вспоминаю свою давнюю мечту, которая рисовалась мне, когда я думал о подземном лабиринте. Решение принято. Больше я так не могу. Если нельзя бежать под землей, я убегу по земле.

Возможная близость свободы воспламеняет меня. Наученный горьким опытом, я никого не посвящаю в свои планы. Я говорю тихонечко сам с собой, проговариваю все детали побега, заранее перебираю весь предстоящий мне путь, все мое возвращение блудного сы-

на, мне снятся кошмары, меня тревожит, не будет ли это грехом, и поскольку я вынужден держать все в секрете, я беседую с богом — теперь я подолгу и часто беседую с ним как до, так и после молитвы. Теперь я верую всем своим существом и очень нуждаюсь в помощи свыше, ибо слишком уж велики встающие передо мною трудности. Я принимаюсь чертить планы лицея и окружающей территории, что немного успокаивает меня. Я быстро прихожу к убеждению, что для побега возможен единственный путь. Спортивная площадка уведет меня далеко в сторону Со и парка, где я рискую заблудиться. Боковой выход из парка тоже отпадает из-за привратника с ястребиным зрением. Значит, я должен попробовать смешаться с толпой экстернов, которые уходят из лицея через главный подъезд; его открывают только в час окончания уроков. Привратника там нет, но есть надзиратель, и его бдительность нужно обмануть. Так что риск все же существует.

Но он не так уж велик. Надзиратели экстерната нас почти не знают. Экстерны высыпают на лестницу шумной толпой, все классы одновременно, и в полном беспорядке устремляются к выходу. Заранее избавившись от форменной серой блузы, держа в руке ранец и вместе со всеми крича и толкаясь, я сбегаю по лестнице. Через мгновенье толпа выносит меня наружу. Надзиратель ничего не заметил. Я свободен!

Погода чудесная, ласковое солнце провожает меня к вокзалу. Я уже ничего не боюсь. Со мною бог. Я правильно сделал, что посоветовался с ним. От этих приятных мыслей я замедляю шаг и к вокзалу подхожу спокойно и неторопливо, как будто гуляю. Я смотрю вокруг с растроганным любопытством человека, который после долгого отсутствия вернулся к цивилизации. Располагать собой — ощущение для меня новое и волнующее, мне еще надо к нему привыкнуть.

Пламя рассвета давно отпылало, сейчас одиннадцать часов, и погода стоит славная, слишком славная, чтобы мне хотелось сесть в поезд. Настроение мое почему-то меняется: неистовая тоска по дому улетучилась, я веду себя так, будто хочу как можно дольше не возвращаться в Париж. Я спускаюсь в подземный переход, который под железнодорожными путями выводит меня на площадь, разрезанную пополам шоссе на Орлеан. Отправиться пешком? Я останавливаюсь в нерешительности. Когда ты свободен, надо все решать самому, а я к этому не привык. Выбор на первый взгляд совсем пустяковый, но он затрудняет меня. В конце концов я сажусь в автобус, который идет до Орлеанских ворот, и путешествие на площадке наполняет меня радостью. Затруднение осталось позади. Кстати замечу, что такого рода отношение ко всякому выбору, проявившее себя здесь мимолетно и выразившееся в растерянности, которую я пытаюсь замаскировать, сделается впоследствии постоянной чертой моего характера.

Не знаю, почему я снова подумал об этом... Я радуюсь своей удаче, и радостное настроение сохраняется до конечной остановки. Я иду пешком по длинной улице, которая ведет к перекрестку у площади Алезия, а потом к площади Данфер-Рошро, кварталам, мне тогда еще незнакомым и в любой час дня многолюдным. Я то и дело останавливаюсь и ротозейничаю, но делаю это, должно быть, не случайно, ибо, чем ближе я к дому, тем больше меня охватывает беспокойство. Как встретят меня дома? У площади Алезия я захожу в церковь, чтобы еще раз обратиться к богу с просьбой о содействии, и чувствую, что охотно остался бы здесь на весь день.

Да простится мне, что я так подробно рассказываю об этих ребячествах. Они все больше удручают меня по мере того, как уходит в прошлое сама атмосфера, которая придавала им цену, по мере того как исчезают все эти мои мучительные раздумья и религиозные по-

рывы. Иногда я заглядываю в эту леденяще-холодную и некрасивую церковь, делаю в ней полный обход, останавливаюсь перед большим подсвечником, куда верующие вставляют свечи и зажигают их одну за другой, обращая свои просьбы к богу. Они дымно горят, я вдыхаю их запах. На этом месте я в тот день долго стоял, погруженный в наивные молитвы, и теперь я безуспешно ищу свою тень. Что я мог тогда сказать богу? Чего бы я ни просил, все должно было выглядеть нарочитым, все слова мои — недостойными божьего глагола. И как выразить обуревавшие меня чувства, когда я поднимался по собственной лестнице, когда, точно гость, звонил у собственной двери, гадая в тревоге, кто откроет мне дверь... Дверь открыла мама в пеньюаре.

— О господи, это малыш!

И голос отца из гостиной:

— Как? Ты с ума сошла!

Да, это я, это ваш сын, который страдал и томился вдали от вас! Какое счастье! И я плача смеюсь и смеясь плачу, и моя растроганность трогает маму, она сжимает меня в объятиях, она душит меня — ах, как я об этом мечтал! — она мешает свои слезы с моими, но ее ведь вообще нетрудно растрогать, и я опасаюсь, что ее сочувствия окажется мало для того, чтобы семья примирилась с моим вопиющим проступком. Я спешу поведать о своих злоключениях, я хочу, чтоб они поняли, как безумно я рвался домой, я сбивчиво повествую о подземелье, о заросшей кустарником окраине парка, о несправедливости судьбы и директора, о том, как я вместе с экстернами вышел на улицу, но, говоря обо всем этом, я ощущаю, что они не понимают меня и что заклания жирного тельца в честь возвращения блудного сына не будет. Мой побег восторга не вызвал. Первое удивленье прошло, отец бледнеет, разражается проклятьями, всуе поминает господа бога — меня эти богохульства коробят,— отец кричит, что из меня никогда не выйдет ничего путного, что на мне пора ставить крест, и я понимаю его гнев, ведь я в самом деле нарушил правила, но разве можно думать о правилах, когда родной сын так вас любит, когда он так убедительно доказал вам свою любовь, нет, мне этого не понять, и вы снова поступаете со мной несправедливо, вы опять меня унижаете, ставите на колени и награждаете оплеухами. У меня по сей день горят от них щеки...

Так завершилась моя недолгая одиссея. В конечном счете все обошлось довольно благополучно. Отец остывает быстро, он человек незлопамятный, он не может не видеть того, что так очевидно. Интернат для меня не подходит, это совершенно ясно, но, с другой стороны, нельзя уступать моему шантажу. Родители предлагают компромиссное решение. Ну, что ж, предположим, они согласятся забрать меня из интерната, но это, конечно, только предположение (перспектива слишком прекрасна, чтобы я мог до конца поверить в нее!), а пока я должен вернуться в лицей и пробыть там до конца учебного года. Я стараюсь насколько могу скрыть охватившую меня радость. Остаток дня я проведу в лоне семьи, как будто ничего особенного не произошло, и перебранка, которая возникает между родителями за ужином, приводит меня в умиление: дома действительно все осталось по-прежнему! Наутро я сажусь в поезд; меня сопровождает отец, одевшийся так, будто он едет на похороны.

Лицейское начальство приняло нас неожиданно хорошо. Очевидно, они не хотели предавать дело огласке, считая, что это повредит репутации заведения. Сначала отец поговорил с директором с глазу на глаз, потом в кабинет пригласили меня. Глубокие кресла благоухали ароматами кожи. Я почувствовал, что директор относится ко мне доброжелательно. Я приобретал некоторый вес, я стано-

вился Латюдом[1] вверенного ему лицея. У директора была серебряная шевелюра, он носил перстень с печаткой и весьма изысканно одевался, что составляло резкий контраст с потертой внешностью заведующего учебной частью, добродушного существа с неопрятными усиками, в чарли-чаплинском котелке. Свидание очень походило на нашу предыдущую встречу. Директору, думаю, до смерти надоело сидеть целыми днями в роскошном кабинете; история с подземельем заинтересовала его не на шутку, он, видно, вошел во вкус и теперь дотошно выспрашивал меня обо всех подробностях моего побега.

— Черт побери! В ту же дверь, что экстерны! Вы слышите, господин заведующий!

Заведующий кивал головой и вздыхал, точно провинился не я, а он. Директор удостоил меня длинной, исполненной стилистического изящества речи, в финале которой сообщил, что закон преступать нельзя. В наказание за свое прегрешение я до конца учебного года должен выходить из лицея лишь законным, предусмотренным всеми установлениями путем.

— Я бы мог тебя просто выгнать, но это было бы тебе слишком большой наградой,— добавил этот глубокий психолог и картинно взмахнул рукой, на которой красовался перстень с печаткой.

С этого дня учебный год стал медленно, но неудержимо скользить к своему залитому солнцем концу. Парк зазеленел и расцвел, и моя несчастная доля уже не представлялась мне такой несчастной. Три оставшихся месяца казались пустяком, поскольку я вырвал у родителей обещание забрать меня из лицея, и я просил маму повторять мне это снова и снова, когда мы в четверг гуляли с ней по зеленым аллеям и нам под ноги падали уже не листья, а белые колокольчики с каштанов и в воздухе пахло духами. Эти запахи стесняли мне дыханье, но в них был залог обновления природы и моей жизни, и это делало их переносимыми, даже приятными; легкое стеснение в груди придавало моим ожиданиям оттенок какой-то двойственности, в нем было что-то от прошлого и от будущего одновременно. Разве не в прошлое предстоит мне вернуться, когда пролетят три этих крохотных месяца и, если я заболею, за мной будет опять ухаживать та, которая сейчас с таким жаром уверяет, что тоскует по мне сильнее, чем я тоскую по ней... Я с ней ни о чем не спорил и больше не думал о том, что она могла бы получше защитить меня перед отцом, я был очарован и польщен ее увереньями, точно любовник, который ревность своей подруги принимает за признак любви.

Радовало меня и другое. В моих отношениях с *пансами* произошли перемены. Мой побег произвел впечатление не только на директора. Я с удивлением обнаружил, что, не прилагая к тому никаких усилий, сделался в лицее заметным персонажем и что молва приписывает мне целый ряд несуществующих подвигов. Опровергать эти слухи у меня не хватило мужества, я был счастлив, что не хожу больше в дурачках и в безответных страдальцах на побегушках у Лепретра.

Кроме того, я наконец понял и оценил в полной мере принцип отпущения грехов через посредника. Я был уже переполнен нечистыми помыслами, удручен своими отношениями с семьей, своей злостью, своей странной чувственностью, и все эти тени покрывали мою душу коростой. Теперь они становились грехами, и я мог оставлять их в исповедальне, куда, излечившись от своей склонности к лютеранству, я устремлялся во всех затруднительных случаях, чтобы покаяться перед проволочной сеткой во всех дурных мыслях,— я вел им тщательный учет и выходил оттуда очистившимся и умиро-

[1] Латюд — французский авантюрист XVIII века; провел в тюрьмах 35 лет, много раз пытался бежать, но его попытки всякий раз оканчивались неудачей.

творенным, а главное, избавленным от тревоги, которая сопровождала все мое детство. Говорю об этом без малейшей иронии. Когда все обряды бывали выполнены и все грехи мне отпущены, душа моя успокаивалась, точно море в безветренную погоду.

Потом наступает период уединения, бóльшую часть дня я провожу за пианино в музыкальном классе или в часовне, и, вспоминая об этой поре, я затрудняюсь сказать, были ли вообще у нас в то время уроки. Этот провал в памяти, я думаю, не случаен, он помогает мне уклониться от констатации того несомненного факта, что в плане ученья мои успехи были довольно посредственны...

В моем прохладно относившемся к религии семействе все мысли были заняты чисто материальной стороной подготовки к близящейся церемонии первого причастия, и этот кричащий разлад с моей искренней верой меня удручал. Если бы дело ограничивалось только устройством обильной трапезы, было бы еще полбеды — тут была глубоко укоренившаяся традиция; но мне приходилось непрерывно бороться с излишне смелыми вкусами мамы касательно одежды. Я не хотел выглядеть смешным: это свело бы на нет популярность, которую я завоевал в результате побега.

Борьба с маминым вкусами длится бóльшую часть моего детства и отрочества. Чаще всего я выхожу из нее побежденным. Костюм будет символизировать мою постоянную зависимость от семьи. Меня будут наряжать в дорогую, непрочную одежду, которая сшита по мерке и совершенно не вяжется с моим возрастом. Я всегда буду разодет по-праздничному, и, когда в моем характере проявится робость, нарядное платье будет еще больше подчеркивать ее.

В тот год у меня еще сохраняются остатки ребяческой непосредственности, и я яростно сопротивляюсь. Ведь меня собираются нарядить не больше не меньше как в костюм воспитанника Итонского колледжа: белые брюки, белый жилет, жесткий воротничок с отогнутыми уголками, короткая черная куртка с нарукавной повязкой и — что самое страшное и невозможное — цилиндр! Да, да, я не ошибся. Цилиндр!

Этот головной убор все время маячит передо мной ужасным видением. Цилиндр — не только нелепость; причастие в цилиндре граничит со святотатством... Но я забыл, с каким упорством мама настаивает на своем, даже когда дело касается пустяков — прежде всего тогда, когда оно касается пустяков.

Напрасно я объяснял, что смирению сердца должно соответствовать смирение во всем моем внешнем облике. В ответ я слышал весьма решительные возражения, суть которых сводилась к тому, что публика моего сердца не увидит, для нее, как для фотографа, важен лишь внешний вид. Словом, меня так и не поняли: к тому же смешивать таинство с событием светского свойства, увы, была склонна не одна только мама. Мне пришлось в конечном счете смириться и пойти на уступки: форму воспитанника знаменитого колледжа я, так и быть, надену, но обойдусь без головного убора. Последний пункт был принят с большим недовольством...

Сцены детства

Я вновь оказываюсь в своих прежних владениях, по которым так стосковался, и обхожу их тесное пространство с радостью путешественника, который наконец после долгой разлуки вернулся домой. Здесь произошли некоторые перемены. Ребенок, живший в глубине двора и имевший наглость родиться в одно время со мной, исчез. Семейство Мадлен переехало из Парижа в провинцию. В доме произошло также и прискорбное событие — впрочем, прискорбным я именую его лишь в силу приличий, ибо речь идет о кончине моего главного врага, госпожи де Парис; ее покарал великий Мститель, которого я уже не решаюсь смешивать с господом богом.

За соседней дверью, которую я в свое время испещрял оскорбительными надписями, клокотали, должно быть, бальзаковские страсти, ибо молва утверждает, будто единственной наследницей покойной стала, согласно завещанию, грозная Аннетта. Но она будет лишена удовольствия «надрать мне уши». Мы собираемся покинуть Вальде-Грас, который, на мой взгляд, не всегда заслуживал этого имени, и переехать в квартал, по которому я бродил в день моего побега из интерната,— в большую квартиру на углу площади Данфер-Рошро. Перемена жительства связана скорее с повышением по службе моего отца, который стал главным администратором фирмы, чем с моими памфлетами и карикатурами в адрес покойной домовладелицы.

Переезд произойдет перед началом нового учебного года, и все наши мысли заняты новым жилищем. От выяснения собственных взаимоотношений супружескую чету отвлекают бесконечные сметы, выбор обоев, ковров, мебели, внутреннего убранства. Эпоха бережливости, кажется, миновала, и заказы на новую обстановку носят довольно смелый характер.

Сожалею ли я, что все то, к чему я привык, скоро исчезнет? Я бы не стал этого утверждать. Лихорадочная суматоха, охватившая нашу семью, мне кажется, способствует укреплению домашнего очага, поскольку родители с таким увлечением занимаются устройством своего будущего. Мое возвращение домой и наши планы на осень предвещают приближение чего-то нового и неизведанного.

Однако, прежде чем говорить обо мне, следует снова сказать о моем отце. Отцовскими успехами отмечены все этапы моего роста, эти успехи подаются мне как пример для подражания. Пример этот меня, как известно, всегда обескураживал и отвращал; он словно восходит к назидательным историям прошлого века: бедный сирота, начав с нуля, кует свое собственное счастье и достигает почетного положения и богатства на манер — разумеется, в более скромных пропорциях — американских стальных или угольных королей. Для этого требуются незаурядные умственные способности и определенный склад характера и ума, а также необходимо везение. Но все это у отца, как вы знаете, было.

Подобный тип личности меня удивляет все больше по мере того, как я все решительнее отказываюсь ему подражать,— удивляет этот вкус к жизни деятельной и активной, к непрестанной работе, которая, как он впоследствии мне признается, будет составлять его единственную радость, ибо воскресенье для него — день унынья и скуки и он с удовольствием вычеркнул бы его из календаря; меня удивляет его страсть к порядку, к размещенью всего по полочкам, удивляет и каждодневное подведение итогов, и письменный стол, напоминающий картотеку в архиве. В этом смысле он уже совсем не тот человек, которого я описал в первых главах. Вспышки гнева, экстравагантные выходки — все ушло, уступив место коварной и безжалостной осмотрительности. «В делах он крайне строг и суров»,— будут отзываться о нем коллеги, и в их словах я услышу глубокое уважение к этому качеству, которое является в их глазах главным достоинством человека. Хочу отдать ему справедливость — я услышу о нем и такой отзыв: «Великодушен и щедр с подчиненными». Два облика, столь друг на друга не похожие, и один из них будет долго от меня скрыт, потому что я принял сторону матери, и отец останется для меня во многих отношениях незнакомцем... Его практицизм будет мне в высшей степени неприятен. Для него имеет значение лишь только то, что может принести непосредственную пользу; на все прочее не стоит тратить драгоценное время. За всю свою жизнь отец не прочтет ни одной книги и лишь незадолго до смерти прочитает «Отверженных» Гюго и несколько романов Бальзака. Они приведут его в восторг. Его отзыв о Бальзаке, пожалуй, весомее многих работ литературоведов и критиков. «Вот это,— вскричит он с горячностью,

даже чуть ли не с гневом, потрясая бальзаковским томом и словно оспаривая противоположное мнение,— вот это настоящая правда, настоящая жизнь!»

Однако я увлекаюсь и забегаю вперед. Мне хочется понять, в чем значение *сцен*. Быть может, для этого надо сначала сказать, в какой сфере деятельности применял он свои столь высоко оцененные таланты, благодаря которым вскоре мы сможем сменить три наших сумрачных комнаты на светлую пятикомнатную квартиру с балконами. Это — Новинки Моды, Большие Магазины, чье бурное развитие началось в девятнадцатом веке и с тех пор не прекращается ни на минуту. Поскольку в десятилетнем возрасте я не читал еще этой книги, забегу еще раз вперед и отошлю читателя к превосходному описанию таких магазинов у Золя в «Дамском счастье», романе, который отец почему-то откажется прочитать. Золя лишь в одном отступил от правды: он ввел в роман искусственную, сентиментальную интригу, которая совершенно не вяжется с этой средой, ибо здесь нет места чувствам. Я знаю, о чем говорю. Моей единственной колыбельной были назойливые отголоски *Торгового оборота,* существа, имеющего свойство непрерывно разбухать, о чем нам всякий раз сообщалось в тоне победных реляций с театра военных действий. Как-то вечером отец возвращается домой в страшном возбуждении и, не снимая пальто, вынимает из кармана испещренный цифрами листок.

— В этом месяце впервые в истории оборот фирмы превысил миллиард! — кричит он.

На меня это произвело сильное впечатление. В слове «миллиард» мерцало нечто головокружительное, в нем проглядывала бесконечность... Он действительно странен, этот мир служителей бога Коммерции!..

И опять наступают каникулы, и мне кажется, что они никогда не кончались, что только в каникулы шла реальная жизнь, что остальную часть года я был слеп или меня вообще не существовало. Во всем этом заключено что-то тревожное. Эти каникулы мы проведем на Лазурном берегу, в Ментоне. Мамина прихоть? Думаю, дело заключалось скорее в том, что надо было сопровождать старшую сестру отца, ту самую тетю Берту, что жила на вилле в пригороде Меца; она тяжело заболела, и, видимо, врачи рекомендовали ей средиземноморский климат. Наше пребывание в то лето на юге имело свои мрачные и малопонятные стороны, которые мне не удастся вам объяснить. Повзрослев и сделавшись более бдительным, я почуял их почти сразу, однако в этот год все было, надо думать, гораздо сложнее. Я расскажу лишь о том, что мне особенно бросилось в глаза во время этих каникул, которые в целом оказались, однако, довольно приятными.

Ментона была тогда самым спокойным и тихим уголком на всем побережье, ее обветшалые отели были населены преимущественно англичанами, а семейные пансионы — колониями русских эмигрантов. Мы поселились на британской стороне во вполне удобном, хотя и лишенном роскоши заведении. У меня в памяти сохранился ряд беспорядочно перемешанных картин, связанных прежде всего с удивительно ранним половым развитием юных ментонцев, среди которых был, в частности, сын хозяина нашего отеля; я с ним подружился, и он склонял меня к играм, которые числились запретными в моем каталоге грехов. Я отказался; тогда он, исполненный самых благих намерений, предложил мне отправиться с ним в бордель, куда он имел обыкновение наведываться. Замечу, что ему было около тринадцати лет. Не без некоторого сожаления, вызванного не столько желанием, сколько любопытством, я опять отказался — из-за своих религиозных принципов, а также из боязни, что об этом узнает мама. Опережая события, она уже начинает приглядывать за мной,

чтобы вовремя пресечь вожделения подобного свойства. Помню тенистый переулок, где мальчик покидает меня, презирая мое малодушие, помню дверь, в которую он стучится и которую — что уж совсем удивительно — ему открывают! Значит, это не было с его стороны простым бахвальством южанина. Я не решаюсь предположить, что в эту дверь могли бы впустить и меня. Нет, нет, об этом не надо, но все-таки... Однако, вспоминая о событиях этого лета, я меньше всего хочу говорить о себе.

Меня интригует, какую роль играла тогда тетя Берта, и я прошу у нее прощения за то, что оскверняю ее память воспоминаниями такого рода. Казалось бы, начав выздоравливать, она должна была целыми днями напролет наслаждаться солнцем и воздухом, лежа в одном из шезлонгов, которые предназначены специально для пожилых людей и расставлены по всему берегу моря. Но она проявила полное равнодушие и к красоте этой до уныния синей воды, и к роскоши садов, где произрастают пальмы и лавры. Преисполнившись бодрости, она заявила, что будет принимать участие во всех наших экскурсиях и прогулках, и было бы трудно сказать, кто из двух женщин кого сопровождает, если бы эта неугомонная дама не выглядела дуэньей, чей долг — охранять свою молодую спутницу от предприимчивых ментонцев, которые, очевидно под влиянием соседней Италии, были, на мой взгляд, одержимы неистовой похотью. Быть может, она этой дуэньей и была в самом деле?.. Ментона — залитая белым солнцем расщелина со слепыми, не сулящими ничего доброго стенами. Вернувшись из интерната в лоно семьи, я надеялся, что нависшие над нами угрозы рассеялись и единство семьи укрепилось ввиду предстоящей перемены квартиры, но понемногу я стал понимать, что угрозы остались, что они лишь на время отодвинуты в сторону и прикрыты новыми обоями и коврами.

Моя прежняя тревога снова вынырнула на поверхность. Мне кажется, что некая смутная опасность, воспользовавшись расстоянием, отрезавшим нас от парижского дома, воспользовавшись расслабляющим климатом юга, бродит упорно вокруг, и ее присутствие все время портит мне жизнь, не дает получать удовольствие от развлечений, мешает любоваться пейзажами; эти пейзажи отныне слиты для меня с ощущением коварной опасности, и мне теперь всегда будет не по себе в южных краях, я возненавижу их вкрадчивую чувственность, и первые шаги моей собственной чувственности будут отмечены какой-то боязнью вкупе с нравственным осуждением...

Помню один из тех жарких сырых вечеров, когда кожа становится липкой от пота. Тетя Берта ложилась спать рано — единственная уступка, которую она делала своему еще не окрепшему здоровью,— и, освободившись от ее надзора, мы выходили из отеля и смешивались с толпой, повинуясь местному обычаю, который требует, чтобы вы без конца ходили взад и вперед по дамбе и развлекали себя разговорами. Обычно мама довольно скоро уставала, и мы делали привал в «Беседке» — дансинге под открытым небом, где смотрели на танцующих и пили липовый отвар, способствующий сну. Отделенный от улицы бамбуковой изгородью, освещенный разноцветными лампами, которые стоят на столах и висят гирляндами между деревьями, этот уголок мне нравится, и я очень горд тем, что мама меня сюда приводит. Мы пребываем в самом начале того периода, когда льстецы принимают меня за маминого младшего брата и изображают недоверчивое удивление, узнав, что я ее сын. В тот вечер мы не одни, с нами увязался человек, которого ввиду его солидного возраста я не могу заподозрить ни в каких задних мыслях, он живет в нашем отеле и тоже страдает от скуки и курортного одиночества. Разговаривать с ним интересно, ибо он, как он сам утверждает, «все на свете изведал». И он предлагает нам изменить своим привычкам

и, вместо того чтобы сидеть в этом всем надоевшем дансинге, отправиться на экскурсию в кварталы старого города.

Быстро устав от живописного однообразия развешенного над улицами белья, от бесконечных лестниц и от запахов прогорклого масла и жареной рыбы, мы заходим выпить нашего ритуального липового отвара в грязный, засиженный мухами бар, где за одним из столиков сидит молодая и, мягко говоря, не отличающаяся изысканными манерами женщина, а двое мужчин оспаривают друг у друга ее благосклонность. Мама и наш пресыщенный жизнью спутник с интересом наблюдали за перипетиями ссоры, а я хмурился и мрачнел, охваченный омерзением к этой гнусной обстановке, к ее грязи, к оскорбительной пошлости всего этого трио — и женщины с завитками волос на висках, и ее спутников с физиономиями марсельских сутенеров. До нас долетало кое-что из разговора, и все эти словечки, эти обрывки фраз, перемежаемые перешептываниями и смехом и сопровождаемые к тому же нашими комментариями, приобретали из-за полной своей невнятности характер двусмысленных намеков. Во всем этом мне виделось нечто заразное и нечистое, вроде следов от мух, тучами вившихся над лампами и столами. Толком не понимая, в чем дело, я все же догадывался, чего добиваются эти мужчины, и досадовал на себя за то, что способен об этом догадаться. Еще больше досадовал я на маму и на нашего старого скептика, потому что они находили удовольствие в этом соседстве, от которого пахло какой-то уродливой и опасной тайной. Я досадовал на маму еще и за то, что она так легкомысленно подвергает меня опасности понять до конца и полностью то, что до сих пор я понимал лишь отчасти. Высокая нравственность? Нет, скорее оборотная сторона влечения... Наш спутник пришел тем временем в полный восторг. Низость, упадок нравов, пошлость человеческих чувств подтверждали правоту его философских воззрений, и он буквально упивался происходившей на его глазах сценой, с каким-то сладострастием ее смаковал. Это начинало меня раздражать. Помню, как огорчила меня и фраза, произнесенная мамой с поразительным простодушием:

— Интересно, с кем из них она в конце концов пойдет?

— Мадам, но это же очевидно! — с наигранным удивлением воскликнул наш скептик.

— Право же, я затрудняюсь...

Человек, который все на свете изведал, всем своим видом показывает, как трогательна такая наивность.

— Конечно же с тем, кто при деньгах,— говорит он.— У того, что слева, явно пустой карман.

— Как жалко,— вздыхает мама.

Насколько я помню, философ в ответ заявил, что такова уж человеческая натура и ее ничто не изменит. После чего мы допили свой липовый отвар — напиток, казавшийся нелепым в стенах подобного заведения,— и ушли, так и не узнав, на ком остановила потаскушка свой окончательный выбор.

Не знаю почему, эта ничтожная сцена, эти слова о низменной подоплеке любви, которые я услышал в тяжкой духоте бара, опять вспоминаются мне и будоражат душу. Может быть, дело тут в том, что мне хочется еще немного оттянуть рассказ о возвращении в Париж; может быть, оттого-то я и вглядываюсь так пристально в Ментону, в эту залитую солнцем расщелину с ее подозрительными нравами и густой сексуальностью. Однако, сколько ни вглядываюсь я в нее, я вижу лишь тьму, висящую над берегом моря, но вот предо мной возникает еще один, самый последний образ, и он пронзает мне сердце несказанной печалью: на дамбе, под порывами мистраля — об этом позволяет судить хмурая прозрачность неба — стоит мама в белой шелковой пижаме, в расклешенных на матросский манер брюках

и в остроконечной шляпе с широкими мягкими полями, которые можно наискось приподнять надо лбом. Она, должно быть, позирует перед бродячим фотографом, потому что в ее улыбке проскальзывает натянутость, но глаза выражают удовольствие от того, что ее фотографируют в таком замечательном костюме, и удовольствие это так же непосредственно и простодушно, как и ее вопрос о девице в подозрительном баре. В этом весь ее характер, вся совокупность тех черт, которые были ей свойственны в ту пору, тех, которые я здесь описал и которые почему-то все разом вспоминаются мне, когда я смотрю на эту улыбку и на эти глаза,— я читаю в них простодушие и повышенную чувствительность в сочетании с упрямой настойчивостью, театральную величавость, и тонкую интуицию, и нетерпимость во всем, что касается чувств и страстей — неисчерпаемый вихрь, сотканный из противоречий и непостоянства, переплетение манер и повадок, составляющих личность,— последний образ, которому предстоит выдержать столько суровых атак, что мне хочется удержать это мгновенье, когда время будто остановилось и когда еще сохраняются, несмотря ни на что, мои связи с детством, мои детские отношения с мамой, хотя уже близок их полный разрыв...

Таков итог моего первого десятилетия. С должным ли уважением отнесся я к фактам? Не берусь этого утверждать. Я попытался передать все то романтическое и наивное, что пребывало в моем сознании постоянно и что смогло избежать забвения, но словам зачастую оказывается не под силу охватить весь комплекс тех неуловимых, граничащих с иллюзорностью отношений, которые проявляются в образах и навязчивых мыслях; трудно, может быть, потому, что слова пытаются перевести эти отношения в другой, более ясный, порой чересчур ясный план. Но, кажется, мне все же удалось очертить в какой-то мере то, что зовется судьбой, начиная с глубины двора, с этой мутности, мерцающей в недрах комнаты, в прямоугольнике окна и скрывающей тайну моего рождения, по поводу которого я задавал себе столько недоуменных вопросов, испытывая странную тоску по зыбкому промежуточному состоянию и, возможно, уже предчувствуя все те тревоги и затруднения, которые ждали меня впереди; итог довольно неутешительный. Для меня уже почти невозможно снова вернуться в края, которые я покидаю и от которых, самим фактом изложения своих свидетельств на бумаге, я еще больше отделяю себя, ибо теперь я словно отсек от себя скальпелем детство и ощущаю лишь чистое, мифическое сожаление об утраченном счастье: слишком много теней повстречал я на этих дорогах.

Оживить эти тени был в состоянии опять-таки один лишь я, оживить, не дать им кануть в забвение; я, точно ожог, ощущаю потребность их воскресить. И прежде чем вы перевернете страницу, скажите, прошу вас: как сохранить навсегда в своем сердце весь этот мир?..

■

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Французская литература наших дней» (1967), сборников переводов «Поль Элюар. Стихи» (1971), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), «Страницы африканской поэзии. XX век» (1980), ряда статей и предисловий. Переводил романы и повести Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Катеба Ясина, Антони Фелпса; стихи Арагона, Рене Шара, Алена Боске, Пабло Неруды, Бертольта Брехта, Янниса Рицоса, Десанки Максимович, Леопольда Сенгора и других поэтов.

Критика

И. МЛЕЧИНА

ХУДОЖНИК, ТВОРЧЕСТВО, ЖИЗНЬ

Читая книги писателей ГДР

«...В ином слове не то что человек, целый народ может уместиться»,— эта мысль Анны Зегерс, вложенная писательницей в уста великого немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана (новелла «Встреча в пути»), образно раскрывает роль литературы: в слове художника воплощаются судьбы народа. В условиях социализма роль эта становится неизмеримо более значимой, чем в предыдущие эпохи. Не случайно поэтому в ГДР, особенно в последние полтора-два десятилетия, отмечается глубокий интерес к проблемам писательского творчества. Интервью с литераторами, репортажи из «мастерской», беседы с авторами об их книгах появляются все чаще; большой популярностью пользуются эссеистские книги, представляющие собой своеобразный отчет из писательской лаборатории, который переплетается с размышлениями о жизни современного мира,— таковы, например, «Чтение» и «Вечерний свет» Ст. Хермлина, «22 дня, или Половина жизни» и «Опыт и противоречия. Эссе о литературе» Ф. Фюмана, «Пиноккио, и несть ему конца. Заметки о литературе» М. В. Шульца, «Почти правда. Взгляд на искусство и литературу» Э. Нойча, «Заговор муз» И. фон Вангенхайм.

Четко определившееся в последние годы стремление литературы к самоосмыслению явилось откликом на назревшую общественную потребность определить место искусства в новых исторических условиях. Зрелость страны, вступившей в пору построения развитого социализма, обретенный опыт располагают писателей «остановиться, оглянуться» — осмыслить пройденный путь, новое назначение литературы, ее возросшую ответственность.

Еще на 2-й Биттерфельдской конференции (1964) Э. Штриттматтер говорил о необходимости по-новому обдумать вопрос о том, «что должно и что может искусство». Он поделился мыслью, волновавшей многих,— о том, что новый уровень общественного развития требует от писателя и нового взгляда на читательскую аудиторию, а тем самым и более совершенных средств отражения действительности: читателя необходимо делать соучастником писательских наблюдений и раздумий, учить его различать и улавливать «обертоны в жизни».

Инга фон Вангенхайм, автор известной книги «История и наши истории», отвечая на вопрос, почему в ее творчестве столь значительное место занимает эссеистика, подчеркнула важность и актуальность писательских размышлений об искусстве: «Развитое социалистическое общество... требует от художника и писателя значительно большей ясности в вопросе о том, что... благоприятствует искусству и что... искусству враждебно. При этом нам не обойтись без первооткрывательской, продуктивной деятельности познающего художника и писателя». Важную задачу эссеистики Вангенхайм видит в том, чтобы, следуя традиции гуманистической немецкой литературы — Гёте, Шиллера, Гейне, Фонтане, Г. Манна, Т. Манна, а также мастеров социалистического реализма — Бехера, Брехта, А. Цвейга, Зегерс,—

МЛЕЧИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Советский критик, литературовед и переводчик; кандидат филологических наук. Автор книги «Литература и общество потребления» (1975) и ряда работ по проблемам современной литературы ГДР и ФРГ.

выявлять и смело ставить острые идейно-эстетические вопросы, глубже проникать в реальность.

Стремление литературы заглянуть в собственные глубины вылилось не только мощным потоком произведений эссеистского плана — перед этой волной не устоял и сам «главный жанр». На страницах романов во множестве появились персонажи, причастные к искусству и литературе,— писатели, художники, журналисты и т. д. Одно за другим выходили такие произведения, как «Актовый зал» и «Выходные данные» Г. Канта, второй том «Чудодея» Э. Штриттматтера, «Встреча в пути» А. Зегерс, «Франциска Линкерханд» Б. Райман, «Размышления о Кристе Т.» и «Пример одного детства» К. Вольф, «Присуждение премии» и «Бранденбургские изыскания» Г. де Бройна.

Выступая на VII съезде писателей, Герман Кант отметил эту тенденцию, сказав, что «почти массовое нашествие литераторов на страницы художественных произведений» — не случайность, что это связано с «новым самосознанием» литературы ГДР, вырастающим из ее новых задач, из новых требований читателей, их новых ожиданий, с укрепившимся после VIII съезда СЕПГ пониманием «своеобразия и незаменимости художественного творчества» и огромной ответственности деятелей искусства, с осознанием широких возможностей, открывшихся перед литературой в социалистическом обществе.

Конечно, писатели ГДР, вдруг массами впустившие на страницы своих произведений фигуры собратьев-литераторов, не оказались в этом смысле на абсолютной целине — немецкая литература прошлого не раз черпала темы и сюжеты в коллизиях жизни людей творчества. Однако предметом изображения в литературе ГДР оказалась не фигура талантливого, но одинокого художника, которому не суждено реализовать свои творческие замыслы во враждебном ему обществе,— фигура, в разнообразнейших вариантах представленная немецкой литературой от романтиков до Т. Манна и Г. Гессе. В поле зрения писателей ГДР — принципиально иные жизненные конфликты, новый тип творческой личности, рожденный изменившейся общественно-исторической ситуацией.

Нередко в западногерманской критике проводится параллель между литературой ГДР, в центре которой проблематика творчества, и весьма распространенной на Западе «литературой о литературе», связь между ними устанавливается на уровне сюжетных мотивов или отдельных приемов. Однако по глубинной своей сути это явления разного порядка: на сходные вопросы в этих литературах даются разные ответы, мир предстает в ином измерении, иной перспективе.

«Литература о литературе», занятая лишь собой, лишенная запахов живой жизни, широко распространилась в послевоенной Западной Европе на фоне кризисной ситуации в области культуры, проклamирования идей о «конце литературы» и обреченности романа. По-видимому, наиболее последовательно воплотил это кризисное жизнеощущение французский «новый роман». Именно с ним прежде всего связано представление о литературе, с особым вниманием фиксирующей сам процесс создания текста, литературе, взявшей на себя одновременно роль критики и сводящей коммуникативную функцию к демонстрации литературной техники, «чистой» структуры. В литературоведческий обиход вошла выразительная формула Ж. Рикарду, заявившего в начале 70-х годов, что в отличие от традиционного романа, являвшего собой «сочинение о приключении», современный роман представляет собой «приключение сочинения». За этой программой, как и за практическими работами авторов «нового романа», переводивших читательское внимание на процесс конструирования текста, стояло, конечно, и стремление противодействовать манипуляции общественным сознанием со стороны буржуазной массовой культуры и литературы, воспрепятствовать воздействию на человека навязанных ему лживых схем и ходульных образов, с которыми он привык отождествлять себя и свою жизненную ситуацию. Однако бегство от шаблонов буржуазного романа завершалось, по словам К. Вольф, возвращением к новому штампу: «практической попыткой дать скрупулезное описание вещного мира, на фоне которого почти не выделяется человек, «опознавательный номер»...»

В ФРГ была и другая, чисто немецкая, коренящаяся в недавней истории, причина для литераторов с особым вниманием присматриваться к своему материалу, языку, к процессу создания произведения, скорбеть о «трудностях самовыражения». Заключалась она в значительной мере в крайней скомпрометированности самого языка, как бы пришедшего в негодность из-за двенадцатилетнего злоупотребления им в эпоху нацизма. Слова были опорочены содержанием тех понятий, к которым их прикрепил «тысячелетний рейх», и теперь словно сопротивлялись связям с изменившейся реальностью.

Подозрительность к языковому материалу вынуждала к поискам некой иной «субстанции», лежащей за пределами обозримой, исторически конкретной и тоже скомпрометировавшей себя реальности. Такой «субстанцией» мог служить сам язык, предварительно очищенный от осевшей на нем «пены» исторически обусловленного смысла, или же процесс письма, раздумья о «невозможности повествовать».

«Эстетизация политики» и «политизация эстетики», сопровождавшие в 60-е годы крушение казавшихся устойчивыми идеологических систем и различных модных учений, повторяемые у надгробья уже якобы прочно похороненной литературы речи об ее окончательной ненадобности,— таковы были культурные издержки молодежного «левого» движения. Литература должна была быть заменена действием, или же оставался лишь один, исконно ей

принадлежащий предмет — она сама. Литература принялась вслух размышлять о самой себе.

Изображение процесса письма становилось своего рода обязательным элементом прозы. Повествовательная техника все заметнее выставлялась напоказ, внедряясь в сюжетную ткань произведения. Форма романа оказывалась прочно сцепленной с критикой самой формы романа. Одним из главных симптомов этой литературы стало вытеснение человека: поскольку литература считает себя свободной от обязательства изображать человеческую жизнь (лишаясь тем самым главного своего содержания и смысла), она со всей неизбежностью должна переходить к изображению самой себя. Мысль об исчерпанности романа, представление о нем как о «смертельно больном пациенте», неверие в возможность подступиться к многослойной действительности окружающего мира, норовящей ускользнуть от пристального ока художника, и, как результат, исчезновение из литературы человека — вот некоторые из черт литературного развития современного Запада.

Если для целого ряда западных авторов главным становится изображение микропсихологического пространства, замкнутого мира внутренних переживаний человека, погруженного в стихию творчества и по существу изолированного от реальности, то для писателей социалистических стран по большей части процесс творчества прочно связан с системой межчеловеческих отношений, с реальной жизнью, с конкретной исторической действительностью. Исследование эстетической проблематики, процесса письма оказывается важнейшим философско-нравственным измерением. Именно в этом своем качестве оно и входит в литературу социалистических стран. Столь широкий интерес к творческому процессу связан здесь тем самым не с ощущением кризиса романа, не с сомнениями в перспективности жанра или неверием в его способность охватить реальный мир, а с новой общественной ролью литературы, ее изменившейся функцией. Увлечение этой тематикой выражает, несомненно, и глубокую потребность литературы в познании самой себя, и стремление к поиску, и попытку прорвать границы известного, вырваться за пределы уже освоенных возможностей, взглянуть на себя как бы со стороны, выполняя роль собственного критика, часто придирчивого и проничного. Отсюда новое, более осознанное отношение к языковому материалу, желание найти новую оценочную дистанцию по отношению к изображаемому, более интенсивное и экономное использование разного рода стилистических «украшений», языковых фигур.

«Трудности самовыражения» отнюдь не исчезают и в литературе социалистических стран, однако их демонстрация вовсе не является самоцелью. Читателя приглашают к совместному поиску. Уровень сознания «потребителя» литературы, его подготовленность выросли настолько, что позволяют и даже требуют превратить его в партнера, советчика, как бы участника литературного процесса. Ибо интерес к художественной проблематике стимулировался и теми плодотворными переменами, которые наметились в социалистических литературах в 60—70-е годы, и прежде всего общим поворотом к художественному исследованию личности, душевного и духовного мира человека, к творческому началу.

Размышления о роли искусства в современном обществе, процесс формирования художника составляют сюжетный и идейный центр многих произведений последнего времени. О специфике творчества, о целях и смысле литературы идет разговор во многих романах, повестях, новеллах Анны Зегерс. Тема ответственности художника всегда волновала писательницу — достаточно вспомнить историю Герберта Мельцера из «Решения» и «Доверия». В последние годы А. Зегерс открывает новые аспекты, новые грани этой темы — подтверждением тому служит новелла «Встреча в пути» (1972). Сводя в одном историческом времени и одной географической точке трех крупных художников разных эпох и стран — Гофмана, Гоголя, Кафку,— писательница снова обращается к проблеме искусства как долга. Смертельно больной Кафка, сознающий, что отпущенный ему жизненный срок предельно короток, читает в пражском кафе, где встречаются трое, отрывок из «Замка». Гофман, в уста которого А. Зегерс вкладывает мысли, наиболее близкие ей самой, с интересом слушает текст, чувствуя одаренность молодого писателя, но сознает и безысходность, таящуюся в этой прозе. Кафка убежден, что писание лишено смысла, что художнику суждено оставаться непонятым, ложно истолкованным; именно потому он намерен уничтожить свои рукописи. Но Гофман твердо верит, что люди нуждаются в искусстве. Необходимо, говорит он, видеть «источник света», который помогает ориентироваться, находить путь во мраке.

Показывая творческую близость этих писателей — их пристрастие к фантастическому, к вольному обращению с временем, к свободным переходам от реальности к вымыслу,— А. Зегерс подчеркивает индивидуальную специфику, особенности взгляда на мир каждого из них. В искусстве, напоминает она, не может быть полного сходства, иначе место оригинала займут бесчисленные копии. Для Гофмана фантазия неотделима от действительности; защищая право художника на вымысел, он убежден, что главным в искусстве неизменно остается человек.

Тема творчества в произведениях писателей ГДР всегда оказывается сопряженной с обширным комплексом нравственных, духовных проблем, остро волнующих общество. Западная критика склонна оценивать обращение писателей к подобной тематике как отход от конкретных противоречий и трудностей жизни. Именно в таком ключе комментировался в ФРГ роман де Бройна «Присуждение премии». Однако, делая литературно-эстетическую проблематику центром своих произведений, писатели не только не отгораживают себя от действительности, а, напротив, на-

прямую подключаются к повседневности социалистического общества.

Эдуард Клаудиус в «Зимней сказке на Рюгене» (1965) соединяет через фигуру рассказчика-писателя проблемы литературы с острозлободневными проблемами современной жизни. Размышления о «литературном климате», о том, как лучше подойти к «предмету», прочно слиты с наблюдениями над жизнью молодежи ГДР, составляющими как бы вторую сюжетную линию повествования, если принять за первую «отчет» рассказчика о самом себе; две эти плоскости повествования неразделимы. Эрих Кёлер в сатирической повести «Жаба» (1976) использует фантастически очуждающий прием: герой, «под шляпой» которого поселилось некое неприятное и язвительное «существо», вдруг начинает замечать недостатки, собственные и чужие, которых не видел прежде. И здесь вмонтированные в текст иронические рассуждения о том, «как писать», становятся способом сфокусировать внимание читателя на противоречиях и коллизиях нашего времени.

Нередко в произведения этого плана «встроена» внутрилитературная полемика, направленная против схематизма, упрощенного взгляда на действительность, против описательности, экстенсивных средств изображения, попыток обойти острые углы. Именно так поступают в своих романах Кант, Штритматтер, де Бройн, К. Вольф. Из такой полемики авторы извлекают юмористический, сатирический эффект. Достаточно вспомнить, к примеру, сцену выступления героя на торжественной церемонии из «Присуждения премии» де Бройна или эпизод собрания в союзе писателей из «Актового зала» Канта — здесь объектом авторской насмешки становится литературное пустозвонство, отсутствие мысли, прикрывающееся модной фразой, многозначительные, расплывчатые, претендующие на универсальность формулы вроде «кошки Вассермана» — метафоры, смысла которой не понимает ни один из участников обсуждения.

В «Присуждении премии» (1972) Гюнтера де Бройна конфликт, внешне ограниченный пределами литературной полемики, таит в себе изрядную порцию взрывоопасных жизненных проблем. Суть изображенной коллизии не только и не столько в том, выступит или не выступит литературовед-германист Тео Овербек со своей «лаудацио», торжественной речью по случаю вручения премии его бывшему другу, а ныне знаменитому литератору Паулю Шустеру. Вопрос о том, хорошо или плохо награждаемое сочинение,— это лишь ядро коллизии, окруженное множеством неотделимых от него слоев: размышлений о совести и долге, правде и лжи, бескомпромиссности и приспособленчестве. Подлинным центром повествования оказываются вполне конкретные проблемы социалистического общества, которые не умещаются в рамках дискуссии о литературных вкусах и эстетических пристрастиях.

Спор о книге Шустера и о речи, ее прославляющей, отражает разный подход к жизни, несовместимые порой моральные позиции. Отношение к обсуждаемому роману дважды, с разрывом примерно в двадцать лет, становится тем оселком, на котором проверяется зрелость мышления героев. Когда-то молодой интеллигент-энтузиаст Тео Овербек толкнул — сам того не ведая — молодого рыбака и начинающего писателя Пауля Шустера на путь духовного опустошения, и тот малодушно расправился с собственным талантом. Пауль, с точностью заведенного механизма, двинулся по опасной дороге: научился приглаживать, округлять, смягчать, перешагнул через принцип, которому прежде поклонялся свято,— принцип правды, стал знаменитым, но посредственным писателем.

В размышлениях Тео о награждаемой книге, в спорах, которые ведут герои, вопросы литературного качества, подлинной художественности, правдивости отражения жизни прочно сцеплены с размышлениями о социалистической нравственности, о поведении человека в ответственнейший час его жизни. Вот почему кажется столь близоруким высказанный западногерманской критикой взгляд на этот роман как на «обогащенную многочисленными психологическими деталями историю треугольника».

Завязанные в один тугой сюжетный узел нити повествования проходят через разнообразнейшие точки общественной и индивидуальной жизни современного человека. Размышления Тео о книге, о литературе, в которой нуждается социалистическое общество, повисали бы в воздухе, не будь они столь органично вплетены в общую структуру повествования, смысл которой гораздо объемнее и глубже, нежели изящно и остроумно изложенная история очередного «треугольника» или неудачного выступления одного неуверенного в себе литературоведа. Смысл этот раскрывается не только в насыщенной коллизиями биографии отношений Тео и Пауля, но и в не меньшей степени в конфликте между Тео и Либшером, обнажающем чрезвычайную степень расхождения во взглядах этих двух персонажей. Для Либшера житейская мудрость заключена в приспосабливании к очередному чужому мнению, в обязательном, запрограммированном компромиссе, который неизменно обставляется отшлифованными формулами почти патетического звучания — о высоком чувстве ответственности, долге, дисциплине, общественной пользе и прочем. Перед нами концентрированная программа образованного обывателя, умело камуфлирующего банальную суть своих взглядов новейшей интеллектуалистской фразеологией. Тео же не хочет строить жизнь на трухлявых догмах Либшера.

Разговор о книге превращается, таким образом, в острую дискуссию о нравственных ориентирах социалистического общества. На ином материале ставятся проблемы творчества в книге де Бройна «Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера»

П. МЛЕЧИНА
ХУДОЖНИК. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ

(1975). Речь в ней идет о честности, верности правде жизни, о служении справедливости и общественному прогрессу как высшем долге и добродетели художника. Де Бройн испытывает давний интерес к Жан Полю, его судьбе, творческой манере: более всего де Бройна подкупает недекларативный, органический гуманизм его предшественника, бунт против насилия над личностью «маленького человека», внутренняя стойкость и неподкупность.

Верность напряженному моральному конфликту де Бройн сохраняет и в повести «Бранденбургские изыскания» (1978). Случайная встреча сводит двух совершенно разных людей — скромного деревенского учителя Петча и хорошо известного в литературных кругах профессора Менцеля. Каждый из них, как выясняется, со страстью предается литературно-историческим изысканиям — исследованию жизни и творчества некоего (придуманного де Бройном) писателя, поэта Макса фон Шведенова, жившего в Бранденбурге. Итак, сближает героев предмет их научного интереса. Все остальное их разделяет, и столкновение героев, а стало быть, и их взглядов выписано здесь куда беспощаднее, жестче, концентрированнее, чем в «Присуждении премии».

Для профессора Менцеля фигура жившего в начале XIX века фон Шведенова — удобнейшее средство для собственного возвеличивания. Написанный им монументальный труд о бранденбургском поэте должен стать незыблемым фундаментом дальнейших головокружительных успехов на научном поприще. Создавая памятник поэту, он, по язвительному замечанию одного из своих сотрудников, создает памятник самому себе. При этом знаменитый профессор умышленно обходится с материалом так, как — совершенно без умысла — обходился с рукописью Пауля Шустера молодой функционер Тео Овербек: он перекраивает и ломает его, приспосабливая к заранее сконструированной концепции, производит те же операции по «приглаживанию» и «устранению шероховатостей». Иными словами, он не научную гипотезу выводит из материала, а, напротив, материал «доводит» до нужной кондиции, насильственно втискивая его в собственноручно сколоченные рамки и приводя в соответствие с «нужной» формулой.

Открытие неизвестного до сих пор поэта-якобинца должно обеспечить исследователю гарантированное место в благодарной памяти его соотечественников. По характеристике все того же язвительного молодого сотрудника Менцеля, последний «не исследует, он декретирует. Он хотя и не подтасовывает... но зато просто опускает все то, что ему не важно; а не важно для него то, что не подкрепляет или тем более опровергает его тезис».

Из «Повести для любителей истории литературы» (таков иронический подзаголовок этой книги) произведение де Бройна превращается в серьезный диспут о принципах и нормах человеческих отношений, которые волнуют отнюдь не только «поклонников литературы», но всех и каждого, общество в целом. В сцене профессорского юбилея, написанной с сатирическим блеском, Менцель выступает — правда перед единственным свидетелем, Петчем — с ошеломляющим саморазоблачением. «Ты гонишься за фантомом, который, насколько я тебя знаю, именуешь правдой. Для меня же речь идет о гораздо большем — о том, быть или не быть в науке, в сознании потомков».

Итак, повесть выводит нас не столько в сферу проблем историко-литературных, сколько этических. Разговор ведется не просто о научной необъективности, а о пренебрежении истиной ради четко обозначенной и вполне прагматической цели — личного благополучия. Предметом сатирического изображения становятся неизжитые, снова и снова репродуцирующиеся формы эгоцентризма, вступающего в неизбежный конфликт и с поиском истины, в котором не может не быть заинтересовано общество, и с моральными нормами, выработанными коллективным опытом.

Но, конечно же, стрела сатирического гнева направлена и против упрощенчества, схематизма в литературе и науке, против догматических попыток приспосабливать факты жизни к сугубо умозрительным, не выдерживающим соприкосновения с реальностью, но зато «нужным» схемам. В произведениях Шведенова, который является объектом двух столь разных исследований, встречается фигура математика, сводящего всю живую красоту к геометрической форме. Поэт называет его то «одномерным», то «плоским червем», то «бумажным человеком». Этот подаренный де Бройном несуществовавшему Шведенову образ весьма точно обозначает предмет сатирической критики — всякая одномерность, безжизненность, примитивизация противопоказаны и искусству, и научному исследованию.

Нравственный аспект становится ощутимым центром повествования, соединяя проблематику историко-литературного исследования с общественно-этическими вопросами, волнующими современников. Характеры героев, как и сам конфликт, повернуты к читателю именно этой, нравственной стороной, требуя размышлений, выводов, определения собственной позиции. Давняя тема де Бройна — формирование новых этических норм и процесс их «оседания», закрепления в человеке — здесь, как и в прежних его произведениях, самым непосредственным образом рассчитана на прямое воздействие. Провоцируя сугубо остраненный взгляд на героев (ведь и с фигурой Петча читатель себя отождествить не может, ибо тот слишком, демонстративно пассивен и, по существу, индивидуалистичен), автор напоминает, что возможности, объективно заложенные в социалистическом общественном устройстве, реализуются конкретными людьми и степень реализации зависит от ответственности каждого.

В романах, повествующих о процессе творчества, осуществляется глубокий, «широкозахватный» поиск истины, гуманистического идеала, воплощается общая тяга социалистической литературы к самопозна-

нию. Творчество предстает как главная плоскость этого сложного поиска, фигура художника — как медиум автора; через его размышления конфликт выводится в сферу общественной проблематики, заставляя читателя по-новому, глубже видеть жизнь, историю, современность.

Поиск истины в жизни и творчестве — центральный мотив многих романов писателей ГДР. Героиня «Франциски Линкерханд» (1974) Бригиты Райман олицетворяет этот неустанный поиск: как архитектор она мечтает реализовать свои представления о социалистическом городе будущего. Она отчетливо сознает связь архитектуры с общим строем и укладом жизни современного человека. Спор о градостроительстве, ведущийся в романе, включает в себя социально значимые духовные и моральные проблемы. Франциска одинаково не приемлет как утилитарно-прагматический взгляд на зодчество, так и попытки рассматривать архитектуру под углом зрения «чистого искусства», вне связи с реальными потребностями и возможностями современного города. Отрицая абстрактный идеал, героиня стремится совместить свои представления о прекрасном в архитектуре с практикой, соразмеряя желаемое с возможным, не забывая при этом о совершенстве и гармонии.

И в другом своем качестве она ищет это трудно достижимое единство — как писательница, пытающаяся выразить, запечатлеть на бумаге все те внутренние и внешние конфликты, через которые проходит. Франциска работает над книгой, и процесс ее создания прочно связан с событиями жизни героини; книга пишется для того, чтобы помочь этому сближению идеала и действительности. «Я не для того написала книгу, чтобы бросить ее в пасть этой фабрики домов в Н. и позволить ее уничтожить. Он должен, должен найтись, мудрый синтез Сегодня и Завтра, унылого блочного строительства и веселой живой улицы, Здесь необходимого и Прекрасного, и я напала на его след...»

Процесс написания книги становится в произведениях этого ряда главным стержнем, на который наматываются нити повествования; он определяет взгляд рассказчика или героя на события, действия и взаимоотношения других персонажей, требует постоянной перепроверки оценок. Сюжетообразующую функцию выполняют эти мотивы, например, в повести Курта Давида «Пережившая» (1972), где рассказчик-писатель, работающий над книгой о польских партизанах, отправляется к месту описываемого им действия и, по мере знакомства с людьми, прежде всего с одной из участниц Сопротивления, производит корректировку собственной концепции: события и персонажи постепенно предстают в новом свете, требуют иного взгляда, иной оценки.

Размышления о литературе, о творчестве чаще всего создают новый, дополнительный рефлективно-интеллектуальный уровень, важную плоскость осмысления, возможность более точного и глубокого видения действительности.

Сходную функцию выполняет открытое «вмешательство» повествователя, который — часто иронически — комментирует и сами события, и стиль изложения (в такой роли выступает, например, рассказчик в «Присуждении премии» де Бройна). При этом авторский комментарий нередко касается актуальных идеологических и эстетических проблем или же иронически поясняет поступки героя, а также сам процесс письма.

Размышления о природе искусства, «внедренные» в ткань повествования, прямое вмешательство автора — все это оказывается действенным средством художественного обобщения. Во многих произведениях последних лет читателя вовлекают не только в раздумья о пути героев, их отношениях с другими действующими лицами, но и в оценку самих способов изложения; его как бы приглашают заглянуть в творческую мастерскую художника и вместе с ним проверить, одобрить или отвергнуть те или иные приемы отражения действительности.

Подобный рефлективный слой создается в романе Б. Райман «Франциска Линкерханд». Процесс письма непосредственно отражен в этом романе, построенном как воспоминание, как обращение к возлюбленному, как роман-письмо. «И если все же ты являешься лишь в виде изображения, картины, а не в образе живого человека, виноваты в этом слова — дом, дерево, мост, тротуар, дорога, эти и другие, наделенные властью, как и волшебное слово «сезам», расщепляющее утесы... Я пишу «дорога» — и из сотни дорог, которые с быстротой молнии набегают, пересекаются, вливаются одна в другую, медленно выходит на передний план, как если бы она запечатлевалась в памяти ярче других, дорога, по которой ты идешь мне навстречу...»

Это «я пишу» входит органической составной частью в повествование: героиня-рассказчица как бы пробует слова на вкус, отбирая более выразительные, точные, близкие ей по настроению. Мотив «письма», создания книги прямо обусловливает сложную, многослойную, хотя и весьма точно выверенную структуру этого произведения. Прямых упоминаний о создаваемой книге здесь немного, и все же именно этот мотив определяет построение романа — свободное, раскованное, с сильным лирическим моментом, с отступлениями, изломами линии повествования, вольным обращением с хронологией.

Вполне различимо слышен характерный для произведений этого ряда мотив неудовлетворенности найденным словом, слогом, образом. «В моей каморке, лежа на походной кровати, я перечла свою рукопись, наскучившую мне. Страницы как вялые листья. Пепел мыслей и желаний». Трудности пишущего, муки слова, страстное желание найти более емкие, глубокие, надежные слова — размышления об этом вносят свой корректив в изображение, делают наглядным процесс создания книги.

И. МЛЕЧИНА
ХУДОЖНИК. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ

Рассказчица стремится «поймать», не упустить увиденное, услышанное, зачерпнуть полной горстью, сохранить все обилие жизненных красок, всю многообразную палитру действительности. Читатель становится свидетелем и как бы участником этих усилий. Правда и вымысел, реально пережитое и возникшее в воображении героини переплетаются теснейшим образом. Создавая книгу, Франциска снова и снова «проигрывает» мотивы прошлого, обозревает собственную жизнь, ищет причины неудач и поражений, пытается разобраться до конца в самой себе.

Тема творчества, мотив создания художественного произведения часто связаны с размыканием жанровых границ, с широким использованием элементов современной романной структуры. Поскольку процесс творчества обнажается, становится достоянием читателя, романная форма неизбежно усложняется — и за счет богатства рефлектирующих средств, и за счет демонстрации самой повествовательной техники. Жанрово-стилевой облик таких романов, как правило, весьма разнообразен. Его наиболее часто варьирующиеся черты — замена «цельной» композиции, для которой характерно хронологически последовательное движение сюжета, фрагментарным построением; переход к эпизодической структуре, складыванию отдельных картин и сцен в одно целое, объединяемое идеей создания книги; частая смена повествовательного ракурса, угла зрения и рассказчика — от *я* к *Он* и наоборот; использование разнообразнейших стилевых элементов — традиционно-эпического, эссеистического, эпистолярного, документального; «открытый финал».

В романе Ирмтрауд Моргнер «Жизнь и приключения трубадуры Беатрисы» (1974)[1] труд писателя и действительность, его окружающая, предстают как единое целое. Романная структура включает в себя и изображение конкретной исторической реальности, и демонстрацию творческого процесса, который предстает как процесс «поиска поэтической правды». Писать, говорит И. Моргнер, означает «задавать вопросы», «додумывать до конца».

Героиня этого романа — женщина-трубадур, сочинительница и исполнительница «сонгов», сказали бы мы сегодня. Формальным зачином и здесь оказывается создание книги — уже на первой странице речь идет о попавшей в руки автора рукописи, в которой изложены приключения и злоключения героини. В одной из глав наперсница и «авторизованная сотрудница» трубадурши, ее «шпильфрау» Лаура даже приносит в издательство некий «проект романа», представляющий собой не столько роман в традиционном смысле, сколько мозаику из эпизодов и фрагментов, своеобразный сборник коротких рассказов: «Я предлагаю романную форму будущего... Оперативный роман-монтаж — неистребимый жанр... Данный жанр рассчитан на продуктивность писателя...»

В этой иронически изложенной декларации улавливается не только отклик на многочисленные дискуссии о романе: каким ему быть, и быть ли вообще, и что предпочтительнее — крупные эпические формы, широкое повествовательное полотно или «малая» проза, традиционный роман или экспериментальный монтаж. Для произведений подобного рода характерно стремление включить читателя в самый процесс рассказывания. Явственно просматривается и другое: предлагаемая романная форма продиктована усилением и углублением субъективного начала в литературе, более ощутимым, чем прежде, вниманием к запросам личности («переживаниям эпического Я», по И. Моргнер).

Передана здесь — притом вполне серьезно — и определенная идейно-эстетическая программа самой писательницы, реализованная в романе. Он, собственно, и построен как монтаж, мозаика, как ансамбль коротких эпизодов, позволяющих сочетать несочетаемое, синхронизировать диахронное, вводить самый разнообразный жизненный и литературный материал. Структура романа оказывается емкой — в нем находится место средневековью и современности, «грубой реальности» и фантазии, искусству и «прозе жизни». История похождений трубадурши требует такого свободного сочетания разнообразных элементов — здесь соединились памфлет, легенда, репортаж, документ, сатирически-гротескные картинки, «роман в романе», «Мелузиновы книги», куда Прекрасная Мелузина выписывает, в частности, сообщения из газет, и так далее.

В литературный ландшафт последнего времени успешно вписался роман Фрица Рудольфа Фриза «Воздушный корабль» (1976). В рамках семейной хроники, в которой ставятся вопросы исторического характера — об отношении поколений на фоне немецкой истории XX столетия,— мотив художника оказывается тесно связанным с темой ответственности человека перед своим временем, перед потомками. Герой романа соединяет в себе черты творческой личности (он фантазер, мечтатель, изобретатель летательных аппаратов, «воздушных кораблей») и в то же время плута, немецкого пикаро. Это сочетание создает особую повествовательную перспективу, ироническую дистанцию к изображаемому, позволяет в новом, нетрадиционном ракурсе поставить важные моральные проблемы, вопрос о соотношении желания и долга, реальности и идеала. В повествование вплавлены и непосредственно излагаемые рассказчиком мысли о литературе, о процессе создания романа. Повествователь выполняет здесь функцию интерпретатора и комментатора. Он не только поясняет действия и высказывания главного персонажа. Открывая перед читателем творческую «кухню», он излагает и комментирует проблемы, возникающие в ходе самого написания книги, трудности «конструирования» романного целого, «увязывания» его частей и так далее. При этом усилия повествователя в значительной мере направлены на разрушение всякого рода клише, стереотипных и схематичных представлений. Для произведений этого ряда часто характерен отказ от «всезнающего» рас-

[1] О романах И. Моргнер и Б. Райман см. также статью Т. Мотылевой «Женщина и социализм» («ИЛ», 1979, № 7).

сказчика. Достоверность изображаемого уже не гарантируется одним лишь авторитетом повествователя — она должна быть апробирована читателем, перед которым рассказчик не скрывает ограниченности своих знаний о предмете и которого тем самым приглашает к совместному обсуждению острых проблем.

Литературе, вытесняющей человека и пытающейся заменить его «опознавательным номером», писатели социалистических стран противопоставляют художественную концепцию, принципиально ориентированную на личность, ибо искусство, как сформулировала эту мысль К. Вольф, не может обойтись «без посредничества художника, стоящего со своими личными конфликтами и личной судьбой между «реальностью» и чистым листом бумаги, исписать который он может не иначе как только проецируя на него свои взаимоотношения с миром...»

Концепция эта последовательно реализуется в творчестве многих писателей. Мотив создания литературного произведения присутствует, например, в «Размышлениях о Кристе Т.» К Вольф. Здесь героиня выступает и как писательница: на письменные свидетельства, фрагментарно запечатлевшие ее духовный облик и этапы ее развития, опирается рассказчик-исследователь, пытающийся на основе разнообразных данных составить правдивую картину ее жизни. Тема создания книги определяет идейно-художественный строй романа «Пример одного детства» (1976).

В романе три прочно слитых повествовательных плоскости. Одна — это детство героини, Нелли Йордан, в годы фашизма, другая плоскость воспоминаний — поездка рассказчицы спустя много лет в родной город; третья — сфера рефлексии, размышлений — связана с самим процессом создания книги. Вспоминая, повествовательница анализирует, осмысляет прошлое и настоящее, думает о будущем. Каждая из глав вмещает в себя минувшее и нынешнее, события детства и воспоминания о них, поступки героини-ребенка и оценку этих поступков взрослым автором, мысли о возможностях и способах повествования, переплетенные с реальными событиями сегодняшней и прошлой жизни повествовательницы. Как овладеть бегущим временем, зафиксировать его расползающийся след? Жизнь продолжает двигаться дальше, запечатлеть ее облик чрезвычайно трудно. Мысль о сложности литературного труда поверяется читателю, способному «соучаствовать» в творческом поиске.

Однако «теоретическая», условно говоря, плоскость включает отнюдь не только размышления о трудностях письма. Впрочем, и они вырастают из главной заботы писательницы: как донести до людей правду о прошлом, как найти средства, чтобы правда эта проникла в душу и сердце читателя, растормошила, растревожила, лишила покоя. Ибо «тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, что оно повторится».

Автор как бы примеривает слова, фразы к жизни, к прошлому и настоящему, прислушивается к их звучанию — точны ли, верны ли, не упрощают ли. Ибо ничто так не страшит повествовательницу, как упрощение, сведение сложнейших жизненных коллизий и поворотов к схемам и готовым образцам. Потому она и приглашает читателя вместе с ней приглядеться к самому процессу письма, к языку, к языковым фигурам, обнажая процесс поиска, ход мысли художника. Ей необходимо, чтобы читатели вместе с ней задумались над прошлым, беспощадно подвергли внутренней проверке, контролю совести, собственное поведение. На глазах у читателя она пытается найти ответ, объяснить — себе и другим — поведение юной Нелли. Размышляя вслух, писательница не предлагает готового ответа, главное для нее — побудить к поиску ответа самих читателей.

Индивидуальные поступки героини вводятся в четкий историко-политический контекст, в прямую связь с их общественными последствиями. Неспособность юной героини, как и миллионов ее сверстников, устоять перед «соблазнами» нацистской демагогии оказывается соединенной в конечном итоге с ужасающей статистикой газовых камер, всей чудовищной бесчеловечностью фашизма. Сегодняшний автор, заглянувший в прошлое, четко видит эту связь. Но не менее отчетливо видит он и те гигантские нравственные сдвиги, которые отделяют людей сегодняшнего дня от минувшего. «Как мы стали тем, что мы есть сегодня» — так называется одна из глав романа, и в этих словах, пожалуй, сформулировано главное: понять существо великих благотворных перемен, происшедших в обществе и в жизни каждого человека, можно, лишь пристально приглядевшись к прошлому.

Если двум другим повествовательным плоскостям — детство героини и поездка, спустя десятилетия, в родной город — соответствуют образно-пластические описания, живые краски, эмоциональность интонации и насыщенность действием, то плоскость рефлектирующая представляет собой преимущественно монолог рассказчицы. В этом монологе и подвергаются духовной переоценке эпизоды минувших лет, комментируются, сопоставляются, анализируются события и позиции.

Вопрос о соотношении между действительностью и способами ее отражения, между материалом и литературой, размышления о возможностях и способах запечатлеть быстротекущее время становятся непосредственным элементом художественной структуры многих произведений писателей ГДР. Литература, сделавшая центром художественного исследования проблемы творчества, демонстрирует, таким образом, устойчивую тенденцию к выявлению жизненно важных сторон и принципов общественного и личного бытия, их активному обсуждению совместно с читателем. Проблемы искусства становятся действенным средством проникновения в жизнь современного человека, участвующего в новом созидательном процессе.

◆

Критика

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Недавно в нашей стране по приглашению Московского государственного университета и Союза писателей СССР находился известный американский поэт Уильям Джей Смит. Советский читатель знаком с отдельными произведениями У. Дж. Смита, который питает живой интерес к русской и советской поэзии. Мы пригласили У. Дж. Смита посетить редакцию, где между ним и советской поэтессой Ларисой Васильевой состоялся, как нам кажется, интересный и плодотворный обмен мнениями по ряду вопросов. Их диалог мы предлагаем вниманию читателей.

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ,
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ПОЭТА

Л. Васильева. Вспоминаю февраль 1980 года. Мы с Татьяной Кудрявцевой, известной вам переводчицей иностранной литературы, у вас в гостях — ужинаем. Стол стоит у самого окна, а за окном сумасшедшая гроза — громы и молнии, ливень. Двадцать шестой этаж — дух захватывает. Помните, вы тогда сказали: «Это фейерверк в честь вашего приезда». А мы пообещали устроить метелицу, когда вы приедете в Москву. И вот прошел год, мы снова вместе. За окном, как было обещано, февральская выюга. Читаем друг другу стихи. Говорим о них. Вы заметили, что разговоры о стихах, как правило, бесконечны, а начинаются ни с того ни с сего, с пустяка, как будто случайно, хотя, конечно же, ничего случайного нет в том, что два человека, всю жизнь пишущие стихи, говорят о них. Так, собственно, возникают и сами стихи. Анна Ахматова писала:

> Когда б вы знали, из какого сора
> растут стихи, не ведая стыда,
> как желтый одуванчик у забора,
> как лопухи и лебеда.

Природа творчества при всей несхожести индивидуальностей у поэтов одна. Даже у живущих на разных материках.

У. Дж. Смит. Несомненно. Вы прочитали стихи, и они тут же отозвались во мне воспоминанием, виденьем, которое всегда возникает, едва лишь подумаю о том, как я пишу стихи. Вот оно: я — ребенок, просыпаюсь в кровати. Ни звука вокруг, лишь дыхание спящего брата. Темно. Старые, выцветшие, темно-зеленые занавески на окнах опущены. Их зелень похожа на стоячую воду. Сквозь нее проступают неравномерно разбросанные блестки света, создавая вместе с изгибами материи причудливые узоры. Я лежу и пытаюсь найти формы для них. Знакомо вам такое?

Л. Васильева. Еще бы. Правда, у меня были не занавески, а облака в утреннем не-

---

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ — WILLIAM JAY SMITH (род. в 1918 г.).

Американский поэт, критик, переводчик. Преподавал в нескольких университетах и колледжах США. В 1968—1970 гг. работал консультантом по поэзии при Библиотеке конгресса США. Член Американской Академии и Института искусства и литературы. Автор многих книг стихов, в том числе «Время для смеха» («Laughing Time», 1955), «Консервная банка и другие стихи» («The Tin Can and Other Poems», 1966), «Новые избранные стихи» («New and Selected Poems», 1970). В «Иностранной литературе» опубликована его поэма «Поезд» (№ 1, 1971) и статьи о нем (№ 6, 1971 и № 5, 1979).

В 1980 г. Уильям Дж. Смит выпустил книгу воспоминаний «Армейский отпрыск» («Army Brat». A Memoir, 1973) и поэтическую книгу «Дерево путешественника. Новые и избранные стихи» («The Traveler's Tree. New and Selected Poems». New York, Persea Books, 1980), из которой взяты публикуемые стихотворения.

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Советский поэт, автор поэтических сборников «Льняная луна», «Огневица», «Поляна», «Русские имена», «Листва» и др. Перу Л. Васильевой принадлежит книга художественно-документальной прозы «Альбион и тайна времени» о жизни современной Англии, где автор прожила несколько лет. Стихи Л. Васильевой переведены и изданы во многих странах.

бе — кровать стояла у окна. И еще — вечерние тени на стене...

У. Дж. Смит. С облаками тоже бывало. Но занавески особенно памятны. Вот закукарекал петух и словно шевельнул их. Эти несколько минут — мои. Здесь — мое начало мира. По эту сторону темноты и крошечных проблесков света я творю свой мир и испытываю чувство, которое иначе чем прозрением назвать не могу. Удивительно, как безграничны были возможности у этих дряхлых занавесок. Сколько вариаций они таили в себе!

Л. Васильева. И все-таки от полусонных фантазий до самого процесса творчества путь немалый. Как и когда вы начали писать? У каждого ведь своя история.

У. Дж. Смит. Подростком. Семья жила на юге страны. Отец был военным. Детство прошло в Джефферсонских казармах, на берегу Миссисипи. Однажды к нашему дому прибилась собака, забавная собачонка, пожила с нами и убежала так же неожиданно, как появилась. Неизвестно почему я решил описать это нехитрое событие. Сочинив маленький рассказ, я отважился послать его в детский журнал. Был уверен, что его напечатают, не из самомнения, а по наивности. И что вы думаете — напечатали. Гонорар прислали — двадцать пять центов (копеек по-вашему). Увидев сие произведение в типографском исполнении, я сиял от гордости. У меня было поразительное ощущение, словно бы я передал неведомым людям свои чувства.

Л. Васильева. Неведомым? Вы не получили отклика на свой рассказ? Дети не написали вам?

У. Дж. Смит. Нет. Но я полагаю, что читателей у рассказа было много — журнал популярный, дети его любили.

Л. Васильева. У меня в детстве была похожая история. Я рискнула отправить стихи в «Пионерскую правду». Они были напечатаны с указанием адреса московской школы. И тут началось: письма хлынули ливнем. Вначале я сама едва успевала отвечать, потом подружки пришли на помощь. Занятые перепиской, мы стали заметно хуже учиться. Причем довольно скоро, судя по содержанию писем, я вынуждена была признаться себе, что мой успех, собственно, к стихам имеет отношение весьма далекое — просто была потребность в переписке, дружбе.

У. Дж. Смит. В Америке это как-то не принято. Во всяком случае не было принято во времена моего детства. Кстати, мы заговорили о детстве, и я хочу коснуться одной важной для меня темы. Абсолютно уверен, что у каждого поэта, если он поэт всерьез, должно быть развито Великое Чувство Места...

Л. Васильева. Мне очень интересно, что вы это серьезно говорите. И у вас самого оно есть?

У. Дж. Смит. С детства. Я ощущаю его в себе постоянно. Тем, кто хочет понять меня как поэта, следует прежде всего найти в моих писаниях Великое Чувство Места. Это — ключ к пониманию. Я — уроженец юга, где люди воспитываются с чувством привязанности к своей среде, с осознанием места и своей принадлежности ему. Миссисипи дала мне ощущение, что место моего происхождения особое, не похожее ни на какое другое.

Л. Васильева. Любое место на земле особое, иногда бывает и похожее на другое, а все-таки одно, неповторимое.

У. Дж. Смит. Согласен. Итак, простор широкой реки, могучие краски юга, проплывающие баржи и белые пароходы — это вечное движение воды и эти малые радости: плаванье, прыжки в воду — как всего много! И все это не может не отразиться в стихах. Мы — поэты-южане и писатели Юга — вообще отличаемся от писателей-северян: у нас больше развито зрительное восприятие, когда пишем, мы используем глаза. Мы смотрим на внешний мир, а писатели Новой Англии, как правило, смотрят в себя. Характерно в этом смысле творчество таких южан, как Уильям Фолкнер и Юдора Уэлти. Их прежде всего интересует жизнь, что вокруг них, а не внутри них. Это не хорошо, не плохо, это факт, черта, продиктованная Великим Чувством Места. Правда, в наши дни люди менее привязаны к месту. Возможно, у писателей все это отомрет со временем. А жаль. Это необходимо художнику. Но почему вы сказали, что вам интересно, что я серьезно говорю о Великом Чувстве Места?

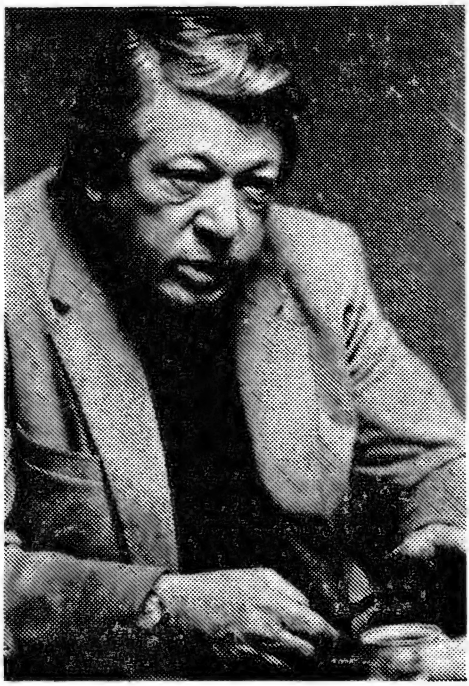
Л. Васильева. Потому, что слышать об этом от американца несколько неожиданно. Мы привыкли считать Америку прародительницей некоего космополитического чувства. В стихах некоторых ваших поэтов это ощутимо. Хотя, конечно, читая ваши стихи в подлиннике, я угадывала Чувство Места. Даже ваше индейское происхождение видно в образной системе таких стихов, как «Зимнее утро», «Дерево путешественника». И у Роберта Фроста, когда читаешь по-английски, видишь принадлежность Месту.

У. Дж. Смит. Фрост силен этим. В нем жил крестьянин. Я считаю, что, если ты не принадлежишь месту своего рождения, не ощущаешь себя частью своего малого места, ты не принадлежишь миру. Даже если ты живешь в крохотной деревеньке, очень важно то, что ты ей принадлежишь.

Я понимаю, что вы имели в виду, говоря о космополитическом чувстве. Иные наши молодые поэты ошибаются, начиная со своей принадлежности всей стране или целому миру. Они, очевидно, неверно толкуют Уолта Уитмена, который ощущал страну как свое единственное Место. Эта особенность Уитмена была заложена в масштабах его таланта. Я недостаточно знаю советскую поэзию, но думаю, что у лучших ваших поэтов Великое Чувство Места не отсутствует, не так ли?

Л. Васильева. Да, мы называем его порой чувством Малой Родины. У разных поэтов оно выражено по-разному. Вот вам пример. В прошлом веке у нас было два замечательных русских поэта — Алексей Кольцов и Иван Никитин. Оба — уроженцы воронежской земли. Это — центральная Россия, край необозримых степей — простор, широта, раздолье и одно-

---



Уильям Джей Смит

образие во всей степной необозримости. Кольцов и Никитин — поэты очень разные. Поэтика их непохожая. А в стихах — казалось бы, неуловимое, но вместе с тем явно грустно-широкое, распевное, пронзительно-печальное, а все же лихое, сильное, отважное звучание. Характер неукротимый. Оба — словно разные звуки одного инструмента.

Наши дни — совсем иное время. И ландшафт сильно изменился — города выросли, степи в большинстве своем распаханы. Хотя измениться-то он изменился, а во многом остался прежним. Читаю сейчас двух современных — прекрасных, заметьте,— поэтов, уроженцев Воронежа — Анатолия Жигулина и Алексея Прасолова; все у них другое, нежели у Кольцова и Никитина,— и темы, и образные системы, а звучание похоже, словно разные звуки одного инструмента.

Меня когда-то так поразило это сильное воронежское звучание, что я захотела статью написать с названием «Щемящая нота воронежской музы».

Причем, скажу, далеко не у всех поэтов, уроженцев Воронежа, эта нота слышна. В поэмах Егора Исаева я ее не слышу — там иная, особая нота.

У. Дж. Смит. Как интересно. Вы называете до сих пор мне неизвестные имена современных поэтов. А мне казалось, я кое-что знаю о вашей поэзии.

Л. Васильева. Тем не менее они поэты прекрасные. И широко читаемые в нашей стране. Кстати, Чувство Места ярко выражено в стихах лучших поэтов наших республик. Знаменитый Кайсын Кулиев говорит: «Я скромный стихотворец Чегемского ущелья». А между тем его поэзию любят у нас повсюду. И все-таки, продолжая затронутую тему, я должна сказать, что это Чувство Места должно быть употребляемо поэтом с большим чувством меры, дабы не впасть в дидактику, да и попросту не надоесть однообразием. Не у всех оно выражается впрямую, не у всех осознанно, рационально. У одного оно ощущается в образной системе, у другого — в поэтическом характере, у иного, Сергея Есенина например,— и в том и в другом, у третьего — и не поймешь, как и в чем, а выражено это просто великолепно. И сильно.

У. Дж. Смит. Вы сказали «сильно», и мне пришла в голову картина, которая часто всплывает у меня в памяти, когда я думаю о том, как возникают мои стихи. Сижу в каюте на военном корабле — во время второй мировой войны я был шифровальщиком донесений, которые приносит радист. Тихо. Лишь урчат двигатели да волны ударяют в борта корабля. Я откладываю в сторону листы бумаги с группами, казалось бы, ничего не значащих цифр, смысл которых был для меня яснее, чем для других. И я должен перенести их тайну на бумагу. Беру в руки чистый лист. Его белизна тоже код, она — ключ к ненаписанным стихам. Сильное-сильное волнение охватывает меня. Многих поэтов преследует белый лист бумаги — ненаписанное молчание. Из «белого листа» Малларме развил целую эстетику. Я считаю, что стихотворение, движимое к листу бумаги, напоминает летучую мышь, ведомую невидимым радаром.

Л. Васильева. Да, это общепоэтическое чувство — волнение перед листом бумаги. Многие поэты признаются в нем. Мне оно просто незнакомо. Пишу на чем попало: в блокнотах, в тетрадках, на обрывках бумаг, на обратной стороне машинописного листа — не замечаю, на чем пишу, когда, как говорится, «стихи приходят». Даже жаль, что не могу похвалиться столь красивым эстетическим страхом перед белым листом. Может быть, это изъян?

У. Дж. Смит. Думаю, что это индивидуальное свойство. Я тоже не всегда боюсь листа бумаги. Помню, однажды в Вермонте ходил в лес за грибами. Много раз я там бывал — стихи не шли в голову, а тут едва донес их до бумаги, так они рвались. Потом понял, что стихи эти давно жили во мне. Они называются «Сморчки».

Л. Васильева. Вы всегда знаете, какие ваши стихи лучше, какие хуже?

У. Дж. Смит. Иногда — да, иногда — нет. Трудно сказать. А вы?

Л. Васильева. Отличать победу от поражения, в общем, не всегда умею. Есть стихи, кажущиеся мне неудачными, но читатели их любят, а бывает, думаю: вот хорошее стихотворение, тонкое. Однако читатель говорит: плоско, скучно. Вы обижаетесь на критику?

У. Дж. Смит. По большей части с критикой у меня не самые плохие отношения. Некоторые из критиков отмечают легкость пера, считая, что я не склонен к трагедии. Другие — остроумие. Ричард Уилбер, например, говорил, что мои произведения тя-

желоватые, мрачные, трагические. Поди разберись.

Я люблю писать такие стихи, чтобы на первый взгляд они казались простыми, вроде бы доступными, а в глубине своей таили сложность, трагедию, страдание. Получается ли это у меня? Время покажет. Конечно, я очень ценю понимание. И естественно, огорчаюсь, когда бываю не понят. Вот есть у меня стихотворение «Высокие поэты». Я считаю его сатирой. Незлой сатирой. А критика нашла его жестоким, журнал «Поэзия» отказался печатать, назвав его «нападением на других поэтов».

Л. Васильева. Это несправедливо. По мысли ваши «Высокие поэты» напомнили мне стихотворение Александра Блока «За городом вырос пустынный квартал». В нем было все — и сатира, и злая ирония, и резкое автологическое описание поэтического быта, и тут же безграничная любовь к поэтам, ко всему тому, что вмещают их озаряемые вдохновеньем сердца, к их светлому дару воображенья:

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,—
Я верю — то Бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

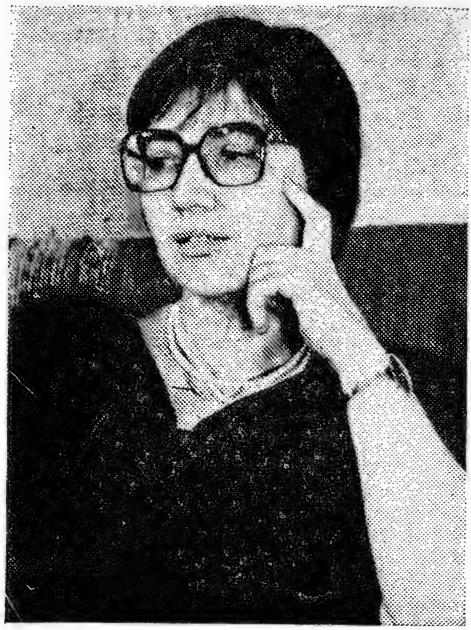
У. Дж. Смит. Знаете, мне рассказывали, что в Барселоне ежегодно происходит соревнование испанских поэтов. Победитель, занявший третье место, получает серебряную розу. Второй приз — золотая роза. А главный приз...

Л. Васильева. Живая роза?

У. Дж. Смит. Точно. Подлинному поэту — живой цветок. Я часто думаю об этом соревновании. Три приза представляются мне своего рода метафорой: серебро — первоначальное озарение поэта, зарождение образа, фразы; золото — процесс создания стихотворения, когда поэт работает над каждым словом, не теряя из виду целого; и наконец, финал — стихотворение улетает от автора навсегда, обретает реальную жизнь. Оно становится собственностью читателя. Далее все зависит от того, насколько поэт и читатель созвучны.

Л. Васильева. Созвучие — интересная тема. Безграничная. Иные поэты обретают созвучие с читателем и сохраняют его в веках. Иные теряют его в новом времени. Иные в свое время не могут им похвалиться, но спустя годы, даже века, их стихи волшебно оживают для целых поколений. Мне кажется, настоящий поэт интуитивно соблюдает меру современного и вневременного. Умеет жить в трех измерениях, всегда при этом оставаясь в своем времени. Он одновременно и ребенок, и зрелый человек, и умудренный опытом глубокий старик. Я очень ценю в поэте неозабоченность собою. Точнее, не слишком сильную любовь к своему дарованию и всему, что выходит из-под его пера. Кстати, наши великие русские поэты в большинстве умели быть к себе беспощадными, здраво оценивать себя и нередко смотреть на свои произведения с юмором. Очень перспективные качества: со стороны и даже с юмором.

У. Дж. Смит. Да, взгляд на себя со стороны дает поэту богатые перспективы роста. Вообще умение смотреть как бы со стороны, одновременно находясь глубоко



Лариса Васильева

внутри того или иного явления жизни,— это и есть то, что вы говорили о трех измерениях. Прекрасная поэтесса Эмили Дикинсон сказала: «Поэт должен всегда говорить правду, но смотреть на нее со стороны». В связи с этим я думаю о развитии американской поэзии последних десятилетий. Сегодня, в начале восьмидесятых, поэзия — средство коммуникации. Довольно часто и в больших залах, и в маленьких комнатках люди собираются послушать стихи. Не всегда так было. Это увлечение— результат молодежного движения конца пятидесятых годов, когда поэты стали появляться в университетах и колледжах, выступать с эстрады. В шестидесятых годах все продолжалось, постепенно нарастая, и в дни вьетнамской войны стало формой протеста. Если задуматься о трех измерениях, то нужно признаться, что много в тех стихах было однодневного, преходящего. Но свое время они выразили предельно точно. Поэты — трибуны того времени — сумели своей деятельностью привлечь внимание широких масс к стихам как к таковым. Отсюда начинался читательский путь к поэзии.

Правда, как человек, проживший на свете немало, я вспоминаю, что задолго до чтения стихов в большой аудитории в нашей стране была традиция публичных библиотек. Сам я получил образование с помощью такой библиотеки. На моей Малой Родине в глухом провинциальном городишке в условиях гарнизонной жизни у

меня были ограниченные возможности купить серьезную книгу большого писателя или сборник прекрасных стихотворений. Библиотека очень помогала.

Л. Васильева. У нас, как вы знаете, поэзия широко завладела воображением человека. Несмотря на огромные тиражи (десять тысяч экземпляров — самый малый тираж), хорошую поэтическую книжку не так-то легко купить. Тут и возникает вопрос: в наши дни торжества средств массовой культуры — кино, телевидения, радио — каковы перспективы современной поэзии? Становится ли она тоже фактом культуры широких масс? Должна ли она им становиться?

У. Дж. Смит. В глубоком смысле слова — да. Я считаю, что поэзии необходимо распространяться шире. В Америке недооценивается вкус народа. Средства массовой информации портят его, не без успеха и изобретательности, но испортить вконец не в состоянии. Я сужу по тому, как сильна в народе реакция на истинно художественное произведение. Мы недооцениваем роль поэзии в формировании человеческой личности, когда составляем учебники для детей, недооцениваем способность молодежи понять хорошую поэзию. В конце концов тот, кто ищет, находит желанное, однако путь к нему молодому человеку могли бы упростить зрелые и многоопытные люди.

Л. Васильева. Но согласитесь — чтобы понимать поэзию, недостаточно просто уметь читать.

У. Дж. Смит. Соглашаюсь.

Л. Васильева. Недостаточно даже знать поэзию хорошо.

У. Дж. Смит. Соглашаюсь. Недостаточно даже знать тайны поэтики.

Л. Васильева. Хотя последнее, мне кажется, не вредно знать самому поэту, дабы невзначай при формоискательстве не заняться изобретением велосипеда. Думаю, что некоторое, даже небольшое знание основ семиотики облегчило бы поиски в темноте иных новаторов слова. На собственном опыте знаю, что особенно в молодости, когда жажда открытий переполняет тебя, любое знание нелишне. Оно отрезвляет и подсказывает истинные пути. Но вернемся к нашей теме — что же нужно знать человеку, дабы понимать поэзию?

У. Дж. Смит. На этот сложный вопрос можно ответить только просто: человеку нужно быть самим собой. Если ты способен понимать поэзию — ты поймешь ее, всего лишь умея читать, если не способен, даже изучив все ее основы, ничего не добьешься. Верно ведь?

Л. Васильева. Верно. При всем различии, существующем между Америкой и Советским Союзом, при всем различии наших литератур мы обнаруживаем много общего во внутренних коллизиях литературного процесса. Вот, к примеру, вопрос о простых и сложных поэтах. Как часто приходится слышать: «Я не понимаю такого-то поэта, он для меня слишком сложен». Или такое: «Этот поэт пишет слишком просто, но это только на первый взгляд. Чем больше читаешь его, тем больше понимаешь, что он владеет тайной простого слова и открывает тебе его глубины».

У. Дж. Смит. Поэзия — вещь сложная сама по себе, потому что жизнь сложна, общество сложно. Поэзия отражает жизнь всеми своими средствами. Однако сложность жизни можно передать так, чтобы она не помешала читательскому восприятию.

Л. Васильева. А что вы думаете о так называемых «сложных» поэтах Америки?

У. Дж. Смит. Они называют себя «новыми». Нового вижу в них мало — поэтика их танцует от поэтики Уильяма Карлоса Уильямса и Эзры Паунда, которая, как вы знаете, была не традиционной. Наши «новые» долгие годы «публиковались» на ротаторе, прежде чем их книжки стали появляться в продаже. Претензии этих людей безграничны. Чувства юмора по отношению к самим себе они лишены. Самолюбивы. Любят разводить скучную болтовню о своей поэзии. Болтовня эта им необходима, она дает повод к созданию новой скучищи, именуемой стихами. Я, кажется, слишком резок?

Л. Васильева. Зато искренни. И потом, вы судите с высоты опыта старшего.

У. Дж. Смит. Они однообразны. А ведь разнообразие в поэзии — все. Быть не похожим ни на кого. Иметь свой голос. Никому не подражать. Даже повторять самого себя для меня равносильно заточению на кухне в плену застарелых запахов.

Два совершенно непохожих друг на друга художника — я люблю творчество обоих,— Жан Кокто и Редьярд Киплинг, в разное время по разным поводам высказали одну мысль: настоящий творец должен уяснить себе, на что он способен, сделать это и совершить помимо этого нечто большее. Поэту необходимо искать новое и подвергнуть его испытанию всем опытом своей жизни. Не нужен эксперимент ради эксперимента: поэт не химик, окруженный ретортами. Творя, поэт рискует всем, делая все более высокие ставки. Поэт не изобретает вечно новые стили, а углубляет свой. Каждый писатель рожден с определенным талантом, но важно развивать его, не делать того, что легче, проще. Делай бросок, лови шанс, дерзай! Если тебе стало легко, не поддавайся легкости — ослабнешь. Так дерево выпускает почки и тянется в разные стороны, но ствол-то у него один. Один!

Л. Васильева. Я вижу отголосок того, о чем вы сейчас говорили, в вашем стихотворении «Дерево путешественника».

У. Дж. Смит. Отчасти! Это одно из моих любимых стихотворений Я даже всю книжку назвал так — «Дерево путешественника». Но вернемся, я хочу закончить свою мысль. Считаю, что поэзия должна непременно сообщать что-то людям; она по своей натуре сложна, конечно сложна, но сложность не может мешать воздействию на читателя — тут уж поэт просто обязан уметь сказать. Мы говорили об отклике, о созвучии. Большая поэзия несомненно имеет отклик, она созвучна тайнам человеческого сознания. Большая поэзия обладает определенной, четкой, неповторимой музыкой, которая непременно преследует читателя и возвращает его к ней вновь и вновь.

Л. Васильева. Мне бы хотелось, чтобы вы назвали имена молодых поэтов, чьи стихи в последние годы привлекли ваше внимание.

У. Дж. Смит. С удовольствием. Мне представляются очень интересными Марк Стрэнд, Голвей Киннел, Джин Велентайн.

Л. Васильева. А теперь в свете всего сказанного вами я бы хотела, чтобы вы посмотрели на свое творчество. Только без юмора.

У. Дж. Смит. Какое коварство. Без юмора... Извольте. Для начала я прикроюсь высказыванием моего друга поэта Стенли Кьюница. Он однажды сказал обо мне: «Ты — лирический поэт, всегда готовый к переменам ветров, к движению мысли, к сложностям и неожиданностям человеческой комедии». Лестно, не правда ли?

Снова прикроюсь чужими словами. Английский поэт Уильям Плумер — я очень уважаю его — сказал: «Считаю себя одиноким золотоискателем». Думаю, под этим высказыванием могли бы подписаться все настоящие американские поэты, живущие на литературных просторах Америки. Я лично делал свои «зарубки» в сфере лирической поэзии.

И наконец, чтобы закончить о себе, хочу рассказать вам еще об одном виде́нии, которое возникает в моем сознании, когда я думаю о том, как пишу стихи. Комната в гостинице. Смотрю в зеркало. Оно отражает скверное полотно с классическими руинами, по которым вьются слабо различимые ползучие растения, две фигуры стоят поодаль, на горизонте виден корабль. Тихо. Слышен шум машин, летящих по шоссе. Я полностью расслаблен. Спокоен. Есть на свете лишь один человек, который знает, где я нахожусь. Мне кажется, что существуем лишь я и безграничность мира вокруг. На самом деле все не так — в моем распоряжении несколько часов, день или ночь. В углу на кресле лежит портфель с неотвеченными письмами. На кровати — странички из записных книжек. Разбросаны. Строки, слова, строфы. Не имеющие значения заметки. Но для меня они значат много — это ненаписанные стихи. Многое окажется бесполезным. Но есть две-три строчки...

Я смахиваю с кровати все бумажки, укрываюсь одеялом. Поэт во мне входит в согласие с просто человеком. И начинаются стихи.

Л. Васильева. Во всех этих виде́ниях вам одинаково сопутствует тишина, нарушаемая, впрочем, звуками: крик петуха, шум воды за бортом корабля, шум автомашин за окнами гостиницы. Что-то все-таки должно шуметь — присутствие жизни необходимо. Эти виде́ния нетрудно обнаружить и в книжке вашей документальной прозы «Армейский отпрыск» о детстве в Джефферсонских казармах. Небезынтересно узнать — почему вы в этой книжке все же очень мало рассказываете о своем ощущении мира, о своих детских впечатлениях? Вы уходите на второй, третий план, вас интересуют люди вокруг, жизнь, мир. Вы стараетесь быть предельно документальным. Это нетипично для книжек о детстве. Писатель обычно погружает читателя в свои переживания, и часто читатель весьма сильно сопереживает, легко узнавая в чужом детство свое. Так знаменитая книга Льва Толстого «Детство» полна богатейшими детскими впечатлениями.

У. Дж. Смит. Американская критика похвалила книгу именно за ее документальность, за то, что я не пошел по тропе детских чар, а «сфотографировал» время своего детства. Впрочем, я думаю, что документальность книги вызвана как раз моим мироощущением южанина — смотреть не в себя, а на мир вокруг. Я оставил себя в стороне, хотелось дать больше места миру. Кстати, читатели говорили мне, что несмотря на то, что события детства у всех разные, читая, они переживали события моей жизни как свои. Им казалось, что я передал воздух того времени.

Л. Васильева. Верность себе прежде всего. При такой верности нечего опасаться влияний. И все же — чье влияние, вы думаете, было для вас плодотворным?

У. Дж. Смит. В разное время на меня поразному влияли те или иные поэты: Эллиот, Фрост, Огден. Преодолевал их не сознательно, а интуитивно, свой голос формировался, отпадало ненужное.

Л. Васильева. Однако вы благодарно помните учителей. Ваши лекции в Московском университете об американской поэзии изобилуют их именами.

У. Дж. Смит. Это естественное отношение — благодарность к старшим и внимание к молодым. Так учит нас опыт всей мировой литературы. Вообще все мелкие чувства — ревность, зависть,— я заметил, свойственны мелким людям. У великих я никогда их не встречал. В пору моей литературной молодости старые поэты бывали, как правило, добрыми к молодым.

На мои лекции в Москве приходят студенты и преподаватели Московского университета. Хочется как можно более полно рассказать им об американских поэтах разных поколений. Количество слушателей увеличивается с каждой лекцией. Есть у меня и неожиданности. Я был предупрежден в Америке, что на моих лекциях советские студенты не будут задавать никаких вопросов. Вот, думаю, и хорошо. Американские студенты спрашивают без конца и чаще всего без надобности, бывает множество глупых вопросов. В сравнении с ними ваши студенты молодцы, без вопросов меня не оставляют, но спрашивают серьезно, по существу, приятно отвечать.

Л. Васильева. Вы много писали для детей. Я никогда этого не делала и с «любопытством иностранки» слушаю профессиональные разговоры о специфике литературы для детей. В чем она состоит, как вы думаете?

У. Дж. Смит. Не знаю. Наверное, в том, чтобы автор детских книг всегда помнил свое детство и ощущал себя в нем, когда пишет. Во всяком случае я сам, когда пишу для детей, всякий раз переживаю свое детство. В стихах для детей я пытаюсь сделать все возможное и невозможное, дабы получилось интересно. Мне жаль, что в школах поэзия преподносится однообразно, за современную поэзию выдается заведомая скучища, формируется скверный вкус.

В детских стихах стараюсь использовать все формы стихосложения.

Л. Васильева. Это вы делаете не только в детских стихах, уверяю вас. В книге «Дерево путешественника» что ни стихотворение, то новая форма: с рифмой, без рифмы, ритмическое, с признаками аритмии. А то и сочетания и того и другого. Строфы, лесенки, триолеты, даже где-то, кажется, септима попалась. Вы совсем не думаете о возможном переводчике своих стихотворений, жестокий человек.

У. Дж. Смит. Да, и наверняка расплачиваюсь за это. Полагаю, что с легкой руки наших «новых» поэтов, провозгласивших свободу перевода, по миру распространилось мнение, что переводчик не должен «быть привязан» к оригиналу. Можно безапелляционно не соблюдать форму авторского оригинала, не рифмовать перевод, хотя оригинал зарифмован, и наоборот. А уж о таких тонкостях, как образная система, аллитерация, инвертивные конструкции, и говорить не приходится. Помалкивай, автор, будь доволен тем, что переведен. Меня это возмущает. Уверен, что такие переводчики попросту лентяи. Или, что хуже, таланта не хватает воспроизвести оригинал.

Правда, я должен сказать, что проблема перевода всегда была и останется проблемой. У нее есть свои нераскрытые тайны. Я заметил одну закономерность: стихи поэтов, обладающих сильной образной системой, довольно легко переложить на другой язык. Пример — Данте. Его произведения великолепно звучат на всех языках. Любая его мысль подтверждается образом. Любому образу легко находится аналог в любом пусть даже очень далеком от оригинала языке.

Но есть другие великие поэты, Александр Пушкин например. Общеизвестно, что в любом, даже самом мастерском переводе на английский Пушкин не звучит. В чем дело? Я думаю, что стихи Пушкина столь богаты тончайшими тропами, юмором, сарказмом, настолько интонационны в каждой строчке, настолько полны лирическими чувствами или игрой мысли, что передать все это на другой язык просто невозможно.

Есть еще один тип поэтов, трудно переводимых,— это мастера простых слов. Таким был Роберт Фрост. Он считал, что поэзия — это то, что теряется в переводе. Возможно, Фрост думал о своих стихах. Он не получил Нобелевской премии, потому что его стихи сильно теряли в переводах. Поэт отлично понимал это. В его простых словах таилась многослойная правда, один слой поддавался передаче, а другой — нет, стихотворение становилось плоским, примитивным, неудивительным, не фростовским стихотворением.

Л. Васильева. Вы так интересно и точно говорите, что вынуждаете меня к признанию: не люблю читать поэзию в переводах. Чаще всего получаю от перевода лишь информативное впечатление. В редких случаях — наслаждение. Хотя, если быть честной, японские танки когда-то были откровением. Что же касается Пушкина, то, зная некоторые переводы его стихов и «Евгения Онегина» на английский, не могу не согласиться с вами. И тут же вспоминаю о Байроне. Сравниваю многочисленные переводы его стихотворений и поэм на русский с подлинником и убеждаюсь — непереводим. Пушкин и Лермонтов писали свои произведения на темы Байрона — это ведь совсем другое дело, это не перевод, а скорее литературный жанр — подражание.

Немало можно найти примеров непереводимых поэтов. В советской литературе есть феномен: Галактион Табидзе — великий грузинский поэт, чьи стихи не поддаются переводу. Имея возможность сравнить, как переводится на английский русская поэзия, считаю, что ваше наблюдение о сложности перевода стихотворений поэтов, обладающих тайной простого слова, совершенно справедливо. Переводы Ахматовой на английский, как правило, плохи, никак ее не отражают. Она писала просто. Куда лучше звучит сложная Марина Цветаева. С радостью убедилась я в том, что Сергей Есенин прекрасно переводим на английский.

У. Дж. Смит. Я могу немного читать по-русски, понимаю кое-что, но, конечно, языка не знаю, и мне трудно судить. Переводил стихи своего друга Андрея Вознесенского, ранние его стихи переводить было легко; стихи Евгения Евтушенко, по-моему, трудно переводить. Кого бы вы могли назвать из современных поэтов близкого к вам поколения, чьи стихи, по-вашему, достойны перевода?

Л. Васильева. Некоторых я уже называла. Могу назвать и других: Владимир Соколов, Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Светлана Кузнецова, Олег Чухонцев, Владимир Цыбин, Владимир Костров, Сергей Поликарпов, останавливаюсь, хотя список неполный и отражает отчасти мои пристрастия. Но вернемся к проблеме перевода. Пусть она трудна и порой неразрешима, мы, наверно, будем единодушны во мнении, что переводы — дело необходимое и риск неизбежен.

У. Дж. Смит. Да. Чем больше люди разных наций будут понимать друг друга, тем больше будет у них возможности договориться о главном на этой планете. Поэзия — великое всемирное средство коммуникации. Мы живем в трудное, напряженное время. Людям нужно быть осторожными в отношениях друг с другом, чтобы не потерять нашу человеческую сущность и не стать дегуманизированным обществом. Мы делаем машины, и мы можем стать машинами, но что еще страшнее — сделанные нашими руками машины могут уничтожить нас. Я решительно протестую против дегуманизации человечества.

Л. Васильева. У меня в руках ваша книга «Дерево путешественника», оригинально оформленная, большая. В ней много стихотворений. Жаль — тираж всего пять тысяч экземпляров. Наши читатели уже знают вашу поэзию по переводам Андрея Сергеева и Андрея Вознесенского. Теперь я попытаюсь это сделать. Я старалась передать дух вашей поэзии, своеобразие манеры и точно воспроизвести форму стиха. Насколько это удалось — судить не мне. Благодарю вас за беседу. Думаю, что стихи смогут завершить разговор о поэзии, который, как известно, может быть бесконечным.

УИЛЬЯМ ДЖЕЙ СМИТ

ЗИМНЕЕ УТРО

Всю ночь ветер выл над домом,
Продувал наш сон,
Хлопая белыми зальделыми калитками,
Прогоняя снега между сосен,
Пронзая оконные стекла,
Проносясь вокруг нашего ложа,
На котором неслись мы
Над бурной водой
Как на белой яхте, взрезающей волны.
Мы мчались сквозь ночь
По зеленому мрамору
Воды и, полупроснувшись, смотрели
На белые пики обтаявших айсбергов,
Плывущих вдоль наших окон.
Ночь пронеслась в этом северном крае,
И дом проснулся, окутанный снегом,
На обрыве
Холодного мыса,
Гигантском клыке
В пасти холодной долины,
Чей белый язык замораживал нас, обвивая.
Стволы белоствольх берез
Казались скелетом кита,
Застрявшим в холодном потоке.
Мы видели сквозь неподвижную сетку ветвей,
Словно сквозь время,
Свет, озаряющий белый мрамор пейзажа
Залива костей.

ДЕРЕВО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Оно называется так потому, что в месте прикрепления стебля листа к ветке у него есть полость. Из нее, как говорят, берут питьевую воду путешественники. Ствол дерева путешественника похож на ствол пальмы — он достигает 30 футов высоты. Листья его на длинном стебле, громадные, веслообразные, напоминают гигантский веер, концы их изрезаны по краям ветрами.

Томас Н. Эверетт. «Деревья мира»

I

Однажды днем, прозрачным до того, что взгляд
за горизонт совсем легко забросить можно,
ты медленно вздымаешься на крыльях, готовых
затронуть край времен,
взлетаешь в памяти своей или в мечте —
и зданий кубы золотистые по берегам зеленым рассыпаются,
иль это падают во бронзовую реку
огромные обломки янтаря с оборванного ожерелья великанши:
в такой вот день, попозже, на закате, ты начинаешь путешествие свое.

Ты будешь странствовать, отщелкивая серии моментов,
мгновений миновавших и которых ты никогда не сможешь возвратить,
а все же ты удержишь их, оставишь
за собой все время озаряемую сцену —

свет солнца, воду родниковую пятнающий,
пока трава, растущая в зеленой глубине,
не окружит тебя нежданно, как ивняк
на берегу песчаном, в середине лета,
и все, что волновалось там, внутри, все вот — снаружи.

Мир распахнется весь перед тобой, и ты пройдешь
в метельном вихре,
в снегу, напоминающем тот снег,
что черную скалу всю облепил
и вниз нагнул толстенных сосен ветви,
пройдешь вдоль стылых фьордов и отдохнешь на голубой воде,
и призмы льда, плывя, тебя минуют
и растворятся в море по сезону.

Ты, наконец, пересечешь и море, нос судна твоего
разрежет воду — как будто шелк на части разрывают,
и фосфором вода за кораблем
до самых звезд наполнится: огромный крест
висит над головой на смявшейся сутане юга,
стада дельфинов провожают тебя между лохматых и горбатых
островов.

Свет слева скачет в небесах,
пульсируя то розовым, то красным, то бордовым,
как будто это лепестки гигантской розы, в безумии
бросающей их вниз потоком, с гор, по склонам:
вулкан заговорил, рев лавы заглушает ветры,
тень лавы сеет пыль на волны, на лицо,
вот-вот взорвется ночь пульсирующим розовым огнем, и судно
во тьме морских течений, как червь, извивами вплывает
в похожее на розу сердце мира.

II

Через коралловый белый проход, который
не шире, чем тело твое,
ты попадаешь в последнюю гавань, лагуну атолла,
вглядываясь в космос, око земли,
вдруг видишь в прозрачных глубинах атолла гирлянды замерзшие —
то путники мертвые, замыслы их несовершенные.
Кружатся поблизости рыбки в полосках и пятнах.
А тысячи птиц, фрегатов и крачек,
виясь и кружась, ведут тебя к берегу —
к тропинке сквозь папоротник,
мимо лиан, обвивающих всякую гниль,
к поляне, где на зеленом холме,
похожем на опухоль,
с отверстием, темною пастью, хватающей ветер,
стоит низкий дом.

III

На уровне плеча, с листвой на длинных ножках,
лопаточками распластавшись в два ряда
в изрезанный ветрами гигантский сизый веер —
как головной убор из перьев индюка на голове вождя чероки [1]
вздымается, сияя белым светом,
дерево путешественника,
ствол впаян в землю равнодушно-безразличную,
то пляшет многорукий Шива —
живое, живо! —
создатель, разрушитель и божественный танцор,
дикарь, которого боятся даже боги,
они, его желая разглядеть, сгибают ноги
пред тайным древом, деревом путешественника.

Ветвь обломи, стебель согни, из пустоты глотни,
чистая студеная вода в тебя польется,
словно из глубокого воздушного кольца.
Ветвь обломил — виденье спугнул,
и снова мальчишкой в малюсенькой лодке
с ладошки ты жадными пьешь глотками
горной воды чистоту.

А после порог перейди, вступи в темный дом.
Ты будешь желанен. Я жду тебя. Я буду там.

СЛОВА У ВОДЫ

Покинув сад угаснувших небес,
Корабль-сердце бросит якоря;
Дом — гавань, если плохо все окрест,
Путь жизни ясен, он идет не зря.
Утихли ветры, дождь прошел. Заря.
Баюкаю тебя. Усни, любовь моя.

Застыло время в беге облаков,
В павлиньей зелени заоблачных высот,
Любимая, уснем. В объятиях оков
Я смерти не страшусь, но нас разлука ждет,
День темен, и грозит опасностями год.
Баюкаю тебя. Усни, любовь моя.

Перевод с английского ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

[1] Чероки — индейское племя. Предки Уильяма Джея Смита родом из этого племени *(прим. перев.)*.

Отклики, встречи, впечатления

Ю. ЖУКОВ, Р. ИЗМАЙЛОВА

БЕСЕДУЯ С ЭММАНЮЭЛЕМ РОБЛЕСОМ

Старенький, тесный даже для двоих, дрожащий от напряжения лифт подтягивает нас почти под самую крышу многоквартирного дома, приютившегося в одном из переулков парижского рабочего пригорода Булонь-Бийанкур. На узкой лестничной площадке направо — дверь. Ее открывает нам хозяин скромной квартиры, вышедший навстречу легкой походкой, невысокий, смуглый южанин с большим открытым лбом и юношески веселыми черными глазами. Кто бы сказал, что ему уже стукнуло как-никак шестьдесят пять годков и что позади у него трудная и сложная, увлекательная и подчас горькая, долгая-долгая жизнь, оставившая свой неизгладимый след в написанных им десятках книг — романов, новелл, пьес, эссе?

Сегодня Эмманюэль Роблес — общепризнанный литератор, с 1973 года он член Гонкуровской академии, его книги переводятся на многие языки, по ним ставятся фильмы для кино и телевидения. Но живет он по-прежнему просто и без забот о комфорте, как привык жить в юности в далеких отсюда Оране и Алжире, по которым тоскует и сейчас, хотя жизнь в те годы отнюдь его не баловала. Была бы крыша над головой да было бы где разместить книги — что еще нужно человеку, жизнь которого отдана литературе?

Обветшавший дом, построенный еще в начале века, сейчас основательно ремонтируется. За открытым высоким окном в подвесной люльке работают штукатуры в тяжелых брезентовых робах. Время от времени один из них перешагивает через низкий подоконник — такие шестари делали в Париже — и идет через кабинет мимо нас на кухню по воду. Это нисколько не смущает Роблеса: «Когда они работают с этой стороны, я ухожу работать в спальню: когда они перебираются на другую сторону, я возвращаюсь сюда. Вы знаете, мне даже нравится такое соседство: оно напоминает мне о той поре, когда я в Оране рос среди рабочих-строителей...»

Не потому ли и в Париже Эмманюэль Роблес избрал для обитания не комфортабельный шестнадцатый округ и даже не левый берег Сены, любимое прибежище столичной интеллигенции, а вот этот отдаленный рабочий район?..

Мы ведем разговор о переводе на русский язык его романа «Однажды весной в Италии» [1]. Это далеко не первое его произведение, которое издано в Советском Союзе. Но Роблес говорит, что ему вдвойне приятно увидеть именно этот роман в русском переводе,— ведь он посвящен событиям трудных и драматических военных лет, которые так сблизили народы Европы, ставшие жертвами фашистской агрессии.

Интересно все-таки складываются людские судьбы. Сама по себе биография нашего собеседника — готовый сюжет для увлекательного романа. Могла ли думать его мать, бедная прачка из Орана, вдова каменщика, что ее сын, отчаянный сорванец, который так любил затевать драки с детьми французских колонизаторов, дразнивших сыновей рабочих испанского и алжирского происхождения оскорбительной кличкой «пятьдесят процентов», станет в будущем видным деятелем французской литературы?

— Фамилия Роблес на испанском языке происходит от слова «дубы». У нашего рода обнаружился соответствующий этой фамилии характер,— говорит, улыбаясь, писатель.

Да, очень крепкий характер потребовался его матери, когда в 1914 году она, двадцати трех лет от роду, приехала с младенцем Эмманюэлем на руках из Орана в Касабланку, куда ее муж с артелью каменщиков подался строить госпиталь, и узнала, что он и его товарищи умерли от тифа. Она в ужасе бежала из этого города, где смерть буквально косила людей, вернулась в Оран и начала растить сына одна, зарабатывая на жизнь в рабочем квартале тяжким трудом прачки.

А сын оказался смышленым мальчиком. Настолько смышленым, что, когда он стал уже подростком и мать хотела отдать его

[1] Опубликован в «ИЛ», 1981, № 4, 5

в подручные на стройку, директор школы воспротивился этому и выхлопотал для него стипендию в Эколь Нормаль — учительской семинарии, находившейся в городе Алжире. И уже там Эмманюэль Роблес увлекся литературой и даже начал писать.

И он сам, и его близкие родились на алжирской земле, но невидимые нити связывали их с землей дедов — Испанией. А рос и формировался будущий писатель под влиянием французской культуры. Вот так и возник творческий сплав, который лежит в основе всего творчества Роблеса,— он сам именует эту первооснову средиземноморской.

Его тянуло в Испанию, где бурлила освободительная борьба,— еще пятнадцатилетним мальчишкой, без гроша в кармане, он с разными приключениями добрался туда, мечтая отыскать родственников, но так и не нашел никого.

Его тянуло в Советский Союз.

— Я был большим почитателем Мальро и Сент-Экзюпери,— вспоминает Роблес.— Революционный романтизм Мальро, лиризм Сент-Экзюпери влияли на меня, и Советский Союз, в котором я видел сочетание революционного романтизма с лиризмом, привлекал к себе...

В нашу страну он приехал двадцатилетним юношей в 1934 году. Был в Москве, которую знал по стихам Блеза Сандрара, воспевавшего башни Кремля и купола его соборов, был в Ленинграде, Харькове, Киеве. А на обратном пути, в Берлине, явился свидетелем прихода Гитлера к власти. Он слушал чудовищную речь Геббельса у рейхстага, с ужасом воспринимал откровенные призывы фашистов к войне, бродил по рабочим кварталам, где никто не вывешивал флагов со свастикой, а воззвания гитлеровцев по ночам срывали со стен, но уже чувствовалось, что фашисты нагло закрепляют завоеванную власть и что это сулит Европе большое горе. В Дахау начал действовать первый концлагерь...

Да, впереди были долгие-долгие годы горя и несчастий, очевидцем и жертвой которых довелось стать и Эмманюэлю Роблесу. Он служил во французской армии, выполняя, впрочем, весьма мирные обязанности: был метеорологом на базе гидросамолетов, был военным переводчиком с испанского языка. Сражаться с немцами в первые годы войны французским войскам, находившимся в Алжире, как известно, не пришлось: Франция быстро капитулировала, возглавивший страну в момент разгрома маршал Петен пошел на сговор с Гитлером.

В Алжире сохранялись бездействовавшие французские войска, но хозяйничали там немецко-итальянские «комиссии по перемирию», грабившие страну, которая формально принадлежала Франции, но эксплуатировалась Гитлером и Муссолини. И только 8 ноября 1942 года, когда войска западных союзников высадились в Северной Африке, над Алжиром забрезжило солнце надежды.

Началось формирование французских вооруженных сил из жителей Северной Африки. Двадцативосьмилетнему солдату второго класса Эмманюэлю Роблесу досталась скромная, но необходимая должность: записывать передававшиеся из Испании метеосводки, столь важные для авиации. Но вскоре в его жизни произошел крутой поворот, предопределивший всю дальнейшую судьбу этого молодого человека. Однако прежде чем рассказать об этом, нам придется вернуться на несколько лет назад.

Дело в том, что еще в мирные годы, проходя военную службу на авиационной базе в Блиде, Роблес украдкой, в перерывах между метеорологическими наблюдениями, начал писать роман. Его книга «Действие» была посвящена драматическим событиям забастовки, вызвавшей крупные социальные волнения в Алжире в 1936 году. Он отдал рукопись своего первого романа двадцатидвухлетнему владельцу книжного магазина «Подлинные богатства» студенту Эдмону Шарло — скромные доходы от продажи книг Шарло использовал для платы за обучение в университете, а кроме того, время от времени он издавал на свои деньги брошюрками небольшие произведения группировавшихся вокруг него таких же бедных и никому пока не известных писателей, в числе которых был и Альбер Камю, будущий нобелевский лауреат.

Шарло одобрил рукопись Роблеса, но вздохнул и сказал, что у него не хватит денег на издание романа и что придется подождать до лучших времен, а пока он разрешает молодому солдату бесплатно брать книги из своего магазина для чтения, но, конечно, с возвратом. Роман Роблеса прочел и Камю, который тоже одобрил это произведение безвестного солдата, но и он не смог тогда ничем ему помочь.

Все же в 1938 году Роблесу удалось издать роман. Он имел успех. Это ободрило солдата, и он снова взялся за перо. К этому времени Камю уже приобрел известность как писатель и как руководитель театральной труппы. К тому же он стал редактором новой ежедневной газеты «Альже-репюбликен». Вспомнив о способном солдате, он пригласил Роблеса и предложил ему написать «алжирский роман».

Роблес охотно согласился и довольно быстро написал роман из жизни алжирцев «Площадь Магон» — площадь с таким названием находилась у входа в населенный арабами квартал города Алжира, известный под именем Касба. Любопытная деталь: поскольку солдатам без специального разрешения генерала, командующего базой, выступать в печати не дозволялось, Камю в 1941 году опубликовал этот роман Роблеса под псевдонимом Эмманюэль Шэн (Chênes по-французски означает «дубы»). Годы спустя Эдмон Шарло, ставший (уже настоящим) издателем в Париже, опубликовал этот роман под названием «Долина рая» уже под настоящей фамилией автора. Кстати, к тому времени площадь Магон перестала существовать.

А Роблес сразу же после окончания второго романа взялся за третий. Жажда творчества у него была настолько сильна, что ему не могли помешать даже трагические и грозные события той поры. И вот в

Ю. ЖУКОВ, Р. ИЗМАИЛОВА
БЕСЕДУЯ С ЭММАНЮЭЛЕМ РОБЛЕСОМ

декабре 1942 года — когда в Северной Африке шли жестокие сражения, а в городе Алжире разгоралась острая политическая борьба между теми, кто хотел сохранить у власти режим Виши, и теми, кто хотел вручить судьбы и севера Африки, и в будущем Франции борцам за освобождение родины от фашизма,— в книжных магазинах этого города появился третий роман Эмманюэля Роблеса «Мужская работа».

Это было повествование о труде людей, строящих плотину. Казалось бы, сюжет совершенно неожиданный для той бурной поры. Может быть, именно в силу этой контрастности роман привлек большое внимание читателей, истосковавшихся за долгие годы по мирному труду и увидевших в произведении Роблеса своего рода оптимистическое выражение надежды на лучшее будущее.

Так или иначе, о романе заговорила критика — это тоже любопытная деталь, свидетельствующая о своеобразии обстановки, сложившейся тогда в городе Алжире: словно в центре циклона, где возникает тишина в тот момент, когда все бушует и рушится вокруг, здесь люди находили возможность и время читать и оценивать книги, обсуждать их, интересоваться театром, искусством. И вот в марте 1943 года роман солдата Роблеса увенчивается литературной премией.

Прочитав в газетах это известие, генерал Буска, который был занят реорганизацией французских военно-воздушных сил в Северной Африке, заинтересовался солдатом, пишущим романы. Он вызвал его и сказал: «Мы создаем сейчас газету для наших ВВС — «Крылья Франции». Хотите стать ее военным корреспондентом?» Роблес с готовностью согласился. Это и был крутой поворот в его судьбе, предопределивший всю его дальнейшую жизнь.

Писателю — а теперь о двадцатидевятилетнем Роблесе уже можно было говорить как о сложившемся писателе — выпала трудная, но крайне увлекательная и волнующая участь. Карьера военного метеоролога и переводчика, отнявшая у него так много лет, осталась позади. Теперь он не только мог, но и должен был постоянно находиться в гуще наиболее острых и важных военных операций. И хотя фронты на средиземноморском театре военных действий были далеко не главными,— судьба войны по-прежнему решалась на Восточном фронте,— но и там развертывались жестокие сражения, каждый день и каждый час происходили события, перед лицом которых в самой драматической форме раскрывались самые сокровенные черты человеческих душ — война обнажала человеческие характеры, каждый солдат и каждый офицер, хотел он того или не хотел, невольно показывал, чего он стоит.

Эмманюэль Роблес жил в гуще людей, одетых в военную форму. Он делил с ними их суровую фронтовую жизнь. Будучи человеком от природы скромным, он не любит распространяться о том, что ему довелось пережить тогда. Но в книге французского литератора Жана-Луи Депьерриса «Беседы с Эмманюэлем Роблесом, выпущенной издательством «Сёй», мы нашли множество интересных деталей, которые дают ключ к творчеству Роблеса в послевоенные годы. Как и другие писатели, которым пришлось сполна испытать военную долю, он отдал после войны свои силы творческой разработке и осмыслению врезавшихся в память на всю жизнь фронтовых впечатлений и встреч.

Куда только не заносила Роблеса судьба военного корреспондента! Пользуясь связными самолетами, он облетал авиационные базы в Марокко, повидал Корсику в момент ее освобождения, много раз бывал на авиационных базах в Сицилии, на острове Сардиния. Трижды посетил Неаполь, где в общей сложности провел четыре месяца. Двигался с наступающими вооруженными силами все дальше и дальше на север. Конец войны встретил на территории земли Вюртемберг в Германии — в селении с длинным и трудным для произношения названием Кляйнзахсенхайм, где вместе с друзьями разрядил в день победы свое оружие залпом в небо.

И было в этих полетах всякое — и радостное, и горькое, и веселое, и страшное. Летал Роблес на бомбардировщиках; бомбардировки, не только свидетелем, но и участником которых он был, в дальнейшем мастерски описаны в его книгах. Летал в разведку много раз — и в будущем эти полеты послужили ему источником ярчайших деталей для романов и новелл. Терпел и аварии — однажды только чудом спасся: когда у самолета, на борту которого он находился, над морем, в ста километрах от Сардинии, отказал мотор, а спасательных нагрудников ни у кого не было, оставалось надеяться только на летное мастерство пилота, и, к счастью, пилот этот сумел дотянуть до берега и посадить машину на поле, среди обезумевших от страха овец...

И встречи, встречи, встречи... Фронтовые встречи, которые так много давали писателю, что впечатлений от них, повторяю, хватило на всю жизнь. И не случайно, как говорит сам Роблес, лейтмотив его произведений — это «внутренняя борьба за честь быть человеком». «Жить — значит бросать вызов опасности»,— сказал он как-то. Именно так поступают и герои романа «Однажды весной в Италии», который читатель недавно прочел в «Иностранной литературе», и герои многих других его литературных произведений.

На острове Сардиния Роблес в военную пору познакомился с итальянским врачом из Милана — участником движения Сопротивления, который сумел, ценой смертельного риска, доставить на лигурийское побережье двадцать раненых партизан — их спасло британское судно, подошедшее к берегу. В дальнейшем этот врач работал на Сардинии, оказывая помощь раненым и врачуя больных крестьян. «После войны вы вернетесь в Милан?» — спросил Роблес. «Нет, скорее останусь здесь — тут во мне больше нуждаются»,— ответил врач. В романе «Это зовется зарей», вышедшем в свет в 1952 году, Роблес воплотил черты этого врача в образе Валерио. Между прочим, по роману Роблеса известный кинорежиссер Бунюэль поставил фильм.

В освобожденном от гитлеровцев Неаполе писатель побывал в трудное время, когда там царили голод, коррупция, спекуляция, столь красочно описанные Малапарте в романе «Капут». И вдобавок ко всему началось извержение Везувия. По ночам над вулканом висело страшное красное небо. В небе плыли тучи пепла. Роблес был потрясен, видя, как неотвратимо потоки лавы сокрушают деревни и сады — деревья вспыхивали, как факелы, когда раскаленные камни медленно, но верно приближались к ним. Было что-то символическое в этих, убивающих все живое, яростных потоках лавы.

Страсти природы и человеческие страсти... Их переплетение составило канву романа Роблеса «Везувий», вышедшего в свет в 1961 году. Кстати, герои этого романа тоже несут в себе черты тех людей, с которыми Роблес встречался в Италии: и молодой французский офицер Серж Лонжеро, и его молодая подруга, итальянка Сильвия, и владелец книжного магазина Варелла — все они литературные двойники знакомых Роблеса. Не потому ли они столь жизненны?

Но идея «внутренней борьбы за честь стать человеком» пронизывает не только произведения Роблеса, сюжеты которых навеяны его фронтовыми встречами. Она проходит красной нитью через все творчество писателя, особенно ощущается в тех его произведениях, где затронута тема национально-освободительной борьбы.

Нам вспоминается сейчас бурный успех в Париже пьесы Роблеса «Монсерра», поставленной в апреле 1948 года. То была особенно плодотворная пора его творческой работы. Вернувшись вскоре после демобилизации в Алжир, он работал тогда литературным критиком на радио, издавал литературно-художественный журнал «Форж» («Кузница»), написал роман «На городских холмах», получивший в том же году одну из трех виднейших литературных премий — «Фемина», и подготовил пьесу, которая, как и роман, вызвала во Франции подлинную сенсацию.

Герой романа «На городских холмах» (он был издан на русском языке издательством «Молодая гвардия» в 1963 году) Смайл бен Лахдар — один из молодых алжирцев, поднявшихся на борьбу против фашистских захватчиков в 1942 году, когда в Алжире свирепствовали пресловутые немецко-итальянские «комиссии по перемирию», о которых мы уже упоминали. В центре книги — жестокий конфликт этого патриота с врагом алжирцев Альваро, который презирал арабов, как низших существ, и совершал одно преступление за другим. Смайл казнит этого преступника...

А о чем шла речь в пьесе «Монсерра»? На первый взгляд автор отдал дань довольно давней исторической теме: о том, как в далекой Венесуэле в июле 1812 года шла борьба за национальное освобождение от испанского ига. Роблес рисует трагическую картину. Восстание терпит поражение. Испанцы заняли уже три четверти страны. Всюду репрессии, грабежи, убийства. В эти драматические дни патриот Монсерра с риском для жизни укрывает героя и руководителя освободительной борьбы Симона Боливара. Оккупанты требуют, чтобы Монсерра выдал его им, но он отказывается и гибнет, спасая Боливара.

Старинная история? Но во Франции, которая вела в это время «грязную войну» во Вьетнаме и подавляла освободительную борьбу в Алжире, она воспринималась отнюдь не как дань прошлому, а как самая злободневная история. А сюжет Роблесу опять-таки был подсказан одной из фронтовых встреч: в октябре 1943 года на Корсике ему рассказали, как итальянская политическая полиция ОВРА схватила участника движения Сопротивления и потребовала, чтобы он сказал, где укрывается один из руководителей восстания полковник Колонна д'Истрия. Ему пригрозили: «Не выдашь его, мы казним у тебя на глазах всю твою семью». И все-таки этот человек не пошел на предательство!..

Теме верности делу народно-освободительной борьбы была посвящена еще одна пьеса Эммануэля Роблеса — «Речь в защиту бунтовщика», написанная в 1957 году, в разгар событий в Алжире. В основу ее положен опять-таки подлинный факт: европейский рабочий из солидарности со сражающимися алжирцами подложил бомбу на электростанции, расположенной вблизи города Алжира, где работал. Но в последнюю минуту произошло непредвиденное: в пустынный машинный зал вошла группа рабочих, которые что-то должны были там делать. Не желая губить товарищей, рабочий вернулся и, спасая их, с риском для жизни разрядил бомбу, но был схвачен полицией и казнен.

Драматическая тема неразрывной связи героизма с заботой о справедливости и о жизни товарищей привлекала Роблеса. Писать и ставить пьесу о событиях в Алжире тогда было немыслимо по цензурным условиям, и автор перенес место действия в Индонезию, где борьба за независимость также проходила в сложнейших обстоятельствах — на насилие голландских колонизаторов индонезийцы отвечали беспощадной партизанской борьбой...

— Меня никогда не привлекали безликие персонажи,— говорит Эммануэль Роблес.— Мои любимые герои — это герои Мальро и Хемингуэя, если говорить о современных писателях. Стоическое отношение к смерти побуждает их избирать такой стиль жизни, который предусматривает необходимость идти на любой риск. Всякое иное поведение — всего лишь бегство от ответственности человека, сдача позиций, бесцельное ожидание чего-то у закрытой двери...

Этот писатель немало повидал на своем веку. Он много путешествовал, причем путешествия эти отнюдь не были обставлены комфортом. В 1935 году, увлеченный романтическим описанием революционной борьбы в Китае на страницах романа Мальро «Условия человеческого существования», Роблес, которому исполнилось тогда всего двадцать один год, на свои скудные средства предпринимает дальнюю и рискованную поездку: отправляется в Камбоджу, оттуда во

Ю. ЖУКОВ, Р. ИЗМАЙЛОВА
БЕСЕДУЯ С ЭММАНЮЭЛЕМ РОБЛЕСОМ

Вьетнам, а оттуда в освобожденные районы Китая. Он мечтает встретиться с советником китайских революционеров — посланцем СССР Бородиным, но внезапно заболевает и вынужден вернуться домой.

В 1946 году, когда уже шла демобилизация, он, оставаясь военным корреспондентом, принимает по своей доброй воле участие в рискованнейшем рекордном перелете через Южную Атлантику на гидросамолете «Лионель де Мармье». После нескольких неудачных стартов французские летчики добираются до Рио-де-Жанейро, но там в этот момент происходит очередной государственный переворот — свергают президента Варгаса. Самолет летит в Аргентину, но терпит аварию — отлетает лопасть винта, пробивает кабину и убивает двух членов экипажа. Трудная посадка на воду, у берегов Южной Америки, потом поездка неутомимого Роблеса в Мексику и Гватемалу. Все это дает материал для новых книг и пьес...

Вот так и протекли десятилетия творческой деятельности этого неутомимого человека, сохранившего до своего шестидесятипятилетия страсть к неустанной перемене мест и поразительную активность. По-прежнему в свет выходит роман за романом — совсем недавно в ленинградском журнале «Звезда» был опубликован русский перевод романа Роблеса «Сирены» В Париже вышла его повесть «Невидимое дерево».

Разная тематика, разные проблемы увлекают нынче писателя, но всегда в центре интересующих его конфликтов — большие, негаснущие чувства, бескомпромиссные отношения между людьми, в которых проверяется дорогое сердцу писателя их право на честь носить имя настоящего человека. А сюжеты своих произведений он черпает из богатой копилки собственных впечатлений.

— Мои книги,— говорит Роблес,— это порождение всей моей жизни. Они представляют собой вехи тех этапов, которые в наибольшей мере были отмечены тревогой, бунтом, болью, нищетой, но также любовью и счастьем...

Пора прощаться. Роблес просит нас передать приветы своим московским друзьям и прежде всего коллеге по Гонкуровской академии — ее почетному члену Валентину Петровичу Катаеву.

Теперь в состав Гонкуровской академии входят уже несколько крупнейших зарубежных писателей. Роблес и его друзья считают, что это принципиально важное решение, подчеркивающее, как важно преодолеть национальную ограниченность литературы, не дать ей замкнуться в себе, держать широко открытыми двери в большой общечеловеческий мир, мир, полный высоких чувств, драматических событий и светлых надежд.

◆

Из месяца в месяц

ФРАНЦИЯ

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Париже прошли Дни памяти Алехо Карпентьера, выдающегося кубинского романиста и дипломата. Посмертное чествование великого писателя началось представлением его монументального романа «Весна священная», вышедшего на французском языке в парижском издательстве «Галлимар». На торжественном акте присутствовала вдова писателя Лилия Эстебан. Институт иберийских исследований Сорбоннского университета вручил ей том романа, изготовленный в единственном экземпляре с обложкой работы венесуэльского художника Расело Хуваналя.

В связи с выходом романа издательство «Галлимар» выпустило специальную афишу с портретом Карпентьера и следующими словами: «Роман «Весна священная» — последнее произведение Алехо Карпентьера, кульминация всего его творчества. Он работал над ним долгие годы; это фреска, описывающая огромный период — от Гражданской войны в Испании до победы Фиделя Кастро на Плайя Хирон».

В Дни памяти Алехо Карпентьера произошло еще одно знаменательное событие: в Париже состоялось первое исполнение струнного квартета чилийского композитора Эдмундо Васкеса, написанного им по мотивам романа Карпентьера «Арфа и тень». Одновременно французский режиссер Морис Саррозин начал работу над осуществлением театральной постановки этого романа на сцене театра «Гремье» в Тулузе.

◆

Заметки на полях

«КАК ПОЖИВАЕТ РОМАН?»

Под таким заголовком американский еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» (литературное приложение к газете «Нью-Йорк таймс») поместил в самом конце прошлого года анкету, в которой приняли участие и видные романисты, и те, кто лишь недавно приобрел известность. Им были предложены следующие вопросы:

«Что происходит с прозой в начале 80-х годов?

Становится ли она более реалистической и менее экспериментальной?

Можно ли сказать, что писателей стал больше интересовать исторический и документальный материал и что они не настолько заняты сами собой, как прежде,— в том смысле, что они реже теперь создают произведения о том, как создаются произведения?

Можно ли согласиться с высказанной одним из критиков мыслью, что мы переживаем золотой век американского романа?»

Уже сами эти вопросы отражают ситуацию, которая сложилась в современном американском романе к началу 80-х годов, наметив основные направления его развития двух последних десятилетий: 60-е годы ознаменовались оживлением поисков новых форм романа, для которых было характерно и влияние европейского модернизма, и обращение к басне, мифу, параболе, и одновременно взрыв документалистики. В следующее же десятилетие наряду с этими веяниями произошло усиление реалистических тенденций. Как справедливо писали в 60—70-е годы многие американские критики, ситуацию в американском романе этого периода можно было назвать переходной.

И сегодня, говоря об основных направлениях современного романа, одна из молодых участниц «круглого стола» «Нью-Йорк таймс бук ревью» Элла Леффленд считает, что «серьезная американская проза и впредь будет представлять собой очень причудливое смешение фантазии, фактологии и традиционности».

Эту точку зрения поддержали и остальные выступавшие, подчеркивая многообразие существующих ныне разновидностей романа. Именно в этом смысле они говорили об известной правомерности использования выражения «золотой век» американского романа. Но никто, кроме Джойс Кэрол Оутс, не взял на себя смелость делать конкретные прогнозы. Она же высказала и наиболее оптимистические суждения:

«80-е, вполне возможно, станут золотым веком... если подразумевать не эпоху коммерческого успеха, а эпоху свободы творческого воображения романиста... Можно и сейчас заключить, что мы переживаем просто замечательное время. Я предвижу появление романов, в сущности представляющих собой стихи в прозе, как и романов, написанных для восприятия на слух — таких, которые нужно «читать вслух молча». Я предвижу новый взлет лиризма и воздушность прозы, ее просторность, такую свободу внутри подвижных границ «романа», когда возможно практически все. И я предвижу тот небывалый в истории случай, когда можно экспериментировать, оставаясь традиционалистом и даже создавая вещи, которые можно читать. Я предвижу усиление элементов исторического и документального материала в романе, однако и его использование видится мне по-новому — не подчиняющимся никакому канону, сюрреалистическим, подвластным лишь образному видению...

Роман о романе, возможно, уже умер — да и был ли он когда-либо жив? Но нескончаемое экспериментирование безусловно процветает... То, что принято называть «реализмом», и то, что именуют «сюрреализмом», на практике давно стало единым потоком современной американской литературы».

Таким образом, Джойс Кэрол Оутс отмечает тенденцию размывания границ жанра романа, слияния существующих его разновидностей. Ее «предвижу» — реальность современной американской беллетристики. Просто она говорит о «вершинах», которые всегда редкость. Характерным для высказанных мыслей представляется переоценка формальной стороны творчества в ущерб его идейному содержанию.

Именно такова эстетическая позиция крупнейшего представителя модернизма в американской прозе Джона Барта. Свои представления он изложил недавно в опубликованной на страницах первого за 1981 год номера журнала «Атлантик» статье «Литература нового наполнения. Постмодернистская проза». Он утверждает в ней, что функция романиста — быть «зеркалом» действительности, приводя слова теоретика французского «нового романа» Роб-Грийе: «настоящему писателю нечего высказать... он обладает только умением высказывать». Европейский модернизм, своеобразной реакцией на который и явилось творчество самого Барта и других авангардистов в американском романе, представляется ему сегодня уже освоенным. Он призывает всех писателей подражать Гарсиа Маркесу, который сумел, по его мнению, синтезировать все достижения романа прошлого.

В этом призыве нельзя не усмотреть известной близости его позиции мнению Джойс Кэрол Оутс. Однако нужно подчеркнуть, что Джон Барт лишь собирается подражать латиноамериканской разновидности «магического реализма». Творческие же установки Оутс всегда были гораздо шире узких рамок европейского модернизма, о чем свидетельствуют и необычайная широта ее писательского диапазона, и значительно более широкая читательская аудитория. Закономерно, что и ответ Барта на анкету не столь оптимистичен. «Золотым веком» Барту представляются 60-е годы — «время серьезной ломки всяческих условностей в американской литературе». 70-е же годы, на его взгляд, в целом прошедшие под знаком консерватизма, для литературы имели лишь отрицательные последствия. Они создали тот климат, когда стали превозносить как последнюю новинку старомодный «семейный роман». В такой атмосфере свобода эксперимента и творческого поиска, естественно, оказалась ограниченной, а перспективы — тем более не блестящими. По Барту, «наступает эпоха высоконравственного большинства». И литературу ждет «эпоха высоконравственной прозы».

Последние слова — прямая полемика с теми многочисленными критиками, которые справедливо обвиняли представителей модернистского романа США в элитарности и заигрывании с аморализмом. Это и прямой вызов пафосу книги Джона Гарднера «О нравственной литературе» (1978). В этой работе Гарднер на современном материале высказал мысли, близкие кредо нобелевской речи Уильяма Фолкнера (1950) и эссе Роберта Пенна Уоррена «Демократия и поэзия» (1975): он отстаивал активную роль литературы в формировании мировоззрения читателей, подчеркивал, что современный американский авангард занял позицию неприятия реальности, а не исследования ее. В своих рассуждениях Гарднер опирался на суждения Льва Толстого, согласно которым искусство должно правильно отражать действительность, ясность изложения должна включать нравственную оценку изображаемого и причастность писателя, «любовь» к своему предмету. Гарднер призывал «прекратить хныканье и приняться за поиски ответов на вопросы времени или уж лучше вовсе замолчать». (Что и сделали в 60-е годы многие романисты, уступив место документалистам.)

Как раз следующего участника «круглого стола» — Нормана Мейлера — критика обвиняла в чем угодно, но все сходились на том, что он постоянно занят поисками ответов на «вопросы времени». Мысли, высказанные им на страницах «Нью-Йорк таймс бук ревью», тонко фиксируют литературную ситуацию с позиций писателя, убежденного в силе воздействия слова.

> «Будущее прозы? Прозы, с одного фланга теснимой кинематографом, а с другого — историей (ставшей более интригующей и невероятной, чем любой роман вымысла), иссушаемой на корню массовой коммерцией, объясняющейся на философском жаргоне футуризма, сексологии и 57 разновидностей психоанализа? Проза стала корзинкой для отбросов. И тем не менее только великая проза способна спасти мир. Так думают все хорошие писатели! Потому что художник все еще верит в свою способность увидеть мир целостным. Бесспорно, это XX век с его неуважением к единичному разуму, век комитетов, почитающих компьютер. Никто ничего не видит. Но романист никогда не сдается. Мы вырвемся из предначертанных нам границ, проникнем в другие дисциплины, населим новые эпистемологические модели. Древо романа покроется новой листвой. Его будущее надежно. Роман расцветет еще неведомыми цветами. Будем же надеяться, что они не окажутся пустоцветами. Ввысь![1] В наших руках волшебный меч короля Артура!»

Прежде всего отметим, что Норман Мейлер пишет «проза», а не «роман», подчеркивая размытость границ этого жанра. Его враждебное отношение к современной технике и переоценка роли искусства характерны для тех художников Запада, чьи взгляды отражают весьма распространенные представления о разрушительной роли НТР, бытующие в странах развитого капитализма. Эти взгляды являются реакцией на «сциентизм» — веру в безграничные возможности науки, что было популярным в конце прошлого — начале этого столетий. И как бы наивно ни звучали его уверенность в том, что «только великая проза способна спасти мир», и его упрямое желание верить в появление «великой прозы» — стремление Мейлера принять непосредственное участие в решении актуальных проблем, стоящих сегодня перед его страной, «возвысить свой голос», как говорил Уильям Фолкнер, не может не вызвать

[1] Девиз штата Нью-Йорк.

уважения. В самом коротком и вместе с тем очень емком ответе на анкету Норман Мейлер затронул наиболее существенные черты современного американского романа: его историзм и документальность, разнообразие творческих поисков и самую новую тенденцию — проникновение в другие области знания, беллетризацию современной социологии, истории, биологии, психологии и т. д. Тенденцию очень знаменательную и интересную, к которой все чаще обращаются исследователи современного американского романа.

Любопытным представляется наблюдение одной из молодых романисток, ответивших на анкету, Джейн Энн Филлипс, которая заметила, что под пером мастеров современной малой формы — рассказа, повести — эти разновидности современной беллетристики обнаруживают черты романа — узнаваемость неповторимого мира, созданного воображением автора, его протяженность и значительность. Особенно это свойство присуще сборникам рассказов. В качестве примера Филлипс приводит книги известной новеллистки Грейс Пейли.

Примечательно и то, что она подчеркивает роль писателя как аналитика современной истории, которая властно вторгается в жизнь человека, а в ней социальное сегодня неотделимо от личного. Молодая романистка говорит, что важна способность не только интеллектуальной интерпретации современной действительности, но чувство подлинной причастности, «любовь»—

> «иначе то, что должно быть спасено,— погибнет».

Несколько более общо выражает эту мысль и Скотт Спенсер, чей роман «Любовь без конца» был выдвинут на Американскую литературную премию 1980 года:

> «Думаю, что все большее число романистов вернется к своим функциям рассказчиков и описателей «миров», причем это будет реальность скорее социальная, чем личная (или словесная)».

Выступления участников «круглого стола» отразили взгляды, характерные для многих представителей современной американской прозы и критики. Сходные суждения не раз высказывались в последнее время как в связи с выходом новых романов, так и в многочисленных материалах, появившихся на страницах американской периодики в конце года, который был и последним годом десятилетия. При этом небезынтересно напомнить, что еще в конце 70-х годов и речи не было ни о каком «золотом веке» американского романа. Скорее преобладали противоположные суждения. Вот, например, что писал в 1977 году один из американских критиков Рональд Розенблатт:

> «Мы переживаем период всеобщей и агрессивной посредственности в литературе и других искусствах. Период, в целом отвечающий духу нашего двухсотлетия... являющий зрелище полного равнодушия, одиночества и запуганности».

К этому же времени относилась статья постоянного обозревателя «Нью-Йорк таймс бук ревью» Джона Леонарда с красноречивым названием «Катясь под откос». Характерно, что его же итоговая статья за 1980 год, появившаяся на страницах еженедельника вслед за анкетой, отражает желание забыть о разочарованиях недавнего прошлого: утраченных в 70-е годы мечтах предыдущего десятилетия о социальном и культурном обновлении Америки. И с надеждой обратить взгляд в будущее. Отдавая дань прежнему скептицизму и традиции итоговых оценок 70-х годов, он бросает такую фразу:

> «Естественно, этот год, как и другие, спорен, лишен определенной направленности, случаен, извращен...»

Однако в качестве свидетельства жизнеспособности современной беллетристики он приводит более дюжины заглавий романов 1980 года, принадлежащих перу известных писателей и обещающих новичков.

Характерно и то, что основное свое внимание Леонард сосредоточивает на проблемах романа как жанра, на его формальной стороне, а не на содержании, особенно высоко оценивая документальные разновидности современной прозы, тяготеющие к роману. Да и в целом его конкретные оценки гораздо оптимистичней его же общего замечания и содержат попытку выявить существенные тенденции развития современной литературы, о чем говорит и название статьи — «Больше фактов, чем вымысла». Критик высказывает сомнение в правомерности использования термина «роман» в отношении целого ряда произведений. Он приводит примеры мастерски, по его мнению, написанных книг, жанр которых в последнее время часто определяют как «неформальная история», «неформальная социология» и «неформальная биография». Леонард весьма высоко отзывается о появившихся в 1980 году «неформальных биографиях» таких мастеров слова, как Готорн, Теннисон, Стивенсон, Уитмен. Леонард пишет о необычайно высоком «художественном» уровне современной критики, напоминая, что в 1980 году в роли критиков выступили такие видные писатели, как Мэри Маккарти, Сюзанн Зонтаг, Рэндалл Джаррел, Майкл Арлен, Ролан Барт, Энгус Уилсон.

Проблема соотношения факта и вымысла в современном американском романе находится в центре внимания критики с начала 60-х годов. В середине этих лет она вылилась в дискуссию о «новом журнализме», своеобразном сплаве «горячей истории» и романа, разновидности современного художественного очерка. Особенно распространенными стали «романы» о реальных людях. Трумен Капоте назвал в свое время «Хладнокровно» (1965) [1] «невымышленным романом». Норман Мейлер в первой книге о Мэрилин Монро «Мэрилин: биография» (1970) использовал термин «фактоиды» — смесь фактов и вымысла, средство более достоверного художественного претворения реальности, чем тради-

[1] Под названием «Обыкновенное убийство» см. «ИЛ», 1966, № 2—4.

ционный факт, документ. Свою вторую книгу о ней — «Женщины и их элегантность» (1980) он назвал «вымышленными мемуарами». В этом смысле говорят о претворении факта воображением художника Эдгар Лоуренс Доктороу и Уильям Стайрон. В последнее время появился новый термин — «фэкшн», соединивший «фэкт» (факт) и «фикшн» (вымысел).

Расцвет документализма, интерес к фактам объясняется настоятельной потребностью в «ответах» на «вопросы времени». Потребностью, общей как для подлинных художников слова, так и для их читателей. Комментируя упреки в том, что современная литература односторонне отражает действительность, подчеркивая ее непознаваемость и бесперспективность, видная американская писательница Элизабет Хардуик писала в 1977 году, что расцвет современного авангардистского романа и ограниченность видения тех, кто работает в реалистической манере, диктуются «присущим подавляющему большинству американцев коренным непониманием самого феномена зла, что является закономерным последствием изоляции американцев от подлинно трагических явлений современной действительности».

Эта точка зрения распространена сегодня: пишут о том, что американский роман существенно уступает по своей социальной значимости, да и как жанр в целом, например, латиноамериканскому роману из-за якобы более легкой жизни в США, нежели в других странах.

Последние два десятилетия особенно убедительно показали, что американская история не так радужна, как пишут те критики, которые объясняют сравнительную камерность современного американского романа «благополучием» экономики и социальной системы США. Радикальные веяния 60-х были смыты волной «нового консерватизма» 70-х годов, к началу 80-х окончательно смолкли разговоры о «вакууме идей» и необходимости поисков реалистических решений назревших социальных проблем. Проблемы эти не решены до сих пор, но значительно усилились попытки отвлечь общественное мнение политической демагогией.

В этих условиях особенно возрастает роль подлинного художника, который стремится ставить «вопросы времени». Однако лучшие современные американские романы, проникнутые пафосом гуманистической морали — что немало в условиях современного духовного климата в США,— не дают ответов на эти вопросы. В них есть глубина проникновения в современную психологию, достоверность искренних, «причастных» свидетельств современной американской реальности, которые помогают развеять миф об исключительности этой действительности, но они не дают реальной перспективы социального развития. Поскольку главная проблема современного американского романа — это не форма, не соотношение факта и вымысла, а мировоззрение художника.

Т. РОТЕНБЕРГ

◆

Публицистика

К. ДОЛГОВ

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ ОТЧУЖДЕННОГО СОЗНАНИЯ

Размышления о творчестве Алена Рене

Имя Алена Рене — одно из самых известных в мировом кинематографе. Его фильмы стали достоянием нескольких поколений, по крайней мере, большая часть из них осталась в памяти и заняла прочное место в духовной жизни Франции пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов нашего века.

Фильмы Алена Рене нельзя перепутать ни с какими другими — не только в силу их самобытности и своеобразия, но и в силу способности к художественно обобщенному и концентрированному выражению современной истории, современных исторических событий — второй мировой войны и послевоенного времени, то есть в силу их особой историчности, опрокинутой в прошлое, но опрокинутой так и в такое прошлое, что по существу это прошлое постоянно заставляет нас, оглядываясь назад, думать о настоящем и, что особенно важно, о будущем.

Однажды увиденный фильм Алена Рене навсегда остается в памяти, ибо он — сама память, пронизывающая молниеносной, мгновенной и незатихающей болью, которая, кажется, оставляет физический след в душе человека. Благодаря высокому уровню художественного мастерства Ален Рене как бы вводит зрителя в самую сокровенную историю того или иного события и вводит так умело и незаметно, что история становится органической частью жизни человека, а человек — активным участником истории.

Можно ли забыть такие, например фильмы Алена Рене, как «Гернika». «Ночь и туман», «Хиросима, моя любовь», «В прошлом году в Мариенбаде», «Мюриель», «Провидение»? Каждый из них, как навязчивая идея, неотступно преследует человека многие годы, и, если какие-то образы по тем или иным причинам отходят на второй план или даже несколько стираются, затем они с новой силой всплывают в памяти, пробуждая ее к размышлениям, к волнениям мысли и чувств, к поискам утраченного времени и вновь нарождающегося смысла.

Человеческая память — чудо из чудес, без нее немыслимы ни сам человек, ни человеческое общество, ни какая бы то ни было культура. Это одна из самых феноменальных способностей человека — элегия жизни, постоянный спутник, другое Я каждого человека, носитель нравственности, социального духа, индивидуальной совести, преемственности поколений, логическая завершенность бытия и прорыва личного, индивидуального в социальное, историческое, бесконечное... Память — песнь песней человека, носитель и хранитель всего человеческого, священный храм и обитель человеческого духа, собственно человеческих, культурных ценностей.

Жизнь взывает к памяти, память — к жизни и смерти. Человек, обладающий памятью, остается человеком, вооруженным всеми формами общественного сознания в его диалектических взаимоотношениях с общественным бытием. Стоит отнять у него память — и он теряет главные признаки человека и человеческого.

Но эта же память — нежнейший и высочайший продукт развития культуры — может быть предельно жестокой, бесчеловечной, безнравственной, унижающей и убивающей все человеческое в человеке.

А когда память жестока, бесчеловечна оттого что она — кровоточащая рана души и сердца!

В этом случае человек встает перед аль-

ДОЛГОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1931 г.).

Советский философ, эстетик, доктор философских наук. Автор многих работ по современной философии, эстетике и культуре.

Ален Рене.

тернативой: или забвение, или вся полнота жестокости воспоминаний, которую можно смягчить, а может быть, и преодолеть посредством действия, если еще не убита воля к жизни, к сопротивлению, если еще сохранено человеческое достоинство и неизбывны стремления к истине и к свободе, к тому, чтобы бороться за них до конца, до победы.

Не об этом ли идет речь в антифашистских фильмах Алена Рене «Герника», «Ночь и туман», в его антивоенных, антимилитаристских лентах «Хиросима, моя любовь», «Мюриель», «Далеко от Вьетнама»?

Сам Ален Рене на вопрос о том, почему он сделал фильм, в основу которого положена «Герника» Пикассо, ответил так: «Герника показалась нам первым проявлением тяги уничтожать из любви к уничтожению: опыт, некогда проведенный на человеческом материале, чтобы проверить, что получается. Это началось с Герники, и мы видим, к чему это привело. Такой фильм следовало сделать на десять лет раньше, но фильмы делаются лишь постфактум...»

Рене воскрешает трагические события Герники как бы «оживлением» картины Пикассо, раскрытием и развитием заложенных в ней в зародыше универсальных возможностей человеческого воображения, могущих найти свою более или менее полную реализацию лишь в каком-то синтезе искусств. Логично было бы сказать, что это делает честь прозрению Алена Рене — прежде всего в сфере поиска новых изобразительных средств,— ибо он, пожалуй, одним из первых не только увидел, но и попытался материализовать на экране полифоническую значимость рисунка и живописи Пикассо,— если бы не одно немаловажное обстоятельство: эта художническая интуиция Алена Рене, достаточно определенно воспроизводя особенности его поэтики, является в то же время весьма характерным выражением самого его мироощущения, мировосприятия, мировоззрения.

Известно, что ни один сколько-нибудь крупный деятель литературы и искусства не был сторонником фашизма, напротив, подавляющее большинство деятелей культуры находились или в оппозиции к этим современным варварам, или принимали активное участие в борьбе против них.

Ален Рене не только органически не принимал фашизма и фашистской человеконенавистнической идеологии, но, в отличие от своих коллег, он переплавлял «тугоплавкие» политические, идеологические, мировоззренческие качества в тигле своего художественного воображения, чтобы получить сверхтвердый, сверхустойчивый, сверхпрочный, не подвластный никакой коррозии и эрозии «металл» — гуманистическую поэтику, способную оплодотворить произведение искусства качествами высочайшей идейной и художественной пробы. Ален Рене вносит в мировой кинематограф новую поэтику, позволяющую на новом уровне исследовать объективную действительность и ее отражение в сознании и в искусстве с помощью самого искусства и художественного творчества.

■

Перспектива его творчества начиналась с ретроспективы, с обращения к одному из самых трудных и самых богатых изобразительными и выразительными средствами видов искусства — к живописи. Он создает потрясающий по художественным достоинствам свой первый фильм «Ван Гог» (1948), затем — более слабый — «Гоген» (1949), в том же году — поразившую всех ленту «Герника» и фильм об африканской народной скульптуре «Статуи тоже умирают» (1950).

Как нам представляется, Ален Рене поставил перед собой и перед зрителями задачу, состоявшую не столько в том, чтобы овладеть богатствами живописной палитры Ван Гога, Гогена или Пикассо, сколько в том, чтобы постигнуть глубинные тайны современного видения мира, овладеть умением оперировать пространственно-временными координатами современной истории — сложной, противоречивой, трагической,— то есть задачу мировоззренческого, методологического значения.

Существовавшие буржуазные политические, философские, идеологические концепции — неотомизм, персонализм, феноменология, экзистенциализм, психоанализ и другие — по существу уже в годы второй мировой войны продемонстрировали свою теоретическую и практическую несостоятельность, свою мировоззренческую и методологическую непригодность, поэтому следовать им означало заведомо обречь себя на неминуемые ошибки и заблуждения. Отказаться от них полностью — значило бы принять противостоящую им всем философию марксизма. Но это слишком

серьезный и рискованный для буржуазного художника шаг, на который отваживались лишь самые сильные, самые мужественные духом творцы: Пикассо, Арагон, Элюар...

Вряд ли можно считать случайным тот факт, что Ален Рене обратился к картине Пикассо «Гернika» и к тексту Поля Элюара, чтобы на этой основе создать свой удивительный по содержанию и художественному мастерству и воздействию на зрителей фильм. Столь же не случайны для его творчества антивоенные, антиимпериалистические, антиколониальные мотивы. А обращение Алена Рене к изучению жизни и деятельности представителя испанской коммунистической партии, находящейся в подполье, к созданию обаятельного и неоднозначного образа коммуниста в фильме «Война окончена» было совершенно логичным и закономерным для эволюции его творчества, несмотря на то, что вызвало буквально шоковое состояние среди буржуазной элитарной публики, еще не освободившейся от «глубокомысленных» салонных толкований и жеманных реминисценций по поводу фильма «В прошлом году в Мариенбаде».

Следует заметить, что Ален Рене не принял и ни одного из направлений современной буржуазной философии: ни экзистенциализма, с его шумным, хотя и в историческом масштабе недолгим успехом, ни экзистенциальной феноменологии с ее научной респектабельностью, ни психоанализа с его «либидо» и различными комплексами, буквально внедрившегося в буржуазное искусство и пронизавшего его болезненными, патологическими сексуальными видениями-мистериями разных уровней, форм и степеней — от едва заметных психологических сдвигов до тяжелых психических заболеваний, от эротических мотивов до откровенной порнографии; ни философии неотомизма, призывающей к смирению, вере в бога и откровение и устремленной назад, к Фоме Аквинскому, ангелическому доктору — символу расцвета средневековой схоластики.

Уж не является ли в таком случае Ален Рене просто-напросто нигилистом, не признающим никаких политических, философских и идеологических концепций, не признающим ничего другого, кроме собственного искусства?

Вопрос естественный и закономерный. Таких нигилистов в буржуазном искусстве, в том числе и в кинематографе, сколько угодно.

В свое время проницательный философ и писатель Альбер Камю с полным основанием писал: «Современное искусство, поскольку оно является нигилистическим, бьется между формализмом и реализмом» [1].

Элементы нигилизма можно найти и в произведениях Алена Рене, но только элементы, ибо основное содержание его творчества, несомненно, имеет положительный характер и конструктивную направленность. Нигилизм Алена Рене — это скорее всего критичность, обращенная не против реальности как таковой и не против человека и человечности, как и не против культуры в целом, а против всего того, что мешает человеку быть человеком, иметь нормальное, естественное человеческое сознание, нормальные человеческие чувства, отношения с другими людьми, с реальностью, с природой, с обществом — словом, со всем окружающим миром. В этом во многом повинны и существовавшие и существующие буржуазные порядки, буржуазные философские и идеологические концепции, определенные виды, формы и традиции культуры прошлого и настоящего. В таких условиях элементы нигилизма подчас обретают свойство удерживать художника между определенными позициями, между «берегами», в данном, конкретном случае — между формализмом и реализмом в художественном отношении, между материализмом и идеализмом, между метафизикой и диалектикой — в философском, а некоторую часть художественной интеллигенции — различного рода мечущихся леваков,— иной раз даже между империализмом и социализмом, между революцией и контрреволюцией.

Амплитуда подобных колебаний зависит от многих составляющих: от конкретной социально-политической ситуации в стране и в мире до мировоззрения и настроения самого художника, но в конечном счете она определяется объективными данными — общественным бытием, общественными отношениями, соотношением классовых сил, не зависящих от состояний индивидуального сознания.

В этих условиях не приходится удивляться, что такой художник, как Ален Рене, отбрасывает существующие буржуазные философско-идеологические концепции, способные скорее сбить с толку, чем привести к истине, и обращается, если можно так сказать, к метафизике самого искусства, чтобы через искусство и посредством искусства в процессе самого художественного творчества вырабатывать определенную метафизику, определенную философско-эстетическую и политико-идеологическую концепцию.

Традиции французской культуры достаточно богаты подобными попытками и экспериментами: Стендаль, Бальзак, Пруст, Сезанн и другие. Метафизика Я и свободы у Стендаля, насыщенная идеологическими медиациями; тайна истории как выявление смысла социальных движений у Бальзака, о произведениях которого Энгельс заметит: «Здесь содержится история Франции с 1815 до 1848 г. в гораздо большей степени, чем у всех Волабелей, Капфигов, Луи Бланов и tutti quanti. И какая смелость! Какая революционная диалектика в его поэтическом правосудии» [1]. Пруст, выражавший свою интуицию времени в релятивистской и в скептической философии, приходящей в конечном счете к иммортализму. Бальзак в «Неведомом шедевре» создает образ художника, стремящегося вы-

[1] A. Camus. Essais. Pleiade. Paris, 1965, p. 676.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М., 1967, т. I, с. 485.

К. ДОЛГОВ

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ ОТЧУЖДЕННОГО СОЗНАНИЯ

разить жизнь посредством одних цветовых соотношений. Сезанн плакал, читая это произведение, ибо узнавал себя в образе Френхофера. То, что писал Бальзак в «Шагреневой коже» о «мысли выражать» («pensée à exprimer»), о «системе строить» («système à bâtir»), о «науке объяснять» («science à expliquer»), кажется, может быть возведено и возводится современным сознанием на уровень конструктивно действующих принципов. Поиски «тайной науки», которую пытался обнаружить еще Ван Гог, остаются актуальными и сегодня.

Итак, выработка мироощущения, мировосприятия, мировоззрения посредством искусства и культуры — идея не новая, имеющая солидные традиции во французской и в европейской культуре вообще.

Однако установление более тесных отношений между литературой, философией и политикой произошло в XIX веке, первым признаком чего явился «гибридный способ» выражения: интимный дневник — философский трактат — диалог. А в XX веке философские направления, как и различного рода литературно-художественные течения, стремятся определить жизнь как скрытую метафизику, а метафизику — как объяснение человеческой жизни. Хотя метафизика XX века в самых различных ее формах и видах уже не стремится к объяснению мира, а стремится к установлению контакта с миром, контакта, предшествующего любой мысли о мире. «С этого времени,— замечает французский философ Мерло-Понти, произведения которого оказали существенное воздействие почти на всех современных деятелей культуры Франции и ряда других европейских стран,— задача литературы и задача философии не могут быть больше раздельными... Формы гибридного выражения больше уже не появляются, а роман или театр становятся насквозь метафизическими, даже если они не используют ни одного слова из философского словаря. С другой стороны, метафизическая литература с необходимостью становится в определенном смысле литературой аморальной. Ибо нет больше человеческой природы на которой можно было бы утвердиться. В каждом из образов действия человека нашествие метафизики взрывает то, что было лишь «старым обычаем» Развитие литературной метафизики — конец литературы моральной» [1]. Это относится не только к экзистенциализму вновь поставившему со всей остротой перед буржуазным сознанием вопросы свободы ответственности выбора, тревоги, добра и зла, жизни и смерти и другие но и ко всей буржуазной философии и культуре вообще.

Вот чем, пожалуй, можно объяснить, почему с самого начала Ален Рене обращается к анализу явлений собственно искусства. Возможно отсюда же и его тяга к созданию прежде всего чисто документальных кинофильмов. И как это ни парадоксально, но именно документальные фильмы оказались самыми гуманистическими и самыми демократическими из всего, что он создал пока за свою жизнь.

Возьмем ли мы «Гернику» или «Ночь и туман» — и тот и другой фильм выразительным кинематографическим языком повествуют об уничтожении людей, об уничтожении человечества, об уничтожении культуры; вместе с тем оба фильма в высшей степени человечны, гуманистичны.

Сама по себе картина Пикассо «Гернika» представляет уникальное явление в живописи: разорванность формы, переплетение фантастических чудовищ, символов страха, смерти, беспредельного ужаса, подавления и разрушения всего человеческого — все это в высшей степени соответствовало выражению звериной, человеконенавистнической сущности фашизма, его нападения на мирный город Гернику, массового убийства мирных жителей, стариков, женщин и детей.

Ален Рене чутко уловил динамику этого произведения Пикассо, выражающую своеобразное соответствие антигуманистических форм антигуманистическому же содержанию, понял скрывающиеся в «Гернике» потенциальные возможности дальнейшего развития ее страшного, приводящего в содрогание апофеоза разрушения, посредством усиления динамики форм, их разрыва и алогического сочленения, посредством введения кинетической игры света и цвета и как фона — чтения великой актрисой Марией Казарес потрясающих душу стихов Поля Элюара.

«Ночь и туман» — по сценарию Ж. Кейроля, музыка Г. Эйслера — выдающийся документ о преступлениях фашизма, документ совести, тревоги, пробуждения ответственности за то, чтобы это никогда не повторилось... Место живых людей занимают регистрационные бланки с фотокарточками. Кошмарная бухгалтерия — олицетворение «нового порядка» и «новой культуры», которые нес с собой фашизм. Все заранее рассчитано: Гиммлер выезжает на места, чтобы проверить, как строятся руками заключенных концентрационные лагеря, крематории, фабрики массового уничтожения ни в чем не повинных людей, фабрики или машины смерти. Все продумано, чтобы убийство осуществлялось продуктивно, чтобы начальник лагеря имел виллу, а его жена могла бы создать семейный уют для счастливой жизни, соответствующие привилегии предусмотрены для капо — вплоть до публичного дома из узниц лагеря, обреченных на смерть. Все рационализировано по последнему слову науки и техники: пытки, убийства, «душевые» с потолком, разодранным ногтями жертв, когда же крематориев не хватало — разжигали костры.

Вот лейтмотив этого — колоссального внутреннего накала — фильма. Голос диктора: «...Сейчас, когда я говорю с вами об этом, в закоулках этой бойни стоит болотная вода. Вода холодная и мутная, как наша скверная память. Война уснула, но одно ее око не дремлет. Да, трава снова выросла на плаце, где проводили перекличку, и вокруг бараков; но заброшенный поселок все еще таит угрозу. Крематорий не действует, приемы нацистов вышли из моды. Девять миллионов мертвецов населяют этот пейзаж. Кто же из нас бодрствует в этом странном наблюдательном пункте,

[1] M. Merleau-Ponty. Sens et nonsens. Nagel. Paris, 1948, p. 49.

чтобы предупредить о появлении новых палачей? И в самом ли деле у них не такие лица, как у всех? Где-то среди нас есть и преуспевшие капо, и спасшиеся начальники, и неопознанные доносчики. Есть и все те, кто не верил в это или верил лишь иногда. И есть мы — мы смотрим на эти развалины с искренней верой, что концентрационное чудище погребено под обломками. Мы притворяемся, что вновь обретаем надежду, глядя на эту картину, уходящую в прошлое, и как бы исцеляясь от лагерной чумы. Мы притворяемся, что верим, будто все это относится только к одному периоду и к одной стране, и не хотим оглянуться вокруг себя, и не слышим неумолкающего бесконечного крика».

Более тридцати лет отделяют нас от времени, когда Ален Рене создал «Гернику», и более четверти века — «Ночь и туман», но кажется, что они созданы сегодня — настолько они современны, актуальны и человечны в демонстрации беспредельной обнаженности человеческого безумия и жестокости, разбоя и насилия, массовых убийств и надругательств, в своем несмолкающем крике — призыве к разуму, к ответственности за судьбы мира и человечества, к обузданию зловещих сил войны, к наказанию виновников совершенных и совершаемых против человечества преступлений.

■

Гуманизм фильмов Алена Рене многозначен по своему образному и кинематографическому или художественному генезису. Если в документальных фильмах гуманизм логически следует из диалектики самих вещей, из документов, то в игровых фильмах он как бы генерируется из напряженного поля человеческого сознания, пытающегося преодолеть сферу отчуждения, в котором оно пребывает. К этим фильмам можно отнести прежде всего «В прошлом году в Мариенбаде», «Провидение» и некоторые другие. Здесь, в лабиринтах отчужденного сознания, воображение художника строит мысленные конструкции, где рациональность низводится до инстинктивного уровня, а инстинкты возвышаются до уровня рациональности. Разрушенная связь времен, связь взаимоотношений действующих лиц, логика их мысли, поступков, действий, весь этот бессвязный поток анонимных образов, анонимных ситуаций и анонимных обстоятельств демонстрирует крайнюю степень отчужденного бытия и отчужденного сознания.

Вот что говорит о фильме «В прошлом году в Мариенбаде» Ален Рене: «Мужчина предлагает женщине прошлое, женщина отказывается от него, потом, по-видимому, принимает. А может быть, и нет. В таком кратком изложении это звучит глупо. Это фильм, который весь основан на видимостях. Все в нем неоднозначно. Ни об одной сцене нельзя сказать, происходит ли она сегодня, вчера или год назад, ни об одной мысли — какому персонажу она принадлежит. Реальность и чувства — все подвергается сомнению, неизвестности, то, что происходит в действительности и что — во сне... Это похоже на упражнение ради упражнения, и, возможно, так оно и есть. И мы ставим этот фильм именно в тот момент, когда, по-моему, во Франции невозможно делать фильм без упоминания о войне в Алжире! Однако я спрашиваю себя, не связана ли душная, замкнутая атмосфера «В прошлом году в Мариенбаде» с этими противоречиями... Классический фильм не может передать подлинного ритма современной жизни. Вы делаете сто разных дел в день — идете на занятия, в кино, на собрание своей ячейки и т. д. Современная жизнь прерывиста, это все ощущают, это отражают и живопись и литература, почему же в кино не отразить такой прерывистости, вместо того чтобы цепляться за традиционное однолинейное построение?»

Из этого более или менее ясно лишь то, что режиссер стремился отразить прерывистый, противоречивый, многоплановый характер современной жизни, жизни современного человека, который настолько занят многими нужными и ненужными текущими делами, что ему некогда не только о чем-то подумать или взглянуть на небо, но некогда даже остановиться, сделать паузу, чтобы вновь ощутить самого себя, стать самим собой. Традиционное линейное построение фильма, по мнению автора, «В прошлом году в Мариенбаде» уже не соответствует бурному, полному конфликтов и перипетий ходу современной жизни. Нужен новый художественный язык, который бы, с одной стороны, был способен выразить всю сложность и ускоренный бег современного бытия, переплетение самых необычных и самых неожиданных

Фильм «В прошлом году в Мариенбаде». Рабочий момент съемок. Делфин Сверг и Ален Рене.

событий и сбстоятельств с жизнью человека, а с другой стороны, чтобы этот новый язык соответствовал настроению современного человека, его интересам, надеждам и ожиданиям.

Ален Рене и Ален Роб-Грийе решили создать этот новый язык — выстроить свой фильм «В прошлом году в Мариенбаде» не на основе «повествования», а на другом структурном фундаменте, где построение формы должно иметь доминирующее значение и где подлинное драматическое напряжение, подлинная страсть связаны не с традиционным фабульным «содержанием», а с неповторимым способом воздействия на чувства зрения и слуха. При этом кинематографическое повествование развертывается таким образом, что интрига не уничтожается полностью, а используется достаточно произвольно. В этом новом кинематографическом повествовании повторяются различные мотивы: психологические (убеждение посредством слова, страх перед неизвестным, изнасилование как ритуальное воссоединение и т. д.), традиционные психоаналитические мотивы (стрельба из пистолета, длинные коридоры, двери, величественные лестницы, игры со строгими правилами и т. п.), классические элементы современного духовного мира, явления и действия, не связанные причинной связью, вариационные повторы, материализованная реальность воображаемого, овеществление прошлого или будущего и вообще смешение времен.

Таким образом, новое кинематографическое повествование представляет собой плюралистическое единство различного рода традиционных и нетрадиционных мотивов, цель которых состоит в том, чтобы, не порывая до конца с реальностью, создавать такие художественные структуры, которые сводили бы до минимума естественные связи и взаимоотношения, причинные и логические связи, а также присутствие самой реальности, чтобы оставалась возможность показать «удушенную жертву», то есть омертвленную реальность.

«Но эти различные компоненты разрабатываются в фильме как формальные мотивы, и даже если они, возможно, предполагают какую-то философию, психологию или мораль, то все же воздействовать на зрителя они должны непосредственно при помощи своей формы или формального развития. Композиция кадров, их сцепление, сопровождающий их звук не находятся больше в тиранической зависимости от «здравого смысла»: услышав слово, ты не всегда понимаешь, кто его произнес, не всегда знаешь, откуда доносится тот или иной звук и даже что он означает. Наблюдая сцену, ты не всегда знаешь, когда именно она происходит, где и что она, собственно, изображает. Даже внутри одного кадра тщательный анализ часто обнаруживает значительные противоречия. Тем не менее есть надежда, что, несмотря на эти странности и неопределенности, изображение, звук и их соединение выразят с достаточной силой явную потребность в современном реализме, который преодолел бы старое противоречие между реалистическим и поэтическим кино и навсегда заменил бы собой старый натурализм». Авторы считают, что они находятся на том пути, которым более или менее сознательно идет все современное кино.

Дополнительный свет на замысел авторов фильма «В прошлом году в Мариенбаде» проливает высказывание Алена Рене о том, что этот фильм является для него «попыткой — пока что очень грубой и примитивной — разобраться в сложности мысли, в ее механизме». Это высказывание имеет принципиальное значение для понимания как самого фильма «В прошлом году в Мариенбаде», так и характера нового кинематографического повествования вообще.

Стоит в этой связи вспомнить прогноз, данный еще в середине двадцатых годов испанским философом Хосе Ортегой-и-Гассетом в его книге «Дегуманизация искусства». Все современное (имеется в виду буржуазное.— К. Д.) искусство, утверждал он, движется по пути дегуманизации: «Если проанализировать новый стиль, то в нем обнаружится ряд связанных между собой по содержанию тенденций. А именно: тенденция к дегуманизации искусства, тенденция отрицания живых форм... тенденция рассматривать искусство как игру и ничего больше, тенденция к существенной иронии, тенденция к уклонению от любой фальши и, в равной мере, к скрупулезной реализации. Наконец, искусство, согласно молодым художникам, есть вещь, лишенная всякой трансцендентности»[1].

Конечно, за время, прошедшее после выхода этой книги, появились новые тенденции, но в основном, в главном прогноз относительно эволюции современного буржуазного искусства полностью оправдался: оно двигалось по пути дегуманизации. Противопоставление художественного и человеческого дошло до крайности — стилизация стала средством дегуманизации. От изменения порядка изображаемых и выражаемых вещей, которое с необходимостью приводило к дегуманизации, искусство перешло к изображению и выражению идей с непременным условием их максимальной «дереализации». Художник сознательно отказывается от отображения внешнего мира и поворачивает свой взор к внутренним, субъективным виденьям, интересуясь персонажами только как идеями и чистыми схемами.

В этом смысле представители «нового романа», одним из которых является Ален Роб-Грийе, не создали ничего нового, они лишь продолжали двигаться по тому же пути.

Попытка Алена Рене и Алена Роб-Грийе обратиться к «современному реализму», который преодолел бы старое противоречие между реалистическим и поэтическим кино и навсегда заменил бы собою старый натурализм, была по существу не открытием некоего «нового реализма», а дальнейшим этапом на пути к дегуманизации современного кинематографа. Тенденции, отмеченные в свое время Ортегой-и-Гассетом, нашли в фильме «В прошлом году в Ма-

[1] J. Ortega y Gasset. La deshumanización del arte. Obras completas, t. III. Revista de Occidente. Madrid, 1947, p. 360.

Документальный кадр гибели Хиросимы (воссозданный средствами игрового кино) из фильма «Хиросима, моя любовь».

риенбаде» новое подтверждение и развитие: и отрицание живых форм, и взгляд на искусство как на игру, и абсолютизация иронии, насмешки искусства над самим собой, и прочие, ведущие в своем сочетании к дальнейшей дегуманизации искусства. Добавились к этим тенденциям и новые: крайний релятивизм, алогичность, пессимизм, скептицизм...

И несмотря на это, фильм «В прошлом году в Мариенбаде» имеет определенную ценность именно как произведение искусства. Не в смысле «современного реализма», преодолевшего якобы старое противоречие между реалистическим и поэтическим кино и заменившего собой старый натурализм, и даже не в смысле нового кинематографического повествования, а в смысле своеобразного исследования состояния современного буржуазного отчужденного сознания.

Попытка эта, безусловно, заслуживает внимания, но, как свидетельствует фильм, о котором идет речь, сам путь бесперспективен, ибо исследование сознания и мышления с помощью искусства должно вестись посредством применения накопленных историей искусства достаточно могучих способов исследования человеческой психики и человеческого сознания, а не только приемами, которые присущи главным образом отчужденному искусству отчужденной реальности, то есть современному буржуазному искусству. Плодотворно исследовать отчужденное сознание можно лишь с позиций, преодолевших это отчуждение или преодолевающих его.

Поэтика и стилистика этой ленты особенно резко контрастируют с поэтикой и стилистикой одной из самых замечательных картин Алена Рене — «Хиросима, моя любовь», поставленной двумя годами раньше.

Об этом фильме много писали и продолжают еще писать. Сам Ален Рене в одном из интервью признается, что по поводу «Хиросимы» все рассказали, все объяснили, а сам он, когда снимал этот фильм, более всего боясь показаться скучным, «благоразумным», стремился сделать его просто интересным. «Для меня не существует поисков формы как самоцели. Единственная цель формы — усилить волнение и обострить интерес. Вот почему я трижды менял форму, повинуясь сюжету».

Не случайно, как только появился этот фильм, все заговорили о новой стилистике Алена Рене, о его отточенном, блестящем мастерстве, называя его великим режиссером и волшебником.

Было сразу замечено, что лента «Хиросима, моя любовь» явилась логическим продолжением и завершением двух главных фильмов раннего Рене — «Герники», прославлявшей борьбу испанского народа против фашизма, и «Ночи и тумана», обличавшего войну, милитаризм и фашистское варварство, что это произведение глубокого социального звучания, направ-

---

К. ДОЛГОВ
ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ
ОТЧУЖДЕННОГО СОЗНАНИЯ

ленное против войны, против безумия и разгула низменных чувств, которые она вызывает, против националистических, расовых, религиозных предрассудков. Немало говорилось и о мотиве любви — он получил противоречивую интерпретацию у кинокритики и зрителей.

Если начать с последнего, то есть с мотива любви, которым открывается и завершается «Хиросима, моя любовь», то следует заметить, что новизна и сила этого мотива у Алена Рене состоит вовсе не в передаче самого по себе чувства француженки и японца, с исполненными драматизма реминисценциями пережитого каждым из них в прошлом, или психологических перегрузок, связанных с этими воспоминаниями,— нет, речь идет о чем-то более важном и более серьезном, о чем-то таком, что касается каждого человека и всего человечества, их прошлого, настоящего и будущего.

Когда Рене говорит, что не существует вневременных любовных историй, он тем самым лишний раз подтверждает, что человеческие чувства детерминированы исторически и социально. «Не существует вневременных любовных историй, разве что во сне. Да и сами сны разве не обусловлены: почему они снятся так, а не иначе? Кстати, сны, в которых мы бежим от действительности, часто являются признаками неврастении и присущи обществу, в котором живет страх».

Ален Рене отказывается понимать любовь в категориях буржуазного общества и буржуазной морали, считая эти параметры унизительными для человека и разрушительными для человеческих чувств. Ведь человеческие чувства — это культура памяти и память культуры. Культивирование чувств имеет, быть может, гораздо более длительную историю, чем история человеческого сознания, и воспитывать эти чувства, пожалуй, гораздо труднее, чем поднимать уровень человеческого сознания, хотя каждый знает, что и это чрезвычайно трудная задача. А вот разрушить чувства, лишить их человеческой субстанции, человеческого облика иногда довольно просто — как в субъективном, так и в объективном плане.

Можно предположить, что Ален Рене строит этот фильм на некоем «чувственном» уровне, «чувственном» не в смысле приземленности или приниженности, а в смысле более глубокой, более человечной, сокровенно человеческой историчности, в разрушении которой атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, лишь один из этапов, которыми, к сожалению, изобиловала человеческая история до сих пор. В этом историческом контексте становятся вполне сопоставимыми и необычайно выразительными трагедия Хиросимы и трагедия человеческой любви, драматизм истории и драматизм человеческих чувств.

Обе трагедии — человеческие. И хотя одна — незаживающая рана на сердце, в памяти и совести всего человечества, а другая — на сердце, в памяти и совести одного человека, женщины, пережившей счастье первой любви и ужас ее гибели, эти трагедии более чем сопоставимы, они родственны по генезису чувств, памяти, забвения, родственны по историчности и социальности, наконец, родственны по способности пробуждать идеи смысла и ответственности.

Например, кадры демонстрантов, перемежающиеся кадрами жертв атомной бомбы, приводят к закономерному выводу о необходимости активного протеста против всех форм порабощения и уничтожения людей. «Целый город приходит в ярость. Целые города приходят в ярость. Против кого эта ярость целых городов? Ярость целых городов, хотят они того или нет, против неравенства одних людей перед другими, против неравенства одних рас перед другими, против неравенства одних классов перед другими».

Правда, этот протест составляет как бы фон развития трагедии любви в настоящем, любви двух случайно встретившихся людей разных судеб и взглядов, находящихся как бы на противоположных полюсах социально-психологического развития: японца, занимающегося архитектурой и политикой и изучившего французский язык, чтобы читать о французской революции, и француженки-актрисы, живущей в мире чувственных переживаний, представлений, воспоминаний, тщетно стремящейся найти следы своей первой любви в случайных любовных встречах, способных лишь еще больше опустошить ее и без того опустошенную душу, окончательно похоронить память о первой любви с ее неутоленными желаниями, мечтами и надеждами и каждый раз отбрасывающих ее в безмолвный жестокий мир забвения.

Страшное сознание утраченной любви — настоящей, единственной, неповторимой. Потеря ее — это потеря смысла жизни. Обрести этот смысл вновь можно, лишь избавившись от преследующих кошмарных наваждений прошлого и иллюзорных реалий настоящего. Вот почему героиня говорит, что над нею всегда довлело страстное искушение неверности, измены, обмана и... смерти. «Ты еще дышал,— говорит она про себя. — Я рассказала нашу историю. Сегодня вечером я изменила тебе с этим незнакомцем. Я рассказала нашу историю. Видишь, ее можно рассказать словами...— И она произносит вслух:— Четырнадцать лет я не знала вкуса несбыточной любви... со времен Невера. — И снова про себя: — Смотри, как я тебя забываю... Смотри, как я тебя забыла. Посмотри на меня...». Но смотрит на нее не он, а... ее отражение в зеркале...

Воспоминания с необходимостью приводят ее к забвению, острота былых переживаний — к тупому, холодному и безразличному забвению, равнодушию. Тени прошлого — забвение настоящего, забвение настоящего — отрешенность от будущего. «Как и ты, я тоже пыталась изо всех сил бороться с забвением. Как и ты, я забыла. Как и ты, я хотела обладать безутешной памятью... памятью теней и камней. Я боролась как могла, изо всех сил, каждый день против ужаса, который охватывает меня, потому что я так и не смогла постичь тайны воспоминаний».

Тайна воспоминаний постигается смыслом настоящего, а иногда, может быть, даже смыслом будущего, но смыслом, не те-

ряющим незримых нитей и связей всех времен: прошлого, настоящего, будущего. Достаточно нарушить, не говоря уж о том, чтобы разрушить, связь времен, как этот смысл, одухотворяющий и возвышающий человеческую душу, начинает меркнуть, гаснуть, исчезать. Тогда и наступает смешение времен, отчуждение и забвение. Наступает смертельная болезнь человеческих чувств, человеческого сознания и человеческих действий. Ведь тайна воспоминаний раскрывается только в глубинных, деятельных, созидательных проявлениях жизни, в ее продолжении и развитии. И напротив, сосредоточенность человека на воспоминаниях, обращенность в прошлое могут привести и приводят или к пустым иллюзиям, или к неизбежному забвению. «Через несколько лет, когда я тебя забуду, когда у меня будут — по привычке — другие романы вроде этого, я вспомню о тебе как о забвении самой любви. Эта история будет означать для меня ужас забвения. Я знаю это уже сейчас». И действительно, последние кадры фильма подтверждают неизбежность забвения — логического пути одинокого, отчужденного, утратившего социальные, исторические и даже чувственно-личностные ориентиры сознания. «Я забуду тебя! Я тебя уже забываю! Смотри, как я тебя забываю! Посмотри на меня! Посмотри на меня!..— Они смотрят друг на друга и не видят. Это навсегда...»

■

Буржуазное сознание всегда отличалось односторонним подходом к изучению объективной реальности и человека. Различного рода идеалистические школы и направления философской мысли так или иначе давали одностороннее представление о функционировании природы, общества и мышления. Это свойство присуще и современному буржуазно-эстетическому сознанию. Вот, например, как оценивает методологию экзистенциализма М. Мерло-Понти: «Экзистенциализму в руках французских писателей всегда угрожает опасность впасть в этот «изолирующий» анализ, который раскалывает время на дискретные мгновения, сводит жизнь к набору состояний сознания» [1]. С большим или меньшим основанием этот упрек можно отнести и к феноменологии, и к психоанализу, и к структурализму, и к другим течениям современной буржуазной философии.

Одной из важнейших для кинематографа как и для литературы и искусства вообще, является проблема человека, которая с необходимостью трансформируется в художественном сознании в проблему героя. В истории литературы и искусства в строгом соответствии с требованиями той или иной конкретно-исторической эпохи можно вычленить различные типы героев: в античности — это люди, наделенные сверхчеловеческой, почти божественной силой, могуществом и красотой; в средние века — всякого рода святые, носители божественной благодати, непременным условием их святости был уход от реальной жизни — цена, которую они платили за обладание чудотворной силой и приобщение к лику святого и божественного; в это же время процветало рыцарство как деятельное начало — своеобразный антипод религиозной отрешенности; в новое время идеалом героя становится Наполеон, которым восхищались Гёте, Гегель, Фихте и другие выдающиеся художники и мыслители. Затем буржуазное сознание выдвигает идеал героя-сверхчеловека, который смог бы предотвратить наступление всеобщего кризиса буржуазного общества и заката его культуры и цивилизации.

Современный герой, согласно представлениям буржуазной философии, уже не может быть ни героем Гегеля, ни героем Ницше, ибо он не способен более выступать ни носителем, ни орудием и средством господствующих над ним трансцендентных сил, ни «сверхчеловеком», стоящим по ту сторону добра и зла и преобразующим мир в соответствии с ничем не ограниченной волей и художественной фантазией. Вместе с тем «герой современников не является ни скептиком, ни дилетантом, ни декадентом» [1], замечает М. Мерло-Понти. «Герой современников — это не Люцифер, это даже не Прометей, это человек» [2],— таков вывод М. Мерло-Понти из анализа эволюции буржуазного философско-эстетического и художественного сознания, из эволюции буржуазной литературы и искусства. Человек-герой — не отрицательная сила, не мировое зло, но и не нечто положительное и доброе. Это обыкновенный человек со всеми его достоинствами и недостатками. Современный герой — реальный образ реально существующего человека.

Как решается эта проблема в фильмах Алена Рене? Можно сказать, неоднозначно — в каждом фильме по-своему. Если в фильме «Хиросима, моя любовь» мы видим самых обыкновенных людей, внутренний мир которых как бы аккумулировал в себе все богатство социально-психологических общественно-значимых фактов, вызванных к жизни второй мировой войной, то в фильме «В прошлом году в Мариенбаде» мы встречаемся не столько с людьми, сколько с отношениями — и не межличностными, а отношениями отношений, знаками знаков, символами символов — словом, со своего рода концепцией антигероя, присущей этой ленте как некоему «антифильму». Здесь речь идет не о мозаике ощущений, как это было в классической психологии, а о своеобразной системе конфигураций, структур, ансамблей, которые исходят уже не от «героев», а, напротив, из самих себя, самих себя обозначают и представляют и порождают свой собственный смысл и значение.

[1] M. Merleau-Ponty. Sens et nonsens, p. 69.

[1] M. Merleau-Ponty. Sens et nonsens, p. 330.

[2] Ibid., p. 331.

К. ДОЛГОВ

ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ ОТЧУЖДЕННОГО СОЗНАНИЯ

В свое время Гегель сформулировал положение, характерное для умонастроений его времени: интеллект, вложенный в объект, есть созерцание. В современной буржуазной философии, в известной мере и в буржуазном искусстве эти отношения перевертываются: созерцание не есть сфера субъектно-объектных отношений, а есть специфический способ чувственного постижения. Структура, ансамбль или конфигурация рассматриваются как вид спонтанного восприятия. Само же восприятие возводится в универсальную форму взаимоотношений человеческого бытия с окружающим миром: «Восприятие не является суммой визуальных, тактильных, аудитивных данных, я воспринимаю способом, нераздельным с моим тотальным бытием, я постигаю уникальную структуру вещи, уникальный способ существования, который обращен одновременно ко всем моим чувствам» [1].

Таким образом, современная экзистенциально-феноменологическая философия восприятия низводит гносеологию познания до чувственного уровня, а чувственные ступени позиания возводит на гносеологический уровень. Интеллектуальность философии и искусства становится формой существования чувственного позиания. Глубинные связи гносеологического познания, поиска и открытия истины подменяются созерцанием неких феноменов, фиксированием лежащего на поверхности очевидного смысла и значения цвета, света, запаха, выражения лица, музыки слов, ритма, но вовсе не объектов, стоящих за этими явлениями. Современная буржуазная литература, «новый роман», пластические виды искусства, абстрактная живопись, кинематограф («451° по Фаренгейту» Трюффо, «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене и Алена Роб-Грийе и другие) демонстрируют отсутствие, исчезновение и субъекта (отсутствие фабулы и рассказчика), растворение его во всякого рода «объективных» структурах и отношениях, в истории, лишенной человека — ее субъекта и творца, и объекта, то есть субъективно-объективных отношений в целом. Как замечает известный структуралист Мишель Фуко в своей книге «Слова и вещи»: «Человек стирается — так размывается морем лик прибрежного песка» [2].

Этот «теоретический» антигуманизм современной буржуазной философии и «художественный» антигуманизм современной буржуазной литературы и искусства — не выдумка досужих умов, а своеобразное отражение антигуманистического характера капиталистического общества и существующих в нем отношений.

От кинофильма уже не требуют, чтобы он, как классический роман, следовал мысли человека, напротив, от него ждут образа действий, поведения человека, непосредственно раскрывающих специфический «способ бытия в мире», отношения к вещам и к другим, который мы видим в жестах, взглядах, в мимике и который с очевидностью определяет каждую личность. Любовь, ненависть, удовольствие, боль, головокружение и т. п. современная буржуазная философия, по крайней мере феноменология и экзистенциализм, оказавшие и оказывающие наиболее сильное влияние на буржуазную литературу и искусство, на современный кинематограф, рассматривают как образ действий. Вот почему буржуазные теоретики постулировали новый принцип: «Фильм не мыслится, он воспринимается» [1].

Таким образом, современное буржуазное искусство отказывается исходить из идеи, как это делало классическое искусство, а стремится к «онтологизации» психологических состояний человека. А современная буржуазная философия отказывается от выработки понятий в процессе познания объективной действительности, стремясь лишь к «описанию смешения сознания с миром», его «вкладывания в тело», его «сосуществования с другими». Если пристально всмотреться в современную буржуазную философию и современный буржуазный кинематограф, то можно сказать, что они достаточно когерентны: кинематограф работает на уровне чувственного сознания, а философия оперирует не столько логическими понятиями, сколько кинематографическими структурами, ансамблями и конфигурациями. Ментальность кинематографа вытекает из современной философии, а философская рефлексия структурируется кинематографически.

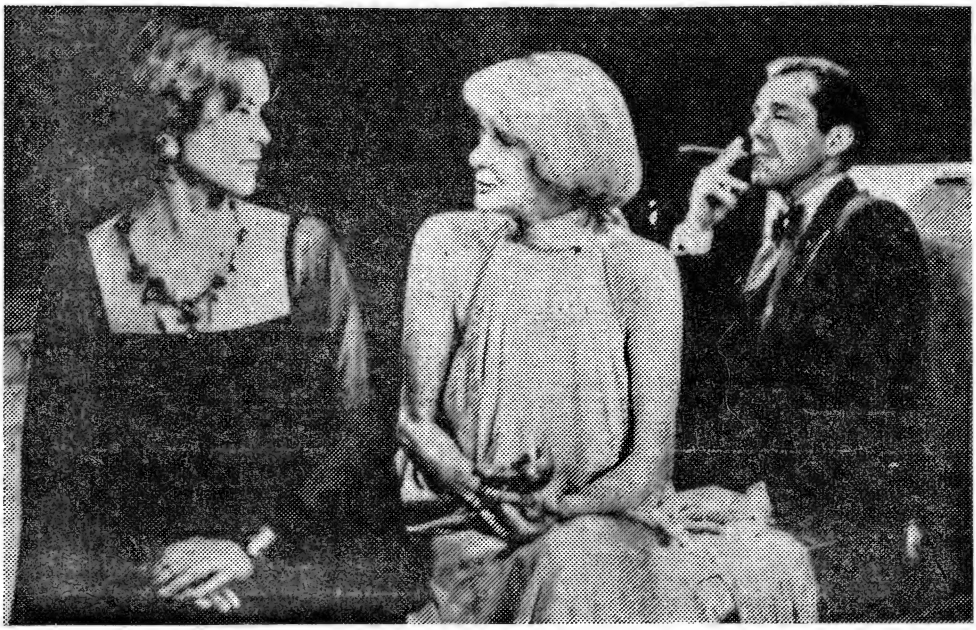
Что из этого следует? А то, что и буржуазная философия и буржуазный кинематограф исходят из одного мировоззрения — буржуазного, его же производят и воспроизводят, хотя бывают и счастливые «отклонения», выходящие за пределы этого мировоззрения. К таким «отклонениям» можно отнести некоторые фильмы Алена Рене, отличающиеся скрытым, но исключительно напряженным социально-политическим звучанием. Обратимся, например, к киноленте «Мюриель», предельно оснащенной специфически кинематографическим инструментарием, находящимся в распоряжении столь большого мастера, каким является Ален Рене. Образ Мюриели проступает постепенно, по мере воспоминаний героя, пробуждаемых его нечистой совестью. Все персонажи этого фильма — лишь средства воскрешения прошлого, способы насыщения жизнью бледных воспоминаний, средства пробуждения и формирования ответственности за прошлое, настоящее и будущее. Сам Ален Рене так высказывался об этой своей работе: «Мюриель» — фильм, пронизанный ощущением неблагополучия, которое можно назвать «цивилизацией счастья». Мне кажется, что в «Мюриели» есть критика идеала счастья в духе «Франс-Диманш», маленького комфортабельного счастья, основанного на том, чтобы вкусно есть и жить готовыми понятиями. Может быть, посмотрев такую картину, некоторые зрители спросят сами себя: «Неужели этого мы и хотим?».

Таким образом, этот фильм не только о

[1] M. Merleau-Ponty. Sens et non-sens, p. 88.

[2] M. Foucault. Les mots et les choses. Gallimard. Paris, 1966, p. 398.

[1] M. Merleau-Ponty. Sens et non-sens, p. 104.



Кадр из фильма «Провидение».

памяти, мучающей нечистую совесть Бернара, виновного в гибели зверски замученной алжирской девушки. Этот фильм не только о совести, о рождающемся чувстве ответственности Бернара, заставляющем его в конце концов стрелять в главного виновника и палача Мюриели — Робера, этот фильм еще и об ответственности за жизнь вообще — настоящую и будущую, это фильм-протест против войны, против всех видов и форм варварства, против всего буржуазного уклада жизни, против буржуазной морали, против всей буржуазной культуры и цивилизации.

К истории, к исторической памяти народов, как уже говорилось, обращены почти все фильмы Алена Рене, каждый из которых призван способствовать пробуждению совести, ответственности и соответствующих действий.

Особое место в их ряду принадлежит фильму «Война окончена». Главным героем его, пожалуй, впервые в буржуазном кинематографе стал испанский коммунист, профессиональный революционер — Диего. Это было настолько ново и необычно для буржуазного кинематографа, что после некоторого замешательства реакционные силы развязали бешеную кампанию против этого фильма и, естественно, против самого Алена Рене. Но дело было сделано. Развенчивание этого фильма лишь вызвало к нему еще больший интерес, а затем и многочисленные более или менее удачные и неудачные подражания. Эта лента положила начало жизни политического кино, которое развивается по сей день.

На вопрос о том, что толкнуло его на создание этого фильма, Ален Рене ответил: «Меня увлекла среда, которую редко увидишь на экране и которая, как мне кажется, играет большую роль в становлении мира. Если существует один процент людей, преобразующих мир, можно же иногда посвящать им фильмы... И потом, я очень люблю мечтателей. Наши герои мечтают о другой Испании, о переустроенном мире. Мечта и революция всегда стоят рядом».

Историческое чутье подсказало Алену Рене, где искать подлинного героя современности, и он нашел его именно в коммунистах.

В коммунистах, в революционерах Ален Рене увидел тех, кто преобразует мир,— мечтателей и героев-борцов, людей железной воли, несгибаемого духа, активного действия, людей, принимающих на себя всю полноту исторической ответственности за будущее своей страны и своего народа и понимающих, осознающих всю тяжесть этой ответственности.

В противоположность весьма распространенным в буржуазной литературе, искусстве и вообще в буржуазном сознании штампам, изображающим революционеров то как оторванных от реальности восторженных мечтателей, то как людей, раздавленных судьбой и обреченных на неминуемую гибель, плохо одетых злодеев с адскими машинами в карманах, Ален Рене создал привлекательный живой образ коммуниста — обаятельного, умного, дисциплинированного, преданного своему делу человека, вместе с тем человека с хорошим вкусом, доброго, скромного, любящего и любимого, вовлекающего близких ему людей в активную политическую борьбу.

К. ДОЛГОВ
ПАМЯТЬ И ЗАБВЕНИЕ
ОТЧУЖДЕННОГО СОЗНАНИЯ

В этом фильме немало спорного. И тем не менее этот фильм о трех днях из жизни профессионального революционера произвел настоящую революцию в буржуазном кинематографе: образ испанского коммуниста стал символом всего самого передового, самого прогрессивного, стал символом сил, способных обновить мир.

«Провидение» — одна из последних картин Алена Рене — поражает зрителей прежде всего игрой воображения, красок, мелодическим строем фильма, игрой пространственно-временных форм, сложным переплетением внутренних интеллектуально-эмоциональных событий, происходящих в воображении главного героя, с событиями реальными.

С одной стороны, мелочные интересы дряхлеющего старца с его одиночеством и неизбежными болезнями, капризами, расстройствами желудка и нервов, недовольного собой, другими, жизнью, воспоминаниями, реальностью, с другой — мир больших и больных, а иногда и вообще неразрешимых проблем общества: проблем социальных, политических, моральных, правовых, семейных, межличностных и т. д.

Старческий маразм, распад сознания личности, когда-то весьма одаренной, творческой, способной творить новые, еще не ведомые никому миры, населенные необычными новыми и прекрасными людьми.

Анатомия гибнущего в тисках болезней, пораженного недугом алкоголизма, теряющего связи с реальностью сознания героя, порою уже не отличающего вымыслы разрушающейся психики от реальности, помраченного сознания, лихорадочно раскладывающего пасьянс из сумбурно сложенных картинок, причудливо перемешивающих давно пережитое с реально существующим.

Психоаналитический сюрреализм видений этого болезненного сознания, как будто не оставляющий возможности уловить, схватить, постигнуть логику фильма, логику поведения основных действующих лиц, логику характеров: все мотивы неожиданно прерываются, уступая место новым, ничем не связанным с предыдущими.

Кадры суда, убийство старика, обросшего шерстью; одинокий старец, распоряжающийся судьбами людей и вершащий высший суд над всем существующим, которое он сам доводит до состояния почти непримиримых противоречий (хотя действующие лица оказываются в родственных отношениях друг с другом)...

Противоположная картина: те же действующие лица, но с обратным знаком — добрые, внимательные друг к другу и особенно к старому писателю, пригласившему их на свой день рождения. Война и мир! Загадка и разгадка!

Загадка: столкновение взглядов старого писателя как демиурга разыгрываемых в фильме эпизодов со взглядами автора фильма, воле которого подчиняется сам старый писатель. Разгадка: столкновение взглядов и идей двух творцов в их отношении к реальной действительности, к окружающему их миру.

Если старый писатель исследует окружающий его мир, конструируя необходимые ему ситуации, постоянно экспериментируя сочетаниями этих ситуаций и расстановкой действующих в этих ситуациях лиц, то автор фильма ведет исследование и самой творческой личности писателя и окружающего его мира, а также взаимоотношений между ними. Исследование художественного творчества с помощью самого художника и художественного творчества. Это уже своего рода мета-творчество, мета-наука.

Может быть, реализация этого замысла не совсем удалась Алену Рене, но сама попытка подобного исследования заслуживает самого пристального внимания.

В каком-то смысле этот фильм можно считать и подведением итогов пройденного творческого пути, и попыткой наметить новые узлы, новые аспекты проблем художественного творчества и творчества вообще. Во взгляде на природу художественного творчества Ален Рене проявляет себя художником по-новому сильным, хотя, к сожалению, несколько утратившим последовательность и уверенность в самом себе, которая прослеживается в других его фильмах.

Однако эти проблемы составляют, пожалуй, не самое главное в фильме. Они здесь скорее отблеск, отсвет иных, можно сказать, коренных проблем: личности и общества, свободы и закона, преступления и наказания, жестокости и милосердия, активного отношения к действительности и столь же активного бегства от нее, проблемы жизни и смерти, творчества и отказа от жизни, смысла и бессмыслицы, страдания и очищения, временного и вечного, конечного и бесконечного и т. д. и т. п.

В причудливой форме исследования болезненного сознания отжившего век человека рассматриваются самые серьезные коллизии современного буржуазного общества. Можно ли найти ключи к их разрешению, когда и каким образом? Этот вопрос Ален Рене задает своим фильмом каждому зрителю, на которого он возлагает и свои надежды, и в известной мере определенную долю ответственности.

■

Буржуазная мысль, буржуазная культура, буржуазная цивилизация антиисторичны в силу основного противоречия между трудом и капиталом, в силу паразитической структуры своего социально-экономического уклада, в силу эксплуататорской сущности общественных отношений. Этот антиисторизм носит тотальный, всеобщий характер. Им пронизаны все формы общественного сознания, вся жизнь и деятельность капиталистической общественно-экономической формации. Буржуазная идеология как извращенная форма отражения и выражения реальной действительности демонстрирует этот антиисторизм в его наиболее неприглядном свете. Не только демонстрирует, но и насаждает антиисторизм — он нужен буржуазии для упрочения своего господства, для сытой и спокойной жизни за счет других, для удовлетворения своих интересов и потребностей для усыпления и уничтожения всего того, что пробуждает к размышлениям, к сво-

боде, к истине, к разуму, к счастью, к борьбе, ко всему тому, что позволяет каждому найти его место в мире и в обществе, найти постоянно ускользающий смысл жизни.

Если историзм, историческая память или память истории — это осмысленный, обобщенный исторический опыт народа, опыт многих и многих поколений людей, то антиисторизм — это уничтожение памяти, разрушение исторического опыта народа, разрушение всех прогрессивных традиций культуры, уничтожение всего самого ценного, что было создано умом, сердцем и руками этих поколений.

Дилемма «историзм — антиисторизм» носит политический характер, ибо как историзм является преградой на пути манипулирования власть имущих сознанием, деятельностью и жизнью миллионов людей, так и антиисторизм служит могучим подспорьем и катализатором подобного манипулирования.

Творчеству Алена Рене имманентно присущ историзм. Он пронизывает все его произведения, всю их проблематику и все их содержание. Историческая память народов — мощное средство формирования общественного сознания, коллективной воли и объединенных действий против всех форм современного варварства: захватнических войн, порабощения, эксплуатации.

Мысль эпохи или образ эпохи — что может быть более привлекательного, более важного и более необходимого для творца, для художника, для любого думающего и чувствующего человека, если к тому же они неразрывно связаны с судьбами того или иного народа, с судьбами человечества?

Движение и развитие художественных образов у каждого писателя, художника имеет свою неповторимую траекторию, свое сияние, свой блеск и свой аромат — если угодно, именно в этих измерениях или категориях художественная мысль выявляет себя как поиск правды, той правды, которая, в свою очередь, определяет жизнь, творчество и судьбу писателя или художника. Именно правда, или истина, является началом и концом, единичным и универсальным, субъективным и объективным, абстрактным и конкретным, логическим и историческим подлинно художественного произведения.

И потому лучшее заключение — то, которое содержится в контексте самого художественного творчества, в процессе которого художник создает свои произведения и себя.

Современная буржуазная философская и художественная мысль, пожалуй, не претендует на универсальное, подобно тому как она уже давно отказалась от сакраментального. Может быть, именно поэтому в XX веке, переполненном противоречиями, катаклизмами, классовыми столкновениями, борьбой и революциями, столь важное значение получают проблемы, связанные с моралью и нравственностью отдельной личности, в том числе и личности творческой, стремящейся понять окружающий мир, мыслить, действовать и, следовательно, творить и преобразовывать существующее.

Художник, как и мыслитель, реализуется в своем произведении, благодаря которому он многократно, а может быть и бесконечно, продлевает свою жизнь и так же многократно умирает. Для художника смерть становится жизнью, а жизнь — смертью. Возникают определенные противоречивые взаимоотношения между жизненным опытом художника и его произведением, между «Вильгельмом Мейстером» и творческой зрелостью Гёте, между «Критикой чистого разума» Канта и его зрелостью как творца, между «Феноменологией духа» и «Логикой» Гегеля и его творческой судьбой, вобравшей в себя все коллизии, противоречия и страдания своего времени — «эпоха, схваченная в мысли». Не содержатся ли в этих взаимоотношениях серьезные проблемы конкретно-исторической эпохи, «схваченной в мысли» или «схваченной в образе»?

Творчество Алена Рене противостоит различного рода крайностям и метаниям буржуазной мысли; уже на протяжении нескольких десятков лет[1] оно неразрывно связано с историческим содержанием индивидуальной и социальной памяти.

Он не приемлет ни ницшеанских вариантов сверхчеловека, стоящего по ту сторону добра и зла, ни гельдерлиновского «и зачем поэт в столь скудное время...» («und wozu ein Dichter in dürftiger Zeit...»), ни философии абсурда, превращающей философию в этику, а этику в бесконечное раскаяние и признание, ни философии отчаяния и пессимизма. Вряд ли Ален Рене согласится и с profession de foi Камю: «Я не философ. Я недостаточно верю в разум, чтобы верить в систему. То, что меня интересует,— это знать, как нужно себя вести. И более точно: как можно себя вести, когда не веришь ни в бога, ни в разум»[2]. И хотя у Алена Рене много общего и со взглядами Камю, и с различными течениями и направлениями европейской мысли, заслуга его в том, что он отказывается от крайностей, он верит в человека и человечность, он смотрит в будущее — из памяти прошлого, но с надеждой и верой в разум, волю, здравый смысл, в творческую и созидательную силу человека и человечества. Память — исток, корень, традиция гуманизма. Вот почему Ален Рене уделяет ей столь настойчивое внимание в своих фильмах. Забвение — отрицание памяти, но не отрицание совести, а, напротив, ее пробуждение. А пробуждение совести — это пробуждение ответственности перед самим собой, перед другими, перед народом, перед историей. В этом основное содержание творчества Алена Рене, воплощаемые в искусстве экрана вехи его судьбы человека и художника.

---

[1] За пределами нашего рассмотрения оказалась самая последняя работа Алена Рене — фильм «Мой американский дядюшка», с которым автору познакомиться еще не удалось, а также несколько «проходных», более слабых, на наш взгляд, картин, включая «Карьеру Ставиского» — фильм не просто слабый, но реакционный по своему содержанию и направленности.

[2] A. Camus. Essais Pleiade, p. 1427.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ

РОЖДЕНИЕ СЕНСАЦИИ. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ В «БИЛЬД» БЫЛ ГАНСОМ ЭССЕРОМ

Фрагменты книги

Перевод с немецкого Н. ФЕДОРОВОЙ

Двенадцать лет назад «Иностранная литература» впервые познакомила советских читателей с публицистикой Гюнтера Вальрафа. Тогда ему было только 27 лет, и еще впереди были его новые пьесы, книги, репортажи — некоторые из них также нашли отражение на страницах журнала. Вальрафа называют «человеком-легендой». Каждая его работа становится в ФРГ политическим событием. Точное знание политической ситуации, точный выбор «социальной мишени» — характерная особенность почерка этого талантливого кёльнского журналиста и писателя — «разгребателя грязи». И еще одна специфическая черта — исследование «изнутри», с помощью перевоплощения, внедрения инкогнито в бастионы капиталистического «общества благоденствия».

Книга, фрагменты которой публикуются ниже,— итог, можно сказать, «битвы жизни» талантливого писателя-публициста, задумавшего показать, как фабрикуется в Федеративной Республике Германии общественное мнение на страницах влиятельнейшего органа корпорации Акселя Шпрингера. «Аксель Шпрингер,— писал Эккарт Споо, председатель Союза немецких журналистов,— силен так потому, что в его распоряжении находится издательская империя, о размерах которой Гутенберг не мог и мечтать. Шпрингер покупает целые редакции и заставляет их делать то, что содержится в его «высочайших» предписаниях. Через «Бильд», крупнейшую из его многочисленных газет и журналов, к которым за последнее время добавились огромные книжные издательства, телевидение и т. д., он дает десяти миллионам читателей указания, как им следует себя вести, с помощью лжи и ненависти формирует их взгляды».

Проработав несколько месяцев в «Бильд» под именем Ганса Эссера, Вальраф публикует книгу «Рождение сенсации», тиражи которой, прежде чем она была запрещена, составили 350 тысяч экземпляров. Концерн

© 1977 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln.

ГЮНТЕР ВАЛЬРАФ — GÜNTER WALLRAFF (род. в 1942 г.).

Немецкий журналист и писатель (ФРГ); работает в документальном жанре. Первая его книга очерков «Ты нам нужен. О фабриках и заводах Западной Германии» («Wir brauchen dich») вышла в 1966 г. С тех пор он опубликовал три книги, пьесы, большое количество репортажей.

«Иностранная литература» познакомила читателей с его работами, напечатав несколько репортажей (1969, № 1—2), очерки «Во власти Молоха» (1972, № 11), «Гюнтер Вальраф contra Шпрингер и Крупп» (из книги «Новые репортажи, исследования и примеры» (1973, № 5), «Португалия: как был раскрыт заговор» (1976, № 10—11).

Мы публикуем фрагменты книги Г. Вальрафа «Рождение сенсации. Человек, который в «Бильд» был Гансом Эссером». («Der Aufmacher. Der Mann, der bei «Bild» Hans Esser war». Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1977).

Шпрингера начинает травлю писателя: один за другим три судебных процесса. Вальрафа стремятся скомпрометировать, подслушивают его телефонные разговоры, похищают его корреспонденцию, пытаются даже объявить умалишенным. Вальраф не сдается. В 1979 году выходит его новая книга «Свидетели обвинения. Описание «Бильд» продолжается». Фрагменты этой книги мы предполагаем поместить в одном из последующих номеров журнала.

■

Г-н Койнер встречает г-на Вирра, борца против газет.

— Я большой противник газет,— говорит г-н Вирр,— я против всех газет вообще.

— Тогда я еще больший противник газет,— замечает г-н Койнер,— я за другие газеты.

Бертольт Брехт

Предисловие

Мне ненавистны всякое насилие и террор.

Почему я начал с этого? Да потому, что при нынешнем политическом климате внутри страны любая критика с позиций демократии подвергается клеветническим извращениям и чуть ли не приравнивается к терроризму. Например, с тех пор как я дерзнул проникнуть на бильдовскую кухню, сия газета уже трижды именовала меня «подпольным коммунистом», что в ее устах равнозначно «террористу».

В этой книге речь снова пойдет о насилии, только о насилии особом, «духовном», которое обходится без взрывчатки и пулеметов. Оно калечит мысли и чувства людей, топчет человеческое достоинство. Созданием чрезвычайных комитетов и организацией широких розыскных кампаний эту опасность не устранить, никакие облавы не захватят врасплох «бандитов от подсознания», никакие спецотряды не выпустят на волю похищенных надежд и ожиданий, никакой прокурор не отдаст приказа о надзоре за пособниками такого насилия. Уголовный кодекс ФРГ, даже дополненный новыми статьями о терроризме и насилии, не предусматривает подобных преступлений. Состава преступления как будто бы нет, а уж о преступниках и вовсе говорить не приходится. Да и есть ли они вообще? Чем ближе я их узнавал, тем больше мучился сомнениями. Эти люди, приносящие в жертву своих собратьев,— не суть ли они и сами жертвы? Жертвы гигантской машины, которая автоматически порождает духовное насилие?

Я не собираюсь поименно называть тех, кто сам, будучи жертвой бильдовской системы, продолжает работать на концерн, не стану подробно описывать каждого и навешивать ярлыки, от которых им не освободиться по гроб жизни. Вот почему коллеги из ганноверской редакции БИЛЬД, а также еще ряд лиц носят в книге вымышленные имена. Однако изложенные здесь факты полностью соответствуют действительности. Реплики и диалоги частично записаны мною по ходу бесед, частично восстановлены по памяти. В тексте я привожу их зачастую как прямые цитаты, хотя, стремясь обобщить, цитирую не всегда слово в слово. Эта книга — первая часть материалов о газете БИЛЬД, и рассказывает она прежде всего о тех, кто делает газету. Жертвы БИЛЬД до поры до времени остаются на втором плане.

О политических фальшивках, заведомой подтасовке и искажении фактов пойдет речь в другой книге, над которой я вместе с несколькими коллегами из местных отделений БИЛЬД работаю в настоящее время.

Г. В.

ВАШ СПРОС — НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Эту идею мне нечаянно подал Ганс Хабе, постоянный шпрингеровский обозреватель. Второго января 1977 года в воскресном выпуске БИЛЬД появился огромный — на целую полосу — список бестселлеров: «Ганс Хабе полупровидчески-полуиронически предсказывает будущие литературные сенсации... После детального изучения и с учетом доверительной информации я (Хабе) по заданию воскресной БИЛЬД опросил тех, кто делает бестселлеры...»

В разделе беллетристики на седьмом месте стоит:

ВАЛЬРАФ. ПРОФСОЮЗЫ.

Блестящий роман на документальном материале — плод девяти месяцев, в течение которых автор инкогнито работал в профсоюзном центре для того, чтобы вывести профсоюзных боссов на чистую воду. Гамбург, издательство «Револьт».

Многие читатели не распознали насмешки, не обратили внимания, что издательство вымышленное, и стали заказывать книгу в магазинах. Они отнеслись к Хабе совершенно серьезно.

Я тоже. Я только спросил себя, почему он выбрал профсоюзы, а не кое-что, гораздо более близкое и более могущественное: шпрингеровский концерн и его крупнейшую газету — БИЛЬД. Правда, в последние годы о нем писали не раз, однако о внутренней жизни газетной империи, которая соруководит, а зачастую и командует политикой и обществом Федеративной Республики, широкий читатель до сих пор почти ничего не знает.

Известно — и об этом неоднократно писали,— чего хочет и что делает Шпрингер. Но он ведь не одиночка, у него целая армия помощников, формирующих действительность согласно его представлениям. Что за люди делают БИЛЬД? Добровольные пособники, рабы, инфантильные недоумки, циники? Кто обслуживает машину?

Это не я. Из зеркала на меня глядит чужое лицо. Ненавистная физиономия карьериста, этакий юный самоуверенный деляга.

Костюм с иголочки, тщательная стрижка, загар преуспевающего бизнесмена (результат облучения «горным солнцем»). Слащавая морда, но человек, что скалится в зеркале выпрямленными с помощью коронок зубами, подтягивает удавку-галстук, самоутверждается посредством массивного золотого перстня (взятого напрокат) и щедро поливает дорогой пятисотмарковый костюм мужскими духами «Аква брава», чтобы никто не унюхал запах пота (а потом он обливается от страха),— этот человек с радостью вышел бы из роли еще прежде, чем начал ее играть.

Мне страшно, так страшно, как было только один раз — в Афинах, у «черных полковников». И теперь я тоже рискую головой. Разве что следы увечий будут не так заметны. Там я был невинной жертвой, здесь — должен стать соучастником преступления.

Описание роли

Теперь я Ганс Эссер. Возраст — 30 лет. Изучал психологию и экономику, самооценка — трезвая, что почем — знаю, до сих пор работал в рекламе, в БИЛЬД вижу ступеньку на пути к новой карьере.

Рекомендатель мой Альф Бройль (28 лет), в прошлом сотрудник социал-демократической газеты «Нойе ганноверше прессе» («НГП»). СДПГ сочла издание газеты нерентабельным и прикрыла «НГП», Альф остался без работы, по уши в долгах (жена его еще училась, специализировалась по социальным проблемам). БИЛЬД укрупняла дело, прибирала к рукам ничейные рынки, расширяла штаты, круг читателей. Альф дал себе слово, что будет сотрудничать здесь только до тех пор, пока не выплатит долги и пока жена не закончит учебу. Слово свое он сдержал. Два года он занимается грязной работой и на этом ставит точку, хотя БИЛЬД уговаривала его остаться и даже предлагала, притом не один раз, выгодный контракт: все-таки талант, писатель, «первое перо» редакции. Альф был непреклонен: «Плати они хоть десять тысяч марок в месяц — нет! Я и так потерял к себе всякое уважение». Сейчас он снова без работы. Не всё и не все продаются!

Замысел Альфа — протолкнуть меня в БИЛЬД: «Пусть как можно больше читателей БИЛЬД узнают правду о том, как делают их газету. Ведь и я подтасовывал одни факты, изобретал другие, замалчивал третьи. Обрисовать все это правдиво может лишь тот, кто внутренне не зависит от этой кухни»,— говорит Альф.

Ганновер. Бемеродерштрассе. Типография и здание редакции обнесены высоченным забором — ни дать ни взять военный объект. Таблички: «Вход воспрещен Родители несут ответственность за своих детей». Охранник с овчаркой. Проходная, три вахтера. Перегородки. На двери автоматические замки. Боятся, что ли, возможных студенческих демонстраций, осады территории? Обыкновенные машины без каких-либо надписей с рассветом выезжают из типографии. (Они напоминают мусоровозы, на которых промышленные концерны втихомолку вывозят в глухие места отходы — вредные и отравляющие вещества.)

Вахтер выписывает нам пропуск, отмечает время прихода. Копии оставляет себе для отчета. Почти бесшумно поднимается лифт. Шестой этаж — редакция БИЛЬД, мы у цели. Пульс мой учащается, горло перехватывает.

В течение всей последующей беседы не могу избавиться от ощущения, будто наблюдаю себя со стороны: зажатого, дрожащего от страха, что меня опознают. В самом деле, играю я плохо: голос звучит фальшиво, тон какой-то ненатуральный — нет, добром затея не кончится! Однако на шефа редакции, видимо, как раз это и производит впечатление; он, похоже, еще худший актер, чем я. Все это выспренние банальности, расхожие словеса — здесь так принято.

— Моя фамилия Швиндман. Прошу садиться.

Из редакционного зала, где у него тоже есть стол, точнее наблюдательный пункт, Швиндман ведет нас к себе в кабинет. Все здесь безлико, стандартно, как гарнитур с витрины. На безвкусном письменном столе бутылка «Реми Мартена». Рядом — цветной телевизор.

Сначала Швиндман атакует Альфа:

— Ну, как? Не надумали вернуться в *дело*? Наше предложение пока еще в силе.

Альф (решительно):

— Нет, благодарю вас, господин Швиндман, сперва я хотел бы завершить образование.

Он лжет, чтобы не раздразнить Швиндмана. После двух лет работы в БИЛЬД Альф не в состоянии возобновить занятия. «Понадобится год-другой, чтобы мало-мальски прийти в себя»,— говорил он мне.

Альф переводит разговор на меня:

— Зато хочу порекомендовать вам своего однокашника Ганса Эссера. Думаю, он сумеет меня заменить.

Швиндман. Что ж, в таком случае выкладывайте, кто вы, что вы...

Ганс Эссер. Я узнал от господина Бройля, что как будто бы не исключена возможность попытать силы у вас в газете. Видите ли, мне хочется сменить профиль работы. До сих пор я сотрудничал в рекламе.

Швиндман. И почему же вас потянуло именно в журналистику?

Ганс Эссер. Мне кажется, что специфика моего дарования и склонностей — я занимался главным образом составлением коротких, броских рекламных текстов — позволит мне без особого труда переключиться на журналистику. Ведь, по-моему, в БИЛЬД действуют те же принципы, что и в рекламе: лапидарность стиля, выделение главного за счет деталей, умение создать яркий образ самыми скупыми средствами. Чтобы новые товары нашли потребителя, мы организуем детально продуманные кампании. По такой примерно схеме: а) посеять смятение, б) выявить проблему, в) предложить ее решение. Кстати, в БИЛЬД меня всегда многое восхищало.

Швиндман, кажется, клюет:

— Любопытный подход. Ну а непосредственно журналистикой вам приходилось заниматься?

Ганс Эссер. От случая к случаю. Правда, большей частью я, так сказать, готовил полуфабрикат, телепередачи делали другие, они и считались авторами. Так что в этом смысле меня в журналистике не существует.

Швиндман. Воображаю, как вам было досадно. Что ж, мы гарантируем вам наилучшие условия, если вы по-настоящему серьезно *войдете в дело* и посвятите ему всего себя.

Ганс Эссер. Для меня очень важно не сидеть безвылазно в конторе. Торчать за столом — это не по мне. Я хочу быть в гуще событий, писать репортажи с места происшествия, постоянно соприкасаться с живой действительностью. Если надо, я и в дерьме покопаюсь, не беспокойтесь. По-моему, таким путем можно собрать самый интересный материал. Я вообще люблю писать о том, что знаю, и о людях, которых видел собственными глазами.

Швиндман. Если человек способен изложить на бумаге материал, добытый таким вот образом, это уже ценно. Ну а поскольку мы из своей *кухни* секрета не делаем, всему можно научиться.

Ганс Эссер. Разумеется. Пусть даже на первых порах будет туго с финансами. Я, кстати, и не рассчитываю, что сумею перестроиться сразу, одним махом.

Швиндман. Ничего, через месяц-другой освоитесь. Наш стиль работы войдет вам в плоть и кровь, вы просто не сможете иначе. Возьмите хоть Альфа Бройля — что далеко ходить за примером? Первое время он нет-нет да и ерепенился. А потом, если не ошибаюсь, месяца через четыре все стало о'кей: Альф смекнул, что к чему, и начал выдавать материал один лучше другого. Экстра-класс!

(Альф не сумел отреагировать на «комплимент» сияющей улыбкой.)

Швиндман (мне, ободряюще). Ну что ж, отлично, а теперь хотелось бы уточнить кое-какие подробности. Вы женаты? (Он записывает: двое детей. Имя: Ганс Эссер. Возраст: скоро тридцать.) Благословенный возраст... Чудесно... (Записывает ганноверский адрес — это комната, которую я снял,— и телефон).

Швиндман. Альф Бройль угадал: мы в самом деле ищем человека, который умеет писать. Мало того, он должен уметь раскапывать факты. В этом смысле у нас вы сможете войти в дело по-настоящему, с размахом. И чем быстрее разберетесь, что и как, тем лучше.

Ганс Эссер. Превосходно. Когда можно приступить?

Швиндман. Пожалуй, имеет смысл найти такую тему, чтобы вы смогли приступить сразу же. Ну да за этим дело не станет. Придумаем. А то, что вы тут рассказали, звучит многообещающе.

Ганс Эссер. Есть ли надежда со временем попасть в штат?

Швиндман. Безусловно.

Ганс Эссер. Но разве штатное расписание не заполнено?

Швиндман. Конъюнктура меняется. Во-первых, то и дело кто-нибудь уходит, появляется вакансия, а во-вторых, не забывайте — мы постоянно расширяемся.

Ганс Эссер. И каковы же шансы? Пятьдесят на пятьдесят?

Швиндман. С вашего разрешения, я бы не стал уточнять. Иной раз все происходит очень быстро. Вот господина Бройля мы давно хотим *купить*, да он ни в какую. А ведь как долго мы держим дверь открытой. Может быть, и с вами получится примерно так же.

Ганс Эссер. Сию минуту никто и не ждет. Кое-какие сбережения у меня есть, а карьеру я действительно решил сделать тут.

Швиндман. Возьметесь за дело как следует — на мели сидеть не будете. Господин Бройль у нас тоже недурно зарабатывал. Иной раз и штатные сотрудники меньше получают. Кстати, попотеть вам, правда, придется: мы работаем шесть дней в неделю, а если нужно — то и семь. Выходные бывают только у штатных служащих. Так что

имейте в виду. Впрочем, у нас добрая половина редакции — внештатники... Ну, так какие темы вам по душе?

Ганс Эссер. Вообще-то я считаю, что все вокруг — это тема. Иными словами, материал можно найти где угодно. Главное — какой именно! Вытащить его на свет божий — вот в чем штука, этому-то я и надеюсь здесь научиться. Почему мне и не хотелось бы заранее ограничивать себя в выборе тем.

Швиндман. И все-таки что вас больше привлекает?

Ганс Эссер. Человеческие взаимоотношения. В том числе мелкие, на первый взгляд незначительные детали, которые, выражаясь фигурально, под ногами валяются, но ведь зачастую они-то и решают все, смотря как их преподнесешь. А БИЛЬД живет как раз такими вот якобы пустячками, раскрывает их истинную значимость. Думаю, мне следует поглубже вникнуть в детали, больше встречаться с людьми, о которых я намереваюсь писать.

(Во время этих рассуждений Швиндман благосклонно и одобрительно кивает.)

Ганс Эссер. Я изучал психологию и неплохо разбираюсь в людях.

Швиндман. Расскажите-ка еще о себе. Значит, в свое время вы получили аттестат зрелости?

Ганс Эссер. Совершенно верно. Потом я пошел добровольцем в бундесвер и занимался там психологическими методами ведения войны.

Швиндман. Психологические методы ведения войны — вот это да! Блеск!

Ганс Эссер. Это и помогло мне затем выбрать специальность в университете: я изучал психологию и отчасти экономику. Потом некоторое время работал в отцовской фирме. После смерти отца дело перешло к брату, и он выплатил мне мою долю наследства. Потом я устроился в рекламное агентство и одновременно начал писать диалоги для телевидения. Но положение там устраивало меня с каждым днем все меньше: мои идеи увлекали зрителя, имели успех, а как автор я вроде бы и не существовал. Но ведь, по правде сказать, я тоже не лишен честолюбия.

Швиндман. Ай-ай-ай. Странно, что телевидение так зажимает таланты. У нас совсем иначе. Кто делал материал, тот под ним и подписывается. Ганс Эссер — звучит недурно. Коротко и броско. Если статьи будут такие же, мы сработаемся... Кстати, почему вы пришли не куда-нибудь, а в БИЛЬД? Потому что знакомы с Альфом Бройлем?

Ганс Эссер. Не только. По-моему, БИЛЬД — первоклассная газета, думаю, здесь мне проще всего будет перейти от рекламы к журналистике, здесь стараются писать как можно короче и проще, почти в каждой фразе можно уловить, по сути, рекламную идею. В рекламе ведь тоже словами зря не бросаются, места мало, стоит оно дорого, надо минимумом средств добиться максимального эффекта, то есть склонить потребителя к покупке.

Швиндман. Браво, господин Эссер! Вижу, вы человек смекалистый. Если у вас вдобавок бойкое, легкое перо, которое в случае чего *бьет без промаха*, то все остальное приложится в ходе работы. Думаю, надо браться за дело.

Ганс Эссер (робко). По крайней мере попробовать.

Швиндман. Надеюсь скоро подыскать для вас какую-нибудь темку. Тогда сразу и начнете. Ну, а пока все.

Итак, я должен ознакомиться с секретами «кухни», чтобы «бить без промаха». И если я «войду в дело», обстряпаю и продам материальчик, есть шанс, что меня впоследствии «купят». Жаргон прямо гангстерский: «Давай-ка обстряпаем одно дельце! Входи в долю. А выгорит, мы и тебя купим в награду вместе с добычей». И вообще, странный разговор, очень странный. Ни документов, ни рекомендаций не спрашивают. Хотя, наверно, тут есть своя, высшая логика.

Примерно половина редакции — внештатники, так сказать, свободные художники. Свободные, как пташки. Приходят раньше всех, уходят последними. Юридического контракта не имеют. Как не имеют права на отпуск, на социальное обеспечение, в любую минуту их могут вышвырнуть на улицу, и жаловаться некому. Они целиком и полностью во власти шефа редакции и зависят от его благосклонности. Среди них господствует жесточайшая конкуренция.

Швиндман провожает меня к временному рабочему месту в редакционном зале:

— Пока устраивайтесь за столом Элеоноры, рядышком с Эдельтраут, напротив Хая.

Швиндман обращается к сотрудникам на ты, зовет их по именам. Они же никогда не рискуют ответить тем же и почтительно именуют его «господин Швиндман». Бросается в глаза множество наклеек ХДС, они красуются повсюду — на столах, на стенах, на колоннах. Зато ни плакатов, ни наклеек СДПГ не видно совершенно, хотя, по словам Альфа, здесь работают отнюдь не только приверженцы и избиратели ХДС.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕЗ БОМБУ»

В БИЛЬД не как в других газетах, здесь нет отделов, нет сотрудников, дотошно вникающих в сложные специальные проблемы. Здесь все пишут обо всем, и разбираться в вопросах, о которых идет речь, незачем, надо только «видеть материал», то есть любой ценой найти и «обыграть» хоть какую-нибудь «изюминку», хоть какой-нибудь курьез. Главное — не сам повод, не само событие, а то, что состряпает из них расторопный репортер. Если же из убийства, самоубийства или несчастного случая не выж-

мешь кошмарных подробностей, шеф редакции заявляет: «Где материал? Я не вижу материала!»

Одиннадцатого марта материал есть: в городе обнаружена пятисоткилограммовая бомба, оставшаяся со времен войны. Я выезжаю на место. Саперы уже переправили бомбу для обезвреживания на армейский полигон, оцепленный военной полицией. Перед кордоном множество репортеров, но в зону никого не пускают. А мне велено взять интервью у водителя, который вез бомбу. Делать нечего — подхожу к полицейским и говорю, что я из БИЛЬД, что все, дескать, знают, в каком духе мы осветим этот факт, и, между прочим, мы в прекрасных отношениях со здешним начальством, так что лучше нас пропустить, а то неприятностей не оберешься. Полицейские засуетились (видимо, позвонили коменданту гарнизона), и вот я уже в зоне оцепления, причем даже документы не предъявлял, только пригрозил всемогуществом БИЛЬД. Полицейские ведут меня к бомбе.

Наконец интервью готово. Двенадцатого марта оно появляется в газете под заголовком: «Человек, который вез бомбу: «За риск нам не доплачивают». В первоначальном тексте я упомянул и о том, что, эвакуируя население из угрожаемого района, полиция проморгала тугоухую старушку, хотя бомба лежала не где-нибудь, а возле самого ее дома. Мало того, во время эвакуации женщина стояла у окна — и никто ее не заметил. Однако выясняется, что это печатать нельзя.

Казалось бы, история вполне в бильдовском духе — мороз по коже дерет. Но, как мне популярно объяснили, совершенно недопустимо показывать полицию в столь невыгодном свете. А само интервью? Я ведь расспрашивал водителя не только о том, каково ему было везти бомбу, но и о том, что побудило его заняться этим опасным делом. Прежде и он и его сменщик были рабочими, один трудился на «Фольксвагене», другой был монтером по отопительным системам. Неполная занятость вынудила обоих искать дополнительный заработок — так они и попали в команду смертников (ведь бомбы рано или поздно взрываются!). Конечно, я написал об этом. И снова — вычеркнуто. «Никого не интересует, чем эти подонки занимались раньше»,— бросает один из редакторов.

Но главное не в этом. Главное, я впервые нутром прочувствовал могущество БИЛЬД. Без документов, на глазах у коллег-журналистов я проник в запретную зону, и полиция без звука проводила меня к бомбе — только потому, что ни у кого не хватило духу связываться с БИЛЬД.

«ОПЛОШНОСТИ И ПЬЯНСТВО»

Зачем читателю БИЛЬД чего-то опасаться? У опасений есть причины, их можно описать, осмыслить, можно оградить себя, защититься. Опасения прямо-таки требуют энергичных действий — в семье, на работе, в обществе, в политике. Вот почему читатель БИЛЬД должен не опасаться, а изнывать от страха; он обязан всегда и везде дрожать от неподвластного рассудку, неодолимого ужаса — ведь на каждом шагу его подстерегают опасности, и невозможно предугадать, откуда «судьба» нанесет свой удар.

«Многие читатели БИЛЬД хотят видеть мир упорядоченным, ясным и понятным — то есть именно таким, каков он на страницах БИЛЬД,— и вместе с тем боятся этого мира, обыкновенно не постижимого без посторонней помощи. БИЛЬД борется с читательскими страхами по-разному... Благодаря своей авторитетности газета приходит на выручку читателю и берет на себя упорядочение, отбор и оценку событий, из которых складывается современный мир.

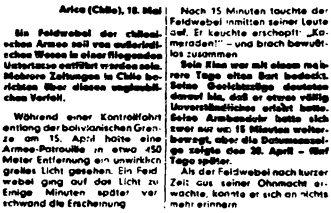
Знакомя читателя с уже упорядоченной, комментированной подборкой сообщений о событиях в мире — причем материал подается в сжатой, наглядной, четкой форме,— БИЛЬД внушает ему успокоительную уверенность, что с этим миром все-таки можно иметь дело».

(Из внутрифирменного анализа газеты БИЛЬД)

В результате операции, сделанной в одной из ганноверских больниц, шестидесятидвухлетняя пенсионерка становится калекой. Но главный репортер БИЛЬД Триколяйт «подправляет» мой материал: «Что говорить, судьба неблагосклонна к Маргарете Никкель...» Или, например, некто теряет работу, пьет и в итоге кончает жизнь самоубийством. В БИЛЬД эта история звучит так: «Скверную шутку сыграла судьба с пятидесятилетним электриком из Ганновера...» Не повезло — и все тут! Винить некого!

Но БИЛЬД не только культивирует в людях «мелкие, неотвязные страхи», она без устали пророчит стихийные бедствия и катаклизмы, против которых человечество бессильно: то это гигантские метеориты, грозящие уничтожить Землю, то пришельцы из космоса, то еще что-нибудь в таком же духе. Постоянный читатель БИЛЬД волей-неволей верит, что НЛО давным-давно обосновались у нас на планете. А раз уж нас навещают столь могущественные существа, то все будничные заботы и выеденного яйца не стоят. По воле БИЛЬД, НЛО приземляются лунными ночами на берегах Боденского озера или — разнообразия ради — в фашистском Чили, как в следующей заметке.

Feldwebel von Wesen aus dem All entführt?



Arica (Chile), 18. Mai

Ein Feldwebel der chilenischen Armee soll von außerirdischen Wesen in einer fliegenden Untertasse entführt worden sein. Mehrere Offiziere in Chile berichten über diesen ungeheuerlichen Vorfall.

Während einer Kontrollfahrt entlang der bolivianischen Grenze am 15. April hatte eine Armee-Patrouille in etwa 450 Meter Entfernung ein unwirklich grelles Licht gesehen. Ein Feldwebel ging auf das Licht zu. Einige Minuten später verschwand die Erscheinung.

Noch 15 Minuten tauchte der Feldwebel inmitten seiner Leute auf. Er keuchte erschöpft: „Kameraden!" – und brach bewußtlos zusammen.

Sein Haar war mit einem mehrere Tage alten Bart bedeckt. Seine Gesichtszüge deuteten darauf hin, daß er etwas völlig Unvorstellbares erlebt hatte. Seine Armbanduhr hatte sich zwar nur um 15 Minuten weiterbewegt, aber die Datumsanzeige zeigte den 20. April – fünf Tage später.

Als der Feldwebel nach kurzer Zeit aus seiner Ohnmacht erwachte, konnte er sich an nichts mehr erinnern.

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ ПОХИЩЕН ПРИШЕЛЬЦАМИ ИЗ КОСМОСА?

Арика (Чили), 18 мая

Фельдфебель чилийских вооруженных сил, по-видимому, был похищен космическими пришельцами с летающего блюдца. Об этом невероятном происшествии сообщает ряд чилийских газет.

15 апреля во время проверки постов на чилийско-боливийской границе армейский патруль заметил метрах в четырехстах поразительно яркий свет.

Один из фельдфебелей пошел взглянуть, в чем дело.

Спустя несколько минут явление прекратилось.

Через четверть часа фельдфебель вернулся к своим. С трудом переводя дыхание, он произнес: «Друзья...» — и упал без памяти.

Подбородок его был покрыт многодневной щетиной, а выражение лица говорило о том, что ему довелось пережить нечто совершенно необъяснимое. Часы фельдфебеля шли правильно, только показывали совсем другую дату — 20 апреля, то есть пять дней спустя.

Вскоре фельдфебель очнулся, однако не смог ничего вспомнить.

Пусть теперь читатель БИЛЬД раскинет мозгами, куда подевались тысячи политзаключенных. Похищены пришельцами! Ведь о чилийских концлагерях в БИЛЬД не прочтешь ни строчки.

Некто вскрывает в день своего рождения бочонок пива, и тот неожиданно взрывается — вот вам «превосходнейший бильдовский материал». Или такое: молнией убит ребенок — опять-таки «превосходнейший материал» для первой полосы.

Я должен раздобыть фотографию мальчика и потому еду в Целле, к окаменевшим от ужаса и горя родителям. Братишки и сестренки громко плачут, я незваным гостем стою в передней и бормочу что-то про карточку, а отец растерянно смотрит на меня. Я мямлю слова соболезнования, но думаю только об одном: скорее бы получить фотографию и бежать отсюда. В тот день я не дал еще ни строчки материала и просто не могу уйти с пустыми руками. Сперва Швиндман хотел было послать сюда Хериберта Клампфа, отлично зная, что Клампф всеми правдами и неправдами добудет из семейного альбома нужный портрет — пусть даже человек умер или убит только что. Но потом вдруг передумал: «Пошлем-ка мы Эссера... Достанешь фотографию, да поживее: в макете номера оставлено место».

Хериберт Клампф ловко обвел целльскую полицию вокруг пальца и выведал фамилию родителей. Теперь дело за фотографией.

Сейчас мне и самому непонятно, как я мог на это пойти, но угроза срыва нависла тогда над всем моим предприятием. К тому же у родителей мальчика, как назло, был телефон, и Швиндман в любую минуту мог проверить, заходил я туда или нет.

Отец погибшего ребенка, по профессии забойщик скота, сказал мне:

— Еще и наживаетесь на нашем горе. Марок пятьсот, поди, заработаете.

И у меня хватило бестактности брякнуть:

— Да нет, всего-то марок сорок пять, я не из-за денег, деньги я с радостью перешлю вам, хоть завтра. Ну сами посудите, что тут особенного? Тоже ведь память о вашем мальчике.

Сцена до того унизительная, что дальше ехать некуда. Оглядываясь назад, я не в силах понять, как я мог совершать поступки, идущие вразрез с моими чувствами.

Молнии, НЛО, взрывы пивных бочек... Зато реальные опасности, которые изо дня в день угрожают миллионам людей на забитых машинами улицах, в заводских цехах, где ежегодно погибают десятки тысяч человек,— реальные опасности не представляют для БИЛЬД никакого интереса. Вообразите же мое удивление, когда Швиндман подбросил мне новую тему — «Производственный травматизм на заводах «Конти». С каких это пор подобные вопросы стали интересовать БИЛЬД? Быстро выясняется, что Швиндман вычитал в заводской многотиражке фирмы «Континенталь-гуммиверке», будто увеличение производственного травматизма вызвано халатностью и пьянством среди рабочих. Это, разумеется, самая настоящая бильдовская тема.

Однако теперь это и моя тема. Что ж, поглядим, как далеко будет позволено зайти Гюнтеру Вальрафу под маской Ганса Эссера. Выезжаю на завод, беседую с пострадав-

шими, с иностранными рабочими и уполномоченными профсоюза, интервьюирую инженера по технике безопасности. Потом докладываю Швиндману о результатах и прошу дать мне побольше места — сотню строк.

— Сперва напишите, а там видно будет! — решает он.

Начинаю я так: «Рост травматизма на заводах «Континенталь»... Фирменная многотиражка «Континенталь интерн» объясняет это халатностью и пьянством персонала. Но сами рабочие и представители профсоюза называют иные причины, в том числе плохие условия труда, погоню за выработкой, старое, ненадежное оборудование».

Швиндман заворачивает материал:

— Так не пойдет. Слишком растянуто, слишком перегружено косвенными данными. Возьмите для начала конкретный случай. Переделайте и, кстати, не забудьте: ровно сорок строк.

Сорок бильдовских строк — это двадцать машинописных. Значит, самую важную цитату уже не втиснешь. «Этот цех, где работают почти сплошь турки, греки, югославы и арабы, настоящая камера пыток,— сетует тридцатипятилетний профуполномоченный Герберт.— То кому-нибудь палец отхватит, то руку сожжет. А все из-за сдельщины. Чтобы получить сполна аккордную заработную плату — а это одиннадцать марок семьдесят пфеннигов в день,— больше половины рабочих вкалывают без перерыва по 8,5 часа. Каждый десятый там уже имеет производственные травмы. Оборудование старое, иной раз пресс опускается сам по себе».

Готовлю желаемый короткий текст. К моменту сдачи, кроме нас со Швиндманом, в редакции никого нет. Шеф читает материал и стонет:

— Барахло!

А время не ждет, надо срочно отсылать материал в набор: он должен непременно пойти в ближайшем номере. Швиндман из кожи вон лезет, вычеркивает, ловко тасует факты, но вывернуть их наизнанку уже не может. Хотя и заставляет меня приписать новую концовку: «На других крупных предприятиях Ганновера количество несчастных случаев не возросло, а на «Фольксвагене» даже снизилось на 7%». Наутро заметка стоит в газете — нельзя сказать, что материал мой, и все-таки это не совсем похоже на обычный бильдовский опус. Только я появляюсь в редакции — звонок с «Континенталя». Уполномоченный по связи с прессой. И, прямо как начальник, обрушивается на меня:

— Ну знаете ли, не ожидали мы от БИЛЬД такого, не ожидали! Вы что, к левым перекинулись? Взять хотя бы терминологию: погоня за выработкой, нажива...

Fehler und Alkohol: Immer mehr Unfälle am Arbeitsplatz

Von HANS ESSER

Hannover, 6. April

Musan Dugan (41) arbeitete von 6 Uhr früh bis 11.30 Uhr bei Conti an der Sohlenpresse. Im Akkord und ohne Pause. Da passierte es: Eine Schuhsohle klemmte, er griff in die Maschine, sein rechter Arm hing fest und wurde weggebrannt. In der kommenden Woche fängt Musan – aus dem Krankenhaus entlassen – wieder bei Conti an: als Aufzugführer.

Ein Beispiel von vielen. Bei Conti häufen sich die Unfälle. „Alarmierend", schreibt die hauseigene Werkszeitung „Conti-Intern" und macht „menschliches Versagen und Alkohol" für die 10prozentige Steigerung (1931 Unfälle im letzten Jahr) verantwortlich. In der „Akkordhetze" und in „zum Teil überalterten" nicht mehr sicheren Maschinen" sehen Conti-Arbeiter und gewerkschaftliche Vertrauensleute die Ursache für die ansteigende Unfallbilanz.

„In der Sohlenpresse z. B. arbeiten fast nur Ausländer. Über die Hälfte von ihnen arbeitet achteinhalb Stunden durch – ohne Pause", klagt der gewerkschaftliche Vertrauensmann Herbert (35). „Jeder zehnte von ihnen hat schon mal einen Unfall gehabt."

Gerhard Oppenborn, Leiter der Arbeitssicherheitszentrale bei Conti, erklärt: „Wir haben diese Abteilung jetzt stillgelegt. Wegen schlechter Auftragslage. Allerdings produzieren wir demnächst weiter."

In den anderen Großbetrieben Hannovers sind die Unfallzahlen nicht gestiegen, bei VW sogar um sieben Prozent zurückgegangen.

ОПЛОШНОСТИ И ПЬЯНСТВО:
ВСЕ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТРАВМ

Ганновер, 6 апреля

Мусан Дуган (41 год) с 6 до 11.30 утра сдельно и без перерыва обслуживал подметочный штамп на заводе «Континенталь». И вот результат: заготовку заклинило, он по-

лез в станок, руку зажало и обожгло. На следующей неделе Мусан выпишется из больницы и опять вернется на завод, оператором подъемника.

Один случай из многих. На «Континентале» несчастных случаев хоть отбавляй. «Это внушает серьезную тревогу»,— пишет фирменная многотиражка «Континенталь интерн» и винит в десятипроцентном увеличении травматизма (1931 случай за последний год) «халатность персонала и пьянство». Но сами рабочие и представители профсоюза называют иные причины: это «погоня за выработкой» и «отчасти устаревшее, неадежное оборудование».

«К примеру, подметочный штамп обслуживают сплошь иностранцы. Причем больше половины из них вкалывают по 8,5 часа без перерыва, — сетует тридцатипятилетний профуполномоченный Герберт.— Каждый десятый там уже имеет производственные травмы».

Герхард Оппенборн, руководитель центра безопасности труда фирмы «Континенталь», говорит: «В настоящее время этот цех остановлен. Из-за плохой конъюнктуры. Тем не менее производство мы не свертываем».

На других крупных предприятиях Ганновера количество несчастных случаев не возросло, а на «Фольксвагене» даже снизилось на 7%.

Ганс Эссер

— Минуточку,— перебиваю я,— что вы себе позволяете? Я этого не писал (Швиндман вычеркнул.— *Г. В.*), это ваши слова.

По всей видимости, он сам — и не без основания — поставил знак равенства между «погоней за выработкой» и «наживой».

— Между прочим,— продолжаю я,— это новая тенденция, и я лично тут ни при чем.

Он. Дайте мне вашего шефа. Я, слава богу, на вашей кухне не новичок, не зря же трубил в экономической редакции газеты «Ди вельт».

Я. Покуда я опубликовал лишь малую долю того, что узнал. Хочу посмотреть, не выйдет ли тут солидной, фундаментальной статьи.

Он прощается, но вскоре звонит еще раз: правление фирмы, дескать, решает, какие принять меры, и мне не мешало бы туда зайти и потолковать с боссами. Можно ведь сообща замять историю. Вношу контрпредложение: приеду, но с фотографом и встречусь с боссами в том цехе, где уровень травматизма особенно высок, и обязательно в присутствии пострадавших и кое-кого из моих информантов. Как, мол, ни странно, но люди, уволившиеся с предприятия, судят гораздо объективнее.

— Спасибо за предложение, коллега, оно весьма кстати,— благодарю я.— Впрочем, вам ли не знать, как у нас худо с темами. Звоните, не забывайте. Тут, понимаете, и вправду какая-то новая тенденция, сам теряюсь в догадках, с чего бы это. Вы-то знаете, направление в редакции задают отнюдь не рядовые сотрудники, но что-то, кажется, назревает.

Все это я выкладываю этаким простодушно-нахальным тоном. Больше я об этом типе не слыхал. Говорят, через несколько дней состоялись какие-то переговоры на «высшем уровне», но подробностей мне выяснить не удалось.

Не в пример континенталевскому уполномоченному по связям с прессой, производственный совет выдвигает куда более обоснованные претензии.

Из письма члена производственного совета:

«По поводу заметки «Оплошности и пьянство: все больше производственных травм», напечатанной в выпуске от 6 апреля.

От имени более двухсот рабочих и работниц цеха, о котором особо шла речь на страницах БИЛЬД, я уполномочен заявить следующее.

Если завод «Континенталь» в самом деле превратился в пивнушку, то чем вы тогда объясните, что фирма — то есть опять-таки персонал — после сокращения численности занятых примерно на одну треть выпускает продукции примерно на одну треть больше? В конечном счете «Континенталь» опять справился с дефицитом баланса именно за счет производительности труда рабочих, *а уж никак не потому, что персонал в рабочее время пьет чересчур много спиртного...*

Высокие нормы аккордной выработки — вот одна из главнейших причин *травматизма. А упомянутые Вами и руководителем центра безопасности труда «халатность и пьянство» стоят в списке причин травматизма на «Континенталь-гуммиверке» последними.*

Прежде чем писать статью, Вам следовало бы получить информацию не только от одной стороны, не мешало бы потолковать и с производственным советом, и с профсоюзным руководством.

Впрочем, нам, рабочим, не привыкать к клеветническим выпадам Вашей газеты — она необычайно благоволит к работодателям, *только вот читают ее, к* сожалению, слишком уж многие *из рабочих...»*

Фактически заметка в окончательном варианте состояла на две трети из данных, полученных от дирекции завода, и на одну треть — из сообщений пострадавших и профсоюзных активистов. Я, Ганс Эссер (читай: БИЛЬД), воздержался от какого бы то ни было субъективного комментария. Значит, жалобы правления фирмы, по сути, адресованы профсоюзу. Но куда, ничтоже сумняшеся, обращается представитель фирмы? В *свою* газету. Да, для промышленников это *свой* в прямом смысле притяжательное местоимение, указывающее на владельца.

Кстати, с профсоюзами в редакции БИЛЬД дело вообще плохо. Сотрудники в профсоюзах не состоят; профсоюзные газеты не читаются и уж тем более не анализируются.

Да и в самой бильдовской картине мира профсоюзам места нет, они совершенно не нужны. Если у обывателя возникают заботы — «БИЛЬД сражается за вас!». Все остальное идеально обеспечивают предприниматели.

На одной из редакционных планерок я предложил как-нибудь утром, часиков в семь, сходить на биржу труда и сделать репортаж о том, как проходит первая половина дня в этом учреждении. Не успел я договорить, а тему уже отвергли, умертвили, вышвырнули в корзину: «Это не тема!» Без всяких объяснений.

Как раз в это время в Ганновере находился главный репортер БИЛЬД Зиги Триколяйт, этакая «палочка-выручалочка», которая «доводит до кондиции» местные отделения газет и замещает ушедшее в отпуск начальство.

Однажды утром он послал меня в город с заданием подготовить репортаж о молодежи, которая «околачивается» в павильонах с игровыми автоматами. Еду. И вот что выясняется: это безработные ребята, главным образом иностранцы, десятки раз они пробовали найти работу и в конце концов отчаялись. Поговорил я с одним четырнадцатилетним парнишкой — он работает неподалеку в закусочной-пиццерии и получает в месяц всего-навсего 600 марок, хотя вкалывает по 12 часов в день.

Звоню Триколяйту и рассказываю, что узнал.

— Ладно, хватит,— решает он,— возвращайтесь в редакцию. И не подумайте высасывать отсюда социальную проблематику.

«БИЛЬД ДОБИВАЕТСЯ ОТКРЫТИЯ УЧЕНИЧЕСКИХ ВАКАНСИЙ»

Во-первых, мы живем в обществе, лучше которого на свете нет и быть не может. А во-вторых, если что-нибудь все же не клеится, на помощь придет БИЛЬД. Скажем, популярному, но неплатежеспособному футбольному клубу грозит потеря лицензии, или вот наобещали предприниматели обеспечить на производстве 100 000 ученических вакансий, а 100 000 выпускников школ как не могли, так и не могут никуда устроиться — не вешайте нос, БИЛЬД вас не оставит! Во-первых, потому, что надо привлекать к себе простых людей, а во-вторых, помощь — штука доходная.

БИЛЬД принимается за дело и убедительно доказывает: ученических вакансий хватает, нужно только немного поискать (вместе с БИЛЬД, разумеется).

Ганноверская редакция БИЛЬД тоже садится на телефон: мы обзваниваем по справочнику предприятия в городе и окрестностях и выясняем, есть там ученические вакансии или нет. В качестве покровителей кампании удается привлечь обер-бургомистра Шмальштига (СДПГ) и министра экономики Кюпкера (СвДП). Все связаны одной веревочкой и исправно тянут воз — во славу БИЛЬД! Репортерам с телевидения Швиндман объясняет:

— Наша газета абсолютно беспристрастна, она стоит вне партий. Проводимая нами кампания «Ученик на производстве» не связана с политикой, о чем свидетельствует хотя бы то, что она пользуется полной поддержкой и социал-демократов в лице обер-бургомистра, и свободных демократов в лице министра экономики.

Что верно, то верно: БИЛЬД, конечно, может затеять что-нибудь совместно с политиками из СДПГ и СвДП, но уж политике (этих партий) ни под каким видом ходу не даст, ибо бильдовская политика — это политика ХДС.

— Мы, бильдовцы,— продолжает Швиндман,— считаем свою газету полномочным представителем самых широких слоев граждан ФРГ, ведь у нас самые высокие тиражи по стране... Ну и само собой, мы надеемся, что эта кампания принесет нам также кое-какие рекламные заказы.

Ну что за прелесть — это «также»!

В редакции суета и дым коромыслом — мы обзваниваем предприятия, все подряд, даже самые захудалые, самые подозрительные:

— Нет ли у вас для БИЛЬД места ученика? Ведь это же даровая реклама! Ваша фирма попадет в газету!

Как правило, ученики не требуются, вакансии на текущий год, а то и на несколько лет вперед в большинстве случаев уже закрыты.

Владельцы мелких мастерских, подзуживаемые БИЛЬД, чуют выгоду:

— Погодите. Вообще-то у меня было три ученических места, только я уже нашел людей и дал согласие. Но вы все-таки напишите про меня в газете. Тогда я смогу выбрать кого получше.

Одна из редакторш в простоте душевной лепечет в трубку:

— Нам нужны десять тысяч ученических вакансий, ведь осенью в Ганновере и его окрестностях появится десять тысяч выпускников, а твердой работы для них нет.

Газетные шапки захлебываются от похвал:

«Министр Кюпкер: Спасибо! Великолепная акция!»

«Обер-бургомистр Шмальштиг: Я очень благодарен ганноверскому отделению БИЛЬД!»

А в заключение огромными десятисантиметровыми буквами: «СПАСИБО!»

БИЛЬД поет себе дифирамбы — и чужими устами, и своими собственными. А под шумок тут же, рядышком, помещает сенсационную статейку на полполосы: «Сказочная карьера — из учеников в миллионеры. Восемнадцатилетним парнем он уехал за океан, в город Бразилиа (какового тогда еще в помине не было.— *Г. В.*), а в 24 года основал в

Нью-Йорке частный банк». Безработные ганноверские ребята! Спешите брать пример с консула Цигра (73 года). Цигра открывает читателям БИЛЬД секрет успеха. Вот что он советует выпускникам: «Приобретайте практическую специальность! Это — лучшая школа коммерции!» Что ж, господину консулу придется подождать мастеров, если в его «роскошной вилле на южной окраине города» подтекают краны,— готовить их негде. Сам консул (годовой оборот 10 миллионов марок) начал карьеру в банке. А в БИЛЬД двенадцатисантиметровыми буквами ликует продавщица цветов: «Какое счастье! Моя мечта сбылась!» Ей вторит еще одна шестнадцатилетняя девушка: «Ура! Я нашла место ученицы!»

Министр экономики Кюпкер вполне однозначно на страницах БИЛЬД раскрывает цели этой громкой кампании: «Успех акции доказал, что вопрос об ученических местах на производстве можно решить, не прибегая к законодательным мероприятиям...»

Вся бильдовская кампания — это чистой воды очковтирательство. Газета присваивает себе полномочия биржи труда, создает немыслимый ажиотаж, внушает молодежи беспочвенные надежды. Вообще эту широковещательную затею с полным правом можно было бы назвать так: «БИЛЬД создает новые иллюзии».

БИЛЬД посулила, что добьется открытия вакансий, но в большинстве случаев она приписывает себе лавры благодетеля совершенно незаслуженно: вакансии и так были открыты. Например, ганноверская БИЛЬД записала на свой счет 300 ученических вакансий на «Фольксвагене». Двойная ложь — вот что это такое.

Ведь дополнительные вакансии были открыты «Фольксвагеном» еще до начала бильдовской кампании по настоянию производственного совета. Притом распространялись они отнюдь не только на район Ганновера — как лживо утверждала БИЛЬД,— а на всю территорию страны... Гамбургская секция Объединения немецких профсоюзов (ОНП) дала бильдовской акции следующую оценку: «Бизнес на беде и страхах молодежи. Значительная часть ученических вакансий, которые рекламировала газета, была открыта уже в 1976 или весной 1977 года. Кроме того, почти все они были заняты еще до начала бильдовской кампании. Тем, кто по призыву БИЛЬД обращался в фирмы, пришлось услышать: «Весьма сожалеем, но...» Многие якобы ученические места на деле давали возможность не получать специальность, а повысить квалификацию по уже освоенной специальности. Более того, газета рекламировала профессии, по сути таковыми не являющиеся,— например, помощник банщика или цирковой статист. Были случаи, когда объявления об ученических вакансиях помещали в газете предприятия, которые не вправе готовить профессиональные кадры».

БИЛЬД РАБОТАЕТ НА АЛЬБРЕХТА (ХДС), ШМАЛЬШТИГ (СДПГ) РАБОТАЕТ НА БИЛЬД

Герберт Шмальштиг — социал-демократ. Ганноверская БИЛЬД к нему довольнотаки благосклонна, он ведь не просто обер-бургомистр, а «*самый молодой* обер-бургомистр в ФРГ». Крохотные начинаньица, городские торжества — с таким вот сладеньким гарниром подают Шмальштига в БИЛЬД. А он не протестует, безропотно и, пожалуй, даже охотно идет на поводу у газетчиков. В любое время дня и ночи Шмальштиг готов отвечать на любые идиотские вопросы; если же он в отлучке, на помощь придет его супруга. «Сударыня (чем туже у тебя мошна, тем вежливее бильдовские репортеры!), скажите, пожалуйста, какой галстук надел сегодня ваш муж?» или: «Когда ваш муж плакал в последний раз?» Супруги Шмальштиг позволяют делать с собой все что угодно. Господин социал-демократ не иначе как раз навсегда уверовал, что сумеет этаким окольным путем продать через БИЛЬД свою политику. А между тем он уж давненько ничего не продает, от него просто отделываются славословиями. Он предал и продал самого себя.

Раз в две недели Шмальштиг и премьер министр земельного правительства Альбрехт (ХДС) поочередно выступают в БИЛЬД с комментарием. Ставка — 250 марок за столбец, и, согласно гонорарной карточке, с 1 февраля по 12 мая Шмальштиг получил 2500 марок. Но это бы еще полбеды. Куда огорчительнее та готовность, с какой сей социал-демократический отец города поддерживает любую бильдовскую кампанию.

Тележурналисты, ведущие съемки в БИЛЬД, спрашивают Шмальштига, почему он официально поддерживал кампанию «Ученики на производстве», которая вызвала бурю возмущения даже среди профсоюзных деятелей.

— Мы,— ответил Шмальштиг,— поддерживаем эту кампанию, как поддержали бы любую другую инициативу, цель которой — добиться открытия новых ученических вакансий. Характер газеты не имеет при этом ровным счетом никакого значения.

— Ну а помимо этого вы сотрудничаете с БИЛЬД?

— БИЛЬД — газета легальная, разрешенная к распространению на территории ФРГ. Определенные формы сотрудничества связывают нас со всеми без исключения издателями. Свои статьи я публикую как официальное лицо, как обер-бургомистр.

Своими выступлениями в газете Шмальштиг только лишь культивирует в городе бильдовский имидж — боже упаси смутить читателя, подорвать его доброе отношение к БИЛЬД,— а между тем его партнер Эрнст Альбрехт твердой рукой делает через

БИЛЬД политику. Шмальштиг работает на БИЛЬД, но БИЛЬД работает на Альбрехта. Шмальштиг пишет статьи собственноручно, то ли дело Альбрехт — к нему на всякий случай приставлен бильдовский репортер: Хассо Ифланд, скажем, сочиняет за Альбрехта воззвание — призыв спасти футбольный клуб «Ганновер-96», а потом звонит премьеру.

— Господин доктор, если позволите, я прочту вам текст... Устраивает вас такой вариант? Нет ли возражений?

Альбрехт благословляет текст, вставив еще одно придаточное предложение.

Да, ради Альбрехта редакция чего только не сделает!

27 июня в БИЛЬД появляется интервью, из которого весьма четко видно, кто такой Альбрехт и чем он полезен БИЛЬД.

БИЛЬД. Почему вы вступили в ХДС?

Альбрехт. ХДС — единственная партия, которая выступает одновременно за личную свободу человека, за жизнь в условиях естественного порядка и за политическую интерпретацию христианской заповеди любви к ближнему.

БИЛЬД. Что значит для вас ваша жена?

Альбрехт. Чем бы она ни занималась, она просто излучает красоту. Это — сама жизнь.

БИЛЬД. Каково самое яркое впечатление вашего детства?

Альбрехт. Каникулы у дедушки, за городом. Покой, тишина, физический труд. В конечном счете жизнь в гармонии с природой обогащает духовно.

БИЛЬД. Какое у вас хобби?

Альбрехт. Я люблю все, что связано с природой,— охоту, свою овцеводческую ферму, сад. А еще философию, хоть это и очень серьезная штука.

В день рождения Альбрехта БИЛЬД, естественно, развивает бурную деятельность. Предстать перед читателями охотником Альбрехт не желает, поэтому он выбирает овечье хобби. Рачительный хозяин, хранитель устоев, добрый пастырь — вот он каков. Перед объективом бильдовского репортера дочь дарит ему овечку. Но бедное животное понятия не имеет о престиже и рекламе и никак не хочет попасть в кадр. Делать нечего, редактор Хай — он, разумеется, тоже здесь,— не жалея сил, толкает овцу к Эрнсту Альбрехту. Фотограф нажимает на спуск и запечатлевает всех: Альбрехта, Хая, овцу и дочурку Розхен. Ну а в итоге появляется которая уже по счету душещипательная история про отца и благодетеля граждан Нижней Саксонии и про его овечек.

А чтоб читатели БИЛЬД, избави бог, не усомнились в этом, «доброго пастыря» Альбрехта представляют следующим образом: «Мы не шутим: премьер-министр д-р Альбрехт в самом деле пасет овец».

«Премьер-министр Альбрехт ушел в пастухи! Купленные им ягнята будут после троицына дня пастись на Голодном Лугу позади его дома в Байндорфе. Да-да, серьезно! Глава нижнесаксонского правительства намерен в будущем разводить овец и торговать шерстью и ягнятами!»

Финансового воротилу и политикана БИЛЬД изображает этаким «добрым папенькой» и старательно делает ему рекламу. Критические замечания? Неуважительные высказывания? Упаси бог! А ведь, казалось бы, поводы для этого были. Кстати, ганноверцы, несмотря на бильдовскую пропаганду, сумели сохранить чутье и весьма непочтительно зовут премьера «рассыпчатым чудищем», намекая на его прежнюю деятельность у кондитерского магната Бальзена. Альбрехт сорит деньгами направо и налево, и волей-неволей это неизбежно сквозит в бильдовских опусах (да и как скроешь? Больше-то ему похвастаться нечем!). Так вот, чтобы не возбуждать зависти сограждан, БИЛЬД быстренько сочиняет байку: «Долгие дни и короткие ночи д-ра Эрнста Альбрехта». Если б речь шла о социал-демократе, заголовок звучал бы проще: «Равенс переутомлен: Бонн и Ганновер — двойная нагрузка его доконает!»

Первым делом читателям БИЛЬД объясняют, что даже с материальной точки зрения быть премьером невыгодно: «Конечно, 15 293 марки в месяц — это много. За такую сумму вроде и поработать не грех. Но стали бы вы в таком случае надрываться по двадцать часов в сутки?» Ну а теперь всем прочим труженикам надо попросту провалиться сквозь землю от стыда, ибо БИЛЬД провозглашает: «А вот премьер-министр д-р Альбрехт работает и не жалуется!», «На этой неделе премьер-министр показал зубы, ведь рабочие дни были долги, а ночи коротки...», «Вернувшись в три часа утра домой, премьер читает охотничий журнал «Дичь и собака». Ему не спится». Что говорить, какая собака захочет с ним поменяться!

Однако роль палочки-выручалочки играет в редакции БИЛЬД не Альбрехт, а министр земельного правительства Нижней Саксонии и генеральный секретарь ХДС Хассельман, по прозванию Красавчик Вильфрид. Когда начинается мертвый сезон, бильдовский лозунг звучит так: «Звякните Хассельману, он всегда что-нибудь веселенькое придумает». А если редакция паче чаяния забудет позвонить Хассельману, тот сам о себе напомнит. И стоит ему заикнуться, что он, дескать, сидит и пьет кофе в обществе шести дам, как лейб-корреспонденты (корреспондентки) тотчас выезжают на место и возвращаются с таким вот текстом: «Шесть прелестных дам совсем избаловали министра Хассельмана». БИЛЬД так носится с ним, что популярность его даже выше, чем у Альбрехта.

Хассельман выгоден для БИЛЬД, БИЛЬД выгодна для Хассельмана. Он добровольно выполняет все, что угодно БИЛЬД, а за это БИЛЬД в свою очередь готова оказать

ему любую услугу. Хассельман вполне под стать БИЛЬД, как его шеф под стать кондитерской фабрике. В том числе и политически.

Махровый реакционер Хассельман прямо создан для БИЛЬД, ведь у них так много общего — и предубеждения, и антипатии, и ощущение собственного могущества, и страхи,— все, на чем зиждется бильдовская политика.

К Хассельману и Альбрехту бильдовцы, если надо, идут на поклон, но уж социал-демократы пускай приходят сами. Однажды нас предупредили, что редакцию посетит федеральный министр, социал-демократ Карл Равенс — соперник Альбрехта на выборах. Он изъявил желание побывать на редакционной планерке, и шеф подбадривает сотрудников:

— Раскиньте мозгами, задайте парочку вопросов.— И тотчас добавляет: — Разговор будет между нами, для знакомства.

Иными словами, в газете не появится ни строчки.

Встретив Равенса, шеф ведет его в редакцию и приветствует сотрудников:

— Дорогие друзья...

Такого мы еще не слыхали!

— Господин министр! — обращается он к Равенсу.— Это замечательно! Спасибо, что вы предоставили себя в наше распоряжение. Мы в свою очередь тоже к вашим услугам.

Министр Равенс отвечает:

— Начнем с меня. Это я к вашим услугам.

Равенс явно старается произвести благоприятное впечатление на собравшихся, которые сидят с довольно-таки постным видом. Я задаю несколько вопросов. Например, случалось ли ему, как министру жилищного строительства, размышлять над тем, почему жилые районы нередко возводятся без всякого учета городских потребностей, в результате чего они — скажем, в Ганновере — частично пустуют и только обременяют муниципальный бюджет, и не следует ли в условиях острой нехватки жилья принять регламентирующие меры против столь вопиющего расточительства, особенно если город, будучи косвенным кредитором, непосредственно в этом заинтересован. Я ставлю свои вопросы с простодушием питомца ассоциации молодых христиан. На подстрекателя, этакого записного провокатора я не тяну. Это амплуа попроще, да и то мне приходится туго. Тем не менее Равенс усматривает в моем вопросе подвох и думает, скорей всего, так: шпрингеровский мальчонка решил сбить меня с ног, нет уж, дудки!

— В условиях свободного рыночного хозяйства,— отвечает он,— такие проблемы должен регулировать непосредственно сам рынок. Прибегать к регламентирующим мерам на государственном уровне ни в коем случае нельзя. Да заикнись я только об этом, представляю, какие шапки появятся в вашей газете!

Все и вправду идет как по нотам: политик гнет шею перед газетным концерном. Мало того, он еще и говорит об этом представителям концерна и объясняет почему. Хочет свести знакомство с редакцией и, быть может, уповает в будущем на более лестные отзывы о своей персоне. Нельзя же рассчитывать, что БИЛЬД сей же час начнет восхвалять его так, как Альбрехта.

Мне он внушает жалость, потому что я чувствую, как редакция БИЛЬД упивается самоуничижением министра — социал-демократа. Равенса буквально выставляют напоказ, усадив в шефское кресло, а Швиндман под конец роняет замечание:

— Что ж, господин министр, заходите, будем рады видеть вас у себя, только в другой раз не забудьте прихватить бутылочку шнапса, у нас так заведено.

Равенс покорно сносит все, а между тем не далее как год назад, проиграв на выборах Альбрехту, сам пострадал от БИЛЬД и даже направил Акселю Шпрингеру письменную жалобу. И вот теперь — пришел мириться...

ОПОРА БИЛЬД

БИЛЬД не может без компаньонов, пособников, сподвижников, осведомителей, поручителей и т. д. Словом, людей, которые щедро употребляют свой общественный, профессиональный или служебный авторитет на то, чтобы обеспечить БИЛЬД хоть некоторую солидность.

Типичный пример тому — видный адвокат Фриц В. Как Хассельман «всегда придумает что-нибудь веселенькое», так Фриц В. всегда готов послужить своей изобретательной фантазией ради «хорошего материала». В редакции даже бытует поговорка: «Не идет работа, сходи к В.» Достаточно легкого намека — и он тотчас выложит целую кучу историй в самом что ни на есть бильдовском духе. Правдивы они или нет, никого не интересует. Главное — вставить ссылку на «известного (или видного) адвоката, специалиста по бракоразводным процессам». Гонорары за все эти подсказки, интимные подробности, сплетни и сенсационные басни В. велит перечислять на текущий счет своей матушки, каковая, судя по платежной карточке, и предоставила материал для таких опусов, как «Любитель похлопать по попке», «Хитрости мужей», «Семнадцатилетний умер в ванне», «Развод/пижама», «Слишком ленив для любви», «Развод», «Пятьдесят три шарфика», «Коровий процесс», «Дополнительный гонорар за семь подсказок».

А в благодарность В. дозволяется по случаю Дня матери выступить в БИЛЬД со стишками типа «Сыновняя любовь» или «Сыновняя благодарность». Кстати, В. не одинок: сочиняют вирши для БИЛЬД (а отчасти, конечно, и для своих мамочек) супруга нижнесаксонского премьера д-р Хайде Адель Альбрехт, отпрыски председателя игор-

ного банка Фельзенштейна, директора городского рынка Прашака, федерального министра Эгона Франке.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ КОНРАДА АДЕНАУЭРА

На БИЛЬД можно положиться.
Альфред Дреггер

4 июня 1977 года — в этот день ультрареакционный Германский фонд вручает в бывшем княжеском замке Херренхаузен свои премии имени Конрада Аденауэра. Ганноверская БИЛЬД командирует меня на эту церемонию. Вход только для приглашенных, никакой широкой публики. Все в строгих темных костюмах — Эрнст Альбрехт, Альфред Дреггер, Франц-Йозеф Штраус, министр Майер (ХСС), Хельмут Лемке, Герхард Лёвенталь, Отто фон Габсбург, Курт Цизель. Должен был приехать и Хельмут Коль, но не смог из-за тяжелой ангины.

Отто фон Габсбург и Ганс Эссер

Ощущение такое, будто я перенесся в давно минувшие времена феодализма. Чуть ли не каждый оратор начинает свое напыщенное приветствие или зачитываемую по бумажке речь обращением: «Ваше императорское и королевское высочество!»[1]

Альбрехт, пользуясь случаем, расходится вовсю и начинает говорить о том, как его тревожит судьба свободного правового государства в Италии, Франции и Португалии,— ведь существует прямая угроза, что коммунисты победят там на выборах и захватят власть. «А коммунизм опасен во всех своих проявлениях».

И уж совсем как шантаж выглядели призывы Альбрехта к «молчаливому большинству» студентов, к тем, кто, не занимаясь активно политикой, допускает к ней других (намек на тогдашнюю университетскую забастовку). Вот этих-то нейтральных, аполитичных студентов Альбрехт и старается запугать: мол, если они не станут впредь энергично противостоять смутьянам, то он, премьер-министр и благодетель Нижней Саксонии, позаботится, чтобы всем — не только любителям политики, но и тихоням — не давали ссуд по закону о содействии высшему образованию, не засчитали семестр, а вдобавок лишит денежных дотаций Объединенный комитет студенческих корпораций.

Угрозы Альбрехта попадают в информационную сводку ДПА, однако же без ссылки на то, перед какой аудиторией он их высказал. Кстати, человеку, побывавшему в атмосфере этого собрания, сухие строчки сообщения ДПА покажутся приукрашенными, хотя текст абсолютно точен.

Замок Херренхаузен оцеплен полицией, но не видно ни единого демонстранта. Здесь только свои. И внезапно пресловутые различия, которыми так козыряют эти господа и их газетные рупоры,— различия между «прогрессивным рационалистом» Альбрехтом и сторонником жесткого курса Дреггером, между поборником «европейской интеграции» Отто фон Габсбургом и архинацистом Цизелем,— бесследно исчезают. Ряды сомкнулись. То, что происходит здесь сейчас, это уже не закулисные деба-

[1] Хотя по решению Вюрцбургского земельного суда (1958) Габсбурги лишены права пользоваться титулом и на территории ФРГ.— *Г. В.*

ты по поводу распределения публичных ролей. Здесь тактические выкрутасы не нужны. Здесь рубаха-парень Альбрехт может выступить заодно с коммерческим директором Германского фонда Цизелем, который некогда в Австрии донес на свою кухарку и добивался от «чрезвычайного суда» ее осуждения: работая прислугой в его поместье, эта женщина неоднократно позволяла себе такие, в частности, замечания: «Убирались бы вы, немцы, отсюда подобру-поздорову! Мы вас не звали. Ну да ничего, будет и на нашей улице праздник». Цизель тогда писал: «Отечеству надлежит беспощадно карать подобные элементы... типам с такими взглядами место только в концлагере» [1].

Дреггер оглашает приветствие гессенской ХДС, которая ни много ни мало готовится «к концу следующего года взять в свои руки ответственность за эту землю (Гессен)». Реакционную гессенскую ХДС он именует «авангардом христианских партий».

К подобной же словесной акробатике прибегает и Штраус:

— Быть консервативным — значит возглавлять марш прогресса.

«Марш! Марш!» — гудит у меня в ушах. Авангард и впрямь марширует, точь-в-точь как в «Хорсте Весселе» [2].

Дреггер продолжает:

— Гессенская ХДС благодарит лауреатов за то, что они крепят духовный фундамент нашей политической борьбы. Мы ведем эту политическую борьбу ради сохранения и расширения системы свободного мира — системы, без которой свободная наука, свободная литература, свободная публицистика столь же невозможны, как свободные профсоюзы и свободное предпринимательство, свободные граждане и свободные партии. Все эти свободы образуют нерасторжимое единство. Они не могут существовать в отрыве друг от друга и немыслимы в условиях системы социализма, которую мы должны сломить во имя упрочения свободы Германии. Успех нашей борьбы решается в первую очередь в школах и высших учебных заведениях. А именно там система свободы потерпела в последние годы тяжкие поражения. Именно там представители государства и университетские деятели чаще всего проявляли уступчивость, приспосабливались к обстоятельствам. Именно там марксизм сумел внушить молодежи пренебрежение к системе. А это пренебрежение к системе, уважаемые дамы и господа, породило желание изменить систему и, по сути, стало причиной терроризма.

Барон фон Засс — он же Маттиас Вальден, постоянный обозреватель БИЛЬД — поет дифирамбы лауреату Гансу Хабе, за которым-де «и пойдут миллионы». Только он едва ли имеет в виду миллионы их общего издателя Шпрингера. Хабе в свою очередь мечет громы и молнии по адресу «левой мафии» от Беккета до Ионеско, очевидно не подозревая, что Ионеско — отъявленный реакционер. Современное искусство он именует не то чтобы выродившимся, но упадочническим. Нынешняя музыка, бит- и поп-театр — это, мол, предвестники марксизма, и даже культурная жизнь США не свободна от растлевающего влияния марксизма. Н-да, коли сам Синатра рассказывал...

Этого Хабе, шпрингеровского воскресного обозревателя, Швиндман рекомендует мне особенно настойчиво. «Ни в коем случае не забудьте Гансика!» Надо взять у него интервью. Мне уже доводилось сталкиваться с Хабе во время нескольких дискуссий на телевидении и на радио, и, опасаясь, что он узнает меня, я прошу одну из коллег от моего имени проинтервьюировать Хабе по телефону. Однако Хабе считает, по-видимому, что интервью может подождать, и спешит поделиться с друзьями-бильдовцами своими наблюдениями:

— Я просто обязан немедленно рассказать вам одну вещь. Ведь вы (то есть БИЛЬД.— *Г. В.*) наверняка понятия не имеете, что происходит с газетой в вокзальном киоске. Вчера мы с Роландом приехали из Асконы. Ну я и подумал: дай-ка погляжу, как тут ваши дела. Подхожу к киоску, смотрю, БИЛЬД не видно, спрашиваю, где газета. Продавец лезет под прилавок и достает. «Вы что же, прячете ее? Почему газета не на прилавке?» — говорю я. А этот наглец отвечает: «Я всегда ее там держу, подальше от глаз!» С виду парень прямо вылитый уголовник — хоть сейчас в тюрьму сажай: бородатый, длинноволосый и так далее. Впрочем, вам такие типы знакомы.

Нам и Хабе знаком — и все же становится страшновато, когда некто на поверку оказывается точь-в-точь таким подонком, каким ты его себе представлял.

После торжественной церемонии в банкетном зале открывается «дискуссия» под председательством Герхарда Лёвенталя, президента правления Германского фонда. Этот экстремист, подвизающийся на ниве массовой информации, призывает правые силы к сплочению и активным действиям — нельзя же отдать гражданские инициативы на откуп левым! — и сетует, что пресса уделяет нынешнему присуждению премий недостаточно внимания. Ведь вот даже «Ганноверше альгемайне цайтунг» (довольно консервативная газета.— *Г. В.*) помалкивает; мало того, что «Франкфуртер рундшау» скатилась влево, так и эти туда же! Раз такое дело, он, Лёвенталь, считает, что надо отказаться от подписки на эту газету, пусть даже за призыв к бойкоту его привлекут к суду. Судебные издержки можно покрыть, пустив шапку по кругу. В заключение Лёвенталь рассыпается в похвалах БИЛЬД: вот единственная газета, по достоинству

[1] Верховный земельный суд Баварии решением от 28.IV 1975 допускает использование этих документально подтвержденных фактов о Цизеле с «разъяснением», что, «требуя от чрезвычайного суда осуждения кухарки, Цизель ссылался не только на *однократное* высказывание этого или подобного содержания, но рассматривал последнее в связи с якобы повторными аналогичными *антигерманскими* высказываниями и поступками кухарки, каковые якобы наносили ущерб *неприкосновенности жилища и усадьбы*, и на основании этого обратился в чрезвычайный суд».— *Г. В.*

[2] Песня германских нацистов *(Прим. перев.)*.

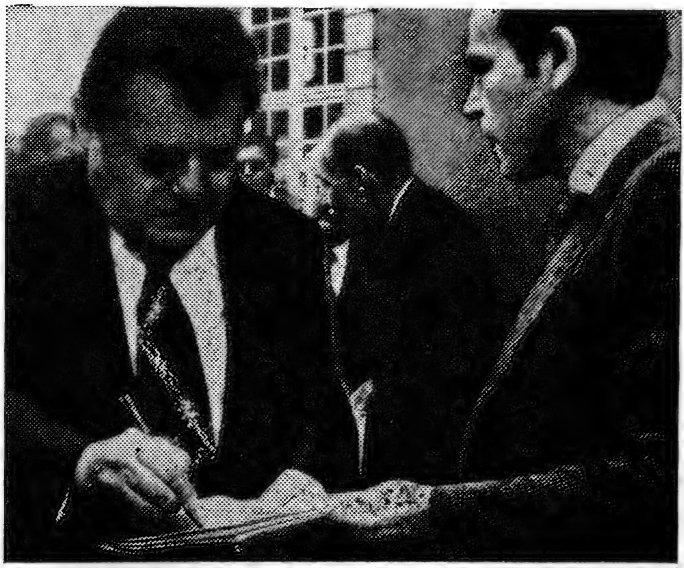
отметившая столь важное событие,— и благосклонно указывает на меня. Я приветливо киваю в ответ.

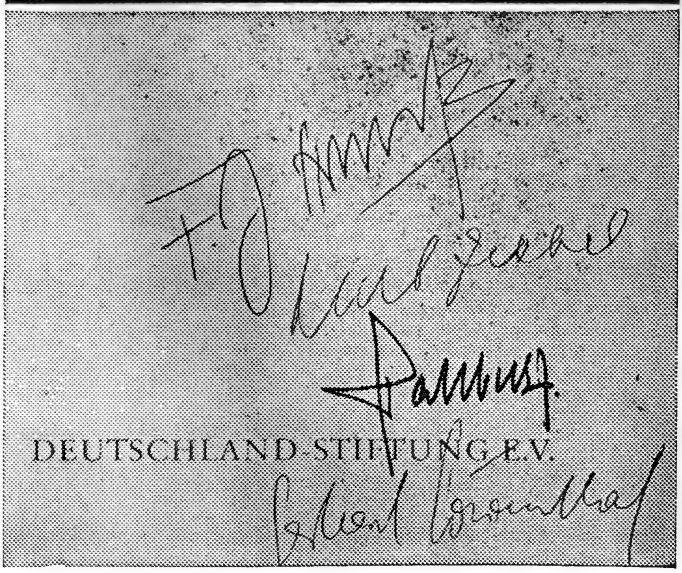
Обстановка непринужденная — свои люди! Ни слова протеста, когда кто-то из ХССовцев заявляет:

— Вздумай де Голль уступить Германии Эльзас-Лотарингию, французы пристрелили бы его прямо на границе. А Вилли Брандт продает пол-Германии — и хоть бы что, даже к суду его не привлекут.

Затхлая, обывательская атмосфера, как в пивнушке! Один из участников «дискуссии» сообщает, что его жена, итальянка, никак не решит, стоит ли ей голосовать за христианских демократов, ведь они вконец развращены коррупцией. И он хотел бы знать, как ему, немцу, тут отвечать. Отто фон Габсбург говорит, что он лично руководствуется девизом «Не выстрелить — значит промазать!». Это вовсе не охотничий жаргон, а вполне недвусмысленный совет.

Казалось бы, чем не бильдовский материал — это вручение премий? Однако же как в федеральном, так и в ганноверском выпусках появляется только коротенькая информация. Разве не странно? Особенно если учесть, что едва ли найдется другое мероприятие, где так отчетливо проявляется и идеология, и стиль, и политика шпрингеровского концерна. Но дело в том, что БИЛЬД — не в пример господам из замка Херренхаузен — перед миллионами читателей отнюдь не «среди своих». Газета должна преподнести политику правых также и сторонникам СДПГ, рабочим и служащим, и прямой путь — через Штрауса и Дреггера — весьма опасен. Политику надо делать





Франц-Йозеф Штраус подписывает Гансу Эссеру адрес Германского фонда. Другие подписи на адресе принадлежат Курту Цизелю, Отто фон Габсбургу и Герхарду Лёвенталю.

исподволь, играя на эмоциях и предубеждениях: раздувать исподтишка травлю меньшинств, подогревать ненависть и страх, причем лучше всего выбирать для этой цели псевдоаполитичные объекты (вроде маньяков или иностранных рабочих) — так создается определенный настрой, который может обернуться чем угодно, вплоть до требования смертной казни. Штраус и Дреггер всего лишь блестки жира в супе здорового национального чувства. А варится этот суп на бильдовской кухне.

БИЛЬД тонко чует, что национальному чувству на пользу, а что нет. Очень вредно, скажем, показывать изнанку реакционной политики, кухню, где она стряпается, и самих поваров. В данном случае это собрание руководителей ХДС/ХСС, шпрингеровских авторов, обломков имперской знати и княжеских отпрысков — вся честная компания в парадных костюмах под сводами феодального замка. Ведь подобные сцены только разжигают классовую ненависть, заставляют читателей БИЛЬД задуматься над истинной сутью заявлений этих господ или по крайней мере усомниться, так ли уж все прекрасно. Вот почему бильдовский рассказ о маскараде в Херренхаузене столь краток.

СВАДЬБА У БАЛЬЗЕНОВ

Когда речь заходит о «китах» экономики и политики, за дело берется сам шеф редакции. Есть свои «киты» и в Ганновере — это семейство кондитерского магната Бальзена. У Бальзенов свадьба. Швиндман засучивает рукава: пора и БИЛЬД испечь свадебный пирог.

Самое главное — фотографии. Но Бальзены упираются, ссылаясь на то, что Эткером-младшим похитители заинтересовались не в последнюю очередь из-за шумихи, которую БИЛЬД подняла вокруг его свадьбы. Швиндман разливается по телефону соловьем, не скупится на лесть, умоляет, точно от этих фотографий зависит чья-то жизнь:

— Ну пожалуйста, очень вас прошу, свадебные фотографии нам просто необходимы.

Все напрасно. И тут он мельком упоминает одну весьма щекотливую для Бальзенов аферу, которая пока не стала достоянием широкой публики. Намек получился по чистой случайности, ведь теперь Швиндман под присягой уверяет: «Беседуя по телефону с Вернером Бальзеном, я упомянул ту историю, но вскользь и безотносительно к свадьбе и даже сказал ему, что об этом мы писать не будем. Я никоим образом не связывал это замечание с моей просьбой и тем более не «грозил» публикацией». Швиндман и в самом деле думал исключительно о «пышных и блестящих свадебных торжествах», которые уже преподнес гамбургской главной редакции как гвоздь ближайшего номера. Однако вернемся к классовому единодушию: «В конце концов надо помогать друг другу, мы же делаем одно общее дело». Разрешение на свадебное фото получено. Полицейский патруль разыскивает на Нюрбургринге бальзеновского домашнего фотографа, который в выходной день решил попытать счастья на ралли. Фотографию переправляют в Ганновер.

Теперь надо достать фото виллы Бальзена. И опять семейство встает на дыбы. Капиталистическая щепетильность! Не буди в народе зависть и гнев! Швиндман клянется, что никакой зависти фото не вызовет, оно будет «не больше почтовой марки», без всякой помпы, только для полноты картины. Бальзены неохотно соглашаются.

Весь день Швиндман занимается только Бальзенами. Наконец материал готов и отправлен в Гамбург. И вот тут-то Швиндмана прорвало. Делать рекламу людям, которые тебя же за это и презирают! Ишачишь ради них, дрожишь — и ни слова благодарности, только пренебрежение! Это уж слишком. Швиндман гремит на всю редакцию: «...»[1]. Вслед за ним неожиданно взрывается и наша «аристократка», помешанная на высшем обществе: забыв о хороших манерах, эта дама сыплет такими выражениями, каких мне еще не доводилось от нее слышать. Впрочем, на следующий день перед нами вновь благопристойная, безликая ханжа, копошащаяся в интимных подробностях жизни высшего света, как древоточец в Готском альманахе.

Она уже сама не сознает, что делает, в любой дискуссии от нее не дождешься сколько-нибудь разумного ответа, потому что способность критически мыслить она давным-давно сдала в бильдовский архив. Но чувства еще остались, а ими командовать не так-то легко. Даже у Швиндмана временами кое-что проскальзывает. Например, он поручает мне подготовиться к свадьбе в доме Габсбургов и спрашивает:

— Кто жених?

— Какой-то наследный принц с кучей титулов.

— Ну и черт с ним. Раз этому... как его там... приспичило жениться на императорской дочке, устроим для Гамбурга сенсацию.

Для бильдовца — «этот, как его там», для читателя — сказочный принц. Куда как поучительно вспомнить иной раз конституционную подкладку этой суеты: «Каждый имеет право высказывать и распространять свое мнение письменно, устно или посредством изобразительной информации...» (Конституция ФРГ, ст. 5).

---

[1] Угрозой дисциплинарного штрафа в размере «до 500 000 марок или тюремного заключения сроком до двух лет» гамбургский земельный суд в составе Энгельшаля, Краузе, Нойшильда в «обеспечение иска» шпрингеровского концерна — «ввиду безотлагательности без слушания дела» — вынудил меня исключить прямые цитаты. Шеф редакции Швиндман заявил в представленном суду письменном документе: «Совершенно верно, в свое время я несколько погорячился, работая над этим материалом. Однако я категорически отрицаю, что употреблял приведенные в книге выражения». (Я тогда записал все дословно.— *Г. В.*)

ХИЩНЫЕ РЫБЫ

БИЛЬД манипулирует фактами. Но этим дело не кончается. Беда в том, что многие бильдовские информанты, зная, что газета манипулирует фактами, искажает их и фальсифицирует, считают своим долгом приноровиться к этому заранее. Итак, сперва сообщение до неузнаваемости переиначивает репортер, затем по этому вранью «рукой мастера» проходится шеф местного отделения, и, наконец, кое-что добавляет главная редакция. И все? Как бы не так! На нижнем конце этой лестницы лжи есть еще одна ступенька: желая попасть в БИЛЬД, информант изначально подгоняет свой рассказ под бильдовские запросы. Вот и пестрят на страницах БИЛЬД то редкостно банальные и глупые, то махрово реакционные заявления, и принадлежат они подчас ведущим политикам из числа социал-демократов. Ну, а как в буре большой политики — так и в ганноверском стакане воды.

Швиндман сует мне приглашение Линнеевского общества: «По случаю восьмидесятилетия общества в клубе Фаренвальд открывается выставка «Аквариумы и террариумы». Крикливый заголовок — «Пираньи в Фаренвальде», а ниже вполне разумный текст: «26 марта 1977 г. в 11.00 в клубе Фаренвальд (Ганновер) бургомистр д-р Шеель откроет 10-ю выставку аквариумистов, организованную в честь восьмидесятилетнего юбилея Линнеевского биологического общества. Члены общества, среди них большая группа молодежи, не пожалели сил и стараний, чтобы продемонстрировать гостям около шестидесяти аквариумов, в которых содержится примерно сто тридцать видов рыбок со всех концов земли. Загрязнение окружающей среды, которое не миновало ни единого ручья или пруда, заставляет людей нести природу к себе в дом, заводить аквариумы. И доказательство тому — более миллиона аквариумов в квартирах граждан ФРГ, молчаливое напоминание об опасности, нависшей над природой».

Далее следует еще страница рассуждений о выставленных рыбках, причем пираньям посвящена одна-единственная фраза в самом конце: «Разумеется, здесь можно увидеть и широко известную по рассказам и путевым заметкам страшную пиранью, или пирайю».

— Нас интересуют исключительно пираньи,— внушает мне Швиндман.— О прочем рыбьем хламе можешь забыть. Я жду солидную страшненькую историю. Возьми с собой фотографа.

Председатель Линнеевского общества Петер Вильгельм встречает нас радостной улыбкой и немедля тащит меня к аквариумам, показывает всяких там огненных барбусов, шоколадных гурами, которые носят мальков во рту, живородящих щучек и рассказывает об их образе жизни и особенностях.

Поначалу я из вежливости не перебиваю, но потом все-таки откровенно говорю:

— Как частное лицо, меня, конечно, очень интересует вся выставка, но БИЛЬД направила меня сюда только из-за пираний. Где они у вас?

Вильгельм подводит меня к маленькому аквариуму, в котором плавает несколько невзрачных рыбок.

— В бассейне Амазонки эти рыбы нередко нападают на людей, во всяком случае так пишут в приключенческих романах, а иной раз и в газетах.

— Если и пишут, то наверняка в БИЛЬД,— парирует Вильгельм.

Он еще раз пытается привлечь мое внимание к другим декоративным рыбкам. Я смотрю на часы: через пятнадцать минут нужно сдать Швиндману материал.

— Мне не хочется выглядеть невежей,— извиняюсь я перед председателем общества аквариумистов,— но я же не виноват, что БИЛЬД нужны только эти чертовы пираньи. Про остальных рыб я в лучшем случае могу вставить коротенькую фразу. Мне и самому тошно, я тут человек временный.

— Откровенность за откровенность,— в свою очередь не выдерживает аквариумист.— Если хотите знать, мы выставили пираний нарочно, как приманку для БИЛЬД. Я так и думал, что ваша распрекрасная газета клюнет на этих кровожадных бестий. Иначе вы вообще не написали бы про нас ни строчки.

С этим нельзя не согласиться, и мы оба радуемся, что благодаря такой хитрости на выставке не будет отбоя от посетителей.

— Только ведь мне этого мало,— говорю я,— нужна еще какая-нибудь жутковатая подробность.

Вильгельм приводит хозяина пираний, жизнерадостного молодого парня, который, судя по всему, на дружеской ноге со своими питомцами, во всяком случае незаметно, чтобы он их боялся. Парень рассказывает, что пираньи опасны только в определенном возрасте и только в стае. Вот тебе и материальчик! Опять осечка. Копаю дальше:

— А здесь, в Ганновере, не было несчастных случаев?

Он мигом смекает, куда я гну.

— Ну как же, был. Лет восемь назад. Заведующий аквариумом краеведческого музея, который разводил этих милых созданий, был укушен. Но ведь он сам до этого довел, наделал кучу глупостей. Стал пересаживать рыб из почти пустого аквариума. Со страху одна возьми да и тяпни его за палец. Ну и откусила клочок подушечки, его потом назад пришили...

Я записываю фамилию «жертвы», а засим прошу просветить меня насчет биологических особенностей пираний. И слышу кое-что весьма знакомое: крайне агрессив-

ны, нападают стаями на чужаков и раненых, пожирают все, что выказывает слабость или проявляет враждебность...

В своем материале я упоминаю «несчастный случай» вскользь, в конце. Но шеф редакции, который и без того поминутно отвлекал меня вопросами вроде: «А это безопасно? Посетителям ничего не грозит?» — превращает мою концовку в броский заголовок: «Пираньи вырвали из руки директора музея кусок мяса. Врачи пришили его на место». Жирным шрифтом выделено и начало заметки: «Это была случайная оплошность. Гюнтер Клюге, заведующий ганноверским краеведческим музеем, чистил в своем кабинете аквариум и нечаянно опустил туда руку. Тотчас 147 острых, как бритва, зубов впились в ладонь и вырвали кусок мяса. Такова кровожадность пираний, самых опасных пресноводных рыб на свете! Семь этих амазонских рыб вы можете с завтрашнего дня (с 11 часов) увидеть в клубе Фаренвальд. Кстати, Гюнтеру Клюге повезло. Выращенная в неволе рыба выплюнула откушенный кусок, и в больнице его пришили на место». О том, что все произошло восемь лет назад,— ни гугу. (В БИЛЬД это называется «актуализацией».)

Piranhas haben 147 rasiermesserscharfe Zähne.

Piranhas rissen Museums-Direktor ein Stück aus der Hand — Ärzte nähten es wieder an

Von HANS ESSER

Hannover, 25. März

Es war reines Versehen: Günther Kluge (44), Leiter des Landesmuseums Hannover, griff beim Reinigen in das Aquarium, das in seinem Büro steht. Sofort gruben sich 147 rasiermesserscharfe Zähne in seine Hand und rissen ihm ein Stück Fleisch heraus. Blutdurst der Piranhas, der gefährlichsten Süßwasserfische der Welt! Sieben dieser Amazonasfische können Sie von morgen an ab 11 Uhr im Freizeitheim Vahrenwald besichtigen.

Günther Kluge hatte übrigens Glück. Der in Gefangenschaft gezüchtete Fisch spuckte das Stückchen Hand wieder aus. Im Krankenhaus konnte es dem Museumsdirektor wieder eingenäht werden.

Die Ausstellung in Vahrenwald, bei der neben den Piranhas auch viele andere, ungefährliche Fische gezeigt werden, veranstaltet die Biologische Gesellschaft Linde. Sie ist die älteste in Deutschland und feiert 80jähriges Jubiläum.

Wenn es Sie allerdings gelüstet, Piranhas als Haustiere zu halten: können Sie am 3. April ab 14 Uhr die Fische für etwa 20 Mark pro Stück auf einer Fischbörse im Freizeitheim Vahrenwald ersteigern.

Die gefährlichsten Süßwasserfische der Welt – Piranhas – bissen Museumsdirektor Günther Kluge ein Stück Fleisch von der Hand. Wilhelm Peter, Chef der Aquarien-Gesellschaft, warnt alle Piranhas-Fans: Seien Sie vorsichtig

Заметка в «Бильд» о нападении рыбы пираньи на директора музея.

Затем, очень коротко, сведения о выставке и информация о том, что после ее закрытия пираньи будут проданы с аукциона. Я было решил купить их — в подарок редакции, как своего рода герб. Но передумал — рыбешек жалко!

Едва заметка появилась в газете, на директора музея — он как раз лежал дома больной — обрушилась лавина телефонных звонков от поклонников сенсаций, к нему в дом зачастили знакомые, которые горели желанием полюбоваться на изувеченную руку. Но сам он молчал и опровержения не потребовал. Будь то провинциальная газета, главный редактор наверняка получил бы от него гневное письмо. А здесь? Одна только «Нойе ганноверше прессе» напечатала скромненькое интервью с жертвой пираний, где изложено какова «доля истины в этой и других кровавых историях». БИЛЬД не упомянута ни единым словом.

Председатель клуба аквариумистов тоже не думает протестовать. Да и зачем? Ведь на выставке полно посетителей (шесть тысяч в неделю), которые вынуждены с сожалением констатировать, что безобидных детенышей-пираний бояться нечего.

Жертвой подобных манипуляций становится в первую очередь публика, то есть читатель БИЛЬД, которому подсовывают вранье насчет пираний, а во-вторых, бильдовский холоп — простой репортер или редактор, на которого сваливают вину. Ведущие бильдовские боссы, разумеется, знают, что в той или иной статейке концы с концами не сходятся, но аккуратно следят, чтобы ответственность за это несли рядо-

вые сотрудники. Перекроенные материалы обычно отдают изначальному автору на «одобрение». И кто же посмеет заикнуться, что «все было совсем по-другому»?!

ФАБРИКА ЛЖИ

Мало-помалу я перестаю сам себя узнавать. Скоро четыре месяца, как я работаю в БИЛЬД, а я даже не распаковал книги, которые с собой привез.

Я ловлю себя на том, что разучился по-настоящему говорить с друзьями, всерьез воспринимать их слова. Это же не материал! Всё мгновенно сортируется с точки зрения практической пригодности. Пригодности для БИЛЬД.

Прожив в Ганновере месяц, я вдруг сообразил, что довольно-таки неплохо знаком с этим городом, мне ведь и раньше доводилось приезжать сюда на день-другой, а то и на неделю. Но сейчас я его вижу совсем иными глазами, и он чужой для меня. Старинные кварталы центра, где какой-нибудь год назад я прямо на улице читал свои репортажи, напрочь утратили все знакомые черты. Я с трудом узнал их, только когда один из ганноверских друзей напомнил мне о том случае. Сейчас передо мной новый, искусственный город.

Получив от шефа задание «добыть материал», я смотрю на людей исключительно как на объекты, из которых надо что-то выжать. Мне недосуг выслушивать их сетования на житейские трудности и заботы. Нет времени. Мозг автоматически сортирует все вокруг на предмет выгодного использования для БИЛЬД. Каждые час-два — телефонный отчет Швиндману. Даже речь у меня чужая; я говорю как бывалый, прожженный бильдовский писака: «Не бойтесь, нам вы можете спокойно довериться. Все будет как надо».

Окружающий мир съеживается и застывает куцей, пошленькой статейкой из БИЛЬД. Что бы ни произошло, у меня в голове первым делом рождается заголовок и начальные фразы текста. Даже в сугубо частном споре я совершенно серьезно объявляю своей приятельнице: «Хватит об этом, в конце-то концов. Разве это материал? Ну сама посуди!» Позже она рассказывала, что в те дни я ходил как зачумленный, чуть что — заводился с пол-оборота и вообще был на себя не похож — во мне словно сидела какая-то зараза. «Типичный Эссер! Если б Вальраф увидел, он бы со стыда сгорел!» — эта фраза не сходила у нее тогда с языка.

21 апреля — я уже полтора месяца работал в БИЛЬД — она обратила мое внимание на то, что в частном разговоре я впервые сказал о БИЛЬД «мы». Дело было так: она попыталась заинтересовать меня какой-то социальной темой, а я не задумываясь автоматически брякнул: «Мы такими вещами не занимаемся».

Запугивание и страх — вот что отличает климат в редакции. На тебя постоянно давят ледяные клещи насилия и принуждения. Все вроде бы и улыбаются друг другу, и разговаривают между собой, но невозможно отделаться от ощущения, что стóит только шагнуть в сторону, как сию же минуту тебе дадут по физиономии или подставят ножку.

Жить в такой обстановке нельзя, остается только функционировать. Наподобие робота. Идешь себе и идешь в раз навсегда заданном направлении.

Все происходит почти без твоего участия, потому что содержимое твоей памяти регулярно считывают и перепроверяют. У тебя в голове программа, заложенная Швиндманом, самого Швиндмана программирует Принц, а Принца — Шпрингер, который незримо витает где-то в заоблачных высях, время от времени указуя перстом направление.

И душа у тебя не дрогнет, живые люди становятся тебе безразличны, ты создаешь их заново — такими, какими их угодно видеть БИЛЬД, то есть Шпрингеру. Ведь ты работаешь на фабрике массовых иллюзий. Коварных, лживых иллюзий, уводящих от реальности.

Ну а «творцы»? Те, кто фабрикует эти иллюзии? Для них бильдовская заметка — средство самоутверждения. Прочтут в утреннем выпуске собственные опусы да еще и растрогаются: вот мы какие! Напечатанный миллионным тиражом текст наполняет их сознанием, что они есть, они существуют. Видите? Я в газете. Значит, я существую.

Даже я не сумел этого избежать. Публичные наскоки Швиндмана выбивают меня из колеи, надолго портят настроение. А иной раз мимоходом похвалит, и я чуть не лечу как на крыльях. Прошло так мало времени, но я уже начал подлаживаться. Пугающий симптом.

«Быстро вы набили руку. Теперь читаешь ваш материал, и никаких вопросов не возникает»,— говорят мне. И я почему-то усматриваю в этом достоинство, даже радуюсь. Как Ганс Эссер. Хотя по-настоящему выигрывает только Вальраф: заручившись поддержкой Швиндмана, мне, быть может, удастся перейти в Гамбург, в главную редакцию.

Страх разоблачения преследует меня всюду, даже во сне. Мне все время кажется, что я вот-вот попадусь в какую-нибудь хитрую ловушку или что моя дочка Инес вдруг вбежит в редакцию и бросится мне на шею с криком: «Привет, Гюнтер!»

А еще я боюсь потерять бдительность и ненароком назваться Вальрафом — по телефону или при знакомстве.

Когда меня посылают в город, я словно вырываюсь на свободу из тюрьмы. Сначала я думал, что переиграю БИЛЬД, но теперь все больше опасаюсь, что БИЛЬД переиграет меня.

Из дневника:

Что же все-таки меняется? Происходят некие события, ты участвуешь в них, и волей-неволей что-то к тебе прилипает, не надо делать вид, будто остаешься прежним. Что-то цепляется к тебе, пачкает. Ведь тут как с курением: записному курильщику отказавшемуся от долголетней привычки, требуется очень много времени чтобы очистить организм от яда. Здешняя зараза тоже въедается, и глубоко. А значит выздоравливать будешь долго. Что же изменилось? Вероятно, после всего ты стал чуть более толстокожим, пройдошистым, в определенном смысле утратил былой пыл, кое-что ты воспринимаешь уже не так эмоционально, и если раньше иные происшествия и поступки приводили тебя в ужас, то теперь они тебя не трогают. Это, как говорится, не материал.

Я чувствую, что этот бездушный механический спрут хватает меня, сдавливает своими щупальцами, лишает воли, подминает под себя. Как будто я решил написать репортаж о наркомании и — чтобы как следует войти в роль — сам начал колоться. Удастся ли выйти невредимым из этой переделки? Осторожности ради я временами отказываюсь от «зелья», говорю, что болен, уезжаю в Кёльн или в Гамбург к друзьям, которых посвятил в свой секрет, хотя отлично знаю, что многие из них, вопреки всем клятвам, не в состоянии держать язык за зубами. Но даже это меня не останавливает, и сейчас, когда все позади, я искренне рад, что так много людей знало обо всем и тем не менее целых четыре месяца *та сторона* ничего не заподозрила — никто не предал меня ради денег или карьеры.

22 июля во второй половине дня гамбургский друг предупредил Гюнтера Вальрафа по телефону: в одном из иллюстрированных журналов появилось сообщение, что Вальраф работает в БИЛЬД под именем Ганса Эссера. Шпрингеровский концерн уже в курсе дела. Вальраф был вынужден прекратить свои изыскания.

Гюнтер Вальраф без грима

◆

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ СИБИРИ

Творчество Георгия Маркова в критике разных стран

«Строговы»

«Марков сумел достоверно изобразить процесс революционного обновления патриархальной сибирской деревни под руководством передовой части рабочего класса.

...Нагромождение людей, фактов, событий выстраивается вдоль единой красной нити — классовой борьбы — и всеми художественными средствами служит одной идее — идее неизбежной победы народа под руководством партии над тиранами и эксплуататорами.

Логика романа — это логика истории. Кульминация действия, создание драматического крещендо, которые для буржуазных писателей представляют труднопреодолимую композиционную задачу, находят здесь естественное воплощение, роман монументален без всякой искусственности и напыщенности.

...Естественно, что такое восприятие действительности предполагает также и новое понимание человека. Это уже не пленник «судьбы», не абсурдная метафизическая единица, лишенная значимости именно в силу своей абсурдности, а составляющая истории. Человек распрямляется, оправдывает свое человеческое существование, истинно «живет» лишь тогда, когда он участвует в поступательном движении истории. Этот процесс становления ценностей человеческой личности изучен и отображен в произведении Маркова с исключительной тонкостью.

«Вяца ромыняскэ». БУХАРЕСТ

«Я бродил по сибирским деревням, встречался со старыми большевиками, изучал историю революционной борьбы в Сибири, историю сибирской каторги и ссылки: в Сибири политические ссыльные оказывали большое влияние на местное население. Все это дало мне тот разнообразный материал, которым я пользовался при работе над книгой. Роман «Строговы» создавался медленно, и мне никак не удавалось написать слово «конец». Эти слова Георгия Маркова объясняют его понимание долга писателя: добросовестно описывать пережитые события, людей, с которыми свела жизнь. С присущим советским писателям реализмом в этом автобиографическом романе охватывается длительный отрезок времени, жизнь трех поколений сибирских крестьян, рассказывается о трудной борьбе за установление социализма. Совокупность персонажей, ситуаций и исторической атмосферы в романе образует широкую и точную картину сибирской земли и ее людей».

«Ной донне». РИМ

«Соль земли»

«Чрезвычайно широкий охват действительности, вроде бы уложенный в рамки традиций русского романа, создает впечатление документального произведения, хотя сюжет и герои романа являются плодом творческой фантазии автора. Благодаря точному знанию той действительности, которая дала материал для фабулы и характеров героев романа, эта книга стала частью самой действительности.

...При отсутствии внешней динамики читателя захватывает напряженная внутренняя борьба человека против самоуспокоенности и чванства, ибо автор никогда не отдаляется от самого существенного в этой борьбе.

Почти все образы романа оставляют глубокое впечатление. Автору удалось создать целый ряд характеров, для которых личное и общественное составляют единое целое. Трудности в работе приобретают личный характер, а личные проблемы тесно связываются с общественными».

«Зоннтаг». БЕРЛИН

«Жизнь Алексея Краютина — это символ связи между поколением, свершившим Октябрьскую революцию, и поколениями наших дней.

Героизм и готовность к борьбе были необходимы не только в прошлом, потребность в них возникает не только в моменты величайшего напряжения: эти качества

принадлежат советскому человеку как органические части характера, сложившегося в процессе борьбы нового со старым.

...Это роман не только о Сибири настоящей, но в первую очередь о Сибири будущей, о замечательных людях будущего».

«Скрисул бэнэцян». ТИМИШОАРА

«Отец и сын»

«Марков с большой любовью описывает и человека, и природу. Он одинаково влюблен в них, для него это сама жизнь во всей ее многокрасочности.

...Его мастерство рассказчика напоминает нам о творчестве других больших мастеров слова».

«Дер морген». БЕРЛИН

«Сибирь»

«Наиболее полно показывает революционно-героическую Сибирь советская литература 60—70-х годов, сибирская проблематика разрабатывается в совсем новом политическом, философском и нравственном аспекте. В этом отношении огромен вклад известного советского писателя Георгия Маркова.

...За четыре десятилетия активной творческой деятельности он создал яркую художественную летопись своего края, вступив в открытый спор не только с дореволюционными писателями, но и в творческую полемику со своим любимым учителем Вячеславом Шишковым. Сибирь у художника не дремлющая и спящая, а несказанно красивая, суровая и богатая, величавая и могучая своими преданиями и легендами, своим настоящим и будущим.

...Роман «Сибирь» — многоплановое, широкое повествование, в котором с исключительной силой чувствуется ленинская большевистская целеустремленность и дальновидность».

«Литературен фронт». СОФИЯ

«Центральная тема романа — это судьба революции в Сибири в период первой мировой войны. Революция предстает как основа величия будущей Сибири.

...Предшественниками Маркова были, несомненно, лучшие представители русской реалистической прозы. Особенно чувствуется влияние Максима Горького. В контексте современной советской прозы особенное развитие у Маркова получили идейные моменты: любовь к родине, вера в ее великое назначение, глубокое, свободное от потребительства отношение к природе.

...Перевод романа Маркова мы считаем важным делом не только потому, что мы можем познакомиться со своеобразным произведением современной русской прозы, но и потому, что это интересное художественное воплощение темы Сибири и ее людей».

«Литерарни месичник». ПРАГА

«Марков проявил себя настоящим знатоком сибирской жизни, приоткрыл явления, которых не заметили многие исследователи Сибири.

В своей объемной книге он дает не только реалистическое описание родной земли, природы и быта, но показывает нам нарастающее революционное сознание масс, простых людей. охотников, рыбаков, которые начинают понимать, что единственно возможным выходом для них является революция.

Доминанта романа Маркова — это широкий показ персонажей. Все они равны, но каждый интересен по-своему. Так их мог изобразить автор, который в совершенстве знает тайгу, сибирскую деревню и сибиряков.

...Роман проникнут глубокой любовью к родной земле и убеждает в том, что Сибирь — это не богом забытый край, что невыносимые условия для человека создал здесь общественный строй царской России.

Автор с художественной убедительностью пишет о моральном перерождении сибиряков, рассказывает о том, как их мирная патриархальная жизнь начинает меняться под влиянием нарождающихся общественных перемен».

«Словенске погляды». БРАТИСЛАВА

«Люди сильные. простые, находчивые, закаленные суровой жизнью великого края, живущие по правилам, установленным ими самими, общественно-политическая ситуация накануне Великого Октября, ее атмосфера — нужно очень хорошо знать все это, чтобы с таким знанием дела писать о каждой маленькой детали. Более того, нужно любить эту землю, чувствовать ее меняющуюся красоту, невидимую, недоступную для остальных. Так можно относиться лишь к родной земле, к родине».

«Трибуна люду». ВАРШАВА

«В этой книге необычно то, что, хотя ее герои проходят через страдания нелегальной работы. мы за них почему-то не тревожимся. Мы чувствуем: куда ни забросит их судьба. они везде окажутся на месте и найдут помощников и товарищей. Одна из их защитниц — сама природа.

...Плавность повествования. меткость наблюдений, мягкий юмор говорят о глубокой любви автора к родной земле. В памяти терпеливого читателя долго будет жить край, охраняющий людей, которые защищают справедливость».

«Элет эш иродалом». БУДАПЕШТ

К нашим иллюстрациям

РОЖЕ СОМВИЛЬ — ХУДОЖНИК, БОРЕЦ, ГРАЖДАНИН

Имя Роже Сомвиля известно далеко за пределами его родной Бельгии. У него были выставки в Москве, Париже, Софии, Лиссабоне, Будапеште. Однако познакомились мы в Льеже, на Второй ассамблее общественных сил за безопасность и сотрудничество в Европе в 1975 году. Страстное, яркое выступление Сомвиля, говорившего о том, как хрупок мир в Европе и как важно его сохранить, вспоминавшего, как гитлеровский сапог прошелся по Бельгии, растаптывая все самобытное, национальное, разрушая культурное наследие, накапливавшееся веками, глубоко взволновало всех, кто присутствовал в зале. И в перерыве многие подходили и поздравляли его. Подошла и я к этому невысокому человеку с волнистыми седеющими волосами и добрым, обветренным лицом, на котором выделялись светлые, какие-то удивительно ясные глаза. Так мы познакомились. А потом Сомвиль пригласил меня к себе. Тервюрен — зеленая окраина Брюсселя. Огромный парк с вековыми деревьями и ответвляющиеся от него улочки с небольшими домиками-виллами. В одном из таких домиков живет Сомвиль с женою и сыном, руководителем коммунистической молодежи Бельгии. В доме много книг, особенно по искусству, масса сувениров из разных экзотических стран (Сомвиль много путешествует). В саду — мастерская. Здесь штабелями стоят картины. Много портретов жены, натюрморты, пейзажи — сельские и городские. И везде люди, люди активные — в труде, в действии.

Сомвиль сказал, что с некоторых пор увлекся монументальной живописью, и предложил посмотреть фреску, которую он вместе с группой молодых помощников создавал по заказу бельгийского правительства для одной из станций метро. «Фреска займет 600 квадратных метров,— сказал он.— Я назвал ее «Наше время» или, если хотите, «Наш век». Я считаю, что вместе с прогрессом, в частности, с акриловыми красками, которыми я пользуюсь для этой фрески, наш век принес людям и много страшного, много уродливого Это я и стараюсь отобразить».

Мы поехали в «производственную» мастерскую Сомвиля — в рабочий район Брюсселя, где в ту пору сооружалась станция метро «Анкор» (бельгийское правительство хоть и заказало Сомвилю фреску, но не забыло при этом, что он — коммунист, а потому и станцию ему дали в удаленном районе Брюсселя). Красный кирпичный дом — то ли склад, то ли трамвайное депо. Входим — и прямо на нас с ревом и визгом мчится оголтелый, кричаще-яркий Двадцатый век. Он мчится на мотоцикле — уродливый, патлатый, дерзкий, ярко-синий, ярко-красный, рыжий. На других картонах — приметы западного образа жизни (бары, кабаре). А еще на других — звериный оскал фашизма и гневные выступления народных масс. Сомвиль знакомит меня со своими помощниками — все это начинающие художники, и хотя чувствуется, каким авторитетом пользуется у них мастер, атмосфера в мастерской царит товарищеская, атмосфера коллектива, увлеченного общим делом. Сомвиль показывает макет станции, поясняет, как будут размещены фрески при спуске к поездам: одна стена — мрачное прошлое Европы, коричневая чума фашизма, освобождение и борьба народных масс за светлое будущее, другая стена напротив — картина современного Запада с его насилием, жестокостью и жаждой наслаждений. А со стены над туннелем будет лететь на входящего Двадцатый век.

Потом, в Москве, я получила от Сомвиля письмо: «Только что закончил фреску для станции метро «Анкор». Она отняла у меня три года жизни! И хотя мне очень хотелось снова приехать в Москву (а выставка моя у вас была в 1970 г., и несколько советских музеев купили мои картины), из-за работы над фреской я не мог осуществить свое намерение. Для меня эта работа была важна во многих отношениях. Во-первых, станцией метро будет пользоваться народ, значит, мои фрески будут служить народу. Они будут взывать к людям языком реалистического искусства, так как я считаю, что назначение искусства — отражать современность, отражать ее реалистически. К тому же фреска, занимая большое пространство, позволяет художнику широко использовать архитектуру. Немалое значе-

ние имеет для меня и то, что фресковое искусство — искусство «коллективное» (Вы, кстати, видели мой коллектив), что позволило мне не только приобщить к своим идеям, к своему методу работы нескольких молодых художников, но и самому что-то от них воспринять».

А недавно я снова была в Брюсселе и, конечно же, поехала на станцию «Анкор». Купив билет, я стала спускаться по широкой лестнице к платформе, подняла глаза и как тогда, в мастерской Сомвиля, застыла перед бешено мчащимся на меня под грохот поездов Двадцатым веком.

Много добрых слов в разных странах — и в монографиях, и в прессе — сказано о Сомвиле-художнике, о его прекрасном искусстве, которое не только доставляет наслаждение, но и заставляет задуматься. Мне хотелось, чтобы, глядя на обложку журнала и вновь знакомясь с творчеством Роже Сомвиля, читатель знал, что это не просто яркий, самобытный художник, но еще и борец, и гражданин.

Т. КУДРЯВЦЕВА

◆

Из месяца в месяц

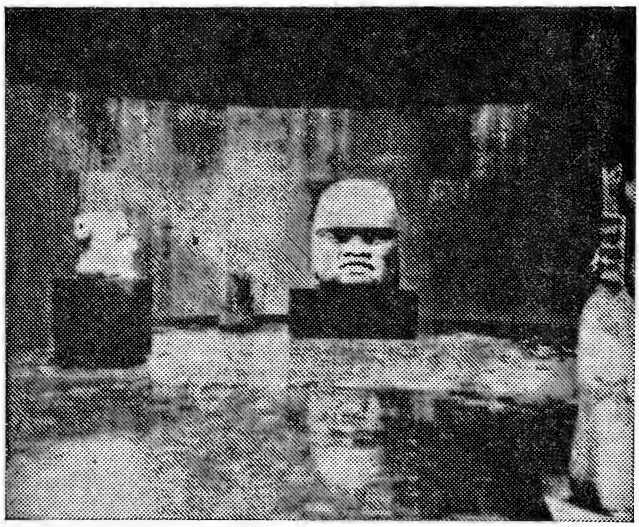
МЕКСИКА

НОВОЕ ОБ ОЛЬМЕКСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Загадка обитавшего более тысячи лет назад на территории Мексики народа ольмеков продолжает волновать умы многих исследователей доколумбовых культур Латинской Америки. Корреспондент кубинского журнала «Боэмия» в Мехико Серхио Пинеда опубликовал репортаж из столичного Музея антропологии и истории, проливающий новый свет на историю появления знаменитых «ольмекских голов».

Первая из этих, огромного размера и веса, голов была найдена еще в 1862 году, и с тех пор на обширном пространстве вблизи мексиканских городов Табаско и Веракрус не прекращаются новые находки. Поражает эстетическое совершенство и равновесие всех компонентов этих скульптур, представляющих собой — в большинстве случаев — головы и фигуры людей с негроидными и азиатскими чертами.

Кого представляют эти странные фигуры? Что заставило ольмеков тащить издалека огромные базальтовые глыбы и воздвигать в определенном порядке эти памятники? Американские археологи Майкл Коу и Джордж Кублер заявили, суммируя свои изыскания, что это не что иное, как «фараонская мечта ольмеков увековечить себя и прославить свое племя». Латиноамериканские ученые Коваррубиас, Пинья Чан и Медельин Сениль высказали другие гипотезы. По их мнению, скульптуры ольмеков — это фигуры людей, почитавшихся ими. Высказывается также предположение, что пространственное расположение голов имеет отношение к системе астрономической ориентации.



На снимке: «ольмекские головы» в Музее антропологии.

(Журнал «Боэмия»)

В ходе последних изучений культуры ольмеков открылся также факт, ввергший своей необъяснимостью в изумление самых дотошных исследователей. Оказалось, что найденные в Мексике фигуры как две капли воды походят на каменные изваяния, стоящие в пещерах Аянта в Индии и в одном из святилищ Шри-Ланки. Откуда это сходство культур, отделенных друг от друга тысячами километров? Почему афроазиатские черты ольмеков не сохранились в современных поколениях мексиканцев?

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ

Современная японская новелла. 1945—1978. Переводы с японского. Вступительная статья Михаила Демченко. Составление Ким Лечуна. Москва, «Художественная литература», 1980.

Если книга знакомит нас со множеством писателей какого-нибудь народа, мы узрим нечто и неуловимое и конкретное, лик представляемой книгою страны... и всегда мы будем всматриваться в него с напряженным, добрым интересом и вниманием.

Почти тридцать новелл разных писателей включено в сборник; в них отображена японская жизнь разного времени — от мифической старины до наших дней. Но все рассказчики едины общим нравственно-эстетическим устремлением, которое выразил еще в конце прошлого века, вскоре после реформы Мэйдзи[1], писатель Ягасаки в статье «Об обязанностях писателя»: «Три задачи стоят перед писателем: выявлять истину, объяснять человеческую жизнь и критиковать общество».

Эти задачи, поставленные перед японскими писателями как бы самой историей, так или иначе решены и новеллистами послевоенного периода. В данном сборнике сведены рассказы, вышедшие в свет с сорок шестого года по семьдесят восьмой. Значит, русский читатель, следуя логике составителя сборника, словно просмотрит серии короткометражных фильмов о тридцатилетнем периоде японской жизни. Точнее — воплощения этой жизни в творчестве писателей, непосредственно переживших один из самых трагических поворотных моментов истории Японии (подавляющее большинство авторов по возрасту могло быть или участниками войны, или ее живыми свидетелями),— и хотя не все новеллы темою восходят к военным событиям, в мироощущении каждого писателя, выбранного для данной книги, отразился след грандиозного исторического катаклизма.

«Выявлять истину» — в японском варианте значит бестрепетно познавать трагическую основу бытия и одновременно искать что-то, что уравновешивало бы трагизм человеческого удела. Гармония созидается между этим безжалостным познанием и высоким человеческим поиском.

В «Сказе о горе Нараяма», суровой и в то же время глубоко человечной новелле Ситиро Фукадзава, рассказано о бабке О-Рин, старой крестьянке, которая сама рвалась на Гору смерти, куда крестьяне голодной деревни относили престарелых родителей, когда им переваливало за семьдесят. Бабка О-Рин с нетерпением ждала, когда наступит зима, Новый год и сын отнесет ее на спине к богу Нараяма и усадит на циновку под скалою. Старуху побуждала к этому не ненависть к жизни и миру людей, но, наоборот, огромная к ним любовь. О-Рин хотела скорей уйти на Гору, потому что так было принято среди добрых людей (еды в нищей деревне до весны не хватало, в тягость был каждый лишний рот) и потому что она любила своего единственного сына, и внука, и невестку Тама... Все зубы у бабки были целы-невредимы, нельзя было и попричитать, что-де беззуба стала и нечем еду жевать... И О-Рин вышибает себе зубы каменной ступкой... Но вот наконец и неотвратимо подступило время ухода на Гору. О-Рин созвала соседей, угостила их на славу и, совершив положенный обряд, ночью поехала на закорках сына прямо к богу смерти Нараяма... Печален и страшен рассказ; сцены на Горе исполнены подлинного трагизма. Но тем ярче свет любви и прекрасней образ человеческого величия.

История О-Рин происходила вроде бы в незапамятную старину.

А вот история про то, как в деревне перед самым окончанием войны дети возились с пленным американским негром, гуляли с ним, кормили, словно большое диковинное животное. Кэндзабуро Оэ, широко известный у нас по переведенному на русский роману «Объяли меня воды до души моей...»[1],

[1] Мэйдзи — просвещенное правление *(японск.)*. Официальное название периода правления (с 1868 г.) японского императора Муцухито.

[1] См. «ИЛ», 1978, № 3, 4.

писатель послевоенной формации, тоже ищет беспощадную истину. Власти вспоминают о пленнике, и порядка ради отдается приказ привести его в город. Когда крестьяне приходят за негром, тот, думая, что его поведут убивать, хватает беззащитного, трогательно привязанного к нему японского мальчишку и прикрывается им. Крестьяне убивают воющего от ужаса негра, который держит мальчика за шею, пытаясь им заслониться от ударов,— в этом мертвящая душу ребенка правда о взрослых, о всех взрослых людях на свете. Но, несмотря на это и вопреки этому, существует неизъяснимая и самозарождающаяся в чистой детской душе любовь ко всему доброму, сильному, красивому и человечному... Возникновению и развитию этой чудодейственной любви посвящены лучшие страницы одной из самых значительных новелл сборника («Содержание скотины»).

Сложна современная жизнь в тот исторический период человечества, когда оно знает в своем прошлом помимо всего прочего две мировые войны. Не может быть безмятежным мироощущение людей, принадлежащих такой эпохе, а в особенности японцев, на чью долю выпало перенести две атомные бомбардировки.

Чрезмерно натуралистическим, физиологичным может показаться изобразительный подход писательницы Хаяси Кёко, описавшей в рассказе «Два надгробия» ужасные подробности последствий одного из атомных налетов. Здесь уже нет и, кажется, не может быть никакого стремления к гармоническому выражению истины. Огонь, вспыхнувший над двумя обреченными городами, как бы уничтожал само понятие логики и человеческой справедливости; мучения, которым подверглись люди, ужас, который они испытали, не соотносился ни с какими нормами нравственных категорий.

Да и испытание было слишком велико и запредельно. Может быть, автор «Двух надгробий» попытался рассказать миру о том, что такое единство смерти, безумия и равнодушия, осененное гигантским атомным грибом,— мы же приняли подобную попытку за проявление литературного натурализма...

«Критиковать общество» — значит ли это, что надо призывать лишь к его разрушению? Наверное, без надежды на будущее не может быть и нашего осмысленного устремления к творчеству.

На что же уповает современный японец, прошедший через многие испытания?

На хороших и добрых людей, сохраняющих в своей душе свет мира. На таких, как Тама и бабушка О-Рин из «Сказа о горе Нараяма»; как жена Вийона из одноименного рассказа О. Дадзай — верная и любящая подруга опустившегося поэта; как бескорыстный интеллигент, художник, герой рассказа Такэси Кайко «Голый король»; как учительница Акияма, вопреки всему верящая, что любимый муж ее не погиб на войне, и упорно ждущая его возвращения («Обручальное кольцо» Д. Инадзава)

В сборнике немало новелл, посвященных человеческой стойкости, милосердию, верности и благородству.

Сказано выше: «объяснять человеческую жизнь...» Для чего это нужно — объяснять человеческую жизнь? И С. Ягасаки пишет в своей статье: «...писатель обязан познавать жизнь и передавать свои знания другим... Объясняя человеческую жизнь, писатель двигает человечество вперед». И подобная миссия толкователя жизни, бесстрастного ее отображателя во имя будущих прогрессивных перемен увлекала многих писателей послевоенного времени; появились новые произведения своеобразного японского критического реализма, правда, с некоторыми чертами натуралистической западной школы. Собственно, задаче «объяснения» и «познания» обыденной реальной жизни отвечают многие новеллы данного сборника, причем разные как по подходу и исполнению, так и по степени социальной остроты и критики действительности.

Таковы небольшие повести «Охотничье ружье» Ясуси Иноуэ, «Заморские гости» Аяко Соно, «Река Терпения» Тэцуо Миура, «Сад с опавшей листвой» Хидэтака Тэдзука, «Праздник ветра» Ёсинори Яги, «Через пустырь» Ёсио Мори. При всей своей несхожести новеллы эти объединяет отразившееся в них пристрастие авторов к достоверной детали, к подробностям быта, к социальной конкретике того или иного исторического момента.

Сравнивая новеллы этого периода с довоенной японской новеллистикой, с достижениями Акутагава, Кавабата, мы придем к выводу, что произошло заметное смещение внимания с внутреннего, чисто духовного на внешнее, предметно-материальное, социологически достоверное, злободневное.

Невыгодно отличается новая школа рассказа от японской классики и рыхлостью композиции, и утратою пластической точности рисунка. Фабула даже таких интересных новелл, как «Праздник ветра» или «Огонь человеческий», расползается, вязнет в излишней побочной информативности. Японская новелла, ведущая свою историю с X века, от «Ямато-моногатари», должна идти, разумеется, по новым, современным путям, но и не следует ей терять многовековых завоеваний классической новеллистики.

И тем не менее «объяснение человеческой жизни» происходит самое внимательное и беспристрастное. Поражение, американская оккупация, послевоенное отчаяние и безвременье, годы экономического бума, попытки возрождения милитаризма и самурайского духа, новые формы верноподданничества, крайняя степень человеческого отчуждения в промышленных джунглях — все это нашло свое конкретное отражение в рассказах нового сборника.

О любви человеческой, о надеждах. О высочайшем счастье бытия, когда любовь свершается и надежды сбываются,— как в сдержанном, емком, очень «японском» рассказе Тэцуо Миура «Река Терпения». О последних пределах отчаяния и ужаса перед жизнью. О самоубийствах «по согласию» и, наоборот, об извлечении любимого человека из бездны отчаяния, когда у него, кажется, всего один выход — самоубийство («Огонь человеческий», «Через пустырь»). И о многом другом, что составляет сейчас многосложную жизнь современной Японии, рассказано в новой книге.

К этой стране у нас интерес пристальный,

добрый, и сборник «Современная японская новелла» отвечает этому интересу. Хотелось бы, вопреки политическому курсу нынешних реакционных сил Японии, чтобы в ней тоже не угас традиционный дружественный интерес к нам. Ведь того, что нас объединяет, гораздо больше, чем того, что разъединяет. И как сказано в одной из новелл этой книги: «...в мире есть человеческий огонь, который пылает, несмотря на добро и зло, красоту и безобразие».

АНАТОЛИЙ КИМ

В МИРЕ «НЕСЧАСТНОГО СОЗНАНИЯ» [1]

Петер Хандке. Повести. Перевод с немецкого. Предисловие Д. Затонского. Москва, «Прогресс», 1980.

Петер Хандке привлек к себе внимание критики с первых же шагов в литературе, еще во второй половине 60-х годов. С тех пор за ним постоянно упрочивалась репутация писателя своеобразного, серьезного, ищущего. Сейчас это, несомненно, один из самых значительных австрийских авторов.

Писала о Хандке и «Иностранная литература»[2]. А недавно русский читатель получил возможность непосредственно познакомиться с его творчеством. Три отобранных для сборника повести начала 70-х годов достаточно представительны; они позволяют судить не только о данном коротком отрезке работы писателя (1970—1972) — от них тянутся нити и к предыдущим его произведениям, и к последующим.

Книги Хандке не похожи друг на друга, эволюция, проделанная им, заметна даже по вещам, написанным в одном и том же году. Однако во всех них есть и нечто общее, и сборник в этом смысле дает наглядный материал для некоторых сопоставлений. Писателя прежде всего неизменно интересует феномен отчужденности — отчужденности от человека, вещей, чувств, слов, делающей жизнь людей неподлинной, а их самих несчастными. Ибо все герои Хандке по-своему несчастны, и причины этого можно усмотреть не только в общественно-социальных, внешних условиях; многое объясняется и структурами личности персонажей, определенное сходство которых, не раз отмечавшееся критикой, позволяет говорить об известных особенностях авторского мировосприятия.

Повесть «Страх вратаря при одиннадцатиметровом» напоминает иногда ранние пьесы Хандке, где главными действующими лицами можно было считать не столько людей, сколько слова, речевые клише, обиходные штампы поведения, пустые, лишенные человеческого содержания формулы, способные тем не менее подменять живую жизнь и определять судьбу. Уже тогда наиболее проницательные критики заметили: тематику эту у Хандке нельзя считать чисто языковой, формально-эстетической, она очевидно связана с серьезным общественно-социальным явлением, которое на Западе обозначают как «манипуляцию сознанием». Человек оказывается словно безликим пленником навязанных ему моделей существования и от рождения до смерти вынужден тупо играть какую-то непонятную самому себе роль.

Герой повести Иозеф Блох, бывший футбольный вратарь, а затем монтер, уволенный со стройки, с первых же строк предстает перед читателем как бы выбитым из накатанной, бездумной колеи жизни. Мир, преломленный через его восприятие, кажется раздробленным, лишенным связей. Блоха раздражает и мучает необходимость называть явления и вещи этого мира словами до того стертыми, что они «просто не могут пониматься буквально». Он уже не улавливает ни смысла, ни связи этих слов с собственным существованием, что как будто лишает само это существование достоверности, растворяет его в безликом, бессмысленном хаосе. Разговаривая с девушкой-кассиршей, своей мимолетной знакомой, Блох вдруг замечает, «что она разглагольствует о вещах, о которых он только что ей рассказывал, будто о своих собственных... Его коробило, что она так бесцеремонно... пользуется его словами».

Непосредственно вслед за этим описывается убийство кассирши.

Перед нами как будто довольно типичный случай «немотивированного убийства», который может представить интерес для психиатра, но и для художника может стать темой углубленного социально-психологического исследования, как, например, в «Постороннем» Камю. Для Хандке, однако, важней здесь оказалось другое. Убийство даже не становится центральным событием повести, это скорей одно из многих действий, а еще верней — движений, реакций, впечатлений героя: метания по улицам, поездка в пограничный городок, случайные встречи, драки, разговоры, множество разнородных частностей, пластически выписанных деталей — все возникает на страницах повести равноправно и разрозненно, составляя дробную мозаику, словно в фасеточном глазу насекомого. При таком восприятии мира трудно говорить о причинно-следственных связях, а значит — о преступлении и наказании, чувстве вины и личной ответственности.

Тем не менее такие связи подразумеваются, хотя и за пределами текста. На последних страницах повести Блох рассуждает, как интересно во время футбольного матча следить не за самим развитием атаки, а за вратарем, «так вот, без мяча, но в ожидании мяча, бегающим туда-сюда». Пожалуй, тут ключ к использованному в повести способу изображения жизни: через реакции героя на что-то, оставленное вне поля читательского восприятия. Такая писательская манера дает простор для предположений относительно мотивировок и возможных связей, которые разные крити-

[1] Термин, заимствованный нашими современными исследователями из «Феноменологии духа» Гегеля для определения сознания людей, не вписывающихся в буржуазную общественную систему.

[2] См. «ИЛ», 1971, № 5; 1978, № 6.

ки по-разному пытались реконструировать. Интересны, например, мысли Д. Затонского в предисловии к сборнику о типичной судьбе западного спортсмена, малообразованного парня, которого вначале вознесли на вершину славы, затем за ненадобностью выбросили, а увольнение с работы оказывается очередным шоком, вырвавшим Блоха из «общей связи». Возможно, и так; но бесспорной обязательности ни в одном подобном толковании нет. Метод Хандке в этой повести обнаруживает и сильные, и слабые его стороны; для самого писателя стала очевидна необходимость дальнейших поисков.

Он «только наблюдал, как сменяются впечатления, как одно событие вытекает из другого, а из того следующее... люди проходили через его жизнь как бы мимо». Эти слова можно счесть авторским комментарием к «Страху вратаря при одиннадцатиметровом»; между тем отнесены они к герою следующей повести Хандке, «Короткое письмо к долгому прощанию», и могут служить не только подтверждением глубинной близости их проблематики. Упрек, который слышен в процитированных словах, говорит о стремлении самого автора больше объяснить на сей раз. Рассказчик, от лица которого ведется повествование,— австрийский писатель, некоторыми подробностями биографии напоминающий самого Хандке. В книге он колесит по Америке, преследуемый своей женой Юдит. Былая любовь супругов непостижимым образом переросла в смертельную ненависть, и Юдит грозится теперь его убить. Она подстраивает его ограбление мальчишками-мексиканцами, даже подливает серную кислоту в кран его умывальника. Однако в решающий момент ее револьвер то ли дает осечку, то ли вообще оказывается игрушечным — все заканчивается истерической разрядкой, после которой оба решают «тихо и мирно расстаться».

Таков внешний сюжет повести. Но куда важней, конечно, сюжет внутренний, потому что бежит герой не столько от угроз жены, сколько от самого себя, от собственных комплексов и страхов. Страх — едва ли не постоянный лейтмотив его мироощущения. Взглянув на небо, он пугается, «что ночь настает так стремительно», он боится «урчания вытекающей воды» и т. д. и т. п. Не знаю, повлияли ли на Хандке воззрения известного датского философа Сёрена Кьеркегора, который рассматривал страх как имманентное состояние человеческого бытия, провоцирующее его внутреннюю активность; но вольную или невольную перекличку с ним порой слышишь в речах рассказчика: «Состояние страха навсегда связано для меня с актом познания, испытывая страх, я острее вглядываюсь в окружающее».

Существеннейшее отличие «Короткого письма» от предыдущей повести — не только в этой возросшей потребности и способности героя Хандке острее вглядеться в окружающее, в самого себя, но и в стремлении понять причины, истоки своей несчастной отчужденности от мира, «застарелого отвращения ко всему, что вне меня, что не есть я сам», в желании как-то изменить свою жизнь, найти путь к другим людям.

Писатель, в частности, пробует объяснить некоторые особенности своего героя обстоятельствами детства. Как уже упоминалось, в фигуре рассказчика немало автобиографического. Подобно Хандке, он родился в бедной крестьянской семье, воспитывался в интернате. Жизнь, вспоминает герой, была бедна впечатлениями, и все они «были как бы повторением пройденного, давно известного». «В интернатах мы были почти совсем отрезаны от внешнего мира».

Удивительно, как мало светлого в детских воспоминаниях — по сути и нет ничего. Даже деревенская природа — уж на что, казалось бы, отдушина для стольких литературных героев со схожей судьбой — здесь не дает отрады. «Я вырос в деревне и не могу взять в толк, как это природа может дать чувство свободы; меня она только угнетала или в лучшем случае внушала чувство неуюта. Меня с малолетства выталкивали на природу только работать, и мне некогда было учиться видеть ее».

Пожалуй, герой Хандке сам чувствует, что одними биографическими обстоятельствами всего не объяснишь. «Крохотные ростки надежды», которые он ловит в своих воспоминаниях, уже не связываются «с тоскливой мечтой уйти от самого себя». Даже если невозможно избавиться от собственных бед — надо попытаться «просто жить по-хорошему и по-хорошему относиться к другим людям... навсегда вытравить из сознания свой страх, свою вечную готовность к испугу».

Это, конечно, пока лишь шаг на трудном пути, дальнейшее движение по которому знаменует следующая повесть Хандке «Нет желаний — нет счастья». Книга рассказывает о матери писателя, покончившей самоубийством в возрасте 51 года. Глубже чем когда-либо прежде Хандке подходит здесь к осмыслению роли социально-общественных условий в формировании определенного человеческого типа.

Судьба деревенской женщины, воссозданная на страницах повести, с ранних лет была достаточно жестко задана и предопределена требованиями среды, психологией семейства, где главной целью всегда было копить, где детей учили подавлять желания и порывы, где самостоятельность и непосредственность чувств выглядели непозволительной роскошью.

Интересно в социальном плане наблюдение Хандке, помогающее лучше понять, почему именно в этом слое, обычно называемом мелкобуржуазным, приход в Австрию гитлеровцев был воспринят как событие, хоть как-то оживившее монотонное, заурядное существование обывателя. «Факельные шествия, митинги... Все мы были взбудоражены...— рассказывала мать.— Рабочие движения... внезапно обрели бодрый спортивный ритм, тем самым человеку казалось, что он хоть и в сильных руках, но все-таки свободен».

Затем — отрезвление, бомбежки, разруха. После войны, переселившись в город, мать пробует приспособиться к новой среде, «обрести типичность», как выражается Хандке. «Обретя типичность, человечек избывал свое позорное одиночество и изолированность, он, с одной стороны, лишался личностных черт, с другой — все-таки ста-

новился личностью, хотя и на время». С годами все это оборачивалось еще большей опустошенностью, потерянностью, жизнь все больше воспринималась как нечто бессмысленное и мучительное.

Хандке на сей раз стремится выявить в судьбе своей матери историю, прежде всего типичную для определенной среды, определенного общественного слоя. На этом пути у него есть свои приобретения, есть и потери. Открыть для себя, а тем самым и для читателя новый угол зрения, новый взгляд на вещи — уже не так мало (хотя не так и много). Но в этой повести, пусть небольшой по объему, однако претендующей на реалистический охват разносторонних человеческих связей, сильней чувствуешь, что чего-то тебе подчас не хватает. Слишком хладнокровным кажется иногда этот анализирующий, типизирующий авторский взгляд — может, недостает в нем любви, а значит, подлинной широты и подлинного понимания.

Но неподдельная, глубокая боль здесь есть. И конечно, судить писателя надо по тому, что он нам дал. А дал Хандке, бесспорно, немало, особенно для понимания некоторых свойств того «несчастного сознания», что давно уже служит предметом исследования многих западных писателей. Судя по книгам, написанным после рассмотренных здесь повестей, где эта тема исследуется дальше, Хандке еще в пути, и поиск его продолжается.

М. СЕРГЕЕВ

Издано за рубежом

РОМАН О МИРОЛЮБИВОМ ВОИТЕЛЕ

Bohumil Říha. A zbyl jen meč. Praha, Československý spisovatel, 1980.

Богумил Ржига. И остался только меч. 1980.

В небольшом городке Подебрады неподалеку от Праги высится величественная конная статуя. Она воздвигнута в честь родившегося здесь короля, оставившего о себе добрую память заботой о благосостоянии государства и миролюбием. Иржи из Подебрад, ставший в 1458 году чешским королем, проводил политику укрепления королевской власти и веротерпимости. Во многом он напоминал французского короля Генриха IV, вступившего на престол за шестьдесят лет до этого. Но если гугенот Генрих IV, перейдя на время в католичество из соображений политической выгоды, заявил, что «Париж стоит мессы», то Иржи из Подебрад, будучи королем гуситов и католиков, до конца дней своих оставался верен «чаше» (символ права мирян на причащение вином и хлебом), украшавшей гуситские знамена. «Король-чашник» понимал, что свою «еретическую» веру и национальный суверенитет страны он сумеет защитить, лишь найдя противовес всевластию папы римского и католического императора Священной римской империи. Вот почему в 1464 году он выступил с проектом создания международного союза, призванного поддерживать вечный мир между всеми христианскими государствами.

Если Генрих IV не случайно привлек к себе внимание Дюма-отца и Генриха Манна, то вполне закономерно, что фигура Иржи Подебрадского не раз становилась предметом изображения чешских писателей.

В годы первой мировой войны к образу Иржи Подебрадского обратился основоположник реалистической традиции в чешской исторической беллетристике Алоис Ирасек («Гуситский король», т. I—1919, т. II — 1930). В годы второй мировой войны задумал и начал писать свой роман о шуте «гуситского короля» Яне Палечеке Франтишек Кубка («Улыбка и слезы Палечка», т. I — 1948; русский перевод — 1963). И для Ирасека, и для Кубки эпоха Иржи из Подебрад — эпоха могущества Чехии, а сам «гуситский король» — носитель идеи мира. Оба романа возникли как художественное противопоставление кровавому разгулу войны. Но в конечном счете оба романиста разочаровываются в своем герое. По свидетельству Зденека Неедлы, Ирасек не завершил свою эпопею не только из-за болезни, но и потому, что его все больше раздражал король-дипломат, к тому же преследовавший таборитов и «чешских братьев» — наиболее демократических и радикальных сторонников гусизма. Кубка тоже признавался, что в процессе работы над романом его отношение к Иржи из Подебрад становилось все более критическим: «...Иржи в известной мере из породы тех, кто привел наше государство к мюнхенской катастрофе. Хотя этот король-дипломат и дал стране на короткое время мир, но зато дошел до прямой контрреволюционности в попрании великих заветов таборитов»

В конце второй мировой войны роман о «гуситском короле» задумал и подебрадский учитель Богумил Ржига, в те годы еще только начинавший свой писательский путь. Однако осуществил свой замысел Б. Ржига только через четверть века, став уже живым классиком чешской детской литературы, автором новаторских книг о современной чешской деревне, народным писателем Чехословакии.

И у Ирасека, и у Кубки одним из персонажей выведен Ян Палечек, выразитель народного мнения, сочувствующий таборитам и «чешским братьям». Если у Ирасека это аскетический старец, то у Кубки фигура Яна Палечка озарена отблесками Ренессанса. Ржига избирает в качестве персонажа, позволяющего ему раскрыть тему «король и народ», воина из дружины будущего короля — Марека из Тынца, впоследствии королевского военачальника.

Этот побочный сын богатого кутногорского купца, воспитывавшийся в семье священника-подобоя, олицетворяет собой «верность и преданность королю Иржи его друзей и единомышленников» и одновременно помогает писателю показать жизнь и настроения различных слоев средневекового чешского общества. Марек из Тынца, воспринявший на службе необычного короля политические и духовные идеалы Ренессанса, соприкасается и с носителями зарождающейся гуманистической образованности (королевский секретарь и хронист Шимон из Сланого), и с людьми, близкими «чешским братьям» (Вацлав из Хрудими).

Подобно Ирасеку и Кубке, Ржига следует вальтер-скоттовскому принципу построения исторического романа. Марек из Тынца, фигура с точки зрения истории второстепенная, остается основным носителем сюжета от начала и до конца трилогии. Но хотя образ Иржи из Подебрад раскрывается не изнутри, а со стороны, мы все больше ощущаем, что именно в нем — средоточие исторического действия.

Богумилу Ржиге принадлежат характерные слова: «...в процессе литературного творчества мы не только стремимся к языковым открытиям, но и выбираем предшественников». Его историческая трилогия свидетельствует о том, что на рубеже 70-х годов он сознательно выбирает в качестве литературного «предшественника» выдающегося мастера эпического повествования Владислава Ванчуру, у которого учится концентрации действия, лаконизму и поэтичности языка. Первая часть трилогии Ржиги, роман «Преклони предо мною колена» (1971),— такая же прозаическая баллада о высокой и облагораживающей силе любви, как и ставший уже классическим роман Ванчуры «Маркета Лазарова». И подобно тому, как Ванчура от романа-баллады переходит к широкомасштабной эпопее «Картины из истории чешского народа», Ржига во второй части трилогии («Ожидание короля», 1977) и особенно в ее завершающем томе — романе «И остался только меч» (1-е издание — 1979, 2-е — 1980) все более расширяет охват событий, тематику. Роман о любви превращается в роман воспитания и роман политический.

Ржига признавался, что в последнем романе трилогии должен был «разжечь авторскую субъективность». При чтении книги все более отчетливо сознаешь, что в размышления героя автор вложил собственный жизненный опыт. И хотя даже в заключительной части трилогии герой значительно моложе писателя (Богумил Ржига родился в 1907 году), он во многом живет воспоминаниями. Трилогия Ржиги остросюжетна, но стержнем повествования служит не столько внешняя фабула, сколько духовное созревание героя.

Так же как Ванчура, Ржига смотрит на историю глазами человека своей эпохи и находит связь между современностью и прошлым. Выступая на дискуссии об исторической прозе, которую провел пражский журнал «Литерарни месичник», он говорил: «...над романом о современности и над историческим романом я работаю одним и тем же методом: подробно знакомлюсь с реалиями той или иной эпохи, уточняю авторский замысел, сгущаю жизненный материал, то есть произвожу отбор фактов, выделяя одно и отсекая другое.. В обоих случаях я использую творческие приемы современного романа и современные достижения в области языка. Я сознаю, что это метод работы, возможно, несколько необычный, но, право, не знаю, почему я, автор двадцатого века, который пишет для читателей этого же столетия, должен прибегать к какому-то камуфляжу...». В трилогии Ржиги современны не только язык (свободный от стилистических анахронизмов) и писательская техника (жизненные перипетии героя столь тесно переплетены с историческими событиями, что мы следим за сменяющимися с кинематографической быстротой событиями с неослабевающим вниманием, не скучая и в те моменты, когда писатель вводит документальные вкрапления или прибегает к интроспекции), но и сама идейная проблематика. В первой части трилогии это идея верности любви и долгу, во второй части, в романе «Ожидание короля», ставится вопрос об объективной оценке роли исторического деятеля, критерием которой являются интересы народа, в заключительной части трилогии нервом повествования становится проблема войны и мира Иржи из Подебрад выступает уже не только как прозорливый, осторожный и вместе с тем решительный противник феодальной раздробленности, но и как человек, предвосхищающий и приближающий будущее. Подчас его не понимают даже сподвижники. Он убежден, что в основе прочного мира может лежать только разумное соглашение с противником, а отнюдь не временная победа над ним. Вот почему этот мирный воитель, имея беспроигрышную возможность наголову разбить венгерского короля Матиаша Хуньяди (Матвея Корвина) вновь и вновь вступает в переговоры с ним. В конце концов король Иржи предательски обманут. «И остается только меч», который, как показала история, в какой-то мере принес ему успех. Политические идеалы Иржи из Подебрад оказываются иллюзией в современную ему эпоху. Но человеческая правота, правда «большой истории» на стороне «короля-чашника». Именно поэтому писатель прерывает повествование раньше, чем неудачи и смерть окончательно смешали все карты его героя.

Трилогия Богумила Ржиги, отмеченная государственной премией имени Клемента Готвальда, дает своеобразный ответ на вопрос о дальнейших судьбах исторического романа. Богумил Ржига, писатель для взрослых и одновременно литературный воспитатель юношества, создал историческую эпопею, которая сочетает в себе традиции патриотически-воспитательного исторического романа XIX века и черты романа философско-поэтического, в чешской литературе ярче всего представленного творчеством писателя XX века Владислава Ванчуры. Тем самым он еще раз доказал жизненность и неисчерпаемые возможности этого литературного жанра.

О. МАЛЕВИЧ

ВОПРОС О НЕСЧАСТЬЕ ПОСТАВЛЕН

Современный врач. Каким он должен быть? Каково его положение в обществе, где царят деньги? Как складываются его взаимоотношения с больными? Этим вопросам посвящены вышедшие одновременно романы известных французских писателей «Врач-чародей» Андре Стиля и «Жан-Луи Трабар, врач» Алена Боске. Андре Стиля, члена Гонкуровской Академии, у нас давно и хорошо знают. На русский язык переведены многие из его новелл и романы «Первый удар», «Мы будем любить друг друга завтра», «Обвал», «Последние четверть часа», «Роман-сонж». Ален Боске, успешно выступающий в разных жанрах: в поэзии, в прозе, в критике и искусствоведении, известен у нас больше как поэт [1].

Вниманию читателей мы предлагаем опубликованную в «Юманите» статью Андре Вюрмсера о книге Андре Стиля и интервью Алена Боске, взятое у него Н. Поповой в связи с выходом его романа.

ВСЕГО ЛИШЬ ОШИБКА

André Stil. Le Médecin de charme. Paris, Bernard Grasset, 1980.

Андре Стиль. Врач-чародей. 1980.

«Врач-чародей» — типический персонаж, в своей совокупности отражающий, что происходит с человеком по мере того, как трансформируются его первоначальные жизненные принципы, а чувство долга притупляется, подчиняясь требованиям прибыльной профессии. Сознание собственной ответственности при этом теряет свою силу и остроту, если не утрачивается полностью. Главная забота такого врача — произвести хорошее впечатление на больных, чтобы завоевать в их лице постоянных клиентов. Ведь нужно оплачивать содержание кабинета, нужно в конце концов просто жить, причем жить все лучше, все роскошнее — а для этого необходимо привлечь клиентуру. Андре Стиль намеренно подчеркивает, какой отвратительный смысл приобретает этот коммерческий термин в применении к благороднейшей из профессий, которая должна быть абсолютно свободна от меркантильных соображений.

Доктор Менаж вовсе не родился чародеем. Желание держать дорогостоящую прислугу, иметь яхту для приятных морских прогулок и вкус к пирушкам появились одновременно с успехом. Начинал он когда-то работать в кабинете, принадлежавшем на коллективных началах нескольким врачам, но это его не устроило. На первых порах он не выписывал чересчур длинных рецептов и не заставлял приходить на прием больных чаще, чем это требовалось. Однако постепенно он, как и все, освоил свое ремесло, научившись извлекать из него как можно больше выгоды. Что вы хотите? Ремесло есть ремесло, не так ли?.. Притупление профессиональной бдительности, утрата добросовестности приведут к ошибкам, расплачиваться за которые будут больные — быть может своей жизнью. Ничего не поделаешь, каждый может ошибиться. Извините, но такова жизнь.

Так, наверное, ответил бы доктор Менаж, со всеми удобствами устроившийся в этом мире и поступающий скорее неосознанно, чем цинично. В первой части романа подробно обрисовывается сам персонаж, его подъем по ступеням социальной лестницы, поведение с больными («Если вы сохраните мне верность, то я...» — и так далее), взаимоотношения с друзьями по кутежам, с женой, которая, даже не понимая полной меры его духовной деградации, все же чувствует безотчетную тревогу. Первые сто страниц написаны с беспристрастной точностью — перед нами клиническое исследование, в котором нет ничего от карикатуры. Автор ставит вопрос о несчастье[1], не впадая при этом ни в дидактизм, ни в излишнее красноречие. Правда и только правда. И хотя речь идет всего лишь о посредственности, обосновавшейся в маленьком городке на Севере, эта правда таит в себе революционную силу. Сам по себе подобный жалкий человек не заслуживает ничего, кроме презрения, но главная ответственность падает не на этого мелкого буржуа.

Среди больных доктора Менажа мы видим Клару, жену Марселя, вышедшего на пенсию железнодорожника. Она вступила в критический для женщины возраст и с жалобами на тревожащие ее недомогания обращается к доктору, который успокаивает ее: «Ничего страшного». И слишком уверенный в себе (да и времени маловато — ведь в приемной ждут «клиенты»), он говорит Кларе: «Приходите через месяц». Небрежно осмотрев Клару, доктор Менаж и не подумал послать ее на обследование, которого требовала элементарная осторожность. Рутина. Визит — один из многих. Когда через полтора года Клара едет на несколько дней в гости в Париж и случайно знакомится с молодым врачом, который помогает ей пройти необходимое обследование, уже слишком поздно.

Вторая часть книги построена как внутренний монолог Клары (один раз мы слышим Марселя). Мы становимся свидетелями торжества Зла. Хотя это Зло уже не замалчивают — с тех пор как в некоторых случаях научились его излечивать, хотя это несчастье уже считается не таким неотвратимым, рак по-прежнему вызывает ужас. Вторая часть книги являет собой скрупулезное исследование страха и воли к жизни, ухудшений и ремиссий, безнадежности и внезапных просветов. Одиночество больного. Разрыв со всем миром. Путь на Голгофу, проделанный в одиночку. Последние

[1] Его стихи опубликованы в «ИЛ», 1981, № 3.

[1] Цикл произведений А. Стиля последних лет объединяется общим названием «Поставлен вопрос о несчастье».

дни приговоренной (пусть не дни, а месяцы или даже годы — от этого ничего не меняется). Она знает и в то же время сомневается. Человеческое отчаяние и сверхчеловеческое мужество. Это книга о том, о чем никогда не писали, о чем не осмеливались писать — о неумолимом, о непреодолимом и одновременно о прекрасном.

То, что Клара — жена железнодорожника, не имеет особого значения, разве что женам президентов — генеральных директоров «врачи-чародеи» уделяют больше внимания и на консультации к профессорам их посылают с меньшим опозданием. Но и многие другие женщины, даже более образованные, чем Клара, не лучше разбираются в языке медицины, который еще Монтень осуждал за недоступность, и не понимают, что происходит в их собственном теле, которое, будучи здоровым, жаждет лишь удовольствий: вволю есть, пить, любить, полными легкими вдыхать горный воздух. Но как только в этом теле что-то разлаживается, оно завладевает всеми мыслями, заставляет остановиться время, своими непредсказуемыми капризами то повергает в отчаяние, то внушает надежду.

По чьей вине умрет Клара? Кто убил ее? Доктор Менаж? Да, но ведь каждый человек может ошибиться, не так ли?.. По сути же античеловечно само поведение такого врача, а еще более античеловечен существующий порядок вещей, общественные отношения и власть денег, которые приводят к подобным последствиям.

Меня не пугают обвинения в том, что я, как всегда, ко всему примешиваю политику, и мне хочется подчеркнуть, что маленькая по объему, но очень значительная по содержанию эта книга в будущем послужит обвинительным документом, одним из самых сильных, которые создавал когда-либо Андре Стиль. Документом иного рода, чем романы из цикла «Три шага в войне», посвященные молодым французам, которых заставили воевать против алжирского народа, обличающие колониальную войну сильнее, чем десять исторических книг, в которых слышатся звуки горна, бой барабанов и налицо все, что полагается в подобных случаях. Иного, чем романы и новеллы, рассказывающие о борьбе рабочего класса (такие понятия, как коммунист, профсоюз или забастовка, здесь ни разу не упоминаются).

И в то же время перед нами — обвинительный документ. Разве виновники смерти Клары — не алчность и корыстолюбие, которыми заражена вся наша медицина? Разве не деньги разобщают врачей между собой и одновременно отъединяют их от больных? Что кроется за слишком небрежными осмотрами, которым подвергалась Клара, как не жажда приобретательства, как не стремление к новым удовольствиям, в том числе и дорогостоящим пиршествам в лучших ресторанах? Поначалу не ясно, зачем с такой скрупулезностью описывает их Андре Стиль, однако стоит дочитать книгу до конца — и все становится понятно. Сама наша жизнь, которую мы принимаем со всеми ее законами и преклонением перед властью, виновна в смерти Клары. Не слишком ли беспощаден автор к своему «врачу-чародею»? Быть может. Две последние страницы — не столько завершающий крик, порожденный отчаянием, сколько призыв к мести (жена врача кончает с собой; мне было бы достаточно, если бы она прониклась отвращением к мужу и ушла от него). Но гнев, направленный против тех, по чьей вине стала возможна трагедия Клары, не может быть чрезмерным.

Чтобы написать «Врача-чародея» — книгу, исполненную возмущения, человеческой солидарности, сочувствия к боли и неприятия ее, необходимо было обладать большим мужеством. При создании произведений подобного рода автор рискует впасть в сентиментальность, риторику, чересчур громкий пафос, пусть даже и продиктованный праведным чувством гнева. Каждую минуту автор мог споткнуться, однако этого не случилось. Он в совершенстве владеет материалом и своим пером. Ему под силу сказать все. И он знает, как это сделать. Сдержанно. С достоинством. И необычайно сильно.

АНДРЕ ВЮРМСЕР

АЛЕН БОСКЕ: «Я КОНСТАТИРУЮ НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ...»

Alain Bosquet. Jean-Louis Trabart, médecin. Paris, Bernard Grasset, 1980.

Ален Боске. Жан-Луи Трабар, врач. 1980.

— Что побудило вас написать роман «Жан-Луи Трабар, врач»?

— Как вы знаете, значительную часть моего творчества составляют стихи — я пишу их постоянно. Только в январе 1981 года в издательстве «Галлимар» у меня вышло два поэтических сборника. Написанные мною до сих пор прозаические книги — это своего рода свидетельства, с помощью которых я борюсь со временем и с возрастом. Автобиографический характер имеет и мой предыдущий роман «Русская мать». В случае же с «Жаном-Луи Трабаром, врачом» мне хотелось рассказать не о себе, а о каком-нибудь другом человеке. Меня очень интересует выведенный мною персонаж — современный врач-терапевт. Каждый человек рано или поздно вступает в такой возраст, когда поневоле начинает сталкиваться с врачами. Не считая литературы и журналистики, которые в силу моей собственной принадлежности к ним хорошо мне знакомы, профессию врача я изучил более основательно, чем другие. У меня было множество встреч с врачами, они охотно отвечали на мои вопросы, и эти беседы помогли мне лучше понять стоящие перед ними проблемы.

— Что же это за проблемы?

— На первый взгляд они очень просты, а в действительности чрезвычайно сложны. Каким образом должны строиться взаимоотношения между врачом и больным? Как врач должен разговаривать с больным? Как помочь больному избавиться от сковывающей его робости? В состоянии ли каждый больной объяснить свое недомогание? Любой ли врач способен внушить доверие

пациенту? Когда и как возникает взаимная симпатия? Обязан ли врач говорить во всех случаях правду или в интересах самого больного держать его в неведении? Бывают ли мнимые больные? И не долг ли медика — исцелять не только тело больного, но и врачевать его душу? В наши дни больной и призванный его лечить врач все меньше понимают друг друга, и это вызывает очень большую тревогу.

— При создании портрета Жана-Луи Трабара вы заимствовали черты характера какого-то определенного человека?

— Прообразами для моего героя послужили сразу три врача, с которыми я очень хорошо знаком, но, естественно, портретное сходство с ними искать бесполезно. Я старался показать обобщенный характер, а не срисовывать с натуры черты конкретных людей. Показанный мною врач — вовсе не исключение. Мне кажется, это довольно распространенное в нашем обществе явление, когда даже честно выполняющий свою работу человек не может отделаться от острого чувства недовольства собой и окружающей действительностью. С подобной ситуацией у нас сталкиваешься довольно часто: человек как будто прочно устроен в жизни, все у него стабильно, а в душе — пустота и ощущение неуверенности и неблагополучия.

— Как развертывается действие вашего романа?

— Действие книги занимает всего двадцать четыре часа. Проснувшись однажды утром, мой преуспевающий герой чувствует, что больше не в силах следовать давно заведенному порядку, и подвергает строгому пересмотру собственное существование. За эти сутки сорокадевятилетний доктор Трабар вспоминает всю свою жизнь: детство, вторую мировую войну, годы учебы, встречу с будущей женой, участие в алжирской войне, упрочение на медицинском поприще. Можно сказать, в романе два времени: время действия, которое строго линейно, и время памяти, которое петляет. Хотя образ героя и приобретает от этого некоторую противоречивость, но, погружаясь вместе с ним в нахлынувшие на него воспоминания и проникая в закоулки его памяти, легче понять его сегодняшнее состояние — ведь подобно всем людям он с годами менялся.

— Кто же ваш герой — бунтарь или конформист?

— Пожалуй, и то, и другое. Взбунтовавшись против общества, которое мой герой не приемлет и в котором не может быть счастлив, он забрасывает и своих многочисленных больных, которые ждут от него помощи. Отключившись от постоянного круга обязанностей, он изменяет и своему долгу: какую бы мучительную неудовлетворенность ни испытывал врач в душе, он обязан лечить больных, тем более если он стал врачом по призванию. Спустя сутки Жан-Луи Трабар возвращается в «бесчестье заведенного порядка», хотя и отвергает этот порядок. Однако произведенный этим человеком безжалостный самоанализ, испытанный им порыв к самосовершенствованию, желание дарить больше тепла людям должны дать свои результаты.

— Существует ли во Франции обычай, когда читатели пишут автору книги письма, чтобы высказать ему свое мнение?

— Да, такой обычай существует, но я думаю, он не так распространен, как в Советском Союзе. Быть может, потому, что наш широкий читатель относится ко всему более скептически, чем ваш. Кроме того, играет роль характер самого автора. Есть писатели, которые любят выступать по телевидению и радио — им нравится открытый диалог с публикой. Другие же предпочитают писать в тихом уединении и избегают непосредственных контактов с читателями. Я нахожусь где-то посредине между этими двумя категориями. Я охотно участвую в обсуждениях моей прозы, но воздерживаюсь от публичных высказываний по поводу стихов. Тем не менее должен признаться, что меня очень радует недавняя публикация моих стихов в вашем журнале. После каждого из моих романов я получаю в среднем триста — четыреста писем, которые содержат интересные мысли. Ваши писатели получают, наверное, больше.

— Роман «Жан-Луи Трабар, врач» вышел одновременно с романом Андре Стиля «Врач-чародей». Есть ли, по вашему мнению, между ними что-нибудь общее?

— Прежде всего нужно сказать, что Андре Стиль — мой большой друг и я очень люблю его книги. Но к самой проблеме мы подошли несколько по-разному. Роман Андре Стиля родился в результате глубокого потрясения личной драмой человека, умирающего от рака. Я бы выразился так: книга Стиля — это реально пережитая история, а моя — плод размышлений и воображения. Сближает же наши книги то, что мы оба очень озабочены сложившейся в нашем обществе ситуацией, при которой врачи по сути все больше отдаляются от больных. Клиентура у врачей неуклонно растет, времени на прием пациентов отводится все меньше, в результате врачу просто некогда поговорить как следует с человеком, который ищет у него помощи. Существовавшие когда-то домашние врачи сейчас практически забыты. Человеческий контакт, который столь необходим между врачом и больным, заменили анализы, рентгеноскопия, лабораторные обследования. Современный больной растерян — с ним почти не разговаривают или же изъясняются на слишком наукообразном языке. Да и сам врач пребывает в растерянности: он так загружен текущей работой, что ему некогда следить за развитием медицины и новейшими открытиями в ее области, или же, напротив, он погружается в сугубо теоретические изыскания и полностью отрывается от практики.

И не сговариваясь, мы с Андре Стилем пришли к схожим выводам. В конечном итоге, каждый по-своему, мы придали проблеме социальный характер. И как ни различны наши герои, оба они порождены одним и тем же недугом нашего общества. Я, правда, воздерживаюсь от вынесения приговора своему врачу — я лишь констатирую обнаруженное мною неблагополучие.

ТУДА, ГДЕ ДЕЙСТВИЕ

John Sayles. The Anarchists' Convention. Boston, Little, Brown and Company, 1979.

Джон Сейлес. Съезд анархистов. 1979.

Тема дороги — одна из самых американских. И может, за последние полторы сотни лет ни в какой другой литературе не появилось такого количества произведений в прозе и в стихах, где бы герой, а иногда и сами авторы не пускались в путь. «Взад-вперед, через континент, дзинь-дзинь, были бы колеса, лошади, рельсы, автомобиль, дилижанс, коляска, пешие, конные» [1] — так странствуют литературные герои, ища приключений или, напротив, покоя; от цивилизации в глухомань и из провинции в столицу; за журавлем в небе и за хлебом насущным; к людям и от людей; от себя и к себе. Здесь можно припомнить и героев Купера, пересекавших прерии в крытом фургоне, и Уолта Уитмена, воспевшего большую дорогу, и целеустремленные путешествия Стейнбека и Колдуэлла, и отчаянную гонку «битников» Керуака.

Куда же и от чего бегут, к чему стремятся герои пятнадцати рассказов молодого писателя Джона Сейлеса, входящих в книгу «Съезд анархистов»?

Ушла от обеспеченной, но пустой жизни в родительском доме Нина — одинокий странник среди таких же одиноких и неприкаянных ее подруг по временной работе в благотворительной организации («Приют для скитальцев»). В безопасный, уютный и красочный мир киноиллюзий «бегут» молодые люди и подростки — унылые пленники тусклого провинциального быта («Дети киноэкрана»). Беглецы поневоле, вернее, не беглецы, а беженцы — мексиканцы, нелегально пробирающиеся в Америку, чтобы, берясь за любую поденную работу, собрать немного денег и переслать голодающим семьям («Фиеста»). Мыкается по дорогам горемычная Тан, южновьетнамская девушка, чья судьба исковеркана американо-вьетнамской войной, лишившей ее сперва дома, а потом и родины («Тан»). Накачиваясь наркотиками, чтоб не заснуть, гонит тяжелый грузовик по автостраде Райдер П. Мозес — символ бесчеловечной всеамериканской гонки: «единственный способ выиграть — не останавливаться никогда» И так многие персонажи рассказов Сейлеса. Вариантов почти столько, сколько действующих лиц, и, конечно, отношение автора к своим героям разное.

Симпатии его отданы тем из них, кто, движимый внутренней неудовлетворенностью и неистребимой жаждой жизни, достойной человека, ищет выхода из замкнутого круга или хотя бы отдушины, ищет с упорством, мужеством и верой, как Брайан Макнейл, герой шести рассказов, составляющих центральную часть сборника. И тем (не видящим выхода, но непокоренным), кто бросает вызов смирившимся и обывателям, «жирным, как мухи». Это Райдер П. Мозес. К персонажам, не склонным к бунтарству, чьи стремления ограничены клишированными представлениями о счастье, Сейлес относится с сочувствием, но и с иронией. Временами ирония, вообще свойственная писательской манере Джона Сейлеса, становится язвительной и жестокой. Например, в рассказе «Обезьяна Шиффмана» — остроумной пародии на сексбоевики массовой беллетристики. Или в новелле «Съезд анархистов», давшей название сборнику, произведении тонком и актуальном, в котором высмеивается нелепая деятельность престарелых анархистов-террористов, сопровождаемая громкой фразеологией. Собственно, и деятельности-то нет никакой. Только ради того, чтобы провести ежегодные перевыборы своего комитета, и собираются в банкетном зале отеля «Нью-Йоркер» ныне респектабельные бунтари на покое: Фил Ральф, «который проспал бы саму революцию, если бы она совершилась раньше полудня», впавшая в старческий маразм миссис Аксельрод, знаменитая тем лишь, что знавала Эмму Голдман, мистер Фут, демонстративно отказывающийся съесть виноградину из пунша, ибо это «было бы нелояльно» по отношению к виноградарям, забастовка которых, впрочем, давно кончилась, и им подобные. Чуть ли не в баталию превращаются дебаты по «насущному» вопросу: проводить голосование до или после обеда. «Зачем портить обед?» — кричит одна сторона. «После обеда никого не найдешь, кто б не заснул»,— резонно возражает другая сторона. Но это все пустяки по сравнению с тем взрывом возмущения, с тем единым «р-революционным» порывом, заставляющим всех грудью встать против управляющего отелем, который предлагает им всего-навсего... перейти в другой зал.

Серия рассказов о Брайане Макнейле — это современная повесть о воспитании чувств, о возмужании, становлении характера. Отец Брайана двадцать лет проработал ночным сторожем на железной дороге и все мечтал о Дальнем Западе, о Калифорнии, где солнце, где ветерок приносит «аромат фруктовых деревьев с полинезийских островов», где океан «чист, прозрачен и чуть холодит кожу. Глянешь на него — и сердце может не выдержать такой красоты». Однажды он совершил путешествие, да недалеко уехал: зимней ночью укрылся от холода в товарном вагоне, предварительно приняв «согревающее», и его окоченевшее тело обнаружили в соседнем городе.

Дальний Запад, Калифорния, куда устремляется 17-летний Брайан, олицетворяет для него все то неведомое и прекрасное, что влечет человека в юности, широкий мир свободы и действия. Дороги, по которым он упорно движется через всю страну где на попутных машинах, а где пешком,— его «университеты». Здесь он постигает трагедию и трагикомедию жизни, учится распознавать ее истинные ценности. Вот Брайан добирается до цели, и, как следовало ожидать, ему очень скоро открывается, что Калифорния — это еще одна великая американская иллюзия. Символичен фонтан на площади в маленьком городке. Скульптурная группа старателей под названием «Вечная надежда», а вокруг нее, в воде, сверкает множество монет. Кажет-

[1] Лоуренс Ферлингетти. Из стихотворения «Пустившись в путь из Сан-Франциско».

ся, протяни руку и достанешь — но дно фонтана гораздо ниже уровня улицы, до него не дотянуться. Да и солнце, и белый пляж, и океан не для такой голи перекатной, как Брайан. И все же в нем нет и следа разочарования или отчаяния: Брайан полон сил, верит в себя, в жизнь. Он снова в пути. Его дорога будет нелегкой, но у таких, как он, есть будущее.

Встречи Брайана составляют сюжетный и смысловой стержень рассказов «Распад», «Племя», «Золотой штат». Вот история одного из полунищих бродяг, первых, кого Брайан встретил в «золотом штате» — Калифорнии. «Мать была на последнем месяце, когда они побросали все на пикап и двинулись на Запад... В 1931 м... кто-то сказал им, что в Калифорнии они смогут прокормиться». За этими словами встают события экономического кризиса 1920—1933 годов и позднейший массовый исход переселенцев в Калифорнию, описанные Стейнбеком и Колдуэллом. Этих писателей вспоминаешь, читая историю о разорении фермерской семьи на нынешнем Среднем Западе, поведанную Брайану Мери-Бет, девушкой, занимающейся контрабандой наркотиков. Ее отец потерял дедовскую ферму, будучи не в силах конкурировать с земельными спекулянтами («Распад»). Или читая о жизни мелких ранчеро в тех же местах («Племя»). Обращение к темам «Табачной дороги» и «Гроздьев гнева» — не повторение, а продолжение, мост в настоящее.

Сейчас иные времена и жизнь иная. Примет сегодняшней американской действительности с ее контрастами, психозами, иллюзиями, жестокостью и надеждами у Сейлеса предостаточно. Вот например, Трит, по прозвищу Сумасшедший Крот, из рассказа «Распад», жертва атомного психоза. Нечастый в художественной литературе образ бункеромана. Преследуемый маниакальным страхом перед ядерной войной, он укрылся от нее в своем атомном убежище, устроенном по последнему слову современной техники. Сумасшедший Крот — фигура, безусловно, пародийная, это своеобразная сатира на так называемых «алармистов», людей, пребывающих в страхе и уныний перед многими явлениями нашего электронно-кибернетического века.

Какова же участь других персонажей, тех, кого автор принимает всерьез и кто пользуется его расположением? Терпит неудачу встреченный Брайаном «на этой ничейной земле между небом и Бруклином» Коди Спрейг из рассказа «Племя». Вымотанный питтсбургским конвейером, он бросил все и приехал сюда, в «свою Калифорнию», где купил на последние сбережения два акра пустоши и бизона, задумав устроить аттракцион «Дикий Запад» для автотуристов. Но дело Спрейга лопнуло, не успев начаться. Достиг «своей Калифорнии» индеец Хонда Джо, вернувшийся сюда, в родные места, с вьетнамской войны невредимым, «чтобы разбиться на этом проклятом мотоцикле... А не будь мотоцикла, так он, верно, пил бы горькую, пока не помер, как многие в этих краях». Нет счастья и другим персонажам, с которыми судьба сталкивает Брайана на его долгом пути. Символична в этом смысле сцена хлощения лошадей на одном из ранчо, выписанная натуралистично и жестко. С такой же жестокостью «общество благоденствия» убивает личность в человеке, лишает его духовных сил. Любопытно, что два столь несхожих во всех отношениях писателя, как Сейлес и Владимир Маканин, развивавшихся в различных политических, социальных и нравственных климатах, чье творчество уходит корнями в разные литературные традиции, избрали одну и ту же метафору в своих притчах, клеймящих зло обезличивания, «духовной кастрации» (В. Маканин. Портрет и вокруг).

Сейлес умеет остро видеть жизнь и глубоко осмыслить увиденное. Поэтому так достоверны его многочисленные персонажи — каждый со своим характером, судьбой, профессией, накладывающей особый отпечаток на личность и речь. Особо следует отметить мастерство, с которым Сейлес владеет искусством диалога. Его рассказы драматургичны, несомненно, там, где того требует авторский замысел. Дело, конечно, не только в любви Сейлеса к приемам драматургии, но и в том, что составляет саму ее суть — в столкновении человеческих характеров, на котором писатель часто строит свои произведения. И все-таки они остаются рассказами, даже самые драматургичные из них: «Приют для скитальцев» и «М-80, Небраска...», где авторский текст практически ограничен ремарками (в «М-80, Небраска...» он даже заключен в скобки), обозначающими место действия и расположение героев на «сцене» рассказа, их движение, мимику. Впрочем, не зря ведь этот молодой писатель успел побывать и актером, и сценаристом, прежде чем выпустил два своих первых романа: «Гордость девчонок с улицы», вышедший в 1975 году, «Профвзносы» — в 1977-м — последний высоко оценен американской критикой «за убедительность характеров, за моменты правды и надежды, за глубину изображения труда и жизни».

В книге Джона Сейлеса «Съезд анархистов» обнаруживаются те признаки обращения к литературной традиции 30-х годов, возрождения интереса к социальной тематике и человеку труда, которые обозначились в течение последнего десятилетия в творчестве молодых прозаиков и поэтов США. Трудно пока сказать, перерастут ли эти признаки в тенденцию и произойдет ли «смена эстетических ориентиров». Важно, что они существуют и стали фактом сегодняшней американской литературы.

ЗАЛЕРИЙ МИНУШИН

Из месяца в месяц

На снимке: репродукция картины Маргариты Пуевой «Милосердие».

(Еженедельник «Народна култура»)

АВСТРИЯ

20-ЛЕТИЕ ЖУРНАЛА «МАНУСКРИПТЕ»

Австрийскому журналу «Манускрипте», одному из авторитетных изданий в Австрии, исполнилось двадцать лет. Редко литературные журналы на Западе доживают до такого возраста: слишком велики бывают финансовые затруднения, которые им приходится испытывать. Основатель журнала Альфред Коллерич сам вряд ли предполагал, что будет когда-нибудь праздновать юбилей.

«У литературных журналов, как правило, короткая жизнь, — писал он еще в 1963 году. — В этом есть одно преимущество: они всегда остаются молодыми». Такой журнал, по его убеждению, должен быть «первооткрывателем, посредником, представителем, который пишет живую литературную историю и налагает отпечаток на современное литературное сознание».

«Манускрипте», как пишет в юбилейной статье австрийский журнал «АБ», с честью выполняет это назначение. Альфред Коллерич сумел собрать вокруг себя виднейших авторов и открыть много новых талантов. Журнал не только создал известность таким австрийским писателям, как Эрнст Яндль, Эльфрида Елинек, Герт Йонке и другие, здесь печатались немецкоязычные авторы разных стран и поколений.

Успех у читателя «Манускрипте», пишет журнал «АБ», во многом способствовал росту самосознания австрийских писателей. Благодаря ему слово «поэт» снова стало уважаемым.

БОЛГАРИЯ

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ БОЛГАРСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Антифашистская тема занимает одно из ведущих мест в болгарском искусстве. Новое воплощение она получила в произведениях двухсот художников

и скульпторов, представленных на Общей художественной выставке в Ботевграде, которая посвящена прославленной партизанской бригаде имени Чавдара. Рамки определенной тематики не помешали авторам работ, как отмечают «Народна култура» и «Пулс», подняться до обобщения, добиться большой художественной выразительности как в работах общего плана (таких, как «Баллада» С. Русева, «Расстрел» А. Пацева, «Ночи в горах» И. Димова, «В конце зимы» Ц. Дочева, «Милосердие» М. Пуевой), так и при воссоздании образов конкретных людей — бойцов бригады: Первого секретаря ЦК БКП, Председателя Государственного совета НРБ товарища Тодора Живкова, одного из командиров отряда Бориса Тошева, известного писателя Веселина Андреева и многих других участников антифашистской борьбы. В партизанском лагере В. Андреев написал стихи, которые вошли затем в его сборник «Партизанские песни», приобретший исключительную популярность после победы. «Народна култура» и «Литературен фронт» отмечают удачные работы художницы З. Дубовой, в которых дается интересная интерпретация стихотворений В. Андреева «Раздумье» и «Неотправленное письмо».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МЭГГИ СМИТ — ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ

Одной из последних работ известной ирландской писательницы Эдны О'Брайен стала биография английской романистки XX века Вирджинии Вулф. Режиссер Робин Филипс переделал эту книгу в пьесу под названием «Вирджиния», которая, как пишет рецензент газеты «Таймс», с успехом идет в лондонском Тиэтр-роял в Хеймаркете.

Трудно было подобрать актрису на заглавную роль. По совету известного английского режиссера Кэннета Тайнена, Эдна О'Брайен попросила Мэгги Смит, дважды лауреата премии Оскар, попробовать себя в роли Вирджинии Вулф.

В интервью после премьеры Мэгги Смит заметила: «Играть Вирджинию Вулф особенно трудно, потому что она наша современница. Даже в кругу моих знакомых есть люди, которые ее хорошо знали лично, которые помнят, как она говорила, двигалась, одевалась, выглядела. Поэтому я сразу должна была примириться с тем, что внешнего сходства, даже отдаленного, мне не добиться. И свою задачу я видела в том, чтобы создать на сцене образ Вирджинии Вулф так, как его почувствовала Эдна О'Брайен. Единственное сходство, на которое я могла рассчитывать, было сходство внутреннее. Моей правдой стала правда характера».

Высокую оценку игре Мэгги Смит дал театральный критик журнала «Листнер» Д. Элсом.

ВЕНГРИЯ

«ПОЮ О БЕЗГРАНИЧНОСТИ»

Старейшину венгерской литературы поэта Шандора Вёреша один из видных критиков Жолт Кёхати назвал недавно самым крупным представителем венгерской литературы 70-х годов.

Шандора Вёреша считают в Венгрии поэтом, выражающим романтическое мироощущение своего современника, черпающего вдохновение в природе, в сказках и мифах. Мастерство владения метафорой и аллегорией, детская непосредственность восприятия мира — «стихия свободы поэта» — сделали Шандора Вёреша одной из примечательных фигур венгерской поэзии.

Сейчас в Венгрии широкое внимание привлекла новая книга стихов Ш. Вёреша «Пою о безграничности».

Венгерские кинематографисты обратились к известному произведению Шандора Вёреша «Психея», жанр которого сам поэт обозначил как «записки одной бывшей поэтессы в стихах и прозе». Режиссер фильма Габор Боди попытался донести до зрителя вёрешское толкование античного мифа о Психее как олицетворении человеческой души.
Венгерская критика единодушно называет этот фильм «событием в венгерском кинематографе», хотя и отмечает излишний натурализм и затянутость. Но тем не менее, по мнению критики, фильм воспринимается как взволнованный рассказ о социальных проблемах современной женщины.
На снимке: Патриция Андриани в главной роли в фильме «Психея».

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

На снимке: одна из иллюстраций книги «Традиции и обряды гватемальцев».

(Газета «Опиньон»)

Человеческая личность, ее место в пространстве безграничного космоса — вот основная тема его нового сборника. «В пространстве безграничного космоса я представляю нашу родину», — говорит поэт. Человек — песчинка в мироздании и человек — властитель космоса. Человек как воплощение света и тени, безмятежности и страха, беспечности и гнетущих сомнений, но в конечном счете полный безграничной веры в победу гуманных чувств и мыслей, и все это нашло отражение в новом сборнике Шандора Вёреша, отмечалось на страницах журнала «Критика».

ГВАТЕМАЛА

СО СЛОВОМ МИГЕЛЯ АНХЕЛЯ АСТУРИАСА

Народу Гватемалы посвящена книга Марии Кристины Ориве «Традиции и обряды гватемальцев» с фотографиями Сары Фасио и текстом Мигеля Анхеля Астуриаса (роман писателя «Его Зеленое Святейшество» был опубликован в «ИЛ», 1960, № 12), подготовленная для буэнос-айресского издательства «Ла-Асотеа». В книге представлены пейзажи Гватемалы — с ее вулканами, плодородными долинами, густыми лесами, по главное, читатель знакомится с гватемальцами, их повседневной жизнью, их древней культурой, обычаями, освященными веками. По оценке рецензента аргентинской газеты «Ла опиньон», этот альбом никак не может быть отнесен к категории туристических путеводителей. Каждая из представленных в нем фотографий несет особую смысловую нагрузку, иллюстрируя прекрасные строки Мигеля Анхеля Астуриаса, исполненные любви к Гватемале и простым людям его родины: «Пусть будет добрый урожай, пусть веселы, здоровы будут дети, пусть улыбка осветит твое лицо и беда не коснется твоего жилища».

«В нашей книге, — сказала Сара Фасио, — мы особенно пристально всматриваемся в молодое поколение гватемальцев. Их глаза смотрят в будущее, в них — надежда на лучшую жизнь».

ГДР

«...Я НЕ ОТДЕЛЯЮ ЛИТЕРАТУРУ ОТ ПОЛИТИКИ...»

Газета «Нойес Дойчланд» поместила интервью с известным писателем, лауреатом Национальной премии Гансом Пфайффером (о нем см. «ИЛ», 1976, № 5 и «ИЛ», 1981, № 1). Отвечая на вопросы корреспондента га-

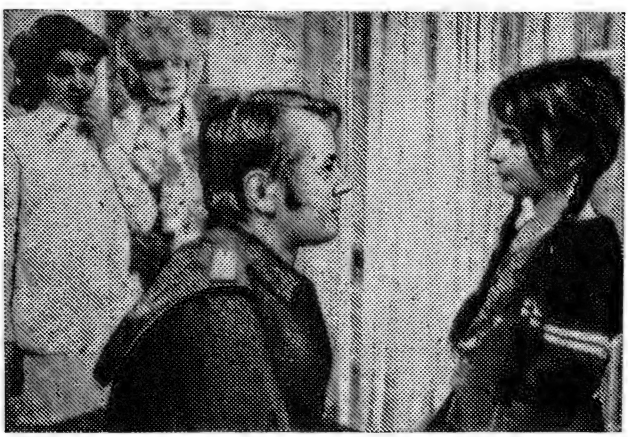
«Дело Сильвии Карсинке» — новый телевизионный спектакль по пьесе одной из старейших писательниц Германской Демократической Республики Гедды Циннер (о ней см. «ИЛ», 1979, № 5 и 1980, № 9). В нем рассказывается о девятилетней девочке Сильвии, которую берет в семью бездетная журналистка Беата Гутермунд.

«Гедда Циннер в своей пьесе подняла важные вопросы воспитания детей, раскрыла сложности детской психологии,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Не сбиваясь на дидактический тон, она ставит серьезные проблемы педагогики... Телевизионные постановки такого рода очень важны для зрителя. К сожалению, они редко появляются на наших экранах».

Рецензент отмечает удачную работу режиссера Клауса Грабовского и эмоциональную игру юной исполнительницы роли Сильвии Карин Шрёдер.

На снимке: сцена из телевизионного спектакля «Дело Сильвии Карсинке».

(Газета «Нойес Дойчланд»)



зеты о том, почему автор так часто обращается к истории и делает своими героями Карла Маркса, Томаса Мюнцера, Августа Бебеля, Генриха Гейне, Пфайффер сказал:

— Я всегда считал, что история помогает людям лучше понять современность. Уроки Великой крестьянской войны, Реформации, Великой французской революции, революционного движения 1848 года, традиции международного рабочего движения повлияли на ход борьбы нашего народа в XX веке. Я не задаюсь целью писать исторические книги. Часто мы знаем, что произошло, но не знаем, как произошло то или иное событие. И тут у писателя есть возможность для фантазии, которую я считаю не только допустимой, но и необходимой... Я охотно пишу для телевидения (Пфайффер участвовал в создании телевизионного фильма «Карл Маркс. Молодые годы»). Я считаю, что телевидение дает автору большую свободу в осуществлении его замыслов, его идей. Работа с режиссером телевидения идет в более тесном контакте, и я очень благодарен, в частности, Вольфу-Дитеру Пансе и Петеру Дойчу за наше плодотворное сотрудничество. Сейчас я работаю над многосерийным фильмом об истории чартизма, на очереди — телевизионный фильм об Августе Бебеле...

— Недавно на партийной конференции вы сказали, что важнейшим шагом вашей жизни вы считаете вступление в 1946 году в коммунистическую партию. Не можете ли вы рассказать об этом подробнее?

— Для меня этот шаг был естественным после пережитой войны. Я понял, что коммунистическая партия — единственная партия, которая не хочет войны. Уже 35 лет я активно участвую в жизни партии. Я не отделяю литературу от политики, и моя общественная деятельность тесно связана с тем, что и как я пишу... XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза еще раз доказал всем, что Советский Союз продолжает бороться за мир во всем мире. Съезд определил и задачи в области культуры. Я думаю, что наряду с большими и серьезными вопросами, которые поставил X съезд Социалистической единой партии Германии, они дадут писателям Германской Демократической Республики новые, важные темы для творчества...

ИТАЛИЯ

ВЫСТАВКА СОЛИДАРНОСТИ С РАБОЧИМ КЛАССОМ

«Эта выставка не похожа на другие. Она прежде всего является свидетельством того, что художники возложили на себя важную задачу — посредством продажи своих произведений помочь профсоюзам в организации национального фонда солидарности, чтобы хоть частично компенсировать значительный ущерб, понесенный рабочими, которые больше месяца защищали свои права» — так представляет каталог прошедшую в декабре 1980 года в Турине художественную выставку, ставшую своеобразным символом солидарности рабочего класса и интеллигенции страны.

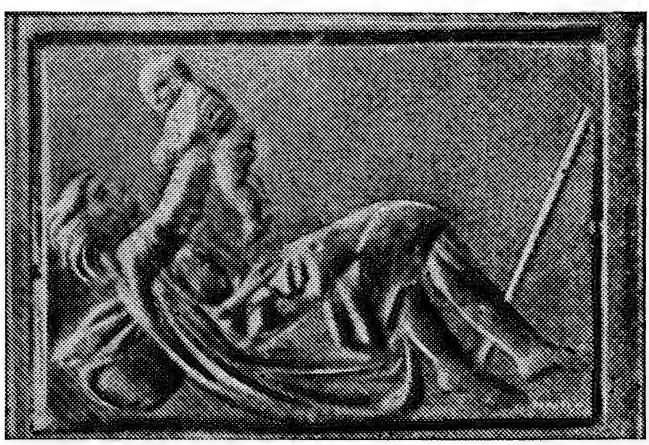
Еще в октябре 1980 года, когда только началась длительная борьба рабочих ФИАТа, добившихся в конце концов восстановления на работе своих уволенных товарищей, художники активно поддержали фиатовцев. А вскоре Ренато Гуттузо и Джакомо Манцу, Арнальдо Помодоро и Умберто Мастройанни, Эннио Калабриа и Эрнесто Треккани и многие-многие другие (всего 150) итальянские, а также и зарубежные художники приняли участие в туринской выставке, которая закончилась аукционом, и доход от продажи произведений изобразительного искусства пошел на помощь борющимся рабочим и их семьям.

Среди участников выставки газета «Унита» особо выделяет Севезо и Коменчини, художников, которые не только предоставили свои полотна, но собрали и систематизировали все произведения, составившие экспозицию выставки.

Интересно отметить, что почти одновременно с туринской выставкой в Урбино на крепости Альборноц был открыт впечатляющий звездообразный Монумент партизанской борьбы. Выполненный в бронзе, резко выделяющийся на фоне древних глинобитных стен крепости, этот памятник войдет в задуманную архитектором Джанкарло Де Карло общую панораму Музея Сопротивления. Автор Монумента партизанской борьбы — участник туринской выставки Умберто Мастройанни, создавший до этого трагический памятник, посвящен-

На снимке: одна из работ Джакомо Манцу, представленная на выставке в Турине.

(Газета «Унита»)



ный героям Сопротивления в Кунео.

«Здесь нет аллегории,— пишет о Монументе партизанской борьбы искусствовед Арган, — здесь есть непосредственный отзвук того времени, когда вершился суд истории: если люди нашего времени еще обладают необходимым для жизни пространством, светом, природой, мы обязаны этим тому, кто погиб, разбивая оковы гнета и насилия».

КУБА

ЮБИЛЕЙ «МОТИВОВ СОНА»

В ознаменование 50-летия со дня выхода в свет одного из первых произведений Николаса Гильена — «Мотивы сона» — гаванское издательство «Летрас кубанас» выпустило эту книгу массовым тиражом. Предисловие к новому изданию написала Мирта Агирре, прокомментировал стихи Анхель Аухиер. Кроме стихов поэта в книгу включены фотокопии музыкальных партитур на слова «Мотивов сона», принадлежащие известным кубинским композиторам Амадео Рольдану, Алехандро Катурла и Эмилио Грене.

В связи с выходом книги в Союзе писателей и деятелей искусств Кубы состоялся вечер поэзии Николаса Гильена. Главный редактор издательства «Летрас кубанас» Росарио Эстева отметила в своем выступлении, что «Мотивы сона» явились выдающимся явлением в истории Кубы 30-х годов. Книга была отражением тревог и волнений той бурной эпохи, предвестником народной борьбы, свергнувшей диктатуру Мачадо.

В Гаване состоялась передача в дар музею города Гаваны портрета Николаса Гильена, выполненного сорок лет назад его другом, художником Энрике Каравия.

ПОЛЬША

«ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ»

Под таким названием в издательстве «Чительник» вышла книга воспоминаний людей разных национальностей, участников польского Сопротивления в годы гитлеровской оккупации. В партизанских польских отрядах боролись русские, чехи, венгры, болгары, югославы, австрийцы, итальянцы, французы и немцы.

Газета «Трибуна люду» пишет: «Все, что чувствовали и думали, воюя под польскими знаменами, эти люди, рассказывается в книге «Плечом к плечу», подготовленной к печати известным военным историком Станиславом Окенцким... Представленные очерки, разные по стилю и уровню, очень искренне и убедительно воссоздают не только события тех лет, но также облик поляков и самой Польши, увиденный глазами иностранцев в годы оккупации».

РУМЫНИЯ

НОВЫЙ РОМАН ПАУЛА ДЖОРДЖЕСКУ

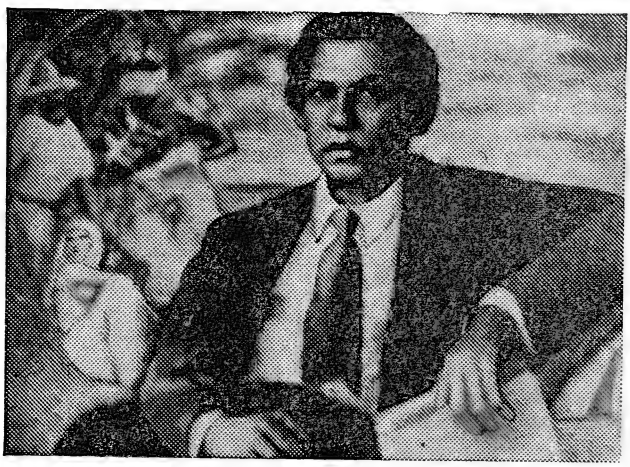
Румынская критика единодушно назвала новый роман П. Джорджеску «Барочное лето» значительным явлением литературы минувшего года. Действие происходит в том же придунайском городке Платонешть, с которым познакомились читатели предыдущего романа «Новогодняя ночь», но на этот раз оно приурочено к периоду, когда в Румынии в конце 20-х и начале 30-х годов все откровеннее и решительнее стали заявлять о себе правые группировки.

Отмечая высокие достоинства прозы П. Джорджеску, рецензенты «Ромыния литерарэ» подчеркивают, что новое произведение известного критика и прозаика современной Румынии— поучительный рассказ о том, как на фоне общего равнодушия, «веселой безответственности», мелких политических интриг незаметно утверждается движение тех мрачных сил, которые позднее приведут страну на грань национальной катастрофы... И в этом предостережении критик Ал. Штефанеску видит главный смысл романа «Барочное лето».

Критик Н. Манолеску подчеркивает преемственную связь новой книги писателя с лучшими произведениями Караджале. «Роман Паула Джорджеску,— пишет он, — ироничный и глубокий, является образцом пародийной прозы. В нем реализм и гротеск, серьезное облачено в карнавальное одеяние».

На снимке: портрет Николаса Гильена работы художника Энрике Каравия.

(Газета «Гранма»)



США

ПЛАНЫ ГОРА ВИДАЛА

Как сообщает американская газета «Интернэшнл геральд трибюн», видный американский писатель, романист, драматург, сценарист и общественный деятель Гор Видал заявил, что в 1982 году он намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост сенатора-демократа от штата Оклахома.

С деятельностью сената Г. Видал познакомился еще в детстве, когда читал отчеты конгресса своему слепому деду Томасу Гору, в течение четырех сроков представлявшему штат Оклахома в сенате страны. Будучи к тому же сводным братом Жаклин Кеннеди, Г. Видал всегда был хорошо осведомлен о политической жизни США. Его интерес к текущей политике и истории Америки нашел отражение в его творчестве. Яркими примерами этого интереса могут служить, в частности, его широко известные романы «Вашингтон, округ Колумбия» и «Бэрр», публиковавшиеся в журнале «Иностранная литература» (№ 11, 12 за 1968 и № 7—10 за 1977 год).

Гор Видал всегда принимал активное участие в формировании американского общественного мнения. Особенно известна его активная позиция в антивоенной кампании, развернувшейся в стране во время войны во Вьетнаме. Решение непосредственно заняться политикой писатель принимает второй раз — впервые он баллотировался в сенат от штата Нью-Йорк в 1960 году, но потерпел поражение.

«Что побуждает меня выдвинуть свою кандидатуру в сенат? — сказал он, мотивируя свое решение.— Я нахожу, что наша политическая система вообще не работает. Во внутриполитической ситуации в стране я ощущаю растущую напряженность. Поэтому я считаю, что человек, который говорит то, что он думает, может принести реальную пользу».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОГО ЮБИЛЕЯ

В мае этого года Коммунистическая партия Чехословакии отметила свое шестидесятилетие. К этому знаменательному событию издательство «Ческословенски списователь» подготовило ряд празднично оформленных юбилейных изданий. Чешская печать выделяет среди них прежде всего два сборника: «Пролетарская поэзия» и «Партия и литература».

Первый включает в себя стихи И. Волькера, Й. Горы, С. К. Неймана, в том числе и некоторые мало известные произведения, не входившие в собрания сочинений этих поэтов.

Многогранно содержание второго сборника. В статьях, эссе и воспоминаниях авторов не только раскрывается отношение чешских писателей к коммунистической партии, но и ставится ряд существенных проблем развития литературы и критики в период между двумя войнами и в настоящее время; много внимания уделено детской и переводной литературе.

Авторы сборника — широко известные писатели, литературоведы, критики: Йозеф Рыбак, Иржи Тауфер, Ладислав Штолл, Витезслав Рзоунек, Франтишек Бурианек, Гана Грзалова и другие.

К юбилею «Ческословенски списователь» подготовил и ряд романов, которые воспроизводят важнейшие этапы исторического развития Чехословакии: «Красное зарево над Кладно» А. Запотоцкого, «Наступление» В. Ржезача и «Гнездо аиста» Я. Козака.

ЯПОНИЯ

«ХИРОСИМА ОБЛИЧАЕТ»

Автор книги «Хиросима обличает» Тахэси Ито — видный японский публицист, профессор педагогического факультета Университета Ямаваси (род. в 1929 году в Хиросиме) — в день атомной бомбардировки Хиросимы подвергся радиоактивному облучению. И всю последующую жизнь он посвятил борьбе в защиту жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

В книге приводятся дневниковые записи школьников о первых днях после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки самолетами США. Эти записи воспроизводят страшную картину страданий японских детей в результате сильных ожогов и ранений, полученных после того, как многие из них оказались погребенными под развалинами зданий. Книга иллюстрирована Тосико Маруки — лауреатом международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

Такэси Ито разоблачает истинные причины атомной бомбардировки японских городов. Автор верно указывает, что Соединенные Штаты осуществили свой варварский акт против японского народа не для того, чтобы подавить вооруженное сопротивление Японии, а для того, чтобы продемонстрировать всему миру мощь нового оружия массового уничтожения, хотя в этом не было военной необходимости.

В заключительном разделе повествуется о последнем этапе второй мировой войны, капитуляции Японии, оккупации Японии войсками США, о том, как

американцы проводили в Хиросиме и Нагасаки исследования о воздействии ядерного оружия с целью его усовершенствования. Приводятся документальные данные о готовности США развязать ядерную войну в период «карибского кризиса». Разоблачается опасность планов НАТО по подготовке к новой, ядерной войне.

В послесловии содержится призыв извлечь урок из трагедии Хиросимы и Нагасаки и приложить усилия к тому, чтобы навсегда исключить ядерное оружие из жизни общества во имя счастливого будущего всего человечества.

Документально - публицистические очерки профессора Такэси Ито вызвали широкий отклик как среди японских читателей, так и у прогрессивной общественности за рубежом.

В театре «Мингэй» состоялась постановка «Старомодной комедии» А. Арбузова. Постановщик спектакля Дзюкити Уно. Газета «Майнити» в своей рецензии на спектакль писала: «Спокойный, теплый спектакль, никакой эксцентрики, ничего лишнего и в то же время перед вами возникает трогательная, чудесная драма с добрыми чувствами и доброй улыбкой, будто ты слушаешь прекрасный дуэт».
На снимке: Косидзи Фубуки и Енэкура Масаканэ в спектакле «Старомодная комедия».

(Газета «Майнити»)

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 06.4.81. Подписано в печать 19.5.81. А 04680, формат 70×108 1/16. Печать высокая, 17 п. л., (23,8) усл. п. л., уч.-изд. л. 29,58.

Тираж 525.000 экз. (1-й завод: 1 — 400.000 экз.) Зак. 1175.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Арлекин

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394